14

Читайте:

ЗНАМЯ 5 1989

К. ИКРАМОВ. История моего отца

В. ЛИПАТОВ. Лев на лужайке. Роман. Окончание

В. ГРОССМАН. Рассказы

Стихи
В. ЧИЧИБАВИНА, Ю. АЙХЕНВАЛЬДА,
Н. ТРЯПКИНА

Публицистика
Письма П. Л. КАПИЦЫ Н. С. ХРУЩЕВУ

О. ЛАЦИС. Поправка

Критика
И. ВАСЮЧЕНКО. Заметки о творчестве
Аркадия и Бориса Стругацких

ISSN 0130-1616. Знамя. 1989. № 4. 1—240.

ЗНАМЯ 4 1989

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Апрель



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

4
АПРЕЛЬ
1989

Москва
Издательство
«Правда»

Иосиф Бродский

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

Из книг Иосифа Бродского «Остановка в пустыне» (1970), «Конец прекрасной эпохи» (1977), «Часть речи» (1977) и «Урания» (1987)

Из цикла «Часть речи»

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос;
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставен, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.

К стихам

«Скучен вам, стихи мои, ящик...»
Кантемир

Не хотите спать в столе. Прытко
возражаете: «Быв здраву,
корчиться в земле суть пытка».
Отпускаю вас. А что ж? Праву
на свободу возражать грех. Мне же
хватит и других — здесь мыслю,
не стихов — грехов. Все реже
сочиняю вас. Да вот кислу
мину позабыл аж даве
сделать на вопрос: «Как вирши?
Прибавляете лучей к славе?»
Прибавляю, говорю. Вы же
оставляете меня. Что ж, дай вам
Бог того, что мне ждать поздно.
Счастья, мыслю я, даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы — к людям,
я — туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.
Не боюсь за вас. Есть средство

вам перенести путь долгий.
Милые стихи, в вас сердце
я свое вложил. Коль в Лету
канет — то скорбеть мне перву.
Но из двух оправ — я эту
смело предпочел сему перлу.
Вы и краше, и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум — что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за все то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне, вы — в тыщу.

22 мая 1967

С видом на море

1

Октябрь. Море поутру
лежит щекой на волнорезе.
Стручки акаций на ветру,
как дождь на кровельном железе,
чечетку выбивают. Луч
светила, вставшего из моря,
скорей пронзителен, чем жгуч;
его пронзительности вторя,
на весла севшие гребцы
глядят на снежные зубцы.

2

Покуда храбрая рука
Зюйд-Веста о незримых пальцах
расчесывает облака,
в агавах взрывчатых и пальмах
производя переполох,
свершивший туалет без мыла
пророк, застигнутый врасплох
при сотворении кумира,
свой первый кофе пьет уже
на набережной в неглиже.

3

Потом он прыгает, крестясь,
в прибой, но в схватке рукопашной
он терпит крах. Обзаведясь
в киоске прессою вчерашней,
он размещается в одном
из алюминиевых кресел;
гниют баркасы кверху дном,
дымит на горизонте крейсер,
и сохнут водоросли на
затылке плоском валуна.

4

Затем он покидает брег.
Он лезет в гору без усилий.
Он возвращается в ковчег
из олеандр и бугенвилей,
настолько сросшийся с горой,
что днище течь дает как будто,
когда сквозь заросли порой
внизу проглядывает бухта;
и стол стоит в ковчеге том,
давно покинутом скотом.

5

Перо. Чернильница. Жара.
И льнет линолеум к подошвам...
И речь бежит из-под пера
не о грядущем, но о прошлом;
затем что автор этих строк,
чьей проницательности беркут
мог позавидовать, пророк,
который нынче опровергнут,
утратив жажду прорицать,
на лире пробует бряцать.

6

Приехать к морю в несезон,
помимо матерьяльных выгод,
имеет тот еще резон,
что это — временный, но выход

за скобки года, из ворот
тюрьмы. Посмеиваясь криво,
пусть Время взяток не берет —
Пространство, друг, сребролюбиво!
Орел двугривенника прав,
четыре времени поправ!

7

Здесь виноградники с холма
бегут темно-зеленым туком.
Хозяйки белые дома
здесь топят розоватым буком.
Петух вечерний голосит.
Крутя замедленное сальто,
луна разбиться не грозит
о гладь щербатую асфальта:
ее и тьму других светил
залив бы с легкостью вместил.

8

Когда так много позади
всего, в особенности — горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство —
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит.

Октябрь 1969
Коктебель

Почти элегия

В былые дни и я пережидал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это Божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал.
Куда-то навсегда
ушло все это, спряталось. Однако
смотрю в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши,
как мужеские признаки висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников — скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Осенью 1968

1 января 1965 года

Волхвы забудут адрес твой.
Не будет звезд над головой.
И только ветра сиплый вой
расслышишь ты, как встарь.
Ты сбросишь тень с усталых плеч,
задув свечу пред тем, как лечь.

Поскольку больше дней, чем свеч,
сулит нам календарь.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть.
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

И, молча глядя в потолок,
поскольку явно пуст чулок,
поймешь, что скупость — лишь залог
того, что слишком стар.
Что поздно верить чудесам.
И, взгляд подняв свой к небесам,
ты вдруг почувствуешь, что сам —
чистосердечный дар.

1965

ANNO DOMINI

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца,
в проулках — толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о
жене и о своем секретаре,
внизу гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем
он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишенную врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем.

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня — мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,
что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики.
Зачем куда-то рваться из дворца;

отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках.
Как хорошо, что не плывут суда.
Как хорошо, что замерзает море.
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес.
Такого не поставишь в укоризну.
Но, может быть, находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас...

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатье — сплетней,
фигурой умолчанья об отце...
Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит, и вижу — Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натыкаясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

Январь 1968
Паланга

По дороге на Скирос

Я покидаю город, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну — ворковать
в объятьях Вакха.
Вот она, победа!
Апофеоз подвижничества! Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навеки уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ,
но кто сказал, что чудища бессмертны?
И — дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных —
Бог отнимает всякую награду,
(тайком от глаз ликующей толпы)
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду — навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущенье униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вакх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться...
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет, с центральных площадей
и башен.
А для странника — с окраин.

1967

Конец прекрасной эпохи

Потому что искусство поэзии требует слов,
я — один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, —
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф — победа зеркал,

при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей —
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданью своих
этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,
то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза...

Что же пишут в газетах в разделе «из зала суда»?
Приговор приведен в исполненье. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить — динозавра.

Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

1969, декабрь

На смерть друга

Имяреку, тебе, — потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, — от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса —
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововерщцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей —
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучше и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

1973

Из цикла «Темза в Челси»

Эти слова мне диктовала не
любовь и не Муза, но потерявший скорость
звука пытливый, бесцветный голос;
я отвечал, лежа лицом к стене.
«Как ты жил в эти годы?» — «Как буква «г» в «ого».
«Опиши свои чувства». — «Смущался дороговизне».
«Что ты любишь на свете сильней всего?»
«Реки и улицы — длинные вещи жизни».
«Вспоминаешь о прошлом?» — «Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло».
«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

Дидона и Эней

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой, греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.
Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли, точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.
А ее любовь
была лишь рыбой — может, и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно, обогнать его... но он —
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Карфаген.
Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожавшем между пламенем и дымом,
беззвучно распадался Карфаген

задолго до пророчества Катона.

1969

Любовь

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки

и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те

двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.

В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных — тогда я
не дернусь к выключателю и прочь

руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

1971, февраль

Подготовка текста и публикация Эдуарда Безносова

Виль Липатов

ЛЕВ НА ЛУЖАЙКЕ

РОМАН

«Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит...»

(Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»)

Четыре пустячные вещи, четыре неприметных обстоятельства сыграют в жизни Никиты Ваганова символическую, но от этого не менее реальную роль, чем, скажем, упавшая на ногу кувалда. Дело кончится зеленым синтетическим ковром с белесыми разводами — не последним мистическим символом в череде событий. Лев на стене, лев на шаре, лев на лужайке и, наконец, рука, не поданная ему Иваном Мазгаревым. На синтетическом ковре приговоренный Никита Ваганов будет думать о чем угодно, кроме промозглого утра в далеком городе Сибирске, с его грязными уличными фонарями, весенним гололедом, скрежетом дворничьих скребков, гудками карандашной фабрики... Только за несколько часов до смерти он ярко, как при свете магния, поймет, что Иван Иосифович Мазгарев, человек завидно правильный и чуть ли не святой, возле здания областной газеты «Знамя» намеренно не подал ему единственную левую руку. Это видение — сизый от мороза город, лицо Мазгарева и его недвижная рука — сопроводит Никиту Ваганова в темень небытия.

Эпизод с Мазгаревым он вспомнит так поздно потому, что в тогдашнем жадном стремлении вперед и вверх откладывал в памяти только сверхважные, узловые, глобальные события и предметы, не оставляя в туго сжатой жизни места для пустяков,— какое ему было дело до того, что праведник Мазгарев не подал ему руки? Смерть всех выравнивает — короля и мусорщика, смерть делает в одно мгновение нелепым и жалким стремление к карьере, женщине, курению, алкоголю, кофе — тысяче других проявлений человеческих страстей. Ожидая первого слова главы консилиума, академика с мировым именем, Никита Ваганов, редактор популярной центральной газеты «Заря», уже месяц зная, что скажет всемирно известный, хорошо подготовился к смертному приговору и даже испытывал любопытство к той несуразице, которую произнесет глава консилиума. Кстати, и весь профессорский синклит зря прятал глаза: больной Никита Ваганов, как всякое живое существо, смерти боялся, но она пришла за ним, когда он достиг всего, чего хотел; к большему он никогда не стремился, то есть занял под солнцем заветное место; дальше шла только — ранняя или поздняя — смерть. Речь теперь могла вестись только о сроках —

В 1979 году появились первые сообщения о предстоящей публикации нового романа Виля Липатова «Лев на лужайке». Вскоре (в том же году) автора не стало. Но роман — последнее, самое крупное произведение, работу над которым писатель продолжал до последнего дня,— не был напечатан. Встреча читателей со «Львом на лужайке» задержалась на десять лет. Так отозвалась приверженность Виля Липатова острым социальным проблемам.

Предлагаемая публикация — журнальный вариант романа, первая его часть. Полностью «Лев на лужайке» выйдет в издательстве «Молодая гвардия».

раньше или позже; какая безделица, если Никита Ваганов достиг, казалось, невозможного! Он страстно хотел быть редактором «Зари» и стал им, ни разу в жизни не задумавшись, что произойдет, когда он сядет в долгожданное кресло. Произошло то, что бывает с ребенком, когда он забрасывает в угол «отыгранную» игрушку.

На зеленом ковре, внутренне посмеявшись над нерешительностью консилиума, Никита Ваганов вспомнит свою любовь «длиною в прожитые годы», и это воспоминание теплой волной нежности разольется по его невесомому, желтокожему телу с потемневшими ногтями на руках и ногах. Пожалуй, только это воспоминание позовет властно и тоскливо в прошлое, нагонит смертный страх, по ощущениям похожий на холодный, приставленный к горлу нож, и это будет то прошлое, о котором он сейчас не хотел бы помнить, но оно не уходило и не ушло даже тогда, когда заговорил профессорский синклит.

— Ну, что мы вам скажем, голубчик,— прошепелявил академик.— Ну, жить вы будете долго и, надеемся, счастливо!

— Да, интересная форма...

— Единственное, что Никите Борисовичу нужно,— это бифштексы в гомерическом количестве! Забивайте брюхо, дорогой!

— Я думаю, товарищи, что режим должен быть щадящим...

Кто не умеет врать, так это врачи.

Они могли бы и не стараться: стоящий на зеленом с разводами синтетическом ковре Никита Ваганов прочел на русском и английском почти все книги о своей болезни, но он молчал, не в силах вернуться из прошлого в комнату с неумело врущими медицинскими светилами. Странно, что за считанные минуты он не вспомнит из прошлого только единственное...

Никита Ваганов так и не вспомнил льдистого, с пронизывающим ветром утра, когда Иван Мазгарев — нарочно или по рассеянности — не подал ему руку...

В Сибирске и поблизости

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

I

Весна подкрадывалась незаметно, как домушник к плохо закрытой двери; температура изо дня в день поднималась на несколько градусов, но в середине мая вдруг прошел дождь со снегом, всю ночь рвался в окна — ему хотелось тепла. Утром же грянул мороз, превратив город Сибирск в добротный каток. Вспоминались «Серебряные коньки», хотелось, красиво заложив руки за спину, пронестись вдоль и поперек города, неожиданного от смеси бывших дворянских и купеческих особняков с четырехэтажными домами известной по всей стране архитектуры и кичащегося ультрасовременным Дворцом бракосочетаний, высотной гостиницей, Домом политического просвещения и театром, в антрактах похожим на стеклянный улей.

Возле здания областной газеты «Знамя», где Никита Борисович Ваганов работал специальным корреспондентом, тускло светили грязные фонари, противно подвывал мотором буксующий грузовик с дымящимся бетоном в кузове, на почтамте часы показывали, между тем, правильное время, хотя по своей природе на почтамтах областных городов электрические часы должны безбожно врать; дисциплинированные и предельно обязательные люди, Ваганов и Мазгарев ежедневно встречались возле витрины с газетой «Знамя» без десяти девять. Встреча обычно происходила так: младший по возрасту почтительно здоровался (Ваганов ценил Мазгарева), заведующий отделом пропаганды Мазгарев весело отвечал и тут же протягивал руку для пожатия. Это стало ритуальным, и именно по этой причине Ваганов решил не заметить спрятанную за спину руку Мазгарева... Лицо у заведующего отделом пропаганды было круглое, румяное, сероглазое; только при внимательном и целенаправленном разглядывании можно было понять, что луноподобное лицо Мазгарева — целостно, волево, бесстрашно. Воевал Мазгарев смело, но только в День Победы всю грудь его покрывали ордена и медали.

— Доброе утро, Иван Иосифович!

— Доброе утро, Никита!

Между ними существовало и «ты» и «вы», все зависело от обстановки: при свидетелях обращались друк к другу на «вы», наедине — на «ты», и ничего обидного или ущербного для Никиты Ваганова в такой «разблюдовочке» — одно из любимых словечек Никиты Ваганова — не было. Он вообще охотно пользовался жаргоном, что помогало казаться несерьезным.

— Холодновато! — пожаловался Никита Ваганов, не подозревающий, что за неподанной рукой Мазгарева таится опасность, да и не шуточная. Никита Ваганов знал, что Мазгарев способен не только мягко улыбаться, но все-таки недооценил зав. отделом пропаганды, и все это потому, что в круглое лицо Мазгарева смотрелось легко и просто, как в детское. Лицо Мазгарева — несомненно доброго и благорасположенного человека — независимо от хозяина выражало то, что хотелось собеседнику: добро — так добро, веселость — так веселость, скорбь — так скорбь. «Хороший он мужик, если бы не ходил в энтузиастах!» — подумал Никита Ваганов, даже не допускающий мысли, что скоро Мазгарев поднимется стеной против его стремительного движения вперед и вверх.

— А и верно: холодновато! — подумав, мягко согласился Мазгарев, вынимая из-за спины единственную руку и упрятывая ее в карман куртки, но и на это Никита Ваганов не обратил внимания, и, наверное, потому, что этой льдистой и ветреной весной разворачивались самые главные события в его короткой, но напряженной жизни, хотя он и сам не понимал еще, что события эти — главные, решающие, корневые, если можно так выразиться. Ему же казалось, что он жил просто — весело, забавно, трудно — и поэтому прекрасно. Никите Ваганову совсем недавно исполнилось двадцать пять лет — не тот возраст, когда к цели движешься с апробированно верным оружием.

— Ну, пошли, Иван Иосифович!

...Они вместе зайдут в редакцию, улыбнутся друг другу, расходясь по кабинетам, и только через несколько месяцев Никита Ваганов поймет значение того утрешнего происшествия. «Спасите наши души!» — сохраняя всегдашнее чувство юмора, подумает он, когда Иван Мазгарев попытается поставить капкан на его пути вперед и вверх. Капкан только лязгнет, пребольно защемит нежную икру, но вскоре сти разожмет стальные челюсти — игрой, впрочем, это не назовешь, но

нет худа без добра: великой школой станет для Никиты Ваганова урок, преподанный добрейшим и великодушнейшим Иваном Иосифовичем Мазгаревым...

— Пока! — находясь уже в своем кабинете, все еще прощался Ваганов с Мазгаревым.— Все ваши невысказанные пожелания исполнятся. Бу сделано!

Никита Ваганов от природы и, надо полагать, от ума был склонен к юмору; из десяти его фраз две — и то редко! — оказывались серьезными. Легкие, равно как и тяжелые события в своей недолгой жизни он неизменно сопровождал шуткой, готов был всегда на незамысловатую остроту, проделывая все это с траурным или по крайней мере пресерьезным лицом. С женщинами Никита Ваганов тоже никогда не разговаривал серьезно, подражая герою чеховской «Дамы с собачкой», он шутливо называл их «низшей расой».

В собственном кабинете с соответствующей табличкой на дверях — дескать, здесь именно находится специальный корреспондент областной газеты «Знамя» — он небрежно бросил на диван финский плащ на теплой подкладке, причесался перед темным стеклом книжного шкафа, внимательно рассматривая свое лицо — значительное и в очках очень доброе, такое доброе, что сестренка Дашка до сих пор звала его Айболитом. Стройный и высокий, он был в светло-сером тоже финском костюме, придававшем ему, Айболиту, недостающие строгость и солидность. Несменяемый костюм проживет еще два года, а плащ вместе с Никитой Вагановым доживет до собкорства в центральной газете «Заря», и хозяин волей-неволей уверует в добрые намерения плаща, будучи суеверным, как завсегдатай бегов, ставящий то на фаворитов, то на темных лошадок. О, финский плащ на теплой подкладке!

В кабинете было тихо и тепло. Редакция наполнится специфическим шумом и говором минут через двадцать пять; к десяти часам — ни минутой позже — приедет на черной обкомовской «Волге» собственный корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Тимошин — такой же святой человек, как и Мазгарев, а возможно, еще праведнее. Минут через десять после десяти прибудет редактор газеты «Знамя» Кузичев, безоговорочно принятый Никитой Вагановым человек, отвечающий ему дружбой и доверием.

В этот час Никита Ваганов заставлял себя не думать о корреспонденте центральной газеты «Заря» Егоре Егоровиче Тимошине, но, естественно, думал только о нем, не понимая, что вот это и есть угрызения совести, которых у Никиты Ваганова никогда не бывало. Со школьных лет он делал, что ему положено, и не делал запрещенное. Одним словом, он всегда был в ладу со своей совестью, но не знал, что это так. В неотступных думах о Егоре Тимошине вдруг мелькнуло, с какой брезгливостью невеста Никиты Ваганова подкрашивает веки в угоду будущему мужу. Жениться на Нике можно было и даже до́лжно: за такой женой, как за каменной стеной. Никите Ваганову в его стремлении вперед и вверх нужен был прочный тыл, а весь город Сибирск считал, что Никита Ваганов собирается жениться на Нике Астанговой из-за отца ее — главного инженера комбината «Сибирсклес», который откроет ему свой кошелек и двери квартиры с самыми высокими потолками.

Ох, как все было бы просто: «Кто ищет, тот всегда найдет!» Покамест же существование Никиты Ваганова согревала уборщица тетя Вера, которая ненавидела его люто по необъяснимой причине.

— Ноги надо вытирать, гражданин!

— Я вытер, тетя Вера!

— Для отводу глаз... Для издевки!

— Тетя Вера, вот я еще раз вытер ноги...

— Я при чем! Да ты хоть сто раз их вытри — будут грязные... Иди, иди! Нечего на меня глядеть сродственными глазами — шпарь, шпарь в свой кабинет.

Он кайфовал и потешался над воркотней тети Веры, но она-то совершала поступки: не убирала его кабинет, возле которого высилась горка заметенного от других дверей мусора. Настольная лампа в кабинете серела от многодневной пыли, корзина для ненужных бумаг давно скрылась под бумажной горой, стекла в окнах не протирались с прошлой весны, на полу не было ни коврика, ни дорожки, и тетя Вера заревела бы от горя, если бы узнала, что именно таким и хотел видеть свой кабинет Никита Ваганов. Груды бумаг, книг, брошюр, всегда горящая настольная лампа — все необходимые аксессуары кабинета по уши загруженного делами человека.

Сегодня Никита Ваганов — от льдистого утра, наверное,— посмотрел на свой кабинет незашоренными глазами и вдруг подумал: «Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!» — Так быстро менялось у него настроение, хотя нервы были крепкими. На свалку автомобилей, с которых фанатики-автолюбители поснимали все, что возможно, походила теперешняя жизнь Никиты Ваганова, а может быть, и на лопнувший воздушный шарик, и только потому, что стоит он и стоит на одном месте, пальцем о палец не ударяет, чтобы сделать жизнь другой — убыстренной, точно направленной. Ощущение тупика, впрочем, часто мучило его: остановили, схватили за локти, приставили спиной к стене, велели опустить голову, чтобы не смотрел на истязателей вопрошающими глазами... Ощущение тупика, серости и бессобытийности этого утра, как воспоминание, пройдет через всю жизнь Никиты Ваганова, а оно было значительным и важным для дальнейших событий: таким оно окажется серьезным, что много лет спустя, разглядывая ворс синтетического ковра, он мысленно сравнит события льдистого дня со взлетной дорожкой аэродрома, которую начинает исподволь, но уже верно пробовать колесами сверхмощный реактивный лайнер. Он уже вырулил на взлетный рубеж, уже турбины надсадно ревут, но ничего пока не происходит — это затишье перед бурей, проба тормозов и моторов перед стремительным взлетом под самые высокие звезды. Чтобы понять это, Никите Ваганову понадобятся годы, он сам научится создавать атмосферу глухого тупика, серости, затишья, чтобы все кончалось благодатным для него взрывом... А вот сегодняшним утром, в пустой еще и гулкой от этого редакции, Никита Ваганов брезгливо придвинул к себе серую газетную бумагу, как термометр встряхнул автоматическую ручку и занял самую удобную для письма позу. «Не для себя ли на этот раз я таскаю из огня каштаны...» — подумалось ему, но творческого вдохновения он не почувствовал, и не только потому, что предстояло разнести в пух и прах руководство Тимирязевской сплавной конторы, в которой все, начиная от директора Майорова и кончая трактористами, были его хорошими знакомыми. Он лениво написал заголовок «Былая слава», трижды подчеркнул его, поморщился и легонечко вздохнул, что с ним происходило всякий раз перед превращением в быстродействующую и хорошую машину для изготовления статей, очерков, корреспонденций, фельетонов и так далее. Минут через десять после появления заголовка Никита Ваганов полностью отключился от того, что называлось редакционным зданием, а еще минут через десять Никита Ваганов испытал сладостное, лихорадочное состояние, похожее на легкое опьянение. Так было всегда, работа делала Никиту Ваганова счастли-

вым, и много лет спустя, зрелым и умеющим зрело думать человеком, Никита Ваганов скажет себе твердо: «Ты был счастливым! Самое большое счастье дала тебе не любовь и обеспеченная жизнь, не вино и дружба, даже не стремительный взлет по служебной лестнице, а работа и счастье от умения работать!»

Пришло к десяти часам все редакционное стадо, разбрелось по клетушкам-стойлам, заперся в кабинете-крепости на вид суровый редактор Кузичев, подкатил на черной, совершенно новой «Волге» корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Егорович Тимошин и особой походкой — «утцом» — пробрался в свое стойло, стараясь никого не встретить на пути — он всегда боялся лишиться думающего, сосредоточенного состояния. Все в редакции знали, что Егор Тимошин четвертый год пишет роман «Ермак Тимофеевич». ...Одним словом, произошло еще много разных событий, пока Никита Ваганов исписывал серые листы газетной бумаги мелкими, полупечатными, отдельно стоящими друг от друга буквами: просунула голову в двери Нелли Озерова — любовница, но тут же скрылась, вошла и молча положила на стол гранку ответственный секретарь газеты «Знамя» Виктория Бубенцова, притащился толстый, шумный, веселый заведующий отделом информации Борис Гришков, но тоже скоро «смотался», говоря, что имеет дело с умалишенным.

Около двенадцати часов дня Никита Ваганов поставил вызывающе жирную точку в конце статьи «Былая слава», вытягиваясь и потирая сладко ноющий позвоночник, подумал, что после публикации статьи директор Тимирязевской сплавной конторы Майоров вволюшку хватит несчастий — партийный билет у него не отнимут, но одними комиссиями вымотают душу, да еще и будут прозрачно намекать, что товарищу Майорову некоторое время неплохо было бы поработать начальником сплавучастка,— от этаких штучек человек плохо спит. Сладкую жизнь Володьке Майорову, знакомому Никиты Ваганова, устроит директор комбината «Сибирсклес» Арсентий Васильевич Пермитин — кандидат в члены бюро Сибирского обкома партии. Однако Никита Ваганов, жалея Майорова, хотел бы знать, как все это следует расценивать. Во-первых, почему редактор «Знамени» Кузичев приказал разделать под орех Майорова, фаворита директора Пермитина, и, во-вторых, одновременно с этим в промышленном отделе создавался панегирик директору Ерайской сплавной конторы — открытому фрондеру Шерстобитову, на последнем партийно-хозяйственном активе заявившему, что Пермитин — Пермитин! — достиг высшей точки некомпетентности в руководстве лесной промышленностью области.

— Сие загадочно,— вслух сказал Никита Ваганов, затем поднялся и несколько минут постоял в неподвижности. Оказалось, что Никите Ваганову сейчас хотелось разговаривать, смеяться, шутить, словоблудить, одним словом, общаться с человечеством, и, как по волшебству, в кабинет второй раз просунула голову литсотрудница промышленного отдела Нелли Озерова, небольшая голубоглазая блондинка со зрелыми детородными бедрами — мужчины от нее шалели.

— Поставил точку? — не поздоровавшись, радостно спросила Нелли Озерова, так как всегда была в курсе дел Никиты Ваганова, хотя он сам ей ничего не рассказывал. Он здраво объяснял глобальную осведомленность Нелли Озеровой: она его любила, но — вот курьез — замуж за Никиту Ваганова выходить категорически не хотела. Она давно решила стать — и стала ею — женой Зиновия Зильберштейна — теперь удачливого ученого, а в будущем—академика. Он занимался жучками, имеющими какое-то важное значение для сельского хозяйства.

— Ты меня любишь? — внезапно спросила Нелли.

Он мгновенно ответил:

— А как же!

— Никита, не надо! — жалобно попросила Нелли.— Подари мне хоть одну нормальную минуту.

Кто знает, как она поняла, что Никита Ваганов, по-звериному быстро отдохнувший от рабочего перенапряжения, накачивает себя «юмором и сатирой», чтобы жить внешне обычной, веселой, шутливой, легкомысленной жизнью,— но это для стороннего и непроницательного наблюдателя. Остановленный Нелли, он лениво сел на диван-клоповник, пальцем показал Нелли, чтобы она заняла его рабочее место: они не должны были сидеть рядом — и в силу наличия невесты, Вероники, и в силу того, что всякая тайная любовница надежнее, интереснее и долговременнее, чем легальная.

— Иду навстречу пожеланиям трудящихся!— проговорил Никита Ваганов своим обычным бархатно-ленивым голосом.— Могу быть серьезным, как катафалк. Имеются насущные вопросы? Необходимо разрешить мировую проблему? Гложет червяк?

Болтовня Никиты Ваганова объяснялась не просто: он включил на полную катушку «механизм думанья», сейчас, решая самый важный для себя вопрос, и в этих мыслях, естественно, не было места для Нелли Озеровой. Она оставалась лишь внешним раздражителем, которым был занят только его речевой аппарат; вот он и бормотал-болтал-острил, несомненно, являя собой интересный для психиатра пример, когда аппарат мышления предельно далек от внешних проявлений.

— Если не червяк, так что? Неувязки? Козни? Внутреннее несогласие с самой собой? Сломанный замок на модных сапогах?

Никита Ваганов напряженно думал сейчас о собственном корреспонденте центральной газеты «Заря» Егоре Тимошине, не подозревающем, что судьбе-распорядительнице почему-то было надобно, чтобы в городе Москве в строго определенное мгновение родился Никита, сын Бориса Ваганова, а сам Тимошин, в свою очередь, проделал все для того, чтобы в городе Сибирске встретиться с этим самым Никитой Вагановым.

— Молчать будем? Смотреть на мой цветущий рот? Не спускать глаз со шрама на руке? А известно ли вам, что я считаю женщин ярким бантиком на холщовой робе труженика...

Если Никита Ваганов мог безостановочно болтать, то Нелли Озерова была способна молчать часами, улыбаясь мило. И не видя сейчас ее всамделишную, он думал, что скоро некая Нелли Озерова понадобится ему в очень важном деле, таком важном, что важнее теперь ничего не было и быть не могло: жизнь Никиты Ваганова зависела от этого, жизнь, которую он собирался сделать долгой и счастливой, и у него все было, чтобы исполниться этому желанию.

Голубоглазая Нелли Озерова притворно вздохнула:

— Не хочется ехать в командировку... Турсук и Шебель!

Звала, опять звала... Пробираться за полночь в мерзкой районной гостинице, пропахшей хлорной известью и краской, из одной дрянной комнаты в другую, лезть к Нелли под одеяло на такую скрипучую кровать, где и с боку на бок перевернуться — значит вызвать аккорд заржавевшего железа... Нет, это сегодня, когда рядом сидит и пишет Егор Тимошин, не жизнь для белого человека! А ведь в недалеком прошлом те же самые Турсук, Шебель, Пашево, Красный Яр, Косошеево поочередно предлагали свои кровати Ваганову и Озеровой, чтобы во второй половине следующего дня всей области было известно о металлическом скрипе. Как и положено, скрип шебельских и турсукских пружин доходил до ушей невесты Никиты Ваганова — доче-

ри могущественного в области главного инженера комбината «Сибирсклес» Габриэля Матвеевича Астангова.

— Турсук и Шебель,— задумчиво повторил Никита Ваганов...

Он родился и вырос на кроватях с пружинами, хотя в столице уже появились и входили в моду диваны-кровати, просто кровати на поролоне и прочих прелестях. Пятеро в двух комнатушках, пятеро на тридцати шести квадратных метрах, включая двух особ женского рода и впавшего в маразм деда по отцу; по ночам пружинные кровати вздыхали, разговаривали друг с другом; скрип кроватных пружин сопровождает и будет сопровождать Никиту Ваганова всю жизнь, всякий скрип, похожий на кроватный, неизменно вызывает у него аллергический приступ — на теле расцветают алые лепехи крапивницы. Шебель и Турсук! Нет, голубушка, лучше послать к черту эту самую любовь, если кроватный скрип слышен по всей области, да к тому же сегодня, когда редактор газеты «Знамя» Кузичев, кажется, начинает предельно опасную игру с Пермитиным.

— Шебель и Турсук! Ешьте, люди, свежий лук!

...Голубоглазая Нелли Озерова, женским своим чутьем поверившая в избранность Никиты Ваганова, почувствовавшая, что ему тесны, как клетка, любые рамки достигнутого, проникшая в его сущность, загадочную часто и для самого Никиты Ваганова, всю свою оставшуюся жизнь будет испытывать добровольные муки любви, кусать по ночам подушку при мысли о том, что Ваганов, спящий сейчас на плече жены, ее любит больше, но она панически боялась стать его женой, бабьим чутьем понимая, что Никита Ваганов — это бочка с порохом, которая рано или поздно взорвется...

— Никита!

Не звала — просила милостыню. Какие бы духи ни употребляла Нелли Озерова, пахло от нее первосентябрьским новым школьным портфелем, детством, вспоминался Никите Ваганову отец, этот тихий и бедный школьный учитель, умеющий только для старшего сына придумывать головокружительные взлеты, для себя же считающий покупку автомобиля вершиной горного хребта.

— Никита, скажи хоть что-нибудь!

Он ответил:

— В принципе я не против, но не в этот раз, черт возьми, не в этот!

— Что-нибудь случилось? Не пугай меня!

— На Шипке пока все спокойно. Хочешь поцеловаться?

— Конечно!

— В темпе, Нелька, в темпе!

Отчего все-таки от нее пахло новым школьным портфелем, если она его не имела, отчего этот запах почти уничтожил запах арабских духов? Эх, как хорошо, молодо и волнующе пахло от этой красивой женщины с лживыми глазами, которые становились правдивыми, честными, доверчивыми только для одного человека на свете — Никиты Ваганова... Много лет спустя, проходя пешком по Столешникову переулку к фирменному магазину «Табак» за коробкой кубинских сигар, без всякой причины, без малейших признаков ассоциаций Никита Ваганов подумает, что его и Нелли Озерову связывает и связывала не только любовь, а нечто большее, значительно большее, похожее на генетическое родство...

— Я пойду, Никита! Шеф велит перед командировкой обговорить ее в обкоме.

— Шеф прав. Иди, Нелька.

Надо быть магом и волшебником, чтобы знать, отчего в это утро Никита Ваганов решил в очередной раз повидаться с корреспондентом столичной газеты «Заря» Егором Тимошиным, и все это время — пока лихорадочно и сладостно писал, пока болтал и целовался с Нелли Озеровой — незаметно для самого себя прикидывал конспект предстоящего разговора, обдумывал шуточки и хохмочки, подходы и уходы, откровения и умолчания, правду и ложь. Надо быть богом, чтобы уловить связь между утренней встречей с Иваном Мазгаревым, когда Никите не протянули руки, и походом в кабинет собственного корреспондента столичной газеты. Тем не менее связь, непонятная самому Никите Ваганову, существовала, и минут через пять Никита Ваганов, сдав статью в машбюро, пошел в отъединенный и странный кабинет Егора Тимошина... Шагал Никита Ваганов в своей любимой манере: локти прижаты к бокам, пиджак широко распахнут, тело тяжело раскачивается, словно под порывами шквального ветра,— такая походка несколько позже станет модной среди молодых людей определенного типа.

II

Собственный корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Егорович Тимошин был человеком ровной трудовой биографии, когда количество естественно переходит в качество, так просто и естественно, как вращение Земли. Думая об этом, Никита Ваганов признавал право на существование двух жизненных путей — тимошинского и другого, когда все форсировалось, точно топка паровоза на крутом подъеме, но он считал, что дело, собственно, не в том, как ты движешься вперед и вверх, а в самом процессе, в ощущениях, в жизненном тонусе, низком в первом случае и окрыляющем — во втором. Известно, что редиска растет ботвой вверх, но и для знающего и не знающего это человека вкус редиски неизменен, редиска есть редиска.

Что касается Егора Тимошина, то он был тот лежач камень, под который вода не течет.

— Здорово, здорово, Егор! Будем помнить, что не вопросы губят, а ответы. Занесите это в вашу книжку, мистер Тимошин.

Сделав два шага, Никита Ваганов остановился. Это тоже входило в число его приемов, манер, став привычкой. Он должен был постоять несколько секунд возле дверей, чтобы будущий собеседник хорошенько разглядел его, разобрался в настроении гостя, определил, если это возможно, предлагаемую гостем цель визита. Сам Никита Ваганов радовался, когда успевал рассмотреть пришедшего, дабы не начинать беседу так, за здорово живешь.

— Садись, Никита! — не потрудившись рассмотреть Ваганова, пригласил собкор центральной газеты.— Уже понатрудимшись?

— Накарябавшись.

«Нет, не врут люди! — уверенно подумал Никита Ваганов, увидев глаза Егора Тимошина, обведенные синими кругами.— Он на самом деле пишет роман, роман называется именно «Ермак Тимофеевич» и будет такой же добросовестный и порядочный, как сам Егор Тимошин». Потом Никита Ваганов уже рассудочнее и медленнее подумал, какое это было бы счастье, если бы Егор Тимошин буквально на днях кончил свой роман, сделался бы профессиональным писателем и вообще исчез с газетного горизонта к... известной матери. «А хочешь, хочешь жить с чистыми руками!» — поддразнил Никита Ваганов себя, еще подробнее рассматривая утомленное лицо Егора

Тимошина, который — трудно поверить! — дважды отклонил предложение работать в аппарате столичной газеты «Заря», отказался от корреспондентства в Болгарии и совершил еще какие-то нечеловеческие подвиги того же порядка.

— Что новенького на территории Франции, Голландии, Швейцарии и Лихтенштейна? — спросил Егор Тимошин, так как Сибирская область занимала именно такую территорию.— Нет ли любимого мной и презираемого тобой мелкого и сухого факта?

Предоставленный самому себе, свободный до головокружения, с начальством, отдаленным от его рабочего кабинета на пять тысяч километров, с ненормированным рабочим днем, такой человек мог себе позволить говорить без спешки, витиеватыми фразами, добродушно при этом щуриться на этот безумный и прекрасный мир. «Живет в кайфе!» — благодушно подумал Никита Ваганов... Ровно через двадцать один год он вспомнит квадратный и крохотный кабинет Егора Тимошина, карту Сибирской области на стене и неожиданно серьезный разговор, составленный из шуток-прибауток, улыбок, то есть прошедший в самой удобной манере для Никиты Ваганова. Обмен фразами запомнился почти стенографически.

ВАГАНОВ. Значит, нуждаетесь в маленьком сухом, но верном факте? Надеетесь, сударь мой, что за фактиком непременно потянется цепочка фактов?

ТИМОШИН. Не надеюсь — уверен.

ВАГАНОВ. А что мы за это будем иметь?

ТИМОШИН. Фамилию. Одну фамилию.

ВАГАНОВ. Ого! Аля-ля! Значит, вам известно, милсударь, что дай мне фамилию, и я сделаю или конфетку, или карачун? Ухватили мой творческий метод?

ТИМОШИН (серьезно, уважительно). Ты все делаешь качественно, Никита.

ВАГАНОВ. Мерси! (Смеется.) Кажется, где-то в недрах целой системы созревает для тебя не один и не сухой факт...

Да, это было в те времена, когда Никиту Ваганова, как преступника на место преступления, ежедневно тянуло в кабинет Егора Тимошина, чтобы разнюхать, знает ли он хоть что-нибудь о вырубке огромного кедровника и о преступной махинации с утопом древесины в комбинате «Сибирсклес»? Он, собственно, тогда и сам не верил, что государство можно обмануть так нахально и просто: украсть сто пятьдесят тысяч кубометров леса из четырех миллионов — отъявленный скептик рассмеется недоверчиво! Егор Тимошин входил в число ревностных оптимистов, но все-таки Никиту Ваганова тянуло в кабинет Тимошина, день считался напрасно прожитым, если он не видел слегка располневшее лицо с крупными белыми зубами и медленной-медленной улыбкой, которая успокаивала Никиту Ваганова ровно на сутки. О, как боялся он, что какой-нибудь доброхот, реально оценив крупность дела, исписав целую ученическую тетрадь, постучится в двери корреспондента центральной газеты!

— Твой последний очерк был хорош! — сказал Егор Тимошин.— Редактор мне по секрету сказал, что не мог сократить даже трех строчек... Молодец, Никита, ей-ей, молодец!

...Через десять лет Никита Ваганов напишет прекрасную статью о роли некрупных, но многочисленных фактов в журналистской работе писателя и журналиста Егора Егоровича Тимошина, только в самом конце статьи мельком проговорив, что «возможна и другая концепция отношения к факту и определению его значимости», а лет пять спустя, после статьи о Тимошине, университетский товарищ Никиты Ваганова — соперник, злой и умный соперник — Валька Грачев опубликует тоже хорошую и умную статью о своеобразном использовании фактов в работах выдающегося журналиста Н. Ваганова...

Егор Тимошин вздохнул.

— Утром был в обкоме,— сказал он. — Положение тяжелое, особенно с картошкой... Ну, а леспромхозы? К Новому году, как обычно, наверстают упущенное? А?

К пятидесяти двум годам Егор Тимошин завел и вырастил троих детей, похоронил жену, сошелся с женщиной-врачом, которая всеми силами пыталась спасти первую жену; с ней завел еще одного ребенка, и все было прекрасно: семья оставалась единой и теплой, управляемая мягко и ненавязчиво новой женой и матерью. Сам Егор только медленно-медленно улыбался и помалкивал, и, судя по всему — железной нервной системе, несуетности, добродушию,— Егор Тимошин должен был прожить долго.

— Преодолевать трудности, созданные нами же, мы прекрасно умеем! — негромко сказал Никита Ваганов.— Пустой мешок не заставишь стоять.

Ни слова всерьез, ни фразы без шутки или попытки шутки — так жил Никита Ваганов, никогда не разговаривающий ни с кем серьезным тоном, но везде, начиная со школы и кончая газетой «Знамя», его считали человеком предельно серьезным: вот еще одно доказательство того, что репутация создается не речами, а поступками, которые у Никиты Ваганова были только серьезными и крупными. Таким образом, «выкаблучиванием» Никита Ваганов никого обмануть не мог, исключая Егора Тимошина, который, будучи ленивым карасем, не только добровольно проглотит крючок жестокого удильщика, но так и не поймет распределения ролей.

— Мне, поди-ка, надо иттить! — зевая, сказал Никита Ваганов.— Известно ли тебе, что четырехлетний ребенок задает в день в среднем четыреста тридцать семь вопросов?

Завершением длинной цепочки сложных ассоциаций была мысль Никиты Ваганова о том, что ему в жизни не просто везет, а выпадают самые крупные выигрыши в этой заведомо проигрышной лотерее. Ничего нет удивительного в том, что Никита Ваганов — цветущий и жизнестойкий — в двадцать пять неполных лет считал человеческое бытие проигрышной лотереей — он понял это, кажется, на двенадцатом году, увидев в сиреневых кальсонах своего бедного отца, невезучего школьного учителя, живущего одной неисполнимой мечтой — купить автомобиль. День, когда двенадцатилетний Никита Ваганов скажет себе: «Проигрышная лотерея!» — запомнится на всю жизнь, но было бы ошибкой думать, что именно в этот день родился пессимист, выбирающий между кабаком, камерой следователя или каморкой ночного сторожа. Наоборот, именно в этот момент появилось то, что сейчас именовалось длинно и торжественно — специальный корреспондент сибирской областной газеты «Знамя» Никита Борисович Ваганов...

III

Итак, специальный корреспондент сибирской областной газеты «Знамя» Никита Ваганов стоял в приемной редактора Кузичева и размышлял, войти или не войти в святилище, так как это было еще в те дни, когда Никита Ваганов порой сомневался в редакторе Владимире

Александровиче Кузичеве: вопреки всем обстоятельствам все-таки не верил, что редактор в трудную минуту протянет ему руку и поможет подняться на первую ступеньку — самую главную! — головокружительной карьеры. Да, это самое тяжелое — первый шаг. И Никита стоял в приемной с таким напряженным лицом, точно делал решающий ход в партии мирового шахматного первенства. «Знает — не знает!» — гадал он, уже почти месяц подозревающий, что редактор «Знамени» Владимир Александрович Кузичев пронюхал об афере с лесом, произведенной руководством комбината «Сибирсклес» весной и осенью прошлого года... но...

Никита Ваганов не вошел в кабинет редактора «Знамени». Удивленной секретарше Нине Петровне он сказал протяжно и назидательно: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» — подмигнул ей, сделал губы ижицей, после чего выбрался из приемной, вспоминая, бог знает по какой ассоциации, киплинговское: «Ты и я — стая!» Заметим, что он не знал точно, как поведет себя редактор газеты «Знамя» Кузичев, член бюро обкома, в деле об утопе древесины и варварской вырубке кедровников, но уже догадывался — звериным своим чутьем,— что Кузичев останется Кузичевым, человеком честным — к честным и добрым — к добрым.

Редакционный коридор жил обычной жизнью редакционного коридора; пробегали с гранками или с черновиками в руках сотрудники «Знамени», шлялся по коридору метранпаж; рассыльная Груша — девушка образованная и эмансипированная — прислонившись к стенке, читала учебник русского языка; сидел на подоконнике Володька Фогин — тщеславный малый с лошадиным лицом, работающий литсотрудником в отделе информации, которым командовал сам Боб Гришков — фигура важная. В дверную ручку кабинета Ивана Мазгарева была сунута свежесверстанная полоса, что значило: Мазгарев отбыл для поисков проверочного материала в университетскую библиотеку.

В промышленном отделе газеты сидели трое: заведующий отделом Яков Борисович Неверов, Борис Яковлевич Ганин и Нелли Озерова. Окрещенные Никитой Вагановым «неграми», они и на данном, так сказать, этапе созидали непреходящие ценности. Заведующий отделом создавал передовую статью под свежим заголовком «Дню рыбака — достойную встречу», Борис Ганин с кислой физиономией писал очерк о каком-то начальнике — это он-то, известный противник начальства всех мастей и рангов; Нелли Озерова, гениальный организатор авторского материала, правила очередную статью под рубрику «На экономические темы». Шариковая ручка свистела, бороздя дрянную газетную бумагу, глаза Нелли светились творческим восторгом.

— Негритосам привет! — произнес Никита Ваганов после того, как с комфортом устроился на знаменитом дерматиновом диване.— Вы знаете все и еще немножко, Яков Борисович! Скажите нам, пожалуйста, кто изобрел шариковую ручку?

— Империалисты всех мастей! — мгновенно включился в игру заведующий промышленным отделом.— Чтобы не брызгали чернила, когда пишут клеветнические статьи.

Воплощением невинности, скромной красоты и трудолюбия была Нелли Озерова, как Гретхен с немецких солдатских открыток.

...Она, любовь Никиты Ваганова длиною в жизнь, родит от него ребенка, естественно, утверждая, что это ребенок ее мужа Зиновия Зильберштейна — крупного ученого, раньше Никиты Ваганова сделавшегося москвичом, а в конце концов — академиком, как и рассчитывала Нелли Озерова. Он будет даже выступать в газете «Заря» с блестящими статьями по вопросам сельского хозяйства. Зиновий Зильберштейн — обманываемый муж — всегда был и будет отгороженным от жизни книжным червем. Сына Нелли Озеровой родной отец не оставит без помощи и поддержки на протяжении всей своей жизни. Никита Ваганов сделает маленькое усилие, и инженер Владислав Озеров — мать ему даст свою девичью фамилию — станет начальником гигантского цеха и секретарем комсомольской организации на гигантском заводе, потом — следствие второго толчка — уйдет в заместители главного инженера. В отроческие годы сын Нелли Озеровой и Никиты Ваганова будет иметь модные джинсовые костюмы, батники, дубленки, магнитофоны, прекрасное теннисное снаряжение и так далее и тому подобное. Короче, он будет жить нисколько не хуже, чем дети Никиты Ваганова от законной жены Ники Астанговой... А сегодня Никита Ваганов не знает, что будет любить Нелли Озерову всю жизнь...

— По той же причине шариковые ручки пришлись по душе Бореньке Ганину! — торжественно заявил Никита Ваганов, зная, о ком и что пишет Ганин.— Интересно знать, какого директора он сейчас снимает с работы, не брызгая чернилами? Боря, отзовись!

— Мешаешь! — лениво откликнулся полный и рыжий Борис Ганин.— Прерываешь крылатый полет моей творческой мысли, а сам, конечно, уже отписался... Ну, угробил Володьку Майорова?

Погладив себя по животу, Никита Ваганов важно ответил:

— Мы не угробили! Мы их учим жить. Мы не какой-нибудь там кровосос Ганин, который отнимает партийные билеты и сеет по сибирской земле детей, протягивающих исхудалые ручонки к своим еще вчера титулованным папам... Нелли, он зверь, этот Борис Ганин, не правда ли?

Нелли Озерова нежно ответила:

— Нет, он хороший и добрый! Боря, я — твой союзник!

Заведующий отделом Яков Борисович Неверов сказал:

— Вы не поверите, Никита, но «Я наоборот» пишет хвалебный очерк о директоре сплавной конторы...

«Я наоборот» — так Яков Борисович Неверов назвал Бориса Яковлевича Ганина; и эта кличка закрепилась за обоими.

Никита Ваганов принялся внимательно изучать полного, рыжего и низкорослого Борьку. Лицо горело, глаза пьяно влажнели, руки от возбуждения подрагивали — такого еще не бывало в обозримом прошлом. Снимал с работы директоров и всякое начальство Борис Ганин с холодной головой и стальными руками. Никита Ваганов как бы между делом продолжил:

— Боря, я знаю, кто герой! Это Александр Маркович Шерстобитов?

О! Да, да и еще раз да! На самом деле сильная личность, на самом деле глыба, на самом деле директор милостью божьей, но кто первым навел Ганина на Шерстобитова и почему навел в то же время, когда Никита Ваганов собирался в статье «Былая слава» смешать с опилками директора другой — в принципе неплохой — сплавной конторы? Была, была связь между этими двумя событиями! Ох, как легко остаться в дураках! А почему Никита Ваганов все-таки выжидал, хотя мог бы уже снимать прохладные сливки с известного одному ему дела...

— Батю-ю-ю-ю-шки энд мату-у-у-у-шки! — произнес Никита Ваганов.

Мысль работала лихорадочно, а поэтому плохо и примитивно. Не значило ли все это, что события уже происходили, а не собирались происходить, как думал пять минут назад Никита Ваганов. Машина, получается, вращалась на полном ходу, а он, Никита Ваганов, весенним теленком разгуливал по кабинетам, простаивал в нерешительности возле редакторских дверей, болтал как ни в чем не бывало с Егором Тимошиным. Преступная и расслабляющая нерешительность, интеллигентское самокопание, размягчение воли, слабинки характера, потеря бдительности — так можно пропустить и тот час, когда небо осыплют алмазы и в парках закрутятся карусели!.. Скоро, буквально через сутки, выяснится, что Никита Ваганов ничего не пропустил, ни на секунду не опоздал, он, если хотите, сделал несколько опережающих события шагов...

— Боря, дорогой Боря! — проникновенно сказал Никита Ваганов.— Лучше возьми нож и зарежь Шерстобитова, чем публиковать о нем очерк... Смилостивься, Боря!

...Именно после опубликования очерка звезду Александра Марковича Шерстобитова на некоторое время прикроет облачко, и по элементарно ясной причине. Газета с очерком ляжет утром на стол директора комбината «Сибирсклес» Арсентия Васильевича Пермитина, он прочтет его, рассвирепев до неистовости, немедленно свяжет логической нитью два события: хвалебную оду Шерстобитову и разгром Майорова — любимца. Позиция областной газеты «Знамя» обнажится, действия редактора Кузичева окажутся точно направленными. В статье о Владимире Майорове будут употреблены эпитеты «сговорчивая беспринципность», «бесхребетность», тогда как в очерке о Шерстобитове рассыпаны эпитеты: «честный», «принципиальный», «неподкупный»...

— Прогоните меня! — жалобно попросил Никита Ваганов.— Мне надо трудиться!

— Иди прочь, Ваганов! — обрадовался Ганин.— Знаешь, иди себе, иди, иди, иди...

Никита Ваганов пошел прочь из промышленного отдела областной газеты «Знамя», чтобы уже в своей комнате, хорошенько и окончательно все продумав, принять решение. Решение твердое и безоговорочное... Он поднял телефонную трубку, набрал номер:

— Здравствуй, Ника! Рад слышать тебя... Знаешь что, старушка, пожалуй, сегодня я буду свободен, и если ты не раздумала... Ах, вот как? Сегодня ты не можешь? Отлично! Значит, завтра и на прежнем месте. Лады? Целую!

И опять минут семь Никита Ваганов простоит перед дверями кабинета редактора «Знамени» В. А. Кузичева, размышляя, войти или не войти, хотя казалось, что колебаний не должно быть. А он не решался, хотя было и заделье. Но все-таки неплохо было бы знать, почему «Знамя» хвалит Шерстобитова? Пошлый детективный сюжет. Есть две версии. Первая: редактор не знает об утопе древесины. Вторая: редактор хочет смести с лица земли Пермитина, так как «панама» с лесом — дело рук только и только одного Пермитина. Значит, бюро обкома не знает о преступном утопе, а редактор Кузичев знает, и Пермитина, эту грубую скотину, он не выносит, как всякий нормальный человек. Ох, эти две версии!

Никита Ваганов медленно открыл двери редакторского кабинета:

— Разрешите, Владимир Александрович!

— Входите.

— Здравствуйте, Владимир Александрович!

— Здравствуйте! Садитесь.

Описать кабинет редактора Кузичева невозможно: нет ничего такого, что бы отличало этот кабинет от тысячи других кабинетов руководителей. Стол, второй стол для заседаний, кресло, стулья, портреты, стальной сейф, пять телефонов, запах бумаги и живых цветов в горшочках, встроенные шкафы и стеллажи... Трудно описать и самого Владимира Александровича Кузичева. Редактор. За шестьдесят, лысина, высокий и узкий лоб, темно-серый костюм, красивый галстук... И все это покрыто сизым, плотным, уже неподвижным табачным облаком, в сто раз злейшим, чем табачное облако ресторана «Сибирь». Отчаянно борясь за себя, любя газету, предпринимая порой героические усилия для того, чтобы усидеть в редакторском кресле от наседающих малоперспективных товарищей, редактор Кузичев и палец о палец не ударял для того, чтобы сберечь собственную жизнь. Он выкуривал до трех пачек сигарет «Новость» за день, лишал себя свежего воздуха, так как редко ездил на дачу, а если и ездил, то не гулял. Он питался плохо и нерегулярно, он всю свою жизнь проводил за столом, унавоженным рукописями, гранками, полосами, письмами трудящихся и прочей редакционной бумагозеей. У Кузичева от всего этого бледное лицо, хриплый голос, вялые движения.

— Владимир Александрович, статья о Майорове...

Редактор ответил:

— Я прочел статью.— Он снял очки, откинулся на спинку кресла.— Понимаете, Ваганов, меня устраивает ваша манера критического разбора...

Порывшись в бумажном засилье, редактор довольно быстро нашел статью, расправив, пробежал глазами. Веки у него посинели и отекли, руки дрожали, как с похмелья, хотя ни вчера, ни позавчера, по сообщениям редакционной молвы, Кузичев не пригубил и рюмки.

— Вы не разносите, не черните, не угрожаете. Это хорошо, Ваганов! Вы разбираете ошибки, даете оценку стиля руководства, указываете на способы исправления ошибок... Да, статья требует оргвыводов... Спасибо, Никита Борисович!

— Спасибо за поддержку, Владимир Александрович! — после паузы сказал Никита Ваганов.— Ну что же? Корабли сожжены... До свидания, Владимир Александрович!

— Счастливо, Никита!

Вот так статья ушла в жизнь, в судьбу Никиты Ваганова, в его карьеру... «Пойду дразнить секретариат!» — игриво подумал он.

Виктория Викторовна Бубенцова была ответственным секретарем газеты «Знамя», записной склочницей и сплетницей за номером два, так как первое место держала в редакции по всем показателям Мария Ильинична Тихова — женщина, по толщине равная Бобу Гришкову, но прозванная москвичами-практикантами «Электричкой» за резвость на поворотах и при торможении. Именно сегодняшняя ситуация была для Никиты Ваганова бесценным кладом, чтобы удовлетворить чувство мести, накопившееся за первые месяцы работы под началом В. В. Бубенцовой. Она изводила молодых журналистов до слез, до истерик! С ней и двух слов сказать нельзя без риска быть заподозренным: в неуважении к секретариату, в неуважении к редактору, в неуважении к социальному значению газеты, в групповщине и, наконец, в попытках стать над коллективом или в желании отделиться от коллектива и так далее. Вот такова Вика Бубенцова — тридцатилетняя стройная женщина с некрасивым лицом.

— Секретариату пламенный привет! Виталика, тебе не кажется, что дятел имеет вопросительный вид?

Бледные щеки медленно покраснели, короткие губы обнажили ряд крупных здоровых зубов, рука прижалась к острой, по-настоящему красивой груди. А глаза, глаза — электрические лампочки, а не глаза! Эх, если бы Бубенцова не боялась Никиту Ваганова, что осталось бы от него за «дятла»? — мокрое пятно на серой мостовой. Но она, дорожащая своим служебным местом больше, чем прекрасной фигурой, завербовавшей ей в постоянные любовники литсотрудника отдела партийной жизни Леванова, боялась Никиту Ваганова. Умные женщины быстро понимают, что за зверь мужчина, когда приходится сталкиваться с ним в конфликтной ситуации.

У нее был огромный, непомерно огромный нос, и Никита Ваганов, открыто оскорбляющий женщину, чистой свою совесть считать мог только потому, что Бубенцова терроризировала всю редакцию, особенно молодых и неопытных сотрудников. Она с них три шкуры сдирала, она их делала мокрыми мартышками, гоняя по пять раз в отдел и к себе из-за одной, только на ее взгляд, неудачной фразы. Она не пропускала работы молодых, она могла нарочно подпортить хороший фельетон старейшего в редакции работника — фельетониста Евг. Попова, она способна была на убийство, эта Бубенцова. Но в целом она была хорошим работником — это надо признать.

— Считаешь себя неуязвимым, Ваганов? — тихо и медленно спросила Бубенцова.— Думаешь, до тебя нельзя рукой достать? Не ошибись, Ваганов!

Он умоляюще протянул руки:

— О, лучшая из ответственных секретарей, я пламенею!

Таких, как Вика Бубенцова, полагалось слегка убивать; дятлоподобная недавно зарезала на корню очерк Нелли Озеровой, хороший очерк, написанный втайне, естественно, самим Никитой Вагановым. Бубенцова издевалась над Нелли Озеровой часа два, разбирая очерк по слову, каждое подчеркнула красным карандашом, остолбила вопросительными и восклицательными знаками, хотя наверняка узнала по стилю вагановскую руку... Впрочем, Виктория Викторовна Бубенцова не относилась к числу тех людей, которые оказали заметное влияние на дальнейшую жизнь Никиты Ваганова.

— О, лучшая из секретарей, я пламенею и падаю! С такой, как у тебя, фигурой, Вика, не работают в секретариате, ей-богу, клянусь потрохами. Будь я романистом, сказал бы: от твоей талии у меня сохнет во рту.— Он осмотрелся, показывая, что не хочет, чтобы их подслушивали.— Жизнь за ночь с тобой, а, Вика? Залобзаю твою восхитительную грудь, ей-ей! Ась?

Он мощно оскорбил Бубенцову, проехавшись по ее дятлоподобному лицу, но треп о действительно прекрасной фигуре сделал свое дело: злая, как упырь, женщина сверкала черненькими, действительно как у дятла, глазами, но таяла, видит бог, таяла оттого, что такой молодец, как Никита Ваганов, был не прочь забраться к ней в постель.

—Я работаю! — прохрипела она, искуривающая за день больше пачки сигарет.— Не мешай, Ваганов.

— Хорошо! Созидайте.

— Ваганов!

— Созидайте, созидайте!

— Иди прочь, Ваганов!

— Ушел прочь.

Легко сказать ушел, а куда? Ведь сейчас была у Никиты Ваганова минута передышки, отдыха, а главное — думанья, напряженного

думанья, когда от принятого решения зависела — ни мало ни много — вся дальнейшая жизнь,— это он прошептал себе под нос, Никита Ваганов, стоя в редакционном коридоре.

IV

Навещать редактора газеты «Знамя» журналист вагановского чина должен был каждый день, хотя этого не требовал сам редактор Владимир Александрович Кузичев. Редкостное явление, когда о редакторе областной газеты можно сказать, что он хороший человек, и при этом не покривить душой, но это было так и только так: доброжелательный и мягкий, работящий и справедливый, стремящийся к правде и добивающийся правды Кузичев. Наверное, поэтому в его приемной могла сидеть секретарша-уникум, некая Нина Петровна, сорокалетняя девственница, начисто лишенная главного качества большинства секретарш — влюбленности в шефа. Она пускала к Владимиру Александровичу Кузичеву любого человека в любое время суток и только фыркала, чтобы не стучали каблуками по хорошо натертому паркету — такая была чувствительная.

— У себя, у себя! — зловредно поджимая губы, говорила она всем.— Куда ж ему еще деваться!

Кузичев! Он сыграет выдающуюся роль в судьбе Никиты Ваганова: только человек его доброты сделает впоследствии то, чего не сделал бы ни один редактор... Никита Ваганов мило улыбнулся; ведь это были дни, когда специальному корреспонденту «Знамени» Никите Борисовичу Ваганову не спалось и не гулялось: события должны были произойти скоро, буквально на днях, и он жил напряженно, нервно, взвинченно, хотя внешне это никак не проявлялось и проявиться не могло — он был слишком сильным человеком, чтобы отпускать тормоза. Пожалуй, только слегка похудело его лицо в больших очках — доброе при очках,— пожалуй, стремительнее и энергичнее стала походка. Одним словом, назревали события, обязанные вознести Никиту Ваганова до статуса собственного корреспондента газеты «Заря»...

В утро, когда трижды прокричал петух, когда долгожданное начинало свершаться, Никита Ваганов пришел на работу поздно, в двенадцатом часу, так как всю ночь работал. Он поднялся на второй этаж, прошел по безлюдному коридору и только в конце его встретил секретаршу редактора Нину Петровну. Она ойкнула, прижала руки к груди и начала смотреть на Никиту Ваганова как на заезжую знаменитость, как, например, на киноактера Вячеслава Тихонова. Разглядывала очки и губы, подбородок и галстук, прическу и уши. Он разозлился:

— Раздеться?

Она никак на это не ответила, и Никита Ваганов понял, что на его статью «Былая слава» о директоре Тимирязевской сплавной конторы Майорове кто-то и где-то громко отреагировал. Ойканье и рассматривание Ваганова редакторской секретаршей значило: события уже начали вершиться, происходить с громадной скоростью, статья «Былая слава» — вот первая ступенька Никиты Ваганова вперед и вверх! Наконец секретарша Нина Петровна протяжно и восхищенно сказала:

— Владимир Александрович просил зайти, как придете.

Редактор «Знамени» монотонно расхаживал по кабинету; это не значило вовсе, что он нервничал,— Владимир Кузичев вообще любил разгуливать по кабинету; сидящий без воздуха и прогулок, он разминался, гуляя по ковровой дорожке.

— Садитесь, Никита Борисович! Есть разговор.

Собственно, неизвестно, что произошло бы с Никитой Вагановым, если бы редактор Кузичев обдуманно и ловко не начал борьбу с директором комбината Пермитиным. Пермитин надоел, он сидел в печенках, он мешал области работать и жить, а область была типично сибирской, лесной, и газета «Знамя» писала преимущественно о лесной промышленности, не зная, как угодить самодуру Пермитину: хвалишь — захваливаешь, критикуешь — мажешь дегтем. Бог знает, чего хотел от газеты невежественный директор комбината, и терпение Кузичева в один прекрасный день и час лопнуло. Сейчас он сказал:

— Пермитин хочет выставить статью о Майорове на бюро обкома, понимаете, а? Каково, а?

Никита Ваганов спросил:

— На каких же основаниях?

Кузичев улыбнулся.

— Вы льстите Пермитину.

Редактора следовало понимать просто: для Пермитина основания не существовали, для него ничего не существовало, кроме собственной ярости, ярости быка, увидевшего красную тряпку. Он на бюро обкома партии впервые потерпит поражение, впервые кресло под ним пошатнется и заскрипит; этого и хотел, этого и добивался редактор «Знамени» Владимир Кузичев — человек хороший.

— Я думаю, что на заседание бюро обкома нужно пойти и вам, Никита Борисович. Я уже договорился.

— И когда это произойдет?

— Через неделю, в среду! Пермитин оперативен. Начало в девятнадцать ноль-ноль... И вот что, Никита Борисович, давайте-ка еще раз пройдемся по статье. Возможно, вам не только придется отвечать на вопросы, но и держать при себе за-щи-ти-тельную речь. Минуты на три. Понимаете? Написать надо коротенько.

— Угу.

Кузичев сел, взял газету со статьей, молча — это заняло много времени — в сто пятый раз перечитал ее и уж после этого с ухмылкой сказал:

— Бронированная статья, непробиваемая!

Восторженное отношение редактора Кузичева к спецкору пугало Никиту Ваганова, как только он представлял лицо Кузичева, недоуменно переспрашивающего: «Вы хотите уйти из нашей газеты?»

— И все-таки пройдемся по статье, Никита Борисович. Есть одно уязвимое место. Вы пишете, что в конце апреля Майоров работал методом штурмовщины, бросил на лесосеку даже конторских служащих, но вы-то знаете, что десять дней Майоров бюллетенил. Так?

— Так, Владимир Александрович, но имя Майорова в мартовских-апрельских событиях и не упоминается. Плох тот руководитель, которого нельзя заменить.

— Совершенно правильно! Но мы с вами понимаем, а он... Слушайте, я порю дичь! Вы правы: козырь заменимости у нас в кармане!.. Поехали дальше. Как мы ответим на обвинения по тону и содержанию последнего абзаца, где читаем: «Есть руководители и руководители, есть выполнение и выполнение — неужели товарищ Майоров не чувствует разницы? Или былая слава зашорила ему глаза? Кстати, руководству комбината надо разобраться, как все-таки был выполнен годовой план отстающим предприятием». Я хотел это выбросить еще в гранке, но... пожалел.

Они сейчас, когда Кузичев понял, что Ваганов все знает, были сообщниками, заговорщиками, они одинаково не любили Пермитина, не хотели, чтобы такой человек возглавлял лесное дело в Сибирской области, они боролись с невежеством, волюнтаризмом, диктатом, произволом — бог им в помощь. Моментов дружеского отношения редактора к специальному корреспонденту в практике было много, но, пожалуй, сегодняшний день был наивысшей точкой сближения таких разных людей, как Кузичев и Ваганов. Они и дальше пойдут рука об руку в борьбе с Пермитиным, который, естественно, легко пасть не захочет.

— Не надо отказываться от последнего абзаца!— насмешливо сказал Никита Ваганов.— Вы меня за дурачка считаете, Владимир Александрович, если думаете, что у меня нет в заначке факта.

— Какого факта?

— О зазнайстве Майорова.

— Ах, вот как! Расскажите.

Никита Ваганов зачем-то наморщил лоб, подумал и сказал:

— На февральской планерке Майоров заявил: «Нам все простят — мы неприкасаемые!»

— Он так и сказал?

— Так и сказал, дурачок! Его предупредил главный технолог о неподготовленности лесосек, главный механик настаивал на необходимости профилактики, начальник производственного отдела говорил о лесовозной дороге, а он, дурачок: «Мы — неприкасаемые!»

Редактор Кузичев потирал руку об руку.

— Кто вам об этом рассказал?

— Вы лучше спросите, кто мне об этом не рассказывал? Майоров зарвался, что там говорить. Молодой! Неопытный!

Владимир Яковлевич Майоров не был близким другом Пермитина, он «не носил за ним горшок», как это делали директора некоторых сплавконтор. Володька Майоров, с которым Никита Ваганов игрывал в преферанс, жил широко и независимо, но вот Арсентий Васильевич Пермитин барской прихотью любил Майорова, покровительствовал ему, считал своим поклонником — тем хуже для Пермитина.

— Нет, вы определенно молодец, Никита! — искренне восхитился редактор Кузичев.— Вам палец нельзя класть в рот.

— Спасибо!.. Знаете, Владимир Александрович, а ведь у меня есть и еще факты по последнему абзацу.

Кузичев предостерегающе поморщился:

— Нэ трэба больше сегодня фактов, Никита! «Мы — неприкасаемые!» — этого вполне достаточно... Как очерк о Клавдии Манолиной?

— Готов. Но я его не буду сдавать в секретариат.

— Это почему, Никита Борисович?

— Устал от Бубенцовой. Я на нее трачу больше сил, чем на сам очерк, Владимир Александрович. Морщится, кривится, придирается к каждой запятой, не выпускает из рук красный карандаш. А я не люблю красный карандаш! Вот вы работаете простым карандашом! — Никита Ваганов замолк, усмехнулся, вдруг стал серьезным.— Ваш карандаш при случае можно и подтереть резиночкой, а от ее карандаша нет спасения — протрешь бумагу до дыр. Короче, не отдам очерк в секретариат! Он слишком трудно мне достался. Пардон! Мерси! Спасибо!

Никита Ваганов не упустил случая для осуществления давнишней мечты о привилегии сдавать материалы в набор без секретариата: естественное стремление для такого журналиста, как талантливый и работоспособный Никита Ваганов. Пока редактор молчал, сосредоточенно разглядывая шариковую ручку, Никита Ваганов повторил:

— Лучше сожгу очерк о Клавдии Манолиной, чем отдам Бубенцовой на издевку и поругание. Терпенье лопнуло.

Редактор Кузичев рассеянно ответил:

— Сдавайте сами очерки в набор, Никита! — И вдруг воодушевился: — Вообще я вас отделяю от секретариата. Теперь вы спецкор не при секретариате, а при ре-дак-тора-те! — Он вызвал к жизни секретаршу Нину Петровну.— Товарищ Мишукова, записывайте.

Пока редактор Кузичев диктовал приказ по редакции, Никита Ваганов думал не о бюро обкома партии, а о Нике, своей будущей жене Нике, и Нелли Озеровой. Какие они все-таки разные, абсолютно разные! Сейчас Ника Астангова была обеспокоена состоянием здоровья отца, тревожилась и переживала, не подозревая, что объясняется все просто: отец замешан в афере с утопом леса. Что касается Нелли Озеровой, то она процветала после того, как Никита Ваганов написал за нее очерк, хороший и даже чуточку невагановский, чтобы не заметили. В редакции, понятно, руку Ваганова два-три человека знали, но на летучке Нелли Озерову хвалили напропалую, возносили до небес за наконец-то прорезавшийся божий дар изображать и отображать.

...Впоследствии, когда Нелли Озерова станет работать в газете «Заря», Никита Ваганов за любовницу очерки писать не будет — не оттого, что пожалеет время, а потому, что Нелли Озерова за годы адского труда наловчится делать удобоваримые вещи. Бесталанная, но умная, она овладеет всей системой газетных штампов, мало того, будет использовать их умело, чисто, так, что комар носа не подточит. У нее будут две-три истинные, неподдельные удачи, которые и позволят впоследствии редактору «Зари» Ваганову сделать ее редактором отдела писем, но не членом редколлегии. Он этого не допустит...

— Не забудьте о бюро, вернее, о дате. В среду, в среду без четверти семь мы выезжаем,— сказал редактор Кузичев.— Прошу вас, Никита Борисович, быть точным, а теперь вы свободны.— Это прозвучало слишком сухо для усилившегося сообщничества, и редактор добавил: — На белом коне, на белом коне, Никита!

И вот это нечаянное «на белом коне» в устах редактора, не имеющее никакого отношения к ностальгическому стремлению Никиты Ваганова вернуться в Москву, словно подстегнуло его. Он решительно вынул из кармана сложенные вдоль несколько страниц и протянул их редактору газеты «Знамя».

— Перелистните на досуге, Владимир Александрович.

V

В следующую среду, когда до заседания бюро обкома партии оставалось несколько часов — время длинное, огромное, если чего ожидаешь, Никита Ваганов, смелый до безрассудства молодой человек, хотевший или всего, или ничего, не ждал, пригвожденный к редакции, когда начнется бюро обкома. Все отпущенное ему время Никита Ваганов провел с громадной пользой. Во-первых, он воспользовался самостоятельным правом сдавать материалы в набор, для чего быстренько спустился в типографию, нашел знакомого линотиписта Ваську, попросил его набрать очерк о Клавдии Манолиной немедленно, сейчас же, пообещав «на бутылку»; напевая, поднялся наверх и отправился прямо-прямехонько в кабинет собственного корреспондента «Зари» Егора Егоровича Тимошина, у которого не был давно, примерно дня три. И не потому, что не хотел видеть Тимошина, а потому, что заставлял себя не заходить в тимошинский странный кабинет — голый, пустой и гулкий, не похожий ни на какие другие кабинеты, а похожий только и только на самого Егора Тимошина, человека спокойного, медленного, иногда увлекающегося. Вот эту черту — способность увлекаться — надо было всегда иметь в виду, когда речь заходила об Егоре Тимошине.

— Здорово бывали, Егор!

— Привет, Никита! Восседай на диван, но бережно: торчит какая-то пружина.

Пружина торчала давно, полгода, но Тимошин есть Тимошин. Он пишет, ох, пишет, роман на историческую тему, роман якобы о заселении Сибири, якобы с великолепным выходом в настоящее, то есть имеющий параллель с великими сибирскими стройками, преобразованием Сибири,— и все в таком же духе! Но вот пружина из дивана высовывалась давно, впрочем, может быть, так и полагается жить романистам, воспевающим прошлое: медленно, созерцательно, философски-отстраненно от всяческих пружин и прочей мелочи.

— Делать мне не хрена, вот я и забежал на огонек,— сказал Никита Ваганов.— Запросто можешь выставить за дверь, пойду шакалить по другим кабинетам.

Егор Тимошин укоризненно сказал:

— Вместо того, чтобы шакалить, писал бы очерк для «Зари». Где твой старец Евдоким — паромщик и солдат?

Никита Ваганов ударил себя кулаком по груди, затем полоснул ладонью по горлу.

— Гад буду!

И вынул из кармана пиджака очерк, напечатанный на тонкой папиросной бумаге и озаглавленный лихо — «Соединяющий берега».

— Посиди, Никита! — обрадовался Егор Тимошин. — Я немедленно прочту.

— Вот этого ты не сделаешь! — ответил Никита Ваганов.— Терпеть не могу, когда при мне читают Никиту Ваганова. Я буду страдать. Ты этого хочешь, а, Тимошин?

— Я этого не хочу, Ваганов!

— Тогда пойдем по линии легкого трепа... Начинаю! Боб Гришков отмочил номерочек.

— Что же он совершил?

— Кощунство! Проспал ночь на чужом диване. Мало ему дивана в отделе информации, так они, забредши в открытый кабинет мистера Левэна, легши на диван, проспавши до прихода мистера. Те были пришедши в отчаяние.

— Отчего?

— Боб Гришков проспавши на рукописях. Они их сунувши под головку и на них проспавши. Скандал! Мистер Левэн, надо сказать к их чести, еще не пожаловавшись редактору, но собиравшись.— Он плотоядно потер руки.— Предвижу ве-е-е-е-селую редколлегию! Пойдешь? Я предупредю.

— Брось трепаться, Никита!

— Я сроду не треплюсь. Чистая правда. Проспавши на рукописях, но не опи́савши, что случается, как говорят.

Егор Тимошин возмутился:

— Клевета!

— Совершенно с вами согласен, но... Я в порядке буйной фантазии. Это разрешается.

Почему-то Никиту Ваганова именно во время этого дурацкого

трепа так и подмывало спросить, верно ли, что Егор Тимошин пишет исторический роман о заселении Сибири. По внешности Егора Тимошина версия о романе была правдоподобной — фундаментальный, несуетный, серьезный. Этот загадочный роман еще долго будет фигурировать в слухах и сплетнях об Егоре Тимошине, но правда выяснится поздно, очень поздно. Написать роман о заселении и освоении Сибири — об этом можно было только мечтать, так понимал дело Никита Ваганов. Он насмешливо продолжал:

— У мистэра Левэна погибши передовая статья с броским заголовком «Организационной работе — новые высоты!» Сказывали, что потерялся абзац агромадной важности. Боб Гришков его заспал, как мать засыпает робеночка. Скандал!

Егор Тимошин хохотал и вытирал слезы. Он был охоч посмеяться, и Никита Ваганов не давал пощады собкору «Зари», глушил его, как сонную рыбу толом.

— Скандал! Редактор Кузичев потребовавши передовую статью, а абзац корова языком слизнула, а мистэр Левэн, вложивши в абзац всю душу, его восстановить не могут. Оне не помнють, чем кончается фраза: «Организовав организационную работу так, что работа находится на высоте, необходимо...» Так вот, они не помнють, что «необходимо»... Редактор им пригрозивши. Редактор им сделавши четыреста сорок третье серьезное предупреждение.

Никита Ваганов наслаждался трепом.

— Никита, ох, Никита, ты, конечно, все врешь, Никита!

— Кто врет? Я вру! Ах, оставьте меня вдовой! Счас позову Боба, и они сами будут рассказавши, как заспали абзац.— Никита Ваганов вдруг сделался важным, надулся индюком.— Боб Гришков знают, какой это был абзац.

— Ох, Никита, ох, Никита! Как, ка-а-а-к кончалась фраза?!

— Они сложно кончавши: «...необходимо, преодолевая трудности, находиться на высоте с пониманием того, что высота требует постоянной, кропотливой, тщательной, повседневной работы». Уф! Мы вспотевши от напряжения. Мы сказавши, как кончается фраза мистэру Левэну, а оне говорят: «Опрощаете! Было значительнее и шире! Упрощаете!» Скандал!

Это был предпоследний раз, когда Никита Ваганов хорошо и легко чувствовал себя в кабинете Егора Тимошина. Короткое время спустя он уже не будет хохмить и забавляться, его будет терзать и заживо пожирать совесть — эта ненужная приставка к человеческой сущности. Он будет мучиться, хотя мог бы не мучиться, если бы призвал на помощь элементарный здравый смысл, разложил бы случившееся на полочки простейшей логики, но он будет страдать больше Егора Тимошина, несравненно больше, и думать о том, что Раскольниковы до сих пор бродят по Руси, переживающей научно-техническую революцию.

Сегодня Никите Ваганову было легко и даже весело в кабинете, странном кабинете Егора Тимошина, так похожем на своего хозяина.

— Ты все наврал, Никита, ты все наврал, да, Никита?

За пятьдесят было Егору Тимошину, но он иногда был ребенком, наивным ребенком — приятная черта, дьявол его побери! И смеялся, как он смеялся! Любо-дорого было хохмить на слуху у такого человека, одно сплошное удовольствие, наслаждение. В своем рациональном, давно обдуманном, решенном и выверенном стремлении вперед и вверх Никита Ваганов чуть ли не решающую роль отводит Егору Тимошину, но он заранее казнится, страдает и кается. Впрочем, в иные минуты и часы Никите Ваганову кажется, что он нарочно преувеличивает свое преступление, чтобы сладостно кататься слое-

ным пирожком в масле собственной честности. Как здесь не вспомнить Достоевского!

— Все чистая правда, Егор! — сказал Никита Ваганов.— Все правда, кроме содержания фразы. Она чуточку иная, но, поверь, уровень такой же. Он ведь бездарь, Леванов!

Это было неправдой. Василия Семеновича Леванова, литературного работника отдела партийной жизни, бездарью назвать мог только Никита Ваганов — блестящий журналист. Да, по сравнению с Никитой Вагановым литсотрудник здорово проигрывал, но был толковым журналистом, и вот тот факт, что Никита Ваганов считает Василия Леванова бездарью, будет опасным для первого. Это выяснится очень скоро, а пока Никита Ваганов держит Леванова в бездарях, не считает его и за человека, высмеивает и разыгрывает. Это ошибка. Позднее Никита Ваганов получит веский удар от «бездарного» Леванова и на всю жизнь запомнит урок: нет людей неопасных! Все зависит от места, времени, действия. Иногда под серой оболочкой кроется такая центростремительная сила, что приходишь в изумление: «Да не может быть?!» А вот может быть и даже очень может...

— Я прочту твой очерк, Никита! — отсмеявшись, сказал Егор Тимошин.

Егор Егорович Тимошин очерки писал редко, но по-своему неплохо. Это были только исторические очерки, очерки, когда факты и фактики из жизни какого-то человека составлялись в картину, иногда впечатляющую. Одним словом, Егор Тимошин охотнее писал все что угодно, кроме очерков о современности, и Никита Ваганов здесь тоже считал себя осчастливленным. Мог же ведь работать собственным корреспондентом «Зари» не Тимошин, а какой-нибудь сильный очеркист, который не пустил бы на страницы газеты Никиту Ваганова. А Никита Ваганов за год с хвостиком опубликовал в центральной газете четыре очерка, по словам Егора Тимошина, принятых редактором «Зари» под аплодисменты. В газете «Заря» теперь хорошо знали Никиту Ваганова, а очерк о паромщике, как и предполагал Никита Ваганов, ожидал триумф. Старик Евдоким Иванович был на фронте разведчиком, совершил дальний рейс в тыл врага, заслужил большой орден, счастливо окончил войну — вернулся даже нераненым — и о нем забыли. Не каждый день встречаются Герои Советского Союза, получающие награду через двадцать лет после войны... Так и произойдет, очерк будет встречен восторженно, пойдут многочисленные письма трудящихся, очерк откроет тоненькую, пока еще первую книгу Никиты Ваганова, которая выйдет в издательстве «Зари» под заголовком «Соединяющий берега», и эта книжка будет тоже встречена хорошо — небольшой рецензией на страницах самой «Правды»...

— Читай очерк, Егор, а я поплетусь. У меня сегодня какое-то игривое, жеребячье настроение.

В предвкушении глобальной удачи настроение было легким, хорошим, почти восторженным, и, выйдя из кабинета Тимошина и встретив в коридоре Василия Леванова, литературного сотрудника партийного отдела, Никита Ваганов прореагирует на него радостно, то есть возьмет мистера Левэна за локоток и скажет:

— Рад видеть вас, Василий Семенович! Чы-ри-звы-чай-но! Как дельишки?

Человек с бледным лицом, с залысинами на высоком челе, тонкий, стройный, прекрасно играющий в пинг-понг и способный над одним газетным материалом работать месяц, ответит спокойно и доброжелательно:

— Порядок. А ты чего такой возбужденный, Никита? Уши пылают.

Никита Ваганов досадливо махнет рукой:

— Засиделся у Тимошина. Обхохотались.

После этих слов они разойдутся, разойдутся без всяких осложнений, каждый в свою нору-кабинет, и Никита по-прежнему не будет подозревать, какую роль сыграет в дальнейших событиях Василий Леванов.

VI

И было лето, жаркое лето. Расплавился и прогибался под каблуками асфальт, никли тополя, прятались воробьи и сороки; на решетках парка лежал тусклый отблеск солнца, троллейбусы задыхались, асфальт под их колесами липко шелестел, а небо было таким безоблачным, таким белесым, что троллейбусные провода не виделись, исчезли. Было жарко, очень жарко, а вот Никита Ваганов и в ус не дул. Они — Никита Ваганов и его невеста Ника Астангова,— рассчитав время до заседания бюро, уехали на пляж, вынули из багажника «Москвича» небольшой брезент, закрепили его на колышках и лежали в сладостной тени, подремывая, изредка обмениваясь словами.

На фигуру Ники смотрел весь пляж, да и было на что посмотреть, черт побери! Может быть, лицо Ники, восточное лицо, было на любителя, но фигура — юнцы обмирали и переставали дышать. Итальянской была у нее фигура, вернее такой, какие любят итальянские кинорежиссеры и рыщут в поисках младых красавиц, так как южные женщины фигуру сохраняют недолго. Точно так же произойдет и с Никой—она скоро располнеет, здорово располнеет! А жаль! Нелли Озерова до старости сохранит тонкую талию, юную грудь и детородные бедра!

— Тебе не жарко, Никита?

— Мне хорошо, Ника.

Никита Ваганов лежал на спине, закрыв глаза, руки сложив на груди, согнув колени. Он ни о чем конкретном не думал, но в то же время думал, что ему действительно хорошо, по-настоящему хорошо лежать подле Ники, от фигуры которой не отводил глаз весь пляж.

— Надо еще раз выкупаться,— лениво сказал он.

— Позже! — откликнулась Ника.

У нее был красивый голос — низкий и темный, как бы ночной, чуточку душный. Красивая фигура, красивый голос, красивое — на любителя — лицо, доброта, хозяйственность, мягкость — все это было у Ники, состояло при ней, и Никита Ваганов уже три раза за неделю думал о том, что ему надо не размышлять, а просто взять да и жениться на Нике Астанговой, что лучшей жены он не найдет, да и искать не станет — занятой человек. Что касается Нелли Озеровой, то она от своего верного и перспективного «господина научного профессора» никогда не уйдет — тоже неплохо при условии, что Нелли останется верной и долговременной любовью Никиты Ваганова, такой длинной, как его жизнь.

— Почему бы нам не искупаться сейчас, Ника?

— Давай искупаемся.

Он хорошо улыбнулся. ...Вот так, со временем, будет всегда, то есть Ника пойдет навстречу всем его желаниям, станет делать это неизменно; правда, сначала взрывы будут — редкие, но зато громоподобные, а дело кончится рабским, восточным, полным подчинением. И она будет ощущать себя счастливой женой, по-настоящему счастливой женой, вплоть до того дня, когда профессорский синклит не объявит свое трусливое решение, не имея привычки общаться с такими людьми, как Никита Ваганов. Ему не нужна была сладкая ложь, он привык знать о себе правду, правду и только правду, какой бы она ни была...

Безвозмездно светило солнце, катилась на север Сибь, синел, или, вернее, зеленел кедрач на горизонте, серели башни хлебного элеватора, похожего на обойму патронов,— все было на месте, и жизнь била ключом, била мощным ключом: хотелось обнять сразу и башни, и кедрачи, и стальную излучину реки, и речной порт с его реактивным гулом, и спрятавшееся в белесости от самого себя солнце...

— Вот что, Ника, вот что! — тихо сказал Никита Ваганов.— Давай, как говорится, оставим факсимиле в загсе. А?!

Сначала показалось, что Ника не поняла слов Никиты Ваганова, пропустила их мимо ушей, но Ника, вздохнув, тихо сказала:

— Мне будет трудно с тобой, Никита, очень трудно! Нам обоим будет нечеловечески трудно.

Он тоже помолчал, затем спросил:

— Однако идея здоровая?

Она ответила:

— Конечно. А ты уверен, что любишь меня?

— Да. Я тебя люблю. А ты?

— Я люблю тебя, Никита, люблю и согласна хоть завтра...

— Завтра невозможно, Ника. Теперь брачующимся дают время одуматься, но заявление мы подадим завтра.

Полчасика походили они по берегу Сиби, на них смотрели еще охотнее и настырнее прежнего. Но их ждала неприятность: пока они гуляли, украли вельветовые туфли Никиты Ваганова. Сначала он рассердился, потом захохотал, представив, как пойдет босым по коридору своей коммунальной квартиры. Улица ему была не страшна: будущая жена сидела за рулем собственного «Москвича», купленного не на свои и не на отцовские деньги, а на бабушкины. Бабушка Ники много лет складывала на сберегательную книжку довольно большую пенсию, ведя хозяйство сына Габриэля Матвеевича Астангова, кормилась и одевалась на деньги сына, так как была восточной матерью, а он восточным сыном. Все сбереженные деньги бабушка отдала внучке, она их и копила для нее, для ее семейной жизни, для любой ее прихоти.

— Украли — хорошая примета! — сказал Никита Ваганов и охнул: — Мамочка родная, а где мои часы, мои замечательные часы «Победа» еще школьных времен?

Часы тоже украли. Никита Ваганов совсем развеселился. Упал спиной на песок, смеясь беззвучно, заявил, что бог — молодец. Часы давно надо было сменить, туфли жали и мозолили пятку. Воры, говорил Никита Ваганов, круглые идиоты, если увели часы, за которые не дадут и на бутылку. А туфли, хоть и венгерские, но самые дешевые из всех венгерских туфель!

— Что украли — хорошая примета! — повторял восторженно Никита Ваганов.— Ах, куда смотрели товарищи воры? Почему они не увели предельно длинную юбку моей будущей жены? Ой! Я, кажется, не ахти как тактичен? Это предельно плохо для молодого мужа, с которым жене будет и без того трудно...

...Эта глупышка будет считать себя счастливой, очень счастливой женой, когда жизнь Никиты Ваганова, крутые горки и глубокие ямы укатают ее до полного равновесия, до того, что она будет часто и искренне говорить о своем семейном счастье, но это произойдет не скоро, не сразу, а постепенно — камешек за камешком, шаг за шагом... Сейчас Никита Ваганов долго резвился по поводу краденых ве-

щей, так и этак поворачивал тему, пока не обыграл ее полностью. Затем он лег на песок животом, взял в зубы травинку и многозначительно замолчал, длинно и важно посматривая на будущую жену.

Ника Астангова еще только начинала понимать, что ей сделали предложение, что она ответила согласием на это предложение, и ей скоро придется менять фамилию, привычки, пристрастия, быт, еду и питье — все менять ради мужа, Никиты Ваганова, человека требовательного в крупном и совершенно безразличного к мелочам быта, то есть, в сущности, удобного мужа. Это поймет не сразу, а сейчас продолжает думать, как ей трудно и тяжко придется на посту жены Никиты Ваганова. Это было видно по ее застекленевшим глазам и тоненькой складочке на лбу.

VII

За час до бюро обкома партии Никита Ваганов без всякой причины, просто так, на огонек, зашел в промышленный отдел газеты «Знамя», где все были на местах. И Яков Борисович Неверов, и Борис Яковлевич Ганин, и Нелли Озерова. Он сел на диван, мрачно сложил руки на груди и стал исподлобья смотреть на мрачного Бориса Ганина, который был мрачен давно и глобально, а здесь еще и накладка: его крупный и сильный очерк о директоре сплавконторы Александре Марковиче Шерстобитове до сих пор лежал набранным в секретариате. Редактор Кузичев не ставил его в номер и не мог поставить раньше, чем отзаседает бюро обкома по статье Никиты Ваганова «Былая слава», рассказывающей об ошибках и упущениях директора Владимира Яковлевича Майорова. Редактор замариновал очерк о Шерстобитове, попридержал, чтобы дать сразу же после битвы за статью «Былая слава»,— почему такую детскую головоломку не мог решить симпатичный парнюга Борис Ганин, с которым у Никиты Ваганова, как и с Бобом Гришковым, были славные отношения, не обремененные признаниями и дружескими излияниями, необходимостью повседневно поддерживать связь

— Моменто мори! — провозгласил Никита Ваганов.— Латинское изречение, которое можно перевести как «Мойте руки перед едой!» Не слышу в ответ обычного бодрого смеха товарища Бориса Яковлевича, а также Якова Борисовича. Варум? Переводится как «Не горюйте», очерк об Александре Шерстобитове пойдет. Это я понял давно. Очерк пойдет, но не сразу, хотя...— Он поджал губы.— Хотя — шеф может дать срочную команду опубликовать по-ло-жи-тель-ный о ч е р к о человеке п о л о ж и т е л ь н о м. Ит ыз? Что означает: «Меня нет среди вас!»

На заседании бюро обкома, где одним из вопросов было обсуждение выступления областной партийной газеты по директору Тимирязевской сплавконторы Майорову, царили покой и порядок, было так тихо и так шелестели вентиляторы, что вспоминались пульты управления крупными электростанциями. Первый секретарь обкома, который вскоре должен был уходить на другую работу,— сменит его Сергей Юрьевич Седлов,— этот первый секретарь поступил неожиданно: попросил первым выступить автора статьи Никиту Ваганова, хотя полагалось бы выслушать претензии кандидата в члены бюро обкома товарища Пермитина, по настоянию которого вопрос о выступлении газеты был вынесен на бюро.

В зале заседаний зигзагом стояли маленькие столики, накрытые стеклами, громадные окна были вымыты до сияния, пахло мастикой и коврами. На Никите Ваганове были светлые брюки, черная рубашка, кожаная куртка, уже модная в то время среди писателей, журналистов, художников, одним словом, служителей муз. Он поднялся, посмотрел на редактора Кузичева — редактор одобрительно смежил ресницы — и перевел взгляд на Пермитина, красного и надутого от злости, разгневанного тем, что первое слово было предоставлено не ему, Пермитину. Ох, он был еще предельно опасен, какая толстая стопа бумаги лежала перед ним, как переглядывался он с еще верными ему работниками обкома! «Бог не выдаст, Пермитин не съест!» — зло подумал Никита Ваганов, чтобы быть на самом деле злым и нахальным,— иначе пропадешь, пропадешь иначе, мальчишечка! Ему нравилось, как члены бюро смотрят на него, такого молодого и непривычно одетого для строгой атмосферы заседания. Они, члены бюро, смотрели мягко, понимающе и одобрительно: «Ничего, ничего! Не надо робеть, и все будет хорошо!» Пермитина не любили в обкоме.

— Владимир Яковлевич Майоров — хороший директор и человек! — позорно пошатнувшимся голосом произнес Никита Ваганов.— Если бы он не был таким, вряд ли следовало писать статью о теперешнем, наверняка временном отставании тимирязевцев. За крупные ошибки его надо было бы просто снимать.— Он простецки улыбнулся.— Понимаете, я верю в Майорова! — Он прижал руки к груди чисто мальчишеским жестом.— Знаете, товарищи, мне больше нечего сказать...

Редактор Кузичев ясно улыбался, благодарный Никите Ваганову за то, что именно так и надо было говорить, так и надо было вести себя на заседании бюро обкома автору статьи о Владимире Майорове. Одновременно с этим он впервые подумал о Никите Ваганове как о предельно ловком и расчетливом человеке. И актер он был превосходный: чего стоили руки, по-мальчишески прижатые к груди. Когда первый секретарь решил выслушать Пермитина, кандидат в члены бюро повел себя глупо и непристойно, как выражаются китайцы, потерял лицо. Разгневанный, ненавидящий всех и вся, взвинченный, он начал с того, что объявил статью клеветнической. Как только он употребил это слово, редактор газеты «Знамя» Кузичев откинулся на спинку стула, зевнул и закрыл глаза — отдыхал.

Пермитин сказал:

— Статья клеветническая и несвоевременная для данного момента лесозаготовок! Что это получается, товарищи? Областная партийная организация перешла на новый этап борьбы за перевыполнение плана, а партийная газета критикует лучшего директора сплавконторы.— Он вскинул руку.— Да! Значительно перевыполнив план прошлого года, тимирязевцы сейчас временно отстали, но они имеют громадные производственные ресурсы и к концу года займут одно из первых мест. Да! Да! — Он повернулся к редактору Кузичеву.— Вы неправильно понимаете роль партийной печати, товарищ Кузичев! Печать существует не для того, чтобы ставить палки в колеса, не для того, товарищи члены бюро...

И потекла словесная жижа, потекли призывы и заклинания, обвинения и упреки в несуществующих грехах — поток демагогии, лжи и патоки. Пермитин истекал словами, нескончаемыми фразами, и члены бюро, и Никита Ваганов слушали его с молчаливым, тщательно затаенным отвращением, с желанием, чтобы Пермитин провалился в тартарары, исчез, испарился, растаял в свежем воздухе, что притекал в распахнутые окна. Он закончил через семь минут, а показалось, что говорил Пермитин день, сутки, месяц, вечность...

...Много лет спустя, вспомнив выступление Пермитина, его рычащий голос, размахивание руками, вспомнив, как он облизывает губы,

как жадно пьет воду и как смотрит на окружающих, Никита Ваганов, внутренне веселясь, найдет способ разделаться с одним из своих заместителей, которого долго, очень долго не мог убрать, хотя заместитель был объективно вреден для газеты «Заря». Его Никита Ваганов заставит выступить вместо себя в отделе пропаганды и агитации ЦК партии, и этого будет вполне достаточно, чтобы в отделе схватились за голову: «Кого мы поддерживаем?» Вообще, надо заметить, что Никита Ваганов оснастится таким опытом и таким знанием жизни, работая в газетах «Знамя» и «Заря», что ему и черт с клюкой не будет страшен. Все, что происходит с ним сейчас, в будущем используется больше чем полно. И когда он впервые услышит «прагматик» по отношению к себе, он будет вспоминать о Сибири, о прекрасной молодости...

А сейчас Пермитин закончил выступление, выпил еще стакан воды, и только после этого тяжело шмякнулся на свое постоянное место. Первый секретарь обкома партии после длинной паузы спросил:

— Не может же быть статья целиком и полностью клеветнической? Может быть, вы укажете конкретику, Арсентий Васильевич?

— Мелочиться не стоит! — ляпнул Пермитин.— В статье написано, что Майоров руководил штурмом, а он в это время был на бюллетене. Не вранье?

— Нет! — быстро ответил Никита Ваганов.— Он был болен, но не выпускал из рук телефонную трубку. Это раз. А во-вторых, штурмом бестолково руководила вся дирекция. Плох тот руководитель, у которого плохие помощники.— Никита Ваганов повысил голос, и он хорошо звучал.— Скажу вам больше...— Он сделал паузу, посмотрел на редактора Кузичева, который тоже не знал, какой еще факт против Майорова приберег Никита Ваганов. — Скажу вам больше, товарищ Майоров с температурой тридцать восемь выезжал на лесосеку.

Первый секретарь обкома партии задумчиво глядел в угол зала. Он уезжал из области, решение о его переводе уже состоялось, но он вел бюро обкома и должен был вести его дальше, хотя все было ясным, как божий день. Первый секретарь обкома сказал:

— Считаю реплику товарища Ваганова серьезной. Что еще, Арсентий Васильевич?

— Я же говорил: вся статья клеветническая!

— Как видите, не вся!

— Мелочи! Пустяки! Бюро должно прислушаться к моей основной мысли. Не время для таких статей, не вре-е-е-мя! Мы бьем по рукам лучших работников — это что-то не похоже на партийные установки!

— Ну, а по существу?

— По существу клеветническая статья!

— Ну, Арсентий Васильевич, полно же вам! Нужны и факты.

— Фактов сколько угодно! Почему не сказано, что тимирязевцы выполнили план по сортиментам?

Первый секретарь посмотрел на Никиту Ваганова.

— План по сортиментам не выполнен,— сказал Никита Ваганов и неожиданно для себя сделал то, что останется в памяти членов бюро обкома. Он еще раз повернулся к Пермитину и улыбнулся по-доброму, открыто и ясно.— Арсентий Васильевич, мы с вами не в равных положениях! Вы — созидаете, я — уничтожаю. Ну, ведь действительно легче набрать полную суму обвинений, чем кошелек — добра.

«Умный парень! Славный парень!» — вот что читалось на лицах членов бюро обкома, дружно повернутых к Никите Ваганову, и сразу после этого Арсентий Васильевич Пермитин начал притихать: понял наконец-то, остолоп проклятый, что никогда не взять ему крепость — редактор Кузичев плюс спецкорреспондент Никита Ваганов. Именно с этой минуты и началась езда под гору, медленное, но верное сгибание в сущности несгибаемого Пермитина...

Так оно и было. Именно с бюро обкома партии, с этой минуты начнется отсчет времени, положенного Пермитину судьбой на партийных весах. Вместо шага вперед сделал шаг назад, и покатился вниз, вниз, вниз, тогда как Никита Ваганов пойдет вперед и вверх, и точкой отсчета его побед можно, пожалуй, считать вот это заседание бюро обкома.

В редакцию они шли пешком, редактор и Никита Ваганов, и последнему — железный характер! — удавалось делать вид, что он и не слышал о девятнадцати страницах текста, которые он отдал редактору.

— Варум? Что значит: «Ночью все кошки серы»,— бормотал Никита Ваганов.— Второй перевод: «Не ходите, девки, замуж...» Ит ыз! Что значит: «На чужой каравай свой рот не разевай!»

Редактор молчал. Только у дверей своего кабинета молча пожал руку Никиты Ваганова. Редактор был бледен, как свежий снег,— вот чем обычно кончались для Кузичева заседания бюро обкома партии. Никита Ваганов постарался, чтобы в ответном рукопожатии было побольше тепла.

«Камикадзе!» Это прозвище Никита Ваганов дал директору комбината Пермитину после заседания бюро и специально громко дважды повторил его в курилке. В этот же день «Камикадзе» просочится из редакции газеты «Знамя» на волю — в кабинеты разных учреждений. Оно дойдет и до первого секретаря обкома партии, собирающегося покинуть Сибирскую область ради другой, более ему близкой области; оно дойдет до ушей и нового первого секретаря, который скажет: «Вы действительно камикадзе, Арсентий Васильевич, если сами бросаетесь в омут головой. Автор статьи поймал вас за руку...»

VIII

Никита Ваганов шел на свидание с Никой Астанговой, ничего особенного от этого свидания не ждал: прогулка по городскому парку, поцелуи в темных аллеях, длинное провожание и опять поцелуи — самые сладкие, в подъезде. Шел он неторопливо, осматриваясь по сторонам и радуясь тому, что вот шел, ни о чем не думал и осматривался по сторонам — лекомысленное у него было настроение. Потом стал думать о том, что Вероника Астангова — он на ней женится — в сущности, ему совсем непонятна, а у него нет желания разбираться в этом: для чего, если он на ней обязательно женится. С годами он разберется в жене — поймет, что у нее все по-своему, на восточный лад красиво: глаза, губы, нос, подбородок. Сейчас же Никита Ваганов идет на встречу с девушкой с обычным восточным лицом, но сексапильной фигурой, хотя Ника Астангова в любом виде умудряется выглядеть целомудренной... Она будет Пенелопой, она будет волчицей хранить семейное логово, она однажды объявит войну не на жизнь, а на смерть мужу, будет воевать до крови, но сломится, чтобы превратиться в типичную восточную жену — расшнуровывающую ботинки мужу и надевающую на его ноги туфли с загнутыми по-восточному носами...

— Здравствуй! Я соскучилась, Никита! Можешь поцеловать меня всенародно, сегодня я не боюсь посторонних глаз.

Она на самом деле стеснялась целоваться на людях, но вот двад-

цать третьего июня отчего-то не захотела стесняться. Может быть, потому, что на дворе от вчерашней жары не осталось и следа; было не жарко, было приятно тепло, пахло поздно набирающими в Сибири силу тополями, летел с них невесомый пух, улица от женского многолюдья цвела, как оранжерея, кофточками, юбками, накидками, пестрыми платьями. На реке погуживали пароходы; автомобили тоже яркие, разноцветные,— одним словом, возле почтамта, где они встретились, жил летний вечерний уют и тихая радость, наверное, объяснимая чем-то, но не нуждающаяся в объяснениях.

Ника была в зеленом, тесно облегающем костюме, тяжелый пучок черных волос заставлял держать голову высоко, глаза как всегда блестели; девушка не пользовалась косметикой — это закрепится на долгие-долгие годы, и только много позже она станет замазывать морщины кремами и пудрами.

Они шли по проспекту, болтали чепуху. Сначала Никита Ваганов рассказал ядреный анекдот, потом Ника рассказала этакий «профессорский», потом оба сообщили, что на их рабочих местах — порядок. Ника первый год работала в школе. Никита Ваганов сказал:

— Поздравь меня, разговелся... Схарчил директора Тимирязевской сплавконторы Володичку Майорова. Чтой-то зело и долгосрочно зазнался... Ваши папаши, впрочем, будут довольны. Оне не любят почивших на мраморе.

Подумав, Ника ответила:

— Ты прав, пожалуй! Надеюсь, статья написана без разбойного свиста?

— Не могу знать! Статья написана в духе Ник. Ваганова.

Несколько месяцев назад Ника, с ее грандиозно развитым чувством справедливости, обрушилась на фельетон Никиты Ваганова «Эфирное руководство» — о том, что дирекция Пашевского леспромхоза руководит лесопунктами исключительно по рациям и телефонам. По сути фельетона Ника не имела претензий, но ее возмущал разбойный стиль и людские характеристики, выполненные еще и гротескно. Слушая поток возмущенных эпитетов, Никита Ваганов наслаждался. Тогда Ника и назвала его «соловьем-разбойником» и была совершенно права: он писал фельетон «Эфирное руководство» с чувством садистского наслаждения.

— Как ты сказал? — переспросила Ника.— Статья написана в духе Ник. Ваганова? Какого, позволь узнать?

Он ее успокоил:

— Обычного!

...Фельетон «Эфирное руководство» был исключительным явлением в газетной практике Никиты Ваганова. Что бы он ни вытворял в жизни, в какие тяжкие ни пускался, каких козней ни строил, статьи, фельетоны, очерки и зарисовки Ник. Ваганова всегда были, есть и будут умными, непредубежденными, далекими от слов поэта: «... добро должно быть с кулаками...». Никита Ваганов умел, умеет и еще будет уметь не показывать кулаки, одним словом, журналистская практика характеризует Никиту Ваганова как человека порядочного. Он — талантливый, по-настоящему талантливый журналист, а талант мешает быть злым, суетным, мстительным, исключая экстремальные ситуации... На факультете журналистики Московского университета в недалеком будущем начнут изучать работы Никиты Ваганова...

— Наверное, я никогда не привыкну к школе! — вдруг пожаловалась Ника.— Такой шум...

Никита Ваганов знал и видел, что творится в новой школе, построенной на окраине города. Содом и Гоморра! Он сказал:

— Ты же сама пошла туда, чтобы начинать с нуля. Я тебя предупреждал... Слушай, Ника, не завалиться ли нам в ресторацию «Сибирь», где подают ананасы в шампанском?

Никита Ваганов не острил. По иронии судьбы северный город Сибирск завалили ананасами.

— Так как насчет ресторации, Вероника Габриэльевна? Соответствует?

В ресторане дым стоял столбом, нефтяники и газовики, лесозаготовители и сплавщики, «толкачи» со всех сторон страны зазивали веревочкой северную надбавку или недостаток шарикоподшипников. Ресторанный ансамбль как бы специально для Никиты Ваганова и Ники Астанговой, только что вспомнивших об ананасном засилье, «наяривал» Александра Вертинского, но какого! Длинноволосый, поедая микрофон, вихляясь и подмигивая пьяному залу, пел вот что: «Вы оделись вечером кисейно, и в саду сидите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор...»

В дыме и восторге, в громе и раздрызге ресторана «Сибирь» Никита Ваганов и Ника Астангова увидели, конечно, лохматую большую голову Боба Гришкова, мрачно и молча сидящего среди людей рабочих профессий и пьющего «голую водку» под дрянное зелено-желтое яблоко, целое еще на три четверти. Причесывался Боб Гришков раз в неделю, да и то не сам, а жена, в постели, в которой он появлялся не чаще трех раз в неделю. Странно, непонятно, дико, что при необъятной своей толщине Боб Гришков активно нравился женщинам.

— Опасно! Без изолирующего костюма не входить! — говорил Никита Ваганов.— Боб Гришков без женщины! Освободите помещение! Начинается кормление хищников!

Никите Ваганову нужен был отдельный стол, и только отдельный стол, иначе им нечего было делать в ресторане; однако ни одного свободного стола не было, и они ушли бы из ресторана, если бы в зал случайно не заглянул сам директор. При виде Никиты Ваганова он сделал собачью стойку, узнав Нику Астангову, переломился в талии, и через три с половиной минуты был вынесен стол на двоих — такой маленький симпатичный столяга, покрытый льняной скатертью, поставленный в угол, из которого можно было наблюдать все поле битвы. Как только Никита Ваганов и Ника сели, Боб Гришков подошел к ним, не поздоровавшись с Никой, многозначительно сказал:

— Не-кит, надо пять рублей. И немедленно!

«Не-кит» было изобретением приятеля, а не врага Никиты Ваганова — лично пьяницы и бабника Боба Гришкова, поклонника и ценителя его журналистской работы, но «Не-кит» до смерти будет мучить и гневить Никиту Ваганова. ...Жизнь покажет, что он — кит, кит самой крупной породы; тот же Боб Гришков будет у Никиты Ваганова есть с ладони, но о кличке — «Не-кит» — не забудет...

— Хватай, Боб, десятку!

Мелко, суетно, но по-мужски... Но Никита Ваганов боялся, что Ника поймет это «Не-кит», не дай бог возмутится Бобом Гришковым, нахамит ему, и на следующий день вся редакция будет знать, что Ника отреагировала на «Не-кит» и только поэтому прозвище закрепится за Никитой Вагановым навсегда. Он потому и сунул Бобу Гришкову десятку, что хотел немедленно от него избавиться, но не тут-то было: толстяк, гомерический толстяк схватил первый попавшийся стул, сел и начал внимательно смотреть то на Никиту, то на Нику, словно хотел найти в них общее или, наоборот, отделить друг от друга. Кончилось это неожиданно. Боб сказал:

— Самая большая сволочь — это я, Боб Гришков! Все подлые вещи начинаются с отдела информации... Никита, ты не можешь отто-

ворить Борьку Ганина публиковать очерк о Шерстобитове? Пермитин его убьет, поверьте пьяному человеку!

Помолчав, Никита Ваганов медленно спросил:

— Ты почему без женщины, Боб?

— Потому что подлец! А женщины любят молодых, длинноногих и че-е-ест-ны-ых... Я пьян?

— Угу!

— Аревуар! Целую ручки, Ника!

Расчет Никиты Ваганова оправдался. В ресторане было так шумно, что можно было бы без опаски обмениваться шпионскими сведениями. С согласия Ники он заказал вареную стерлядь, грибы и две бутылки минеральной; они опять говорили бог знает о чем, болтали и болтали легко и весело до того мгновения, пока не было произнесено имя отца Ники. Помрачнев и тяжело вздохнув, Ника сказала:

— Папа устал, чертовски устал. Такого с ним еще не бывало. Ни я, ни мама не понимаем, что происходит. Ведь с планом вроде все хорошо...

Никита Ваганов дня четыре назад встретил отца Ники в обкомовском коридоре, обмениваясь с ним искренним рукопожатием, с болью заметил, как сдал, буквально сдал главный инженер комбината «Сибирсклес». Началось это сразу после Нового года, нарастало медленно, но верно, и по расчетам Никиты Ваганова соответствовало развитию аферы с утопом древесины и вырубкой кедровников.

— Перестань! — сказал Никита Ваганов.— Габриэль Матвеевич выглядит неплохо. У каждого бывают минуты усталости...

— Спасибо! — ответила Ника.— Я знаю, ты хорошо относишься к папе. И он говорит, что ты ему, как он выражается, приятен... Но с папой что-то случилось, только я не знаю, что... Папа такой, словно ему стал тяжек комбинат. В последние два месяца он раньше обычного возвращается домой...

...«Панама» с утопом древесины и вырубкой кедровников кончится исключением из партии Пермитина, но не поздоровится, естественно, и Габриэлю Матвеевичу Астангову — его снимут с работы, объявят выговор по партийной линии...

— Ничего особенного не может произойти в передовом комбинате! — шутейно сказал Никита Ваганов.— Отличное побеждает хорошее, а сверхотличное — отличное. Габриэль Матвеевич — прекрасный руководитель. Поверь, я понимаю в этом толк.

— Ах, если бы папа так не нервничал!

Ансамбль в третий раз по щедрому заказу повторял вертинскообразное: «...намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей...» Четверка лесозаготовителей в кирзовых сапогах танцевала танго с крашеными девицами, два нефтяника подпевали верными хорошими голосами, явно московские «толкачи» улыбались с мягкой снисходительностью, но слушали внимательно: Вертинского можно было услышать только в провинции. В Москве «...о нежной дружбе с гейшей» пели в начале пятидесятых, примерно в году пятьдесят четвертом, может быть, чуточку позже.

— Все проходит! — сказал Ваганов и положил руку на руку Ники.— Все проходит, включая ананасы.

У Ники, восточной женщины, была удивительная кожа: такая нежная и гладкая, что не верилось. Обыкновенная кожа все-таки хоть чуть-чуть шероховата, а у Ники... Он гладил ее пальцы и чувствовал, как теплеет в груди, как медленно-медленно разгорается желание. Насколько помнит Никита Ваганов, желание возникало только от

прикосновения, а вот страсть к Нелли Озеровой охватывала его, как только они встречались или он слышал ее голос по телефону. Разберется ли он в природе этого, никто так и не узнает...

— Хотел бы я посмотреть, какие бумаги швыряют купцы за Вертинского? — задумчиво проговорил Никита Ваганов.— Червонец? Поболее того, ей-ей!

Наверное, дело шло об уникальном случае, если в конце двадцатого века, после четырехмесячного знакомства Ника и Никита еще ни разу не залезли в постель, всемерно оттягивали этот момент и окажутся правыми, когда женятся. Да, они были правы, когда поступали по-старинному, то есть прошли период знакомства, помолвки и, наконец, медового месяца. Все это ляжет теплой ношей на их крепкий на долгие годы, семейный очаг, не омраченный ничем, если, конечно, не считать Нелли. Но это уже из другой оперы!

— Папа спит плохо,— сказала Ника.— Поздно засыпает и рано встает... А когда звонит в двери шофер, долго не выходит из дому... Ах, если бы папа так не нервничал!

Этот ресторанный вечер оказался чрезвычайно важным для Никиты Ваганова. Раньше он старался не думать об отце Ники, трусливо прятался от самого себя, но вот пришла пора решать, как помочь Габриэлю Матвеевичу Астангову. Было о чем подумать человеку, которому месяц назад исполнилось только двадцать пять лет — возраст, явно не подходящий для решения судьбы самого Габриэля Матвеевича Астангова.

— Бог не выдаст, свинья не съест! — неожиданно сказал он, словно бы уже считая историю с утопом древесины законченной.— Все образуется, Ника, вот увидишь...

— Папе надо помочь, но я не знаю, чем помочь! — отозвалась Ника.— Вечерами он приходит и смотрит вместе с нами телевизор, тихий и грустный... Раньше он телевизор не признавал...

Папе, то есть Габриэлю Матвеевичу Астангову, трудно помочь после того, как он не решился возразить Арсентию Васильевичу Пермитину. Только запоздалая исповедь, но и она... Придется до дна испить чашу горечи отцу Ники, испить, упасть и успеть подняться за какие-то там три недлинных в старости года. А падения Пермитина нынешнему специальному корреспонденту областной газеты «Знамя» Никите Ваганову хватит на две ступеньки вверх, повторяем, на две, а не на одну ступеньку...

— Ты тоже устала, Ника! — необычно серьезно проговорил Никита Ваганов.— Начистоту: притомился и твой покорный слуга...— Он сам услышал свой серьезный голос.— Кстати, у тебя такой вид, словно ты в вестибюле не сняла калоши. Можно ведь на стуле сидеть прямо, а не боком.

Он немного посмеялся. Прошли считанные дни от той минуты, когда Никита Ваганов на блюдечке с голубой каемочкой принес редактору Кузичеву статью, убийственную для руководства комбината «Сибирсклес» и болезненную для обкома партии. За ресторанным столиком Никита Ваганов уже знает, что «пермитинское дело» станет шампуром, на который постепенно нанижутся и жирные и постные куски его необыкновенной жизни, и холодок удачи уже щекочет его еще плохо бронированную кожу.

— Что-нибудь произошло? — вдруг быстро спросила Ника.— Ты сейчас просто страшен...

— Ах, ах и ах! — отозвался он. — Я тебя возьму на очередную рыбалку предугадывать наличие косяка отлично упитанных окуней...

Со мной абсолютно ничего не случилось,— продолжал он, поняв уже, что произошло с его лицом: он просто снял очки.— Ничего абсолютно не случилось, Ника... А вот послушай анекдот...

Потешничая, скоморошничая, Никита Ваганов втайне злился на проницательность Ники, имеющей универсальный характер и обидный этим для Никиты Ваганова. В двадцать пять лет он позволяет роскошь, думая о себе, любоваться благоприобретенными непроницаемостью, якобы по-актерски совершенным владением своим лицом и, следовательно, умением говорить одно, а думать другое. Каким щенком, самонадеянным, хвастливым и нелепым был он в свои двадцать пять лет, когда мыслил только и только глобальными категориями и с утра до вечера любовался Никитой Вагановым! Нет, пожалуй, не щенком, а хуже — набитым дураком, если был способен обижаться на Нику. ...В течение многих лет их общения она будет неизменно и безошибочно отгадывать состояния мужа, но ничего не сможет изменить в жизни Никиты Ваганова, мало того, будет во всем его помощницей. Забавно, но чем активнее будет сопротивляться Ника, тем вернее ее муж пойдет вперед и вверх, «шагая по головам», как будет кричать Ника в гневе и временной ненависти...

— Ни есть, ни пить не хочется! — огорченно вздохнула Ника. — Отчего это, Никита, мы всегда являемся в ресторан сытыми?

— Полегче вопросов нет? В свою очередь, спрошу, отчего ты все-таки сидишь на стуле боком. Я же сказал, что набрасываться на тебя не буду.

Она еще раз вздохнула:

— Как это все-таки плохо, Никита, что ты беспрерывно острить. Ах, как мне не хватает длинного серьезного разговора. Мама не сводит глаз с папы, папа страдает, сестра... сестра замужем...

...Ника в родном доме была и оставалась одинокой, одиночество благополучной и высокопоставленной жены ждет ее в будущем. Кинопремьеры в Доме кино, театральные премьеры, обеды в Доме писателей и Доме журналистов, дачное общество — все это будет не для Ники Астанговой, умудрившейся за все годы жизни в Москве сблизиться только с теми женщинами, на которых ее будет «выводить» муж. О, какой одинокой будет жена крупного журналиста Никиты Ваганова! Одиночество человека, от которого по ночам без всякой причины, среди предельного материального достатка, плачут в подушку, пахнущую французскими духами...

— Не хочется пить, не хочется есть — потекли в пространство! — предложил Никита Ваганов.— Времени много, а нам еще надо совершить поцелуйный обряд в подъезде твоего дома... И хватит вздыхать. Габриэль Матвеевич просто устал, устал — заруби это на своем восточном носишке.

Боб Гришков спал, подперев жирной рукой жирную щеку; он был алкоголиком экстра-класса, этот рафинированный Боб Гришков, умеющий, выпив бутылку коньяку, поспать на жирной руке минут двадцать, чтобы с новыми силами приняться за очередную бутылку. Никита Ваганов любил заведующего отделом информации областной газеты «Знамя» как полную противоположность себе и как человека, начисто, безупречно, завидно лишенного честолюбия. В свои двадцать пять лет Никита Ваганов, снедаемый жгучим честолюбием, иногда смутно понимает, в какой он ловушке, на какое уничтожающее существование обрекает себя отныне и вовеки. Сегодня, сейчас Никита Ваганов еще веселится, потешается над Бобом Гришковым, спящим на своей жирной руке. Тот скоро проснется, выпьет еще водки, взбодрившись, отправится к одной из своих «кысанек», отлюбив, подрыхнет, проснувшись, от «кысаньки» позвонит в редакцию и скажет, что сидит на задании, а сам завалится досыпать. От жены у Боба Гришкова двое детей, от «кысанек» — неизвестно сколько, денег на хлеб и сахар хватает, на водку иногда приходится перехватывать до «вторника». Боб Гришков замечает весны и зимы, ловит рыбу с такими же пьянчужками, как он сам, купается, черт возьми, в грязной речушке, протекающей через центр города, не стесняясь выставлять напоказ телеса Гаргантюа.

— Пошли же, Ника! Его будить не надо... Страшно ругается, если разбудишь.

Дым, жирный и пьяный дым, плавал под потолком ресторанного зала «Сибирь», такой дым, по которому неделями, месяцами, годами скучали сплавщики, нефтяники, газовики, лесозаготовители. В панелях и плафонах ресторана в цветочках из бумаги, в одинаковой одежде официантов, в джазе видели они жизнь, прекрасную, как это вот: «...лейтенант расскажет вам про гейзер...» И они были правы, черт подери, они были правы! Когда Ваганов и Астангова выходили, джаз опять начал из Вертинского: «Вы оделись вечером кисейно и в саду сидите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор...» Просидевшим в тайге полгода-год нефтяникам, сплавщикам, газовикам, лесозаготовителям нравилось именно «кисейно»...

IX

Разговор в ресторане «Сибирь» о том, что Габриэль Матвеевич Астангов нервничает, живет на пределе, и непривычно мрачный Боб Гришков, перехвативший в долг червонец, навели утром Никиту Ваганова на мысль заняться Бобом Гришковым, естественно, появившимся в редакции только в половине одиннадцатого. Никита Ваганов его караулил.

— Здорово, Боб!

— Здорово, Никита! — доброжелательно отозвался Боб Гришков.— Не обижайся на вчерашнее и держи свою десятку.

Под вчерашним Боб Гришков подразумевал придуманное им обидное «Не-кит», а вот с десяткой творились чудеса: ни раньше, ни позже обещанного занятые деньги Боб Гришков никогда не отдавал; досрочный расчет должен был что-то значить, и Никита Ваганов вопросительно выгнул брови.

— Кес кё се? — спросил он у Боба.— Что сей сон значит, Бобуля? Я изъял червонец из обращения, как обычно, до вторника. Ты здоров?

— Здоров и даже опохмелился.

— Богатая кысанька?

— Идиот! Румынский офицер не берет денег... Я брал у тебя червонец с полным карманом.

Никита Ваганов поразился:

— То есть как?

— Идиот! Вчера же была зарплата...

— Ты забыл о зарплате!

Боб огорченно махнул рукой:

— Я смертен... Слушай, надо уговорить Борьку Ганина не публиковать очерк об Александре Марковиче Шерстобитове...

— Вы молодцы, Боб! — важно и по-отечески снисходительно похвалил Никита Ваганов.— Помните вчерашнее... Ах, какой был Вертинский!

— Вертинского я не помню...

Как он был толст! Боб Гришков был толст неимоверно, не верилось, что эта груда жира суть человек, но эта груда жира была подвижна до суетливости, смеялась взахлеб, взахлеб пила, ела, разговаривала, писала, играла — можете себе представить! — в теннис. Гора мяса и ума, ума — это серьезно, это общеизвестно — не хотела, чтобы Борька Ганин публиковал очерк о Шерстобитове, а это объяснялось просто: заведующий отделом информации знал то, что Никита Ваганов держал в строгой тайне, каждый день захаживая в кабинет собкора газеты «Заря», чтобы пронюхать, знает ли Егор Тимошин о грандиозной афере с лесом, и всякий раз уходил успокоенным, а вот теперь в стенах редакции запахло жареным. Боб Гришков вообще многое знал.

— Слушай, Никита,— насмешливо сказал Боб Гришков. — Я опохмелился, но опохмелился достаточно плохо для того, чтобы выносить твои штучки-дрючки... Умоляю! Не делай вид, что тебе неинтересно знать о Шерстобитове. Не выбирай момент для раскалывания Боба Гришкова. Короче, не думай, что ты всех умнее и прозорливее, а главное — не надо, ах, не надо придуриваться!

Никита Ваганов засмеялся.

— От тебя ничего не скроешь, Боб. Ну, раскалывайся сам!

И произошло неожиданное, и произошло небывалое. Сделавшись прямым и холодным, жестоким и чиновным, Боб Гришков повернул к Никите Ваганову огромное, пухлое лицо; маленькие свинячьи глазки стали напряженными и от этого тусклыми. Вот это был один из тех моментов, каких в жизни Бориса Гришкова было так немного, что их, как говорится, можно пересчитать по пальцам.

— А почему я должен раскалываться? Почему я должен таскать каштаны для Никиты Ваганова? — тихо спросил Боб Гришков.— Чтобы стать твоим сообщником? Нет уж, увольте!.. Слушай, Ваганов! Я не хочу, чтобы ты опередил Егора Тимошина. Он мне приятен и мил. Мил и приятен, заруби это себе на носу, Ваганов! И знаешь, что, Ваганов...

Никита Ваганов тоже не походил на себя обычного: лицо закаменело, волевая складка у губ прорезалась отчетливо, брови изогнулись опасно, но это был еще не тот Ваганов, которого люди узнают позже. Это была, если так можно выразиться, репетиция Ваганова, но сколько уже было холодной властности, силы, бульдожьего упорства, пугающего людей дерзкого одиночества, устрашающей смелости, опасного равнодушия к тому человеку, который говорил или делал что-то неугодное Ваганову. В нем была смертельная для врагов решимость умереть, но не сдаться, всегда живущая в нем готовность на риск. «Все или ничего!» — было написано на атакующем знамени Никиты Ваганова, и он получит «все», хотя точно не знает, что это такое «все» и необходимо ли ему иметь «все», рискуя каждый день, каждый час это «все» потерять. Может, это было увлекательной игрой в жизни Никиты Ваганова — выбирать между «все» и «ничего».

— Черт бы тебя побрал, Ваганов! — мрачно и тихо пробормотал Боб Гришков.— Черт бы тебя побрал, идиота! Я бы хотел знать, зачем это тебе все надо? Ах, черт бы меня побрал, идиота!

Кит и салака! Груда мяса — не могла же она вступить в борьбу с Никитой Вагановым, видевшим однажды на трамвайной остановке, как не добежала до трамвайных дверей старушка в шляпе с вуалеткой, старушка из той старинной московской интеллигенции, что до сих пор проживает в тесных и шумных коммунальных квартирах, не желая переселяться в Чертаново или Медведково. Старушке оставалось всего два, два метра до дверей трамвая на Первомайской улице в Измайлове, всего два метра оставалось, чтобы поехать в сторону измайловской ярмарки, но эти два метра ей дорого, ох, как дорого обошлись... Впрочем, о старушке Никита Ваганов вспоминает часто, будет о ней еще вспоминать, а сейчас он продолжал глядеть на Боба Гришкова, не мигая, но глубоко дыша. Он думал: «Ах, ты, мразь!»,— и этого было достаточно, чтобы заведующий отделом информации потел и прятал глаза.

— Черт бы тебя побрал, Ваганов! Ну, хорошо, я буду молчать... Но Борьку Ганина надо предостеречь! — Он матерно выругался.— А Шерстобитов не пошел на аферу... Дураку понятно, что писать о нем сейчас нельзя! Его Пермитин сожрет без горчицы...

«А ты, Гришков, не так уж умен, если до сих пор не разгадал элементарные фокусы-покусы редактора Кузичева! — подумал Никита Ваганов.— Низвергнуть Володичку Майорова, у которого пушок на рыльце, поднять на щит Шерстобитова — ребенок поймет, вокруг чего разыгрался сыр-бор. Не для того ли Кузичев раскрутил карусель, чтобы узнать, как к этому отнесутся члены бюро обкома партии»,— вот о чем думал Ваганов...

— Ты бредишь, Боб! — сказал Никита Ваганов.— А если не бредишь, то иди к Кузичеву. Пущай óне отменяють отчерк. Пуздчай!

— Идиотство! — ругался Боб Гришков, тоже взволнованный.— Страна непуганых идиотов!

«Идиот», «идиоты», «идиотство» и даже «идиотика» были любимыми словечками заведующего отделом информации газеты «Знамя» Бориса Петровича Гришкова. А волновался он по той причине, что испугался ледяных глаз, изломанных бровей, подбородка Никиты Ваганова, которые на несколько мгновений сделали его страшнее испанского палача, но, видит бог, Никита Ваганов не хотел пугать Боба Гришкова. Все произошло случайно, вопреки его воле, просто оттого, что Никита Ваганов по-человечески обиделся на Боба.

— Если будем ругаться, я посижу,— сказал Никита Ваганов,— если не будем, я уйду... Продолжай, Боб, магнитофон включен.

Мгновенное футурологическое ощущение испытал Никита Ваганов: именно очерк об Александре Марковиче Шерстобитове, его появление на страницах «Знамени» будет тем маленьким взрывом, после которого Никита Ваганов заложит под руководство лесной промышленности Сибирской области заряд колоссальной силы, разрушающей мощности, уничтоживший наконец-то Арсентия Васильевича Пермитина и задевший попутно отца Ники.

— Боб, спусти пар, взорвешься!

С больной головы на здоровую. Боб Гришков давно успокоился, поняв, что сделал и что сделанного не воротишь.

— Идиотистика! — по инерции выругался он.— Ты прав, Никита, надо кричать на Кузичева. Чего он хочет, скотина? Опозорить область на всю страну?

Фигушки! Дуля вам с маслом! Редактор областной газеты «Знамя» Владимир Александрович Кузичев понимал все плюс единица; его дальновидности, расчету, выверенности мог бы позавидовать Талейран, по собственному признанию, не знающий пятого хода; редактор «Знамени» видел, может быть, десятый ход, ошибался так редко, что самому было противно. Однако Никита Ваганов думал не о Кузичеве, а о Бобе Гришкове, который не хотел, чтобы его родная область была опозорена на всю страну. Вот, оказывается, что хранилось под толстым слоем цинизма в этом толстом человеке?

— Я могу быть свободным? — ласково спросил Никита Ваганов.— Пойду уговаривать Бореньку Ганина не ставить в газету отче-рк! — «Лейтенант расскажет вам про гейзер...»

Боб Гришков насторожился:

— А это что такое?

— Песня.

— Нет, слушай, Никита, что это такое? Очень знакомое.

— Это песня Вертинского, под которую вы вчера спали в достославном ресторане «Сибирь»... Тебе надо лечиться электричеством, Боб.

Боб с шумом выпустил воздух из легких и звучно шлепнул себя по лбу ладонью.

— Идиотство! Вспомнил! «Он расскажет...» Стоп! «...о циничном африканском танце и о вечном летуне Голландце...» Так?

— Так, ваше пьянство! Но я тебя все равно люблю, но не уважаю, Боб! Поцеловать в щечку?

— Иди к черту, идиот! Слушай: «...намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей...» Так? Ну, вот видишь! Мать напевала, когда я был сосунком, а Вертинский возвращался в Россию. Впрочем, не таким уж я был сосунком.

Никита Ваганов сказал:

— Жир может не волноваться. Он и сейчас сосунок, несмышленыш! Аревуар!

Выходя из отдела информации Никита Ваганов думал о том, какой хороший, чудесный, умный и добрый человек этот Боб Гришков и что он, Никита Ваганов, по абсолютно неизвестной причине без малейшего повода завидует Бобу Гришкову. Чему? Пьянству? Девочкам? Неисчерпаемому оптимизму? Независимости? Идиотистика, как говорит сам Боб Гришков. Так чему он, черт возьми, завидовал? ...Никита Ваганов поймет, почему завидует Гришкову, через много лет, уже зрелым человеком, достигшим сияющих вершин. Поймет, и затоскует, и будет тосковать долго, зная, что скоро, очень скоро распрощается с этой теплой и круглой землей, на которой все сбалансировано так целесообразно, так стройно, что нельзя выбросить мгновение, как слово из песни. И это будет осень, глубокая осень...

Без раздумий и малейших колебаний вошел в кабинет редактора Кузичева, обменявшись с ним рукопожатием, в ответ на приглашение сесть отрицательно покачал головой.

— Владимир Александрович, некая коричневая папка лежит в вашем сейфе. Судя по тому, что вы не приглаша е меня для беседы, мой номер не проходит! — Он забавно свел глаза к переносице.— Гоните матерьял, как говорит Пермитин. Деньги на бочку!

Редактор повел себя странно: зачем-то аккуратно расчесал жидкие свои волосы, из-за отсутствия зеркала внимательно осмотрел себя в стекло книжного шкафа и только тогда сел на валик когда-то роскошного кожаного дивана. Он искоса посмотрел на Никиту Ваганова и насмешливо спросил:

— Хотите, значит, выступить по утопу древесины в самой «Заре»? Этакий «подвал», а под ним скромно: Ник. Ваганов. Так?

Никита Ваганов ласково попросил:

— Гоните папочку обратно, товарищ редактор!

Он не сердился на редактора, который знал больше и видел дальше, чем Никита Ваганов. Редактор Кузичев вообще многому научил и еще научит Никиту Ваганова, и у него — глубоко порядочного человека — было чему поучиться. ...Много лет спустя, борясь с заместителем министра одной из отраслей промышленности, Никита Ваганов возьмет зарвавшегося чинушу в такую же «вилку», какую применил для Пермитина редактор «Знамени»...

— Ну, вот что, дорогой Никита.— Он снова поднялся, прошелся по кабинету: — Дело тяжелое! Много воды утечет... Понимаете, афера с утопом леса так уголовна, что разум с ней мириться не может — согласитесь, что это так! — Он длинно усмехнулся.— Представляю лицо Первого, когда ему откроют дело! А что скажет Москва? Что она скажет Первому, если история выплывет наружу еще до его отъезда в Канскую область? Куда смотрел? Как руководил? — Он расхаживал все быстрее и быстрее. — Как член бюро обкома, я бы не хотел рассказывать Первому об утопе. Я его уважаю и люблю. Вот такая ситуация, Никита. Можно хуже, да некуда! Я сто раз подумал, прежде чем начал атаковать Пермитина, но я ни о чем не жалею! — Он остановился поблизости от Никиты Ваганова.— Пермитин пока еще силен. Пока неподсуден. Повторяю: пока!.. Вы — молодой человек, вы еще не знаете, как это бывает в курьезной жизни. Короче, Пермитина поддерживает один влиятельный человек. И это бывает. Шахтер, прекрасная анкета, адская работоспособность, впечатляющая внешность, умение быть верным покровителю. Все мы ошибаемся, Никита, все мы не без греха... Да! Борьба будет тяжелой.

Он еще немного походил по комнате:

— Покровителя можно понять, Никита. На меня Пермитин тоже при первом знакомстве произвел мощное впечатление.

Никита Ваганов старался сообразить, кто был покровителем Пермитина в столице нашей Родины. В министерстве давно хотели избавиться от него. Никита Ваганов зря напрягался, он не мог «вычислить» так называемого покровителя. ...Впоследствии выяснится, что такого покровителя уже не было тогда — он ушел с высокого поста на чисто хозяйственную работу, но оставил после себя дух хорошего отношения к Арсентию Васильевичу Пермитину.

Владимир Александрович Кузичев сказал:

— Я считаю вашу статью, Никита, доказательной и отлично написанной. Каюсь, но без вашего разрешения вложил в конверт перед отправкой еще с десяток компрометирующих Пермитина материалов. Надеюсь, что вы не очень рассердитесь на меня за самоуправство.

Ликуя, чуть не подпрыгивая от радости, Никита Ваганов попросил показать документы. Редактор широко развел руками и огорченно поцокал:

— Этого я сделать не могу. А вот в «Заре» вы прочтете свою статью. Из редакции звонили...

Лицо, бледное, истощенное лицо Кузичева было серьезно, но глаза горели — он просто был счастлив, что область вздохнет свободно, когда не будет Пермитина. Он радостно улыбнулся.

— Дано «добро» вашей статье «Утоп? Или махинация!» — и покачал головой.— Никита Ваганов становится крупной фигурой. Поздравляю!

Редактор замолк и стал смотреть на Никиту Ваганова так, что было понятно, о чем он думает. Потом он спросил:

— Никита, ходят упорные слухи, что вы женитесь на дочери Астангова. Это правда, простите меня ради бога?

— Я женюсь на Нике.

Редактор поднял брови:

— Ника?

— Так ее зовут домашние.

Любопытство Кузичева не было праздным любопытством. Он хорошо, откровенно хорошо относился к главному инженеру Габриэлю Матвеевичу Астангову.

— Позвольте вас поздравить, Никита! Вы породнитесь с замечательными людьми.

Собственно, разговор был закончен, никаких неясностей не существовало и не могло существовать, если два человека похоже мыслили и одинаково относились к жизни и, в частности, к Арсентию Васильевичу Пермитину. Кандидат в члены партии Ваганов и член бюро обкома партии Кузичев сплотились в борьбе против отсталого и невежественного руководителя. И теперь, когда все главное было позади, Никита Ваганов сделал карающее лицо. Он строго спросил:

— Разрешите узнать, товарищ Кузичев, кто позволил вам переслать материалы в газету «Заря»?

— Дра-а-а-сте вам! — театрально удивился Кузичев.— Материалы мне передал некий Ваганов с просьбой переслать их по назначению. На конверте был адрес.

— Да что вы говорите!

— Правду! Кстати, учтите: этот самый Ваганов — умный, работящий, но беспощадный человек.

Никита Ваганов подумал и сказал:

— Хорошо, я учту это ваше сообщение.

Глава вторая

I

В центре города сдавали в эксплуатацию современное здание гостиницы «Сибирь», пароходство приняло новое комфортабельное пассажирское судно, в роще, тесно прижавшись друг к другу, сидели парочками абитуриенты — не влюбленные, а зубрящие конспекты. Весело и грустно, активно и пассивно, напряженно и расслабленно, хорошо и плохо жил город Сибирск, и это было жизнью, настоящей жизнью.

Почти счастливый, насвистывающий «Чижика» Никита Ваганов поднимался на второй этаж дирекции комбината «Сибирсклес», чтобы повидаться с директором предприятия товарищем Пермитиным и его помощником — референтом Александром Александровичем Беловым. Зная, что через неделю-другую директор прочтет в центральной газете «Заря», Никите Ваганову хотелось еще раз убедиться в том, что такой человек, как Пермитин, может существовать только в качестве пенсионера... К Никите Ваганову можно относиться и так и эдак, но одно неоспоримо — высокая профессиональная добросовестность, которая и потребует немедленно увидеть человека, чье имя скоро станет известно стране как имя негативное. Кто знает, повезло или не повезло Никите Ваганову, но в коридоре он встретил Белова и еще не успел пожать руку референту — помощнику Пермитина, как ближайшие двери открылись и на пороге колоссом воздвигся Пермитин — человек двухметрового роста и предельно широкий в плечах. Не здороваясь, он хмуро оглядел Никиту Ваганова, потом Белова, хмыкнул и, наконец, поманил помощника толстым и, видимо, твердым пальцем:

— Шагай-ка за мной, Сан Саныч! И ты тоже, если хочешь, Ваганов... Впрочем, и через «если хочешь» заходи. Дело есть!

И пошел, не оборачиваясь, по длинному коридору, устланному бесшумной дорожкой, а Ваганов и Белов пошли за ним, переглядываясь и пожимая плечами, и кто бы ни попадался им навстречу, почти прижимались спинами к стенам, чтобы не столкнуться с грозно сопящим и ни с кем не здоровающимся директором. Они вошли в кабинет, молча сели, Пермитин мизинцем показал на лежащую на столе областную газету «Знамя».

— Что это такое? Я тебя спрашиваю, Белов! И тебя, Ваганов! Почему не согласовали со мной кандидатуру? Кто такой Шерстобитов? Кто? Это я вас спрашиваю!

Большое лицо было красным и опухлым, казалось, что Пермитин сию минуту вышел из парного отделения бани, маленькие глаза сверкали. Глядя на него, Никита Ваганов подумал, какая это страшная вещь, если человеку дана власть, а он не знает, как ею пользоваться, не понимает, что такое власть, и не хочет понимать, учиться подражать. Ведь вокруг него — и в самой дирекции и в десятках других учреждений — работали давным-давно люди совсем другой закваски нежели Арсентий Васильевич Пермитин, но он не видел отличия, не понимал, чем от них разнится, гнул свою линию: «Штурм и натиск!» Он рычал:

— Кто Шерстобитов? Я вас спрашиваю? Белов! Ваганов! Говорите!

Белов обреченно молчал, ссутулившись, что было слегка карикатурным при его худобе и высоком росте. Никита Ваганов мигал, морщил губы и делал вид, что сосредоточивается. Вообще было странным, что Пермитин пригласил его в свой кабинет да еще, кажется, вербовал в сообщники: после статьи «Былая слава» он предал анафеме имя Ваганова, а вот позвал, требовал ответа, и Никита Ваганов многозначительно произнес:

— Александр Маркович Шерстобитов директор Ерайской сплавконторы комбината «Сибирсклес». Год рождения — семнадцатый, член КПСС, судимостей не имел, фронтовик... Вот так, Арсентий Васильевич!

— А ты чего скажешь, Белов?

Белов ответил:

— Хороший директор.

— Хороший?! Стоп, стоп! А не ты ли его давал этому... Как его? Ганкину! Ну, который из газеты... Ты давал кандидатуру Ганкину, Белов, отвечай?

— Понятия не имею.

— Интересно, Белов, интересно! Не имеешь понятия, а газета хвалит этого... Как его? Александра Марковича Шишова! — Он схватился за газету, и здесь произошло то, что вызвало волну отвращения к директору у Никиты Ваганова и заставило согнуться в три погибели Белова.— А почему он Маркович? Маркович почему, спрашиваю? Я кого спрашиваю, почему он Маркович?

Никита Ваганов, покраснев, сказал:

— Марк — русское имя.

— Русское? Сейчас мы узнаем, какое оно русское! Шашкин еще рассчитается за то, что скрывает национальность! Рассчитается!

Человек с распаренным лицом схватился за телефонную трубку, набрал номер отдела кадров комбината «Сибирсклес» и зарычал:

— Фомичев? Пермитин! Ну-к, открой папку этого вашего Александра Марковича Щеглова. Что? Шерстобитова? Хрен с ним, пусть будет Шерстобитов! Так! Читай, Фомичев, читай громко, я не усилитель... Так! Что? Еврей? Ага. Значит, еврей. А чего же он Шерстобитов? Партизанская кличка... Ну, будь, Фомичев.

Хмыкая, Арсентий Васильевич Пермитин, с разочарованием положил трубку на рычаг, крепко потер ладонью красное лицо, поже-

вал внезапно провалившимися губами и крякнул по-мужичьи, крякнул с великой досадой на то, что Александр Маркович Шерстобитов не скрывал национальность, так как для него, как знал Никита Ваганов, вопрос о национальности существовал только формально. А Шерстобитовым он стал потому, что погибли все его документы, начиная с офицерского удостоверения и кончая метриками, вот и досталась ему партизанская кличка: «Шерсти, бей гадов!» А Пермитин? Пермитин продолжал следствие. Он почти крикнул:

— Ну, ничего! Найдем другие подходы!.. Теперь отвечай, Белов, как ты допустил этот матерьял?

Он всегда говорил «матерьял» вместо «материал», а еще «ложить» вместо «класть» —это не считалось криминалом для Арсентия Васильевича Пермитина: привыкли.

— Как ты пропустил этот матерьял, Белов, спрашиваю?

Глядя на носки собственных туфель, Белов тихо отвечал:

— Редакция мне не подчиняется.

— Не подчиняется? А кто оттуда деньгу лопатой гребет? Ты или я? А?

— Мне оплачивают еженедельную сводку соцсоревнования.

— Вот! А говоришь, что деньги не гребешь!

— Сплавконтора хорошая!

— Заладила сорока Якова. Хорошая, хорошая! А у кого убило лебедчика? У кого, спрашиваю?

Несчастный случай с лебедчиком Алферовым рассматривала правительственная комиссия; беда была нежданной и страшной, но ничего криминального для дирекции Ерайской конторы не обнаружилось. Алферов был пьян, пьяным попал под стрелу крана, дело происходило глубокой ночью, крановщик тем не менее отреагировал на человека, стоящего под стрелой, но — опоздал! Вернее, не опоздал, а Алферов сам сделал рывок под груз хлыстов.

— У кого была смерть! У Шагалова, то есть у Шагало вашего, а Белов и Ваганов? А ты чего отмалчиваешься. Небось, не без тебя этот Ганинов писал о Шишкове? Не без тебя, Ваганов!

Подумав, Никита Ваганов сказал:

— В Ерайской конторе есть крупное достижение. Мизерный утоп леса! Крохотный по сравнению с другими предприятиями.

— Что?

— Утоп леса не выходит за рамки реального.

— Какой там еще утоп? Что за утоп?

Вот врать Арсентий Васильевич Пермитин не умел, играть удивление — тем более, и в этом тоже был весь Пермитин, человек, остановившийся на уровне своего потолка — начальника участка. Сейчас он так неумело изобразил непонимание, что Никита Ваганов уловил, как на губах Александра Александровича Белова мелькнула и погасла злорадная, откровенно мстительная улыбка. Он тоже понимал, что газета «Знамя» штурмует директора комбината, что Кузичев и другие собираются извлечь на свет божий преступную историю с утопом древесины и вырубкой кедровников, и он страстно хотел, чтобы наконец-то разразилась очистительная гроза. Большинству руководителей и знатоков лесной промышленности области хотелось компетентного управления, спокойной и здоровой обстановки, коренных переустройств.

— Так что ты предлагаешь делать с Шагановым, а, Белов? Хочу знать, как прикрыть ошибку газеты, Белов. Ерайская контора не может быть примером для других. Бредятина!

Никита Ваганов, полуоткрыв рот, следил за Пермитиным собачьими, предельно преданными глазами: догадался, что директор после

короткой «разминки» собирался оглоушить его, Никиту Ваганова, дубиной по голове. Пермитин еще две-три минуты издевался над Беловым, пытал его и расспрашивал, потом медленно, всем телом повернулся к Никите Ваганову.

— Ты, говорят, все по бабам ходишь, Ваганов, а? Ой доиграешься: пулей вылетишь из вашей хреновой газеты. А?! Еще я слыхал, что на доченьке Астангова женишься, а?

Никита Ваганов улыбнулся, исподлобья посмотрел на Пермитина:

— Арсентий Васильевич, скрывать не стану...

— Вот это ты молодец, Ваганов! Не темнишь.

— А чего мне темнить, Арсентий Васильевич, чего темнить, если я на самом деле женюсь на дочери Габриэля Матвеевича. Вот только...

— Что только, Ваганов?

— Только не я вылечу пулей из газеты, Арсентий Васильевич! — Никита Ваганов склонил голову на плечо, был ласково-покорным.— Вы, Арсентий Васильевич, раньше меня вылетите пулей! Это дело, как говорится, не за горами. Доруководились вы, Арсентий Васильевич, до безнадеги! Вот.

И настали секунды тишины и непривычного для этого кабинета спокойствия. Пермитин выпрямился, побледнел, осунулся. Он растерялся, он не знал, что говорить, так как и сам инстинктивно чувствовал, что ему, пожалуй, не усидеть на месте, что близится пора расставания, и с этим — грустная и убивающая пора потери власти, этой высшей цели многих и многих суетных людей.

...Впоследствии, на синтетическом ковре, Никита Ваганов вспомнит о минуте растерянности Пермитина, вспомнит и пожалеет его, несчастного, предельно суетного, совсем не такого, как Егор Тимошин... Но сейчас, в эти минуты, он переживал хамское злорадство и неблагородное торжество, когда вогнал Пермитина в тоску и одиночество, в одиночество и тоску.

— Вон как ты заговорил, Ваганов, знай, дескать, и мое ослиное копыто... Ну, Ваганов, Ваганов! А ты, Белов, чего отмалчиваешься? Небось, забыл, кто тебя поднял из района в область? Добро не помнишь, Белов! Неблагодарными мы умеем быть, Белов, а вот помнить, кто поднял в область,— не помним!

Как нашалившего ученика, как барин смерда, отчитывал Пермитин своего референта, и Белов все больше и больше скрючивался — так был запуган и забит Пермитиным. Ах ты, черт, как все-таки слаб человек! Усмехнувшись, Никита Ваганов поднялся, не оглядываясь, тихонечко вышел из кабинета, сладостно думая, что дни директора комбината «Сибирсклес» сочтены, и, к великому огорчению, Пермитин один не уйдет — потянет за собой многих хороших и достойных людей, страдающих самым распространенным человеческим заболеванием — трусостью.

В коридоре пахло мастикой и застарелым деревом массивных дверей.

II

Ника Астангова прибыла в загс без фаты, естественно, раздраженная тем, что пришлось уступить будущему мужу; вместе с ней на черной «Волге» прибыли родители, красивая подружка-свидетельница, а с Никитой Вагановым притащился пешком сопящий и всем недовольный Боб Гришков — свидетель со сторсны жениха. Всю дорогу он распространялся насчет того, что, как свидетель, сыграет роковую роль в семейной жизни Никиты Ваганова: «Проверено, Никит! Я про-

извожу опустошение, приношу несчастья и прочее. Идиотистика и даже... Отпусти меня, душа горит по пиву! О, непуганые идиоты!» От него пахло потом и перегаром. Лицо лоснилось, но глаза были предельно веселыми, и ворчал он так, для порядка, по своей, гришковской сущности — прекрасный и хороший Боб! Увидев Нику в свадебном платье, он немедленно полез целоваться, назвал ее «кыской», наговорил кучу комплиментов — не все благопристойные.

— Товарищ Астангова! Товарищ Ваганов!

Металл, бетон и стекло, полированное дерево, зеленые шторы, парусящие на ветру, музыка Мендельсона, похожая на стюардессу работница загса, цветы — регистрация произошла стремительно, словно посадка на опаздывающий рейс Москва — Камчатка. «Согласен!» «Согласна!» «Обменяйтесь кольцами!»

— У нас нет обручальных колец, к сожалению.

— Да что вы говорите? Не может быть!

— А может, уважаемая, колец-то нету.

И Ника подтвердила глухо:

— Мы без колец! Без них, то есть без колец...

Удивленная пауза не продлилась и тридцати секунд, затем мгновенно все печати и подписи были поставлены, Габриэль Матвеевич Астангов и теща Софья Ибрагимовна бледнели и краснели в положенное время — волновались с нужной интенсивностью; свидетель Боб Гришков из-за катавасии с кольцами хохотал на весь прозрачный зал, красивая свидетельница со стороны невесты трагически прижимала руки к плоской груди. Жених Никита Ваганов исподтишка грозил кулаком Бобу Гришкову, но и сам похохатывал.

— Позвольте пожелать вам...

— Ты ее бросишь, ты ее бросишь! — вдруг страстно прошептала в ухо Никиты Ваганова его жена Ника Астангова. — Ты ее обещал бросить, и ты ее бросишь! Эту Нелли, эту противную Нелли...

Он не видел ничего противного в Нелли Озеровой, скорее наоборот, она была не противной, а приятной, но он бодро ответил шепотом:

— О чем речь? Я ее брошу, раз обещал бросить! И — точка!

О точке не может быть и речи...

За свадебным столом Боб Гришков скоренько напился, сделался — это с ним бывало — милым, мягким, разнеженным, половину речей вел на хорошем французском — профессорское дитя, очаровал все застолье, но уснул еще до того, как Никита Ваганов и Ника Ваганова, взявшая фамилию мужа, отъехали в трехдневное свадебное путешествие на старом-престаром пароходе «Пролетарий», колесном пароходе с дубовым салоном для пассажиров первого и второго классов, с бренчащими жалюзями на окнах, с белоснежным и широким, как рояль, капитаном Семеном Семеновичем Пекарским — таким же древним, как и его разболтанная посудина.

Пароход медленно-медленно отвалил от причала, задыхаясь, зателепал плицами вниз по течению Соми, и телепал он славно, немногим медленнее, чем винтовые теплоходы, эти трехпалубные красавцы. Капитан Пекарский распорядился продать молодоженам шестиместную каюту, со снятыми лишними полками сделавшуюся двухместной, и, кроме того, капитан Пекарский — старый дружок Габриэля Матвеевича Астангова — разрешил молодоженам подниматься на свою, капитанскую палубу, где для них были поставлены два специальных кресла, где все матросы парохода знали, кого везут и почему везут. Едва разместив вещи в каюте, Ника шепотом спросила:

— Ты любишь меня?

— Дурацкий вопрос. Предельно люблю.

— А ты не обманываешь?

— Какого черта мне тебя обманывать? Ну, сама посуди.

— Да. Правда! Ты ничего не получаешь... Ой, прости, милый!

Он ответил:

— На этот раз прощаю, но... Будь благоразумной!

Он нагнул ее голову, положил на свою сильную выпуклую грудь, пальцами перебирая ее тонкие волосы, заговорил медленно и мягко под бой пароходных плиц и тонкие гудочки парохода на перекатах.

— Ты моя жена, Ника, я всегда, до самой смерти тебя буду любить и жалеть, я тебя никогда не брошу, не брошу вообще и не брошу в беде, я хочу от тебя иметь ребенка, хочу, чтобы ты и только ты была его матерью, и я хочу, чтобы ты всегда помогала мне, а не мешала. Ты скоро узнаешь, что я не подлец и не предатель, но я борюсь, я все время борюсь, такова судьба каждого журналиста... Не надо плакать, Ника, плакать не надо даже от счастья, от счастья надо смеяться, и, слушай, давай «будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». А ты ревешь, как белуга, у меня вся рубашка мокрая, может быть, ты хочешь, чтобы я заревел тоже, так до этого рукой подать... Слушай, Ника, ты знаешь, что моя любовь к тебе — не струйка дыма. Вот ты не понимаешь, а это из песни: «Моя любовь — не струйка дыма, что тает вся в сияньи дня...» Так вот, моя любовь к тебе — не струйка дыма... Вот это хорошо, что ты перестала плакать, моя маленькая и умненькая женушка, моя кыска, как бы сказал Боб Гришков. Бедный, он до сих пор спит на твоем диване, а мы уже... Мы скоро выскочим на Обь — вот как быстро ходит наш замечательный пароход «Пролетарий».

А про себя сказал: «...Твой отец, твой замечательный отец Габриэль Матвеевич хочет, чтобы история с утопом стала гласной. Ему невозможно трудно жить с ношей преступления, твоему папе хочется очиститься от скверны, и я помогу, помогу. Он сам дал мне понять, что хочет этого, ты понимаешь, хочет! Не бойся ты за отца, Ника, не бойся! Он один из самых компетентнейших людей в Российской Федерации, он не останется без дела, он, возможно, займет еще более высокое положение, когда все тяжелое останется позади, пойми и знай это, знай и помни...»

И он шептал и говорил еще долго, до тех пор, пока жена его не успокоилась, пока она не улыбнулась, а потом расхохоталась, когда Никита Ваганов начал рассказывать армянские анекдоты, рассказывать их с пресмешным акцентом и вылупленными от старательности глазами. Ника начала смеяться, плечи у нее затряслись сильнее, чем от плача, и вскоре, припудрившись и припомадившись, смогла вместе с мужем выйти на верхнюю капитанскую палубу, и это произошло в тот чудесный момент, когда «Пролетарий» хлопотливо, точно курица крыльями, колотя плицами по темной еще воде Соми, выплывал на зеленую воду великой реки Обь. Уже открылся справа когда-то рыбацкий поселок Брагино, уже занизился и стал песчаным левый берег, уже крупные чайки с криком бросались в воду и атаковали шумно пароход, и уже можно было наблюдать чудесное явление: темная вода Соми не перемешивалась с зеленой водой Оби, а шли они отдельными контрастными слоями — красиво было и занимательно, непонятно и загадочно. Ника аплодировала и смеялась, откидывая голову назад, хотя не впервые видела двухслойную воду.

— Замечательно, Никита, ой, как замечательно!

А Никита Ваганов занимался наблюдениями над молоденьким

матросом, который делал вид, что тщательно швабрит палубу, а на самом деле поглядывал за молодоженами, и на его лице читалось откровенное: «Неужели это тот самый Ваганов? Неужели это живая дочь Астангова?» Матрос был хорошенький и ладный, форма на нем сидела преотлично... ...И кто мог знать, что год спустя Никита Ваганов напишет о нем один из своих удачных очерков «Сине-белое»! После очерка матрос пойдет уверенно вперед: станет старшим матросом, затем поступит в училище, закончит его, несколько лет проплавает штурманом, потом сделается капитаном судна на подводных крыльях, и уж с него перейдет на капитанский мостик белоснежного красавца «Маршал Конев» — лучшего пассажирского теплохода в те времена. Это произойдет за несколько лет до того, как Никита Ваганов взойдет на синтетический ковер...

— Ой, Никита, чайки совсем взбесились!

Взбесишься, станешь с опасностью для жизни пикировать на пассажирский пароход, чтобы подхватить крошки хлебного батона, если в великой реке Оби с каждым днем становится все меньше и меньше рыбы, если вода пахнет нефтью и химией, если мальки осетра погибают еще не появившись на свет, если... Никита Ваганов сказал:

— Спасибо, Ника! Ты подарила мне заголовок и статью. «Бешеные чайки»! Неплохо для материала о загрязнении Оби.— И слегка так вздохнул: — Не первостатейного, впрочем, материала, но из-за заголовка я его-таки накропаю, иначе — на-пи-сю! В этом же месяце...

...Статью «Бешеные чайки» Никита Ваганов напишет значительно позже, много лет спустя, и не на материале Оби, а Волги; он напишет уже будучи редактором газеты «Заря», тряхнет, как говорится, стариной, поучит своих ребят работать наступательно, хватко, сильно...

По-медвежьи ступая, весь в белом, широкий и сероглазый, к ним подошел капитан «Пролетария» Семен Семенович Пекарский, остановился, покачиваясь с пяток на носки, протяжно сказал:

— Запомните этот час, ребятишки. Большего счастья не будет!

...И не ошибся. На синтетическом ковре Никита Ваганов ничего иного в их молодой любви не вспомнит, кроме верхней палубы парохода «Пролетарий», бешеных чаек, теплого ветра в лицо, боя деревянных плиц, двух берегов — низкого и высокого, белого капитана, белой — во всем белом — молодой жены Ники, своей клятвы ей на верность; вспомнится запах пароходного угля и пара, сырых и тинистых канатов, рыбы и ягод, что будут продавать на пристанях... Это было счастье, настоящее счастье, но к словам капитана Пекарского тогда Никита Ваганов отнесся... Он к ним никак не отнесся, вернее, просто не поверил капитану, так как несколько иным представлял себе настоящее счастье... Семен Семенович Пекарский, капитан, старинный друг Габриэля Матвеевича Астангова, продолжал:

— Приглашаю вас, ребятки, на капитанский обед. Если хотите, будет мой первый штурман, порядочно играет на гитаре и поет.

Никита Ваганов неторопливо сказал:

— Семен Семенович, а ведь вы должны много знать о сплавных делах. Наверное, знаете и о неимоверно большом утопе леса на реке Блудная?

— О чем речь, Никита? Капитан «Латвии» Валов — мой давнишний дружочек. Так как насчет обеда и штурмана?

Никита Ваганов раздумчиво ответил:

— Не знаю. Конечно, приглашение к обеду мы принимаем. Да, Ника?

— Принимаем, принимаем!

— Однако зачем... зачем штурман? Мы гитару не любим. Да, Ника?

— Не любим, не любим!

Никита Ваганов ошибся в своих ожиданиях: капитан «Пролетария» Семен Семенович Пекарский не рассказал за обеденным столом об афере с утопом, которую наблюдал его друг Валов — капитан буксирного парохода.

После обеда у капитана Пекарского, в их огромной каюте, каюте, испещренной тенями от жалюзи, Никита Ваганов вдруг спросил:

— Как отец? — Вопрос об отце Ники возник из ничего, Никита Ваганов не смог бы даже объяснить, по какой ассоциации вспомнился Габриэль Матвеевич Астангов.

— Как здоровье и дела папы? Ты слышишь, Ника?

— Слышу. Папа здоров, дела идут, кажется, хорошо, но... Ах, Никита, только я и мама понимаем, как папе плохо. Сестра что? Сестра — отрезанный ломоть. А вот мы не спим ночей.

— А что случилось, Ника?

— Что случилось?— Ника резко повернулась на бок, стала смотреть прямо в глаза Никите Ваганову.— Ты женился на мне, ты свой, родной. Тебе поэтому все нужно знать, правда, Никита? Правда?

Подумав, он ответил:

— Разумеется.

Она сказала:

— Папа не спит ночами, ждет несчастья. — И перешла на шепот.— Ты понимаешь, комбинату пришлось под каким-то, я не поняла каким, давлением вырубить кедровый массив и завысить процент утопа леса. Для чего это делается, я тоже не понимаю, но папа тает, как восковая свечка. Нос заострился.

Так! Ника говорила о том самом, о чем Никита Ваганов написал в статье «Утоп? Или махинация!» Так! Поздним летом и ранней осенью некоторые сплавконторы увеличивали количество якобы утонувшего леса, затем эту якобы утопшую древесину включали в производственный план года, перевыполняли годовое задание, получали премии и славу.

— Предельно худо, Ника! — осторожно сказал Никита Ваганов.— Хуже не придумаешь... Почему папа не идет к Первому? Будет трудно, но это — единственно правильный путь.

Это Никите Ваганову кажется, что поход к Первому — спасение! Молодой и горячий, он не может еще понять своего будущего тестя, не разумеет, что в предпенсионном возрасте люди не так смелы, что им надо думать о завтрашнем дне, что у них нет будущего, когда можно начинать жизнь наново: упасть и подняться после головокружительного падения. Под шестьдесят — это не двадцать пять!

— Перемелется — мука будет! — тихо сказал Никита Ваганов.— Не надо умирать раньше смерти, Ника! Перемелется — мука будет, ты слышишь меня?

— Слышу, Никита! Что произошло, я плохо понимаю, но папа на глазах сдает. Мы с мамой не спим ночи.

А что? Сойдешь с ума, если родной отец по ночам ходит из угла в угол своего домашнего кабинета и — некурящий! — прикуривает сигарету от сигареты, губы у него горько опущены, спина сутула, а ведь

Габриэль Матвеевич такой сильный человек, опытный руководитель, честный. Доведешь себя до изнеможения, наблюдая за тем, как страдает такой человек, как... Отец! Ах, как нехорошо все складывалось! Правда, в статье «Утоп? Или махинация!» говорилось, что главный инженер комбината «Сибирсклес», узнав о готовящейся махинации, заявил Пермитину, что больше не хочет слушать об этом подсудном деле и вообще умывает руки, но это вместо того, чтобы немедленно идти в обком партии. В статье было: «Главный инженер комбината тоже оказался не на высоте».

— И все-таки надо пойти к Первому,— машинально повторил Никита Ваганов.— Надо пытаться действовать, сбивать сметану в масло! Ника, Ника!

Она обреченно ответила:

— Папа все понимает! Более того... более того, он считает, что уже поздно, преступно поздно. Слово «преступно» употребил папа. Как мы с мамой плакали!

Можно все это представить. Ходил по гостиной седой человек в красивой, накрахмаленной и проглаженной пижаме, сутулился и горько опускал губы, руки держал за спиной, как арестант, на жену и дочь не смотрел, не мог на них смотреть — было стыдно и страшно смотреть. И правильно: сильный человек, опытный человек, умный человек, поддавшийся минутной слабости и оказавшийся в паутине.

— Плакать — бред! — резко произнес Никита Ваганов.— Надо не плакать, а действовать и действовать! Тебя отец любит, тебя и послушается, уговори его немедленно сделать заявление на бюро обкома, а то будет поздно, фатально поздно! Ты опять не слышишь меня, Ника?

— Я тебя прекрасно слышу. Но на это папа не пойдет! Он не вор и не предатель. Он сейчас старается понять, почему сразу не пошел к Первому...

Они помолчали, не глядя друг на друга.

— Значит, ничем Габриэлю Матвеевичу, по-вашему, помочь нельзя? — сказал Ваганов.— Чепуха! Ты должна помочь отцу победить слабость, жизнь не кончена. Место главного инженера за ним, уверен, останется. Помоги отцу, Ника, помоги!

Ах, как это страшно, когда человек слаб! Люди, не бойтесь сильных! Люди, бойтесь слабых! Бойтесь особенно тех слабых, которые случайно заняли высокое положение,— бойтесь таких слабых, люди, бойтесь!

— Ника, ты должна понять меня, Ника!

— Я понимаю.

Он не даст эту женщину никому в обиду, он женился на ней, будет ее любить, по-своему верно, до своей смерти, сделает ее жизнь обеспеченной: с автомобилями и дачами, курортами и санаториями, кругом интересных и крупных знакомых; он все сделает для того, чтобы падение Габриэля Матвеевича Астангова — недолгое падение — не было для нее крахом, не оставило у дочери на всю жизнь шрама в душе.

— Ника! — сказал он на ухо жене. — Ты можешь взять обратно твое решение стать моей женой...

— Почему? — приподнимаясь, спросила Ника.— Я тебя не понимаю.

Он лег на спину, глядя в иллюминатор, отыскал в небе коршуна и стал следить за его мирным парением. Через минуты три он сказал:

— Всю эту историю с утопом древесины и вырубкой кедровника я раскопал. Так бы все и ушло в небытие, если бы я с прошлой весны не засек одну из сплавконтор... На подобное корреспондент центральной газеты «Заря» Егор Тимошин не был способен: плохо знает дело. И значит...

— Значит, ты опубликуешь это в «Заре», узнает вся страна... Боже, так ведь папа не переживет этого!

Переживет, распрекрасно переживет, только с большими потерями и убытками, которые можно было бы смягчить, но Габриэль Матвеевич не пойдет с повинной. Ох, уж эти чистюли!

— Кончай реветь, Ника! — сказал Никита Ваганов. Он поцеловал ее в гладко-бархатистое плечо.— Тебе надо действовать, маленькая, действовать и действовать.

Ника с размаху припечатала пощечину Никите Ваганову, хотела еще одну, но он уже стоял в трех шагах от нее.

— Ты, значит, продолжаешь бороться с папой? Я тебя спрашиваю: продолжаешь бороться?

Он сдержанно ответил:

— Я изучаю вопрос об утопе леса, и, насколько понимаю, Габриэль Матвеевич хочет, чтобы эта история раскрылась.

Она шепотом вскрикнула:

— Но не твоими руками, не твоими! Неужели ты не понимаешь?

— Как не понять! Между тем мне кажется, что Габриэль Матвеевич предпочитает именно мои руки. И он прав. Я по крайней мере разоблачение проведу так, что весь удар обрушится на Пермитина, а посторонний человек...

Ника схватила его за рукав, потянула, ожесточилась... Восточная кровь текла в ней, восточная кровь с небольшой примесью русской сибирской крови, и это было таким сочетанием, что первый год супружеской жизни — особенно первый — был сущим мучением для Никиты Ваганова; потом Ника успокоится, притихнет, а сейчас она штурмовала мужа, разносила его в клочки и клочья:

— Ты умеешь придумывать основания для своей подлости! О, как ловко ты это делаешь! Как ловко! Я не верю в бога, и от тебя не требую, но есть высший разум, высшая инстанция. Она все видит, все считает. Ты будешь наказан, ты не уйдешь от кары, ты от нее не уйдешь...

Что же! дальнейшее покажет ее правоту. Может быть, на самом деле некая высшая инстанция поставила Никиту Ваганова на синтетический ковер, заставила его, такого холодного и смелого, сжаться в утлый комок в ожидании приговора, смертного приговора. Он встретил его, как выяснится впоследствии, мужественно, но только слегка побледнел, не дыша. «Отринь, сухорукая стерва! Я сделал в тысячу раз больше добра, чем зла! Отринь и скройся, исчезни на долгие годы, падаль костлявая!» И никто его не смог бы упрекнуть в зазнайстве — столько добрых дел совершит в своей недолгой жизни Никита Ваганов, столько добрых дел и поступков. Взять хотя бы историю со старушкой в вуали и пенсне, со старушкой, что бежала по Первомайской улице столицы к трамваю, чтобы, наверное, доехать до ярмарки,— она держала в левой руке такую же, как она сама, допотопную кошелку. Накрапывал или уже шел мелкий дождь, машины влажно плыли по асфальту, поток ходоков устремлялся к прогулочному Измайловскому парку, а старушка бежала к трамваю, который уже готовился закрыть двери. И вагоновожатая хорошо видела бегущую старушку, отлично видела, как старушка бежит, бежит, бежит, открывая рот и нелепо взмахивая кошелкой, как ее ноги в туфлях на высоком каблуке разъезжаются и подкашиваются, как шляпка с ву-

алеткой сползает на разверстый рот; вагоновожатая, эта крепкая и коротконогая девчонка в короткой юбке, именно в короткой юбке, эта девчонка с упругим розовым лицом и глазами палача, круглыми и немигающими, закроет двери трамвая перед самым носом старушки в вуалетке, двинет трамвай вперед, почти задев падающую на мокрый асфальт старушку. Первым упадет пенсне со шнурком, затем повалится шляпка с вуалеткой, затем начнет медленно падать на асфальт сама старушка. Она упадет лицом на осколки разбитого пенсне, трамвай красным боком едва не полоснет по лысой ее голове; опустевший с уходом трамвая клочок асфальта онемеет от страха и немощи. Но не пройдет и трех секунд, как к старушке бросится выскочивший из такси Никита Ваганов — совсем молодой человек. Он еще до падения старушки предвосхитит это событие, чтобы успеть подхватить старушку. Он поднимет плоть ее, а лицо старушки обольется кровью от удара об асфальт, она не то умрет, не то потеряет сознание, по крайней мере толпа завопит, что старушка померла, отдала концы, преставилась, кончилась. И действительно, глаза стекленели, дыхание улетучивалось, а осколок от пенсне впился в глаз. Толпа на трамвайной остановке увеличивалась, но любая «скорая помощь», будь она самой скорой, не опередила бы Никиту Ваганова, который действовал молниеносно. Он расстегнул ворот платья, отважно отодвинул в сторону то, что некогда было грудью, и начал массировать сердце, сильно и беспощадно массировать продавливающуюся и хрустящую плоть...

Так было на Первомайской улице столицы, так было и не иначе, а теперь речь идет о городе Сибирске и о том, что Никита Ваганов выслушивал вопли молодой жены о своем бездушии. Ника ему пощады не давала!

— Знаю, знаю, для чего ты это делаешь! Тебе надо отличиться! Ты спишь и видишь себя большим работником «Зари», ты спишь и видишь Москву, а она мне не нужна, не нужна. Расчетливый и коварный человек! Я не хочу в твою Москву, не хочу! Понимаю теперь, о чем ты пишешь этому Грачеву! Ты ему аккуратно отвечаешь! Понимаю!

...А чего не понимать, если Валентин Иванович Грачев, Валька Грачев считал, что подниматься вверх и двигаться вперед можно только и только в Москве, а Никита Ваганов полагал, что в столицу надо въезжать из периферии на белом коне. Жизнь покажет, что оба способа возможны. Правда, Никита Ваганов по сравнению с Валькой Грачевым будет иметь одно существенное преимущество: глубинное понимание жизни, которое позволит ему возглавить газету «Заря», а Валька Грачев поднимется высоко, но так и не сможет претендовать на роль главного редактора...

Молодожены уже стояли на прогулочной палубе, когда Ника жалобно и моляще просила:

— Что же будет с папой, Никита? Ты его убьешь!

Он серьезно и неторопливо ответил:

— Габриэль Матвеевич умирает и без того, разве ты не видишь? Лучше будет для Габриэля Матвеевича, если дело до конца раскроется. Лучше сразу, чем медленно-медленно... Ника, ты поймешь позже, что я совершенно прав. Пожалей родного отца!

Ника бесшумно плакала, а Никита Ваганов думал об Егоре Тимошине, который, никому не признаваясь, все-таки писал роман, писал исторический роман. ...Несколько лет спустя он покажет рукопись Никите Ваганову, потом подарит книгу, а потом газета «Заря» опубликует панегирическую рецензию на роман об освоении Сибири, и правильно сделает. За несколько недель до появления рецензии Егор Тимошин три дня проживет на барской даче редактора «Зари», на той самой даче, где лев на лужайке. Впрочем, лев на лужайке, бедный заблудший лев, оставшийся от старинных времен, этот лев сыграет в жизни Никиты Ваганова особенную роль, ничуть не меньшую, чем меловой лев на стене. Но это будет, это еще только будет...

III

Через полтора-два месяца после регистрации брака с Никой Астанговой молодой муж Никита Ваганов, живущий в доме тестя, невзирая на то, что статья «Утоп? Или махинация!» уже была написана и находилась там, где находилась, решил отправиться в дальнюю, но короткую командировку, выбор которой был хитрым дипломатическим ходом. По непроверенным, но точным данным, в Анисимковской сплавной конторе, где молевой сплав леса производили только по одной речушке, списали на утоп восемь тысяч кубометров леса: число курьезно большое. Поездка в Анисимовку была сама по себе интересной, но главное произошло — на это и рассчитывал Никита Ваганов — во время официальной встречи Никиты Ваганова с главным инженером комбината «Сибирсклес» Габриэлем Матвеевичем Астанговым в его деловито-скромном кабинете. Тесть сразу зятя принять не мог, Никита Ваганов около десяти минут просидел в большой приемной, посмеиваясь отчего-то и разглядывая хорошенькую секретаршу в черных колготах. С главным инженером он виделся часов десять назад, распивал с ним вечерние чаи и обсуждал международное положение; беседа была по-семейному милой, хотя тесть временами вздыхал и казался отсутствующим — так глубоко уходил в свои тяжелые думы...

Наконец секретарша в черных колготах, секретарша, знающая, кого держит в приемной, быстро проговорила:

— Никита Борисович, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!

Главный инженер комбината принял Никиту Ваганова стоя, но не выходя из-за стола для рукопожатия,— естественно и правильно, однако было заметно, что Габриэль Матвеевич смущен, собственно, не знает, как себя вести, когда с блокнотом в руках — на диктофон Никита Ваганов не решился — зять сел на одно из двух кресел для посетителей.

— Простите, Никита! Представьте, раньше не мог принять. Ну, ладно, Никита. С чем пришли? — говорил Габриэль Матвеевич, не поднимая взгляда на зятя. — Так с чем пришли, Никита?

Смуглый, интеллигентный, в темно-синем костюме, совсем маленький за большим столом, Габриэль Матвеевич являл тип того руководителя-сидельца, который никогда не устает от стола, неторопливо и беспрерывно, интенсивно и напряженно все работает да работает, ежеминутно обязанный принимать ответственные решения; он являл законченный тип кабинетного руководителя, не пытающегося делать вид, что он может или даже способен быть иным. И славно! Работники масштаба Астангова, считающие себя не кабинетными затворниками, запутываются в трех соснах, когда пытаются кабинет сочетать со стремительными и потому часто бесплодными вылазками в жизнь. Возраст и опыт главного инженера Астангова достаточно широко и точно позволяли ему видеть жизнь, пройденную по широким во времени ступеням: мастер лесозаготовок, технорук лесопунк-

та, начальник лесопункта, главный инженер леспромхоза и так далее...

— Меня вот что интересует, Габриэль Матвеевич,— медленно проговорил Никита Ваганов.— Ах, если бы знать точно, что меня интересует!..— Он по-родственному улыбнулся.— Я хочу испросить вашего разрешения на изучение вопроса сочетания молевого сплава и сплава леса в плотах на примере, скажем, Анисимковской сплавной конторы...

Его вопрос можно было бы считать обычным, если бы он не относился именно к Анисимковской конторе, так как были еще те времена, когда в Сибирской области только начиналась широкая борьба с отсталым и преступным, в сущности, молевым сплавом леса, когда даже в таких конторах, как Тагарская, где директорствовал прогрессивный Олег Олегович Прончатов, на трех реках не водили лес в плотах.

— Вот что еще меня интересует, Габриэль Матвеевич! — продолжал Никита Ваганов.— Анисимковский лесхоз жаловался в несколько инстанций на вырубку прибрежного кедрового массива, но ни одной жалобе ход не дан. Как это могло получиться?

Габриэль Матвеевич по-прежнему не поднимал взгляд на зятя, маленькие руки были стиснуты, зубы стиснуты, и теперь весь главный инженер казался совсем маленьким в своем высоком кресле — сострадание и жалость вызывал он, и Никита Ваганов с гневом думал о том человеке: «Сволочь, сволочь»,— не зная, как и чем можно помочь тестю.

Габриэль Матвеевич Астангов сорванным голосом произнес:

— Займитесь Анисимковской сплавной конторой, займитесь ею вплотную...— Он посмотрел на Никиту Ваганова по-птичьи искоса.— Надо, надо, заняться...

Казалось, слово «займитесь» он может повторять бесчисленное количество раз, мало того, Габриэль Матвеевич сейчас не помнит или не понимает, кто перед ним сидит и для чего.— Займитесь, займитесь Анисимковской конторой...

И все это было так легко объяснимо!

— Я поеду в Анисимковскую сплавную контору, Габриэль Матвеевич! — пообещал Никита Ваганов.— Однако перед поездкой мне надо, чтобы работники вашего аппарата снабдили меня некоторыми сведениями.

— Какими именно?

— Хотя бы по утопу леса, Габриэль Матвеевич. Анисимковцы — это само собой, а картина по комбинату в целом — само собой!

— По комбинату в целом! Данные по утопу леса в целом по комбинату? — во второй раз повторил Габриэль Матвеевич.— Но ведь они известны. И в годовом отчете, и в речи Пермитина на областном совещании работников лесной промышленности.

Беда, что Никита Ваганов до сих пор не знал точно, хочет ли тесть освободиться от тяжести преступления или собирается всю оставшуюся жизнь горбатиться, вздыхать, бесцельно ходить по комнатам своей большой квартиры. Скоро Никита Ваганов узнает, что Габриэль Матвеевич Астангов только этого и хотел — разоблачения, что сейчас, откинувшись на спинку кресла, как бы удалившись от Никиты Ваганова, главный инженер комбината молчал, глядя в одну точку — на портьеру за спиной Никиты Ваганова, и думал о том, что разоблачение и избавление придет из рук молодого человека, почти мальчишки, что этот мальчишка — муж его младшей дочери, что он вошел в дом, будет жить в самой большой комнате квартиры, сидеть за одним обеденным столом с тестем, который долго-долго не сможет смотреть прямо в глаза зятя, будет стесняться его и — даже так! — робеть перед Никитой Вагановым. Вот какой фокус показал ему, Астангову, этот безумный, безумный, безумный мир!

Габриэль Матвеевич Астангов сказал:

— Что же, это очень интересный вопрос, Никита! Займитесь им, если хватит сил и знаний.

Никита Ваганов прижал руки к груди, чувствуя невозможность больше молчать, сказал:

— Я все уже знаю, Габриэль Матвеевич. Все! И даже написал разгромную статью...— Он помолчал.— Правильно ли я понял, что вы хотите скорейшего завершения этой истории?

— Правильно! — с облегчающей готовностью ответил тесть.— И чем скорее, тем лучше!

— Тогда распорядитесь, Габриэль Матвеевич, чтобы начальник производственно-технического уделил мне часок-другой. Хочется, чтобы и он принял меня в спокойной рабочей обстановке.

— Хорошо!

Пока тесть через селектор хриплым голосом приказывал начальнику производственно-технического отдела Лиминскому быть внимательным при встрече со специальным корреспондентом областной газеты «Знамя», Никита Ваганов, в свою очередь, думал о том, какой невыносимой станет жизнь тестя и жизнь в их доме вообще, в городе, когда в газете «Заря» — центральной, влиятельной газете — появится его материал об афере с вырубками кедровников, с утопом и обсыханием леса. Что касается Владимира Владимировича Лиминского, то, если говорить правду, встречаться с ним в стенах кабинета Никите Ваганову не следовало — интереснее было бы провести вечерок за преферансным столом; начальник производственного отдела, ходили слухи, был великолепным партнером. Никита Ваганов не собирал факты для разгромной статьи, она под названием «Утоп? Или махинация!», как вам известно, уже была готова, и только сверхбдительность настоящего журналиста да желание узнать, хочет ли разоблачения тесть, привели его в стены этого комбината.

Габриэль Матвеевич тихо сказал:

— Будьте осмотрительны, Никита! А дома я вам все расскажу.

Такое за деньги не купишь, когда обвиняемый просит обвинителя «быть осмотрительным».

Подумав, Никита Ваганов легкомысленно махнул рукой и сказал:

— Кто не рискует, тот не пьет шампанское!

...Присказку о шампанском Никита Ваганов часто употребляет при игре в преферанс, с годами ставшей для него важной и даже значительной по времени и отдаче игрой в жизни. Он станет одним из самых сильных преферансистов Москвы, будет игрывать с такими же сильными партнерами, сразиться с Никитой Вагановым будут считать честью и сильные мира сего... Играть он будет по крупной, рискованно, отчаянно, хитро, коварно, легко, мягко, расчетливо и нерасчетливо. В его московской квартире создастся целый преферансный ритуал — специальный ужин, тихая музыка в комнате для игры, отпечатанные на ротапринте пульки с назидательными надписями по краям, специальные карандаши, иноземные карты...

— Мы будем пить шампанское! — лихо повторил Никита Ваганов.— Нет ничего такого, чтобы нам не пить шампанское! Мизер на руках!

Он осекся, так как Габриэль Матвеевич предостерегающе поднял левую бровь:

— Он очень, очень силен!

Бог знает что творилось! Вслух Никита Ваганов сказал:

— Так до вечера, Габриэль Матвеевич!

Неторопливо идя из одного кабинета в другой, Никита Ваганов думал: «Ну, держись, Арсентий Васильевич! Держись за землю, не то упадешь!» — при этом страдал за тестя, который сейчас одиноко сидел за столом с таким видом, будто он был совершенно пустым, точно одна оболочка, только костюм английской шерсти занимал высокое кресло. Это был тот момент, когда Габриэль Матвеевич переходил из одного душевного состояния в другое: предупредив зятя об опасности Пермитина, почти признавшись в преступлении, он еще не нашел сил для будущей жизни, еще не начал бороться за того Астангова, который три года будет прекрасно работать старшим инженером, чтобы превратиться в ...директора Черногорского комбината...

«Крепкий орешек», каким считался в стенах комбината Владимир Владимирович Лиминский, сидел в похожей на карцер комнате, темной и поэтому освещенной одновременно тремя светильниками, что у людей суеверных считалось плохой приметой: три свечи! Вопреки этому Владимир Владимирович Лиминский уцелеет в афере с утопом древесины, ничего страшного с ним не произойдет: кресло только слегка закачается под ним и чуть заскрипит, однако путь вверх в Сибирской области для него окажется крепко забаррикадированным, печать махинатора навечно останется на нем, да такая заметная, что и переезд в другую область станет невозможным.

— Я приветствую вас, Владимир Владимирович!

— О, привет, Никита Борисович! Сидайте, где хотца, и курите... Ах, вы не курите, бережете драгоценное здоровье, а я вот уверенно гряду к раку легкого или к какой-нибудь еще хворобе. Садитесь же, пожалуйста!

При настольной лампе, верхнем свете и торшере начальник производственно-технического отдела выглядел до смешного малокровным, а был широким, крепким, с военной выправкой, крупными чертами лица, большими руками человеком, казавшимся долговременной огневой точкой в своем кабинете, но вот голос у него был — этого активно не любил Никита Ваганов — тенористым, певчим, если можно так выразиться. Это соответствовало действительности: начальник производственного отдела пел тенором под гитару, пел модного тогда Булата Окуджаву и, как все признавали, пел не хуже самого барда. Он вообще умел быть душой любой компании, этот Володичка Лиминский.

— Отчего же вы не садитесь, Никита Борисович?

— Определяюсь, вычисляю свои координаты. Знаете, Владимир Владимирович, не красна изба углами, а...

— ...а пирогами.

— Предельно правильно! Как писал Багрицкий: «Ну, штабной, бери бумагу: открывай чернила, этой самою рукою Когана убило!» Сейчас зачну вас мучить, Владимир Владимирович.— Никита Ваганов сел.— Дело в том, Владим Владимыч, что «в нашей буче и того лучше», а также «жизнь хороша и жить хорошо!» — Никита Ваганов потер руку об руку.—Счас такое начнется, что хоть всех святых выноси! Это я вам точно говорю, Владимир Владимирович! Эх, какой следователь уголовного розыска пропадает в лице Никиты Ваганова! Мегрэ зеленеет от бессильной зависти!

Он не хвастался, он действительно был наделен всеми качествами, необходимыми следователю: дедукцией, индукцией плюс верной интуицией, и ничего удивительного в этом не было: каждый журналист — следователь в той или иной степени одаренности, а Никита Ваганов был из лучших. Он, например, понимал, что трудные подследственные обычно не имеют вид «крепких орешков», а играют более тонко и верно: откровенность, правдивость, податливость, лживая искренность.

— Благословясь, приступим! — сказал Никита Ваганов, медленно-медленно открывая записную книжку и включая диктофон.—Единственный вопрос, единственный и гло-о-о-бальный! Почему утоп леса в прошлом году превысил все нормы? Если вы это захотите объяснить наводнением, то я не приму этого объяснения. В классическом труде Сергея Сергеевича Валентинова по лесосплаву черным по белому сказано, что большая вода СНИЖАЕТ УТОП!

Лиминский, подумав, неторопливо ответил:

— Я высоко ценю покойного Сергея Сергеевича, мне с ним довелось работать на заре туманной юности, но Сергей Сергеевич приводит общий случай, когда большая вода ведет себя по-человечески, а не так, как прошлой весной! — Он прищурился.— Вам же известно, что наводнение продлилось всего две недели, что спад воды не был по-сте-пен-ным!

Никита Ваганов что-то старательно записал в блокнот, что-то изменил в режиме работы диктофона и сказал:

— Если вы правы, Владимир Владимирович, то резонно спросить: почему нет высокого утопа в Ерайской сплавной конторе, где молевой сплав проводился на пяти реках?

— Семечки, а не вопрос! — Лиминский легкомысленно разулыбался.— Дело в том, что Александр Маркович Шерстобитов играет с оловянными солдатиками. Сверхчестность! Он не захотел принять утоп. Да он ему и не был нужен... Рубки в новом массиве, естественно, были прибереговыми, леспромхозы создали запас излишнего леса — вольно же ему было беситься, если за две недели наводнения он успел весь лес пустить по большой воде. А утоп у него такой же необыкновенный, как и в других сплавконторах... Слушайте, Никита Борисович, нет ли у вас за пазухой вопроса посолиднее.

— Минуточку! Будет вопрос посолиднее.

Никита Ваганов мыслил медленно, но верно. Он хотел понять, выгодно ли Владимиру Лиминскому сделать явной историю с утопом леса? Мог ли он, прямой исполнитель воли Пермитина, рассчитывать на выгоду для себя, если над теми, кто жестко приказывал ему творить беззакония, разразится гроза? На трезвый взгляд получалось, что ничего, кроме шишек, Лиминский не мог получить. События ведь происходили не в детском саду: «А Петька велел мне насыпать песок в кровать Валеры!»

Никита Ваганов спросил:

— Хорошо, но отчего же нет лишнего утопа и в Тагарской сплавной конторе, где директором Олег Олегович Прончатов? Он тоже пижонит?

— Пижонит,— ответил Лиминский и рассмеялся.— У Олегушки Прончатова, моего друга, всегда есть в заначке пяток тысяч кубиков. Он без этого не живет, можете мне поверить. Это та еще бестия! А утоп у него тоже необыкновенный.

— То есть больше нормы?

— Больше, естественно. Наводнение! Такого не наблюдалось в течение семидесяти лет, чуете?!

— Хорошо, Владимир Владимирович, предположим, что такого на-

воднения не было в течение семидесяти лет, но как вы объясните такой факт? За пять последних лет количество рек с молевым сплавом сократилось примерно на сорок процентов. Это так?

— И не иначе!

— Количество рек сократилось, а утоп равен утопу тысяча девятьсот сорок девятого года. Это ли не страх божий?

Лиминский пожал плечами, на Лиминского цифры подействовали.

— Вы уверены, что это так?

— Арифметика, Владимир Владимирович.

— Откуда взята арифметика?

— Из доклада главного инженера комбината.

— А середину этой арифметики вы просчитывали?

— Конечно! — Никита Ваганов зачем-то плавно повел левой рукой.— Неувязочка, кромешная неувязочка, Вдим Вдимыч!

— Вы думаете?

— Уверяю вас!

Они замолчали в раздумье. Лиминский, видимо, соображал, куда беседа его может завести сегодня, когда еще неизвестно, как ответил на эти же вопросы Ваганова главный инженер комбината.

Лиминский озадаченно сказал:

— Поразительно, что мне не пришло на ум произвести сравнительный анализ. Текучка, мать ее распротак! Но я обдумаю вашу цифирь, Никита Борисович. Любопытненько! Поедем дальше... У вас имеются еще вопросы?

— Да! Ряд вопросов, дорогой Владимир Владимирович, ряд вопросов... Вот такой. Не спрашиваю о перевыполнении, спрашиваю: выполнил ли бы план комбинат, если бы не добился списания двадцати пяти тысяч кубометров на утоп, двадцати на обсушку и вырубку прибрежных кедровников? Вот какой примитивный вопрос, Владимир Владимирович. Кажется, из той же арифметики ясно, что план был бы не выполнен, но это я хочу слышать из ваших уст, а?

— План был бы выполнен!

— Ого! Каким же образом?

— Обыкновенным, то есть таким, каким он и был выполнен. На перевалочные комбинаты поступило такое количество леса, которое обеспечивало не только выполнение, но и перевыполнение плана. Министерство учло судоходную обстановку и особенности молевого сплава.

Поющий, самовлюбленный голос, размашистые жесты, снисходительные улыбки — все это наконец так обозлило Никиту Ваганова, что он разыграл целый спектакль: долго писал в блокноте, потом в полной тишине переменил пленку в диктофоне и подсунул его чуть ли не под нос Лиминскому.

— Предположим, что вы правы,— сказал он.— Тогда возникает вопрос, отчего в Анисимковской сплавной конторе, где совсем нет молевого сплава, списано на утоп четыре тысячи кубометров леса?

Лиминский недоуменно пожал плечами:

— Такого не может быть! Вас ввели в заблуждение.

— Позвольте вам не поверить, Владимир Владимирович. Следует только позвонить в плановый отдел, как вам скажут, что я прав...

— Позвольте вам тоже не поверить, Никита Борисович!

— Ах, вот как! Тогда вопрос третий и последний. Неужели вы до сих пор не понимаете, Владимир Владимирович, что я знаю все об афере с утопом и прочими махинациями с лесом, понимаю, какую испо-о-л-лнительскую роль вы играли в этом скверном деле? — Никита Ваганов встал, застегнулся. — Неужели это трудно понять? Факты

лежат почти на поверхности. При желании их собрать — раз плюнуть!

Лиминский после паузы спросил:

— А у вас есть такое желание, Никита Борисович?

— Есть, Владимир Владимирович.

— Несмотря на то, что вы женились на Астанговой?

— Возможно, именно поэтому...

— Забавно!

Лиминский тоже поднялся.

— Можно откровенно, Никита Борисович? Я старше вас на какие-то пятнадцать—двадцать лет, так что позвольте быть откровенным?

— Извольте, Владимир Владимирович.

— Вы мне нравитесь, предельно нравитесь, как вы любите выражаться. Вы сильный и умный. И знаете что, Никита Борисович, я поигрываю в преферанс, а вы, ходят слухи, бог! Не сойтись ли нам на пулечку? — Он поджал губы, затем продолжал: — Мне думается, мы успеем сыграть еще до того, как вы сложите голову на утопе древесины... Итак, вы согласны?

— Извольте. Можно послезавтра, в воскресенье. Где?

— У меня, Никита Борисович! Не хоромы, но тихая комнатенка отыщется, да и все сопутствующее. Правда, говорят, вы не пьете?

Никита Ваганов громко рассмеялся и положил руку на локоть Лиминскому. Он сказал:

— Большая деревня! Да, я не пью, но пить при себе прошу много и часто. Запомните: часто и много!

...Преферанс — старинная карточная игра, сыграет в жизни Никиты Ваганова столь важную роль, что однажды, резвясь наедине с самим собой, он вполне серьезно подумает: «Слишком много отнимал университет. Куда полезнее для меня преферанс — волшебный ключик!»

— Значит, у меня в воскресенье часиков в шесть, Никита Борисович?..

— Пр-э-э-э-лестно, Вдим Вдимыч!

IV

Лиминский зря жаловался, что хором не имеет: он жил в большущей четырехкомнатной квартире, занимая ее семьей из четырех человек — жена, засидевшаяся в девушках дочь, теща, которая доставила самое большое удовольствие Никите Ваганову. Заядлая преферансистка, опытная, играющая в десять раз лучше своего зятя. Четвертым партнером был пианист областной филармонии Илларион Пискунов — изысканное общество в городских масштабах. Маргарита Ивановна по жребию начала сдавать карты, сдав, заглянула в карты Никиты Ваганова, сказала низким, почти мужским голосом:

— Первая сдача — вся игра. Вам не попрет карта, Никита Борисович.

Она как в воду глядела, действительно, после первой сдачи и до последней Никите Ваганову чрезвычайно не везло, но он все-таки немного выиграл. Кто понимает в преферансе, тот знает, как можно выиграть, когда не идут карты. Никита Ваганов, вистуя втемную, посадил без двух взяток на восьмерной пианиста, постоянно вистовал при

игре тещи, дал на параллельном сносе теще взятку на мизере, часто удачно играл распасовку и так далее, приговаривая при этом полушепотом:

— В козыря мы ходить не будем, глупо, чтобы у Владимира Владимировича сыграли все мелкие козыри, а вот сюркупчик мы ему организуем. Илларион Иванович, бросьте короля пик и никогда не оставляйте на короткой масти крупные карты. Вене иси, как говорится, Владимир Владимирович, пожалуйте бриться! Без двух! Такова жизнь...

Маргарита Ивановна, теща Лиминского, сердито сказала:

— Надо играть строже и внимательнее, Владимир. У вас и в помине не было семерной. Вы играли только при половинном раскладе.

Лиминский ответил:

— Ваша правда!

Это было уже в той стадии игры, когда из четырех человек главным становится один, незаметно или, наоборот, открыто диктующий волю трем играющим, и если в начале игры Лиминский еще хорохорился, то теперь смотрел почти подобострастно на Никиту Ваганова, а теща Маргарита Ивановна несколько раз благодарно прикасалась к его длиннопалой руке. Как бы ни были разны характеры играющих, лидер для них оставался надолго вызывающим уважение человеком.

Пианист филармонии Пискунов и Лиминский, позабыв о себе, любовались игрой Никиты Ваганова, который выигрывал, хотя ему катастрофически не шли карты, и Никита Ваганов отлично понимал, что начальник производственно-технического отдела комбината «Сибирсклес» Владимир Владимирович Лиминский следил за игрой Никиты Ваганова с особым интересом; а в свою очередь Никита Ваганов понимал, что держит экзамен и тем самым готовит Лиминского к мысли: «Этот Никита Ваганов ни перед чем не остановится! Вскроет, как консервную банку, аферу с утопом леса!» Теща Маргарита Ивановна с досадой сказала:

— Вы так рассеянно и плохо сегодня играете, Владимир, что дадите возможность выйти сухим из невезухи Никите Борисовичу. Безобразие!

Никита Ваганов ответил мягко:

— Мне льстит, Маргарита Ивановна, что вы так считаетесь со мной, но...

— Продолжайте, Никита Борисович...

— Меня практически невозможно обыграть — это мнемоническое правило.

И Никита Ваганов продолжал играть, вызывая восторг и уважение Лиминского, не давая продохнуть партнерам, используя их самые крохотные ошибки, играл с таким напряжением, что казалось, внутри него скрипят и скрежещут колесики, колеса, трансмиссии, зубчатые передачи и прочая инженерия. Однако он успевал понимать, как быстро росли его акции у Владимира Владимировича Лиминского. Сильным, стальным, жестким, упорным, работящим человеком был в преферансе Никита Ваганов, и похоже, что его действительно трудно было обыграть, хотя в этот раз Никита Ваганов взял со стола всего три рубля. Промолчавший всю игру, лысый и незаметный музыкант Илларион Иванович Пискунов сказал:

— Давно я не видел такой феерической игры. Спасибо за доставленное удовольствие, Никита Борисович! Вы не сделали ни единой ошибки. Поразительно! Я многому научился, хотя играю лет двадцать.

За ужином, тщательно продуманным ужином, душой компании была теща Маргарита Ивановна, знающая сотни анекдотов вообще

и десятки о преферансе в частности. Каждый играющий в преферанс знает эти анекдоты, слышал их по отдельности, но в такой массированной дозе их редко доводилось кому услышать. И все хохотали, развеселились, а пианист Пискунов, увлеченный Маргаритой Ивановной, хохочущей громче и охотнее других, незаметно отвлекся от спиртного и не напился, чего никогда не бывало с ним в доме Лиминских. Об этом шепнул на ухо Ваганову при прощании хозяин дома, который во время ужина сидел рядом с Никитой Вагановым и все изучал его, изучал, изучал.

Внешне, по крупному счету, Никита Ваганов не повлияет на судьбу Лиминского, но косвенным путем окажет-таки некоторое действо, удержавшее Лиминского в насиженном кресле. Никита Ваганов в статье «Утоп? Или махинация!», разнося начальника производственного отдела, укажет на подчиненную роль его во всех событиях, намекнет, что тот не сразу согласился на преступное деяние.

...За минуту до вынесения приговора я вспомню и преферансный вечер, и сияющие глаза тещи Маргариты Ивановны, и вопрос: «Отчего вы так поздно родились?»

...Было еще и так... Суббота карабкалась по лестнице Судьбы осторожно, боясь подломить ступеньки, поднимала ногу бесшумно, осторожно жила и осторожно дышала, и понимающие люди в субботу думали о вечности и молились вечности, и молитвы их ничего не давали, их никто не слышал и не хотел слышать, и автомобили, только автомобили были живы в субботнем городе, в немом городе, и шины, шины, только шины разговаривали на своем недоступном языке. И самыми безгласными в этом странном мире были разговаривающие люди, льстящие себе тем, что якобы способны общаться, а на самом деле более безгласные, чем рыбы, холодные и скользкие рыбы. И была тишина небытия и тишина разверстости бытия, вязкая, как застывающий бетон, как бетон — серая и страшная, и в груди у Никиты Ваганова пошевеливалось и трепетало сердце, ибо он п р е д в и д е л синтетический ковер, длинный ковер-дорожку. Предвидел членов медицинского синклита, собирающихся пудрить ему мозги, врать и обещать чуть ли не вечную жизнь на этой теплой и круглой земле, на этой земле, где он добился всего и ничего. Только вдумайтесь, только вдумайтесь: «ВСЕГО И НИЧЕГО». Это не по правилам игры, это негуманно по отношению к человеку, от которого все требовали проявления гуманности, гуманности и гуманности. Где ты, относительная и зыбкая, несуществующая и желанная справедливость? Почему талантливый, внешне цветущий, сверх меры одаренный богом Никита Ваганов умирает, а Валентин Иванович Грачев, обыденный Валька Грачев, собирается жить лет до восьмидесяти, так как его отцу сейчас восемьдесят девять, дед умер почти столетним, прадед ушел за вековое житье?..

Обратить трагедию в фарс, извлечь победу из поражения — этому Никита Ваганов был обучен своей недлинной жизнью, его чувство юмора было велико и целительно, позитивно и созидающе. Ожидая приговора, он, например, подумает, что лица у профессорского синклита похожи на точки с запятыми, а у главы синклита — на перевернутый вверх ногой вопрос. Это поможет ему с усмешкой встретить поток лжи, клятв, заверений, бесполезных пилюль и пудрения мозгов, и он скажет прямо в лица синклита: «Экие вы нескладные, граждане! Ну, отчего вы так боитесь смерти, если она рабочая скотинка?» Кроме всего, жизнь — это только и только будни. И смерть — будни... Знаете, как начиналась Хиросима? Прилетел самолет с неж-

ным женским именем «Энола Гей» в честь матери командира корабля полковника Тибэтса и сбросил бомбу. С дурацким американским балагурством ее называли «тыквой», «штучкой», «крошкой» и «худышкой»... Моя смерть, моя предстоящая смерть — серые посредственные будни. Я даже не успею закричать.

Читатель, наверное, давным-давно заметил, как автор, обливаясь потом, старается вести повествование от третьего лица. Задумал даже такой примитивный трюк, чтобы воспоминание о жизни в Сибирске велось исключительно от третьего лица, а все остальное — от первого, но — увы! — мне это часто не удается, хотя профессиональный писатель для большей «художественности» не дал бы просочиться в текст предательскому «я», где оно недопустимо. Будьте снисходительны: я ведь только и только журналист — авось, многое простится. Да, еще я вас попрошу не замечать путаницу времен действия и, главное, не видеть разницы между героем и повествователем. Даже книги крупнейших писателей забавно похожи на их авторов — так зачем по-прокурорски строго следить, от какого лица ведется мое повествование и в каком временно́м счете, ведь оба — автор и герой — умрут в одном... Я надеюсь, что еще будет время во всем разобраться...

V

Сама судьба — дама капризная — заставила Никиту Ваганова провести тот вечер в доме тестя. Ну, куда он мог пойти, если уже жил в этом доме. Для сына бедного школьного учителя квартира тестя должна была казаться верхом роскоши, но Никита Ваганов знал о существовании двухэтажных квартир на Бронной и не только на Бронной...

В доме было светло от электричества, что значило — тесть вернулся с работы. У него была страсть к ярко освещенным комнатам, и потому во всех комнатах были установлены дополнительные, явно лишние светильники, а в коридорах устроен буквально иллюминированный путь, по которому Габриэль Матвеевич Астангов и гости уверенно ходили в туалет. Тесть оживился, тесть откровенно обрадовался, когда его дочь заявила:

— Папа, проведем вечер вместе. Я давно мечтала, а сегодня... Никита, сегодня нам сам бог велел. Согласен?

Никита Ваганов сдержанно кивнул, у него в столе лежали три копии исторической статьи, и он, поверьте, боялся, что их украдут.

— Никита, кажется, не очень-то горит желанием,— осторожно сказала теща Софья Ибрагимовна.— Я ошибаюсь, да, Никита?

— Ошибаетесь! — сказал Никита Ваганов.— Горю, полыхаю, ярко свечу.

Маленький, худой, узкоплечий, смуглокожий и прекрасно седой тесть Никиты Ваганова ходил по дому — и в праздничные дни — в отлично вычищенном и даже отутюженном шерстяном лыжном костюме с белыми лампасами олимпийца. Такие костюмы как-то продавали в Сибирске, и теща купила сразу два костюма сорок восьмого размера и один — на всякий случай — пятьдесят второго, то есть для зятя, хотя Никита Ваганов тогда еще не был женат на Нике. Впрочем, он уже пообещал «расписаться», и Ника, конечно, немедленно об этом доложила матери. Ох, уж эти мамы и дочки!..

— Мама, папа, Никита, проведем тихий семейный вечер. Может быть, даже поиграем в кинг...— Ника счастливо вздохнула.— Ну, доставьте мне радость, доставьте!

Если бы этого вечера «в кругу семьи» не было, его пришлось бы Никите Ваганову выдумать, и он бы его непременно выдумал: в любой другой форме, с другими действующими лицами, но потерял бы уйму времени на выдумывание, а здесь сама удача шла ему в руки, стучалась в спину, вливалась в уши.

— Никита, милый, я забыла, что вы пьете! — огорченно сказала теща, вместе с Никой проворно накрывающая стол не в столовой, а в гостиной.

— Ма-а-а-ма! Никита пьет только водку.

Вранье! Никита Ваганов никогда не пил. Еще ребенком он видел вдребезги пьяным Бориса Ваганова, отца. Никита Ваганов его видел пьяным, с пьяными слезами, с битьем себя в грудь маленькой тощей рукой, с проклятиями в адрес жестокой, жестокой, жестокой жизни. Он видел пьяного отца, хотя отец алкоголиком не был. Кроме того, Никита Ваганов, всегда жадно всматривающийся в жизнь, видел, как много репутаций и карьер уносила водка. Неудачник — водка. Этот тандем хорошо и прочно отпечатался в его сознании, и слова «пить водку» означали, что Никита Ваганов позволит в свою рюмку налить водку раза три-четыре, смотря по обстоятельствам, помочит в водке только кончик языка.

— Папа, хватит ходить по комнате. Папа, садись за стол.

«Папой» тестя Никиты Ваганова сейчас назвала не дочь, а жена, то есть Софья Ибрагимовна, и это всегда заставляло его внутренне морщиться — так было неприятно. Внешне, будьте уверены, неудовольствие не проявлялось. ...Придет время, когда за спиной Никиты Ваганова будут шептаться: «Ловкач! Хитрец! Умница! Подлец! Хищник! Актер!», но нужно знать, твердо знать, что это не вся правда о Никите Ваганове, что есть возможность не шептаться, а прямо в глаза ему говорить: «Добряк! Широкая душа! Мудрец! Друг, товарищ и брат!» До этого он доживет; подхалимы и даже настоящие сволочи прямо в лицо так и станут кричать, и это не будет только ЛОЖЬЮ. Эверест нужных дел, облегчающих жизнь людей, полезных поступков совершит Никита Ваганов до своего пятидесятилетия, когда о его заслугах станут кричать особенно громко в связи с высокой и заслуженной правительственной наградой...

— Я сел, Сонечка! — ласково сказал Габриэль Матвеевич.— Сижу.

Он жил с типично восточной женой. Она встречала его в коридоре, наклонялась, не обращая внимания на яростные протесты, расшнуровывала туфли, снимала. Дождавшись, когда муж наденет пижаму или лыжный костюм, натягивала ему на ноги теплые домашние туфли с длинными загнутыми носками — такие время от времени присылали им друзья из Баку. Жена мыла мужа в ванной, жена не давала мужу кашлянуть — появлялись врачи. Жена в минуты бессонницы пела мужу гортанные колыбельные песни. Дочь Ника в те времена еще возмущалась этой рабской манерой.

Сели за овальный раздвижной стол, накрытый празднично, тестю налили коньяку, Никите Ваганову — водки, женщинам достались остатки сухого вина (забыли пополнить запасы) и замолчали, не зная, как обычно, с чего надо «пономарить». ...Это слово Никита Ваганов ненавидит. Пономарить! О, сколько еще пономарства в нашем обществе, в нашей жизни, в нашем быту и образе мыслей! Мы пономарим

как приговоренные к пономарству, мы пономарим без нужды и необходимости, мы пономарим с такой радостью, словно в пономарстве наше спасение и наше будущее. Сам пономарь, Никита Ваганов заявлял громко: «Ненавижу пономарей и пономарство!» Впрочем, вы еще не раз услышите от него признания в своих винах и преступлениях, хотя Никита Ваганов исповедуется не для прощения, не для очистки совести и даже — это главное — не для читателей. Он исповедуется самому себе. Он журналист, и ему присуще свойство уметь до конца обнажать мысли только на бумаге. На бумаге он лучше мыслит, и на бумаге он — умнее, поймите это, пожалуйста!..

— Успеха Никите! — сказал тесть со своей мягкой славной улыбкой и поднял руку.

Тесть прекрасный человек, работник и руководитель; он великолепно знает дело, понимает людей, умеет работать с людьми; он не подхалим и не блюдолиз, он всегда считал нужным и возможным отстаивать свою точку зрения, какой бы криминальной она ни была в понимании вышестоящего начальства. Никита Ваганов с тестем сошлись на том, что люто ненавидели директора комбината Арсентия Васильевича Пермитина — эту глыбу мяса, с лицом, изборожденным синими полосами. Пермитин — бывший шахтер, его завалило в шахте — он тогда был начальником участка,— его откопали, на руках вынесли на поверхность, и, может быть, с этой минуты и началось его возвышение. В лесной промышленности области Арсентий Васильевич Пермитин — ни уха ни рыла, но у него зычная глотка и начальственные замашки. «Как шахтер, как бывший рабочий, как забойщик я вам говорю: сполняйте мой приказ и — кровь с носу!» Ребята-газетчики, естественно, прозвали его «Сполняйте».

— Спасибо! — сказал Никита Ваганов.

— Спасибо, папуль! — сказала Ника.

В доме тестя Никита Ваганов все-таки оставался чужим. Утром раньше всех уходил на работу, возвращался под завязку, в общение не вступал, а так себе: «Доброе утро! Спокойной ночи! Простите, Софья Ибрагимовна, я нагрязнил в прихожей!» Наверное, поэтому разговор за овальным столом не клеился, и нужен был непременно оратор или весельчак. В роли последнего Никита Ваганов мог выступить с огромным успехом, но не хотел: все-таки не чужими людьми были эти трое, сидящие за овальным столом. Шутом гороховым он работал во враждебной среде — это закон, это норма поведения, построенная на голом расчете. Храни бог вас подумать, что Никита Ваганов мог работать шута перед нужным начальством. Оно, нужное начальство, составляло исключение из всего человечества, хотя бы потому, что он всегда представал перед ним серьезным. Нахмуренное чело, усталый изгиб губ, сутулая спина якобы от вечного сидения за машинкой. И заметная дерзость, дерзость человека занятого, обремененного черт знает чем,— вот что видело перед собой нужное начальство. Жизнь серьезна, какие могут быть шуточки, граждане высшее начальство!

Сама Судьба дернула Никиту Ваганова за язык, когда он спросил:

— Вы довольны поездкой в Черногорск, Габриэль Матвеевич? Действительно есть что посмотреть?

В гостиной горело пять разных источников света, гостиная походила на бальный зал, гостиная ждала действа, пышного фейерверка. Наверное, поэтому и произошло то, что когда-то непременно должно было случиться в жизни Никиты Ваганова, но случилось много раньше положенного времени. Прожевав кусок невкусной высохшей осетрины, Габриэль Матвеевич с удовольствием покрутил головой.

— Замечательная была поездка! — слишком громко для стола на четверых сказал он, и это значило, что его поездка в Черногорск была сверхзамечательной.— Я от нее ждал много, но, поверьте, Никита, был приятно поражен увиденным.

Тесть Никиты Ваганова говорил с легким акцентом, на бумаге невозможно передать этот акцент, например, он произнес «пов-э-рьте» так, что Е слышалось лишь смягченным Э. Одним словом, его акцент передать трудно.

Никита Ваганов давно слышал о черногорском первом секретаре обкома партии, человеке молодом, энергичном, образованном, поднимающим промышленность области буквально супертемпами. Да! Тогдашнего черногорского первого секретаря обкома партии можно было назвать молодым на фоне пожилых секретарей соседних областей. Ему было сорок восемь, он был тезкой Никиты Ваганова — бархатное совпадение — и этот Никита Петрович Одинцов — будущий шеф Никиты Ваганова на долгие-долгие годы его сравнительно короткой жизни.

— В области творятся чудеса! — увлеченно сказал Габриэль Матвеевич.— Сплав леса в хлыстах, звенья по переработке порубочных остатков... Э, да что там говорить, дорогой Никита! Я увидел жизнь, а не Пермитина...— Он вздохнул.— Я, как мальчишка, влюбился в Одинцова.— Подумав, тесть добавил: — Он далеко пойдет. Запомните мои слова, Никита. Одинцов скоро уйдет на самые верхи.

Кто ищет, тот всегда найдет, кто ждет, тот дождется. Посмотрите, как терпеливо сидит над мышиной норкой ваша добрая домашняя кошка, поучитесь у нее терпению, и «мышь» — ваша! Никита Ваганов, пожалуй, с пятого класса сидел над норкой жизни, с малолетства был терпелив и уверен, всегда дожидался, когда появится его «мышь». На словах: «Никита Одинцов скоро уйдет на самые верхи!» — из норы выскочила на яркий свет белоснежная мышь. Цоп! Нет, до «цоп» еще далеко, еще очень далеко было до «цоп», но Никита Ваганов с трудом удержался, чтобы не встать из-за семейного стола и не помчаться немедленно в Черногорскую область, где первым секретарем был Никита Одинцов — человек разнообразно и по-настоящему крупный... Такой крупный, что вся дальнейшая жизнь Никиты Ваганова будет связана с ним, определяться им, направляться и курироваться в полном смысле этого слова. «Никита I» и «Никита II» станут всенародно известными и оба — поверьте! — искренне уважаемыми, заслуженно занимающими самое высокое положение в обществе. Их разъединит только одно — ранняя смерть Ваганова... Не пудрите мозги, не наводите тень на плетень вашими латинскими словечками — Никита Ваганов достаточно сильный человек для того, чтобы умереть с открытыми глазами! Он жить умел, он и умереть сможет. Говорю же вам, не пудрите мозги! Никита Ваганов все знает, хотя ничему и никому не верит; меньше всех наук он верит медицине. Хотите знать, во что он, Никита Ваганов, верит? Ни во что, кроме себя самого! Он не верит ни в бога, ни в черта, ни в любовь, ни в ненависть; он ни во что не верит, кроме себя,— запомните, возьмите это себе на вооружение, сделайте поправочный коэффициент к каждому слову его записок. Буквально через несколько страниц вы прочтете, что Никита Ваганов уверовал в Никиту Петровича Одинцова,— этому тоже не верьте! Он поверил не в него, а в себя, зная, что вместе с ним-то дождется, когда белоснежная мышь выскочит на яркий свет из темной норы. В себя он верил и верит — возьмите это за ключ к пониманию Никиты Борисовича Вага-

нова, возьмите, пожалуйста, иначе не читайте написанное. Бросайте читать, если вы этого не поймете. Эти записки не для ограниченных людей...

— А что в нем такого, необыкновенного, в Одинцове? — сдерживая волнение, спросил Никита Ваганов.— В чудеса не верю.

Тесть ответил:

— Он понял научно-техническую революцию. Этого мало?

Этого было предостаточно. Слыть человеком компетентным в вопросах промышленности — трудно в середине двадцатого века, когда все та же научно-техническая революция заставляет уйму людей достигать высшей степени некомпетентности.

— Я бы на вашем месте, Никита, не мешкая полетел в Черногорск,— сказал тесть.— Материал для любой газеты завидный... В конце концов просто интересно и поучительно... Соня, я долью рюмку. Не каждый день мы сумерничаем...

Ах, умница ты моя! В этот момент Никита Ваганов был готов стать мужем и старшей дочери Габриэля Матвеевича Астангова!

...Никита Ваганов полетит в Черногорск, получит у редактора газеты Кузичева неделю отпуска без содержания, только для того, чтобы иметь право отправить статью о черногорских чудесах в центральную печать.

Окончание следует

Юрий Кузнецов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

★

Солнце родины смотрит в себя.
Потому так таинственно светел
Наш пустырь, где рыдает судьба
И мерцает отеческий пепел.

И чужая душа ни одна
Не увидит сиянья над нами:
Это Китеж, всплывая со дна,
Из грядущего светит крестами.

Русская бабка

Утром фрицу на фронт уезжать,
И носки ему бабка вязала.
Ну совсем как немецкая мать,
И хорошее что-то сказала.

Неужели старуха права
И его принимает за сына!
Он-то знал, что старуха — вдова...
И сыны полегли до едина.

— На, возьми! — ее голос пропел. —
Скоро будут большие морозы! —
Взял носки, ей в глаза поглядел
И сдержал непонятные слезы.

Его ужас три года трепал.
Позабыл он большие морозы.
Только бабку порой вспоминал
И свои непонятные слезы.



Аспазия сидела на коленях
Ласкавшего ей грудь Алкивиада
И спорила с Сократом, улыбался
Чему-то грек — и слушала Эллада,
Как воздух мелодично сотрясался,
И этот звон остался в поколеньях.

Александр Авдеенко

ОТЛУЧЕНИЕ

Еще одна встреча, определившая мою судьбу на немало лет.

Журнал «Октябрь» послал верстку романа «Судьба» наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе. Григорий Константинович прочитал, позвонил в редакцию, выразил желание встретиться с автором.

С радостью и тревогой иду на площадь Ногина. Мнение такого читателя для меня чрезвычайно важно.

Серго быстро и легко вышел из-за стола, крепко пожал мне руку, усадил в кресло, сам сел рядом.

— Читал ваш роман с обостренным интересом. С обостренным потому, что писатели обидно мало пишут о рабочем классе. Любите вы Магнитку, немало хороших слов сказали о ее строителях. Тем не менее мне показалось, что Магнитку в «Я люблю» вы понимаете лучше, чувствуете глубже, чем ту же Магнитку, названную Железногорском, в «Судьбе». Мое мнение далеко не категорическое. Вполне допускаю, что ошибаюсь. Так или иначе, вам ни в коем случае не следует покидать дорогу, по которой вы шагаете. Это ваша кровная тема — жизнь рабочего класса, жизнь строителей, доменщиков, сталеваров, шахтеров. Великая честь быть певцом рабочего класса... Сколько вам лет?

— Двадцать семь неполных.

— Совсем молодой человек. Вся жизнь впереди. Завидная доля. Ваша молодость совпала с молодостью страны, народа.

Серго опустил ладонь на лежавшую перед ним верстку.

— Лично у меня нет возражений против того, чтобы роман был напечатан. Но не могу не сказать, что не узнал я себя в описанном вами наркоме тяжелой промышленности. Безликий получился нарком. А ведь это нелегкая должность. Обязан быть в курсе дел каждого крупного предприятия. Должен вовремя поощрять смелых, инициативных, предприимчивых и призывать к порядку зазнавшихся, работающих больше на себя, чем на государство. Долг наркома — подбирать, выдвигать командиров промышленности по уму и таланту, а не за уменье краснобайничать, не за личную преданность. Если я назначил, скажем, Трейдуба, Лихачева, Гвахарию, Гугеля директорами заводов, то готов за каждого отвечать головой. И они это знают. И ошибок от меня не скрывают. И я правдив с подчиненными всех рангов. Непростые отношения у наркома с верхами. От него требуют металл все в большем количестве и наилучшего качества и ассортимента, требуют новейшие трактора, экскаваторы, комбайны, автомобили, станки. И все — досрочно. С утра до глубокой ночи занят выплачиванием долгов. О себе, о домашних делах подумать некогда. Но только так и умею жить. И от других требую преданности делу. А у вашего наркома нет характера, нет своего языка.

Серго отечески ласково посмотрел на меня.

— Не огорчайтесь, что не за все хвалю. Над чем дальше собираетесь работать? О чем будет третья книга?

— Наверное, все о том же — о Магнитке, — ответил я.

— Опять Магнитка!.. Не многовато ли? А почему бы вам не написать современный роман о своей родине — о Донбассе? В Донбассе на шахте «Ирмино» — Стаханов, на горловской «Кочегарке» — Никита Изотов. В Макеевке прекрасно директорствует Гвахария, плавит чугун мастер Коробов. В Мариуполе, на Азовстали, известный вам Яков Семенович Гугель. Хорошо ведет завод. Подвиг Стаханова определит трудовой ритм всей страны на многие годы. Донбасс стал авангардом пятилетки. Будь я на вашем месте, я бы, ни минуты не колеблясь, переселился в Донбасс. Переселяйтесь! Мы создадим вам условия для жизни и работы.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 3 за 1989 год.

Серго откинулся на спинку кресла, устало перевел дыхание, посмотрел на меня долгим взглядом.

— Вроде бы уговорил. А?

— Уговорили, — согласился я.

Серго повеселел, хлопнул ладонями по столу.

— Я сегодня же позвоню в обком Саркисову и на завод Гвахарии, чтоб приготовили жилье и все такое. Где вы хотите жить?

— В родной Макеевке.

Так уралец снова стал донбассовцем.

День моего рождения, 21 августа 1936 года. Еду из Москвы в Донбасс своим ходом, на собственной эмке, блестящей черным лаком, хромированными бамперами, радиаторной решеткой, ручками и фарами. Недавно, буквально на днях, купил в Гутапе — Главном управлении тракторной и автомобильной промышленности. Товарищ Серго и его помощник Семушкин помогли. Нашенская машина, только что созданная, в диковинку даже столичным жителям. Заводской номер — сто первый. Неудивительно, что люди с нее глаз не сводят, а заодно — и с водителя.

Вид у меня, как я теперь понимаю, был довольно непривычный: коричневый заграничный пиджак, шерстяная рубашка с заграничным галстуком, на руках — коричневые лайковые перчатки. Нет, я не осуждаю себя тогдашнего. Молодости свойственно выглядеть, если есть возможность, и нарядно, и красиво. Молодость грешит и тем, что не прочь при случае выделиться чем-нибудь, прихвастнуть. Я говорю об этом к тому, что не в белом венчике из роз ехал я в Донбасс, хотя чувства были самые благие. Я искренне был уверен, что оправдаю доверие, оказанное любимым наркомом.

При тогдашнем бездорожье мой автопробег был рискованным. Ни единого километра асфальта — булыжник, щебенка или пыльный большак, именуемый грейдером. Ни единой заправочной станции на полутора-тысячном пути. Ни единой автомастерской. Никакой дорожной службы. Нечего было регулировать.

Между Орлом и Курском спустило левое заднее колесо. Поставил запасное и поехал дальше. Если спустит еще одно, плохо придется. Пижон! В дальнюю дорогу отправился в лайковых перчатках, без запасной камеры, без вулканизатора.

До Курска, слава богу, добрался благополучно. Но, не доехав до Белгорода, получил прокол, и моя новенькая эмка зашкандыбала, остановилась. Скат мягкий и горячий. Что делать? Загорать на дороге без надежды найти выход или ехать на спущенной покрышке? Выбрал последнее. Кое-как дотянул до пригорода Белгорода, до его меловых холмов. На мое счастье, на обочине дороги увидел паровую мельницу и при ней махонький гараж. Шоферы часа через два за умеренную мзду завулканизировали камеры, смонтировали скаты, и я покатил дальше.

В Харькове решил на какое-то время остановиться, перевести дух после изнурительной гонки по разбитому щебеночному большаку. В центре города, в кафе, поел вареников со сметаной, купил в киоске свежие центральные газеты.

В «Правде» — очередное сообщение о судебном процессе над троцкистско-зиновьевским террористическим центром. Свидетели и сами подсудимые подтверждают в своих показаниях обвинения Военной коллегии Верховного суда: Зиновьев, Каменев и их сторонники организовали покушение на Сергея Мироновича Кирова и рукой презренного наймита и подонка Николаева убили вождя ленинградских большевиков. Они же в глу-

боком подполье готовили убийство Сталина. Об этом убийцы рассказывают суду вызывающе охотно, обстоятельно. И называют как причастных к их преступлениям Бухарина, Рыкова, Томского, Радека, Пятакова и других руководителей, продолжающих занимать высокие посты в партии и государстве! Тут же опубликовано заявление Прокуратуры о начале следствия по делу о причастности Бухарина, Рыкова и других названных на процессе к контрреволюционному заговору.

Троцкого давно разоблачили и выслали. А Зиновьев, Каменев и их приспешники сумели замаскироваться. Ленин, вся партия верили им. Как же эти люди, имея все, чтобы жить честно, верой и правдой служить народу, — власть, почет, уважение, — как они, прошедшие через царские тюрьмы, ссылки, написавшие не одну книгу о революции и ленинизме, как они в конце концов оказались фашистскими наймитами, христопродавцами? Никогда и не были настоящими революционерами, большевиками?

Вопросы, вопросы, вопросы... Неужели и Бухарин, и Рыков — тоже враги? Или их оклеветали зиновьевцы?

Ночевал в Донбассе, под Святогорском, на крутом обрыве Донца. В тот же день прибыл в Макеевку. Узнал, что мне выделили двухэтажный коттедж. Кабинет и спальня наверху, столовая и еще одна комната внизу. Ванная, горячая вода — круглосуточно. Таких коттеджей Гвахария построил добрую дюжину. Целая улица коттеджей с теплыми гаражами. Сооружены вспомогательными цехами без привлечения денежных средств и строительных материалов со стороны. За счет высокой, небывалой до сих пор прибыли.

Макеевский металлургический завод, как и вся черная металлургия страны, много лет получал от государства большие денежные дотации. Теперь приносит государству громадные доходы. Я очень заинтересовался: как это удалось Гвахарии? Как сумел организовать многотысячный коллектив? Как в сравнительно короткий срок стал признанным вожаком?

Гвахария оказался интересным человеком. Молодой. Красивый. Изящный. Полон энергии. Воспитан. Тактичен. Умеет слушать других, а когда заговорит, то всегда умно, с большим знанием дела. Не срывается на хвастовство, хотя ему есть чем похвастаться перед корреспондентом «Правды». Любит юмор. Начитан. Увлекается музыкой. Женат на прелестной грузинке и, видимо, вполне счастлив. Сын-школьник, Отарик.

Живет Гвахария в старом директорском особняке в ста метрах от заводской проходной. Видимся мы с ним большей частью вечерами. Говорим обо всем на свете. Слушаю его с превеликим интересом.

Днем пропадаю на заводе и беспрестанно сравниваю его со старым «Унионом». Побывал в мелкосортном прокатном цехе, где лет десять назад работал желобщиком — вальцовщиком, если малость преувеличить. Разительные перемены на каждом шагу. Порядок, чистота. Вокруг горячих цехов зеленые лужайки, цветы, молодые деревья. Рабочие трудятся на совесть — это сразу бросается в глаза. Нет отстающих цехов.

Наши ежевечерние встречи с Гвахарией неожиданно прекратились. Не до меня сейчас ему. Не до разговоров. Беда. По дороге из Макеевки в Сталино, на крутом спуске, он, управляя тяжелым и неуклюжим «ЗИСом», сбил студентку, перебегавшую дорогу. Не приходя в сознание, девушка скончалась. Гвахарии пришлось доказывать невиновность не только в милиции, прокуратуре, но и в горкоме, и обкоме партии, и в Наркомате.

В тридцать шестом ему удалось спасти себя от тюрьмы.

В тридцать седьмом он был репрессирован — по политическим обвинениям.

И опять на меня навалились мучительные вопросы. Гвахария — враг народа?.. Почему?..

Но я забежал вперед. Вернусь к первым дням своего пребывания в Макеевке.

25 августа. Еду в Сталино на почтамт, чтобы передать по телеграфу первый очерк, написанный в Донбассе для «Правды». Миновав железнодорожный переезд, одолел крутой подъем и выскочил на плоскогорье, к заводскому аэродрому. Тут, на пыльной обочине, увидел стоящий газик. Водитель копался в моторе, а трое пассажиров — мужчина и две женщины, с унылыми лицами, нервно поглядывали на часы. Знаменитые москвичи! Как не узнать. Художественный руководитель Театра Революции Всеволод Эмильевич Мейерхольд, его жена Зинаида Райх. Я остановился, поздоровался.

— Всеволод Эмильевич, не могу ли чем-нибудь помочь?

— Можете, можете! — радостно откликнулся Мейерхольд. — Здравствуйте! Подбросьте нас, пожалуйста, в городской парк, к театру. Безбожно опаздываем.

Я распахнул обе дверцы эмки. Рядом со мной села сестра Зинаиды Райх, а на заднем сиденье расположились супруги. Мейерхольд всю дорогу рассказывал, как он влюбился в Донбасс, как хорошо донецкий зритель принимает театр.

Случайная встреча с Мейерхольдом имела для меня неожиданные последствия. Если бы я не подобрал его на шоссе Макеевка — Сталино, если бы не доставил в парк, в летний театр, я бы в тот день и, может быть, никогда не встретился с Любой.

Оказывается, как выяснилось потом, я дважды в течение года влюбился в нее. Первый раз увидел ее в старом театре в Сталино, куда приехал из Москвы с писательской делегацией зимой. После официальной части, перед концертом, прогуливаясь по фойе с товарищами, я обратил внимание на стайку девушек, совсем юных, вчерашних девочек. Все были по-своему хороши. Но среди них выделялась о н а, Люба, тогда еще безымянная для меня. Высокая. Тоненькая. Стройная. С гордо посаженной каштановой головой. С нежнейшими щеками. С глазами, скромно опущенными долу. Не успел как следует разглядеть ее. Не успел и спросить у донецких друзей, кто она.

И вот во второй раз счастливая судьба свела нас. Опять в театре. Невдалеке от театральной кассы я увидел красивых девушек, и среди них была о н а, самая привлекательная. Я, недотепа, не узнал в ней ту, которой издали восхищался менее года назад. Но на этот раз с помощью Юры Страшного, работника секретариата облисполкома, оказавшегося под рукой, познакомился с юной красавицей и, для вежливости, с ее подругами. Люба! Любовь! Да, только такое имя ей к лицу.

Говорил я с Любой, не обращая внимания на ее подруг. Говорил минуты две или три. Но все, все умудрился сказать: не словами, а взглядом и волнением, которое не укрылось даже от неопытной девушки.

Мейерхольд и Зинаида Райх как радушные, гостеприимные хозяева не только предоставили мне место в третьем ряду партера, но и посадили рядом со своей очень милой родственницей. Но я тяготился соседкой. Сцены я не видел. Смотрел на Любу и всеми силами души умолял обернуться.

Не услышала. Она сидела в первом ряду, бок о бок с Юрой Страшным. Я достал из кармана блокнотик, набросал несколько строк, вырвал страничку, сложил и переправил записку в первый ряд Юре Страшному. Написал, что завтра заеду к нему в облисполком по очень важному делу. Юра был парень толковый, не зря его держали в секретариате. Понимающе улыбнулся и кивнул.

В антракте я самым любезным образом распрощался с сестрой Зинаиды Райх и покинул театр. Поехал на почтамт передать очерк. Где-то в глубине души был доволен своим поступком: дал понять Любе, что меня нисколько не интересует навязанная спутница.

Еду по вечернему, полному огней Донбассу и думаю о Любе, о том, как мы завтра встретимся с ней. Не показался ли я ей, юной, со своими седеющими висками, стариком?

Добрался к себе в Макеевку. Поднялся на второй этаж, включил свет. Дальше... дальше не знал, что делать, куда девать себя. Мелькнула шальная мысль — а не рвануть ли обратно в Сталино, в городской парк, к подъезду театра... Спектакль наверняка еще не кончился, и я успею встретить Любу, выходящую из театра, приглашу в машину, отвезу домой, договорюсь о встрече на завтра.

Появилась мысль и пропала. Попробовал читать — не воспринимаю даже великолепную прозу Чехова. Пить и есть не хочу. Хочу думать только о н е й.

До глубокой ночи просидел на диване. Потом неохотно отправился спать. И приснилось, что я женился. Проснулся в холодном поту. И был счастлив, что это только сон. Дело в том, что я дал себе клятву никогда не жениться. Вот до какого градуса довели меня претендентки в невесты и жены.

Клятва клятвой, а жизнь...

Утром я поехал в Сталино.

В поисках Юры рыскаю по облисполкому, из комнаты в комнату. И вместо него встречаю Гугеля. Мгновенно на меня пахнуло Магниткой.

— Як поживаешь, друже? — спрашивает Гугель. — Можешь не отвечать. Сияешь. Кто осчастливил?

— Лучшая в мире. Жениться решил.

— Гарна дивчина — погана жена. Семь раз примерь, прежде чем один раз жениться. И когда под венец собираешься?

— От нее зависит. Как скажет, так и будет.

— Так она еще не знает, что ты на ней собираешься жениться?

— Откуда ей знать, если мы только вчера познакомились.

— Так, может быть, она не знает, что ты влюбился?

— Может быть. Сегодня надеюсь объясниться.

И в это самое время в коридоре появляется Юра. Поспешно, чересчур поспешно прощаюсь с Гугелем, тащу Юру на улицу, сажаю в машину, говорю, зачем он понадобился.

— Поедем к Любе Звеняцкой! Показывай дорогу. И выкладывай, если знаешь, кто она и что.

Неспешно едем по длинной, многолюдной улице Артема. Сверху вниз. Я молча управляю машиной, а Юра в это время телеграфной скороговоркой выстукивает кое-какие биографические данные Любы Звеняцкой.

Родилась вместе с Революцией. Год в год. День в день. Здесь, в Юзовке, теперешнем Сталино, в семье слесарей, механиков, мастеров на все руки. Отец — человек талантливый, щедрый, начитанный, веселый и беспечный говорун, не больно усидчивый. Оттого и не преуспевает, зарабатывает меньше, чем мог бы. Семья часто бедствует, одеты кое-как. Иногда в доме не на что купить хлеба. Но Люба не чувствует себя несчастливой. И не унаследовала от отца беспечность, безалаберность. Занимается спортом. Училась только на «хорошо» и «отлично». Десятилетку закончила в этом году. Сдала несколько экзаменов в медицинский. Но, побывав в анатомичке, убежала из института, решив никогда туда не возвращаться. Недели через две опомнилась, захотела вернуться, но было поздно. Прием закончился. Год упущен.

Более чем достаточно рассказал Юра. Остальное узнаю сам.

— Теперь налево. Потом второй поворот направо, на восьмую линию.

На восьмой, застроенной не менее полувека назад одноэтажными домами с заборами и палисадниками, останавливаемся перед массивными воротами и калиткой.

— Здесь! — говорит Юра и с любопытством смотрит на меня, ждет дальнейших указаний.

Я говорю, чтобы он пошел и спросил, могу ли я повидать Любу.

Юра ушел, а я не сводил глаз с калитки и, кажется, не дышал.

— Пожалуйста, заходите! Вас приглашают, — появился Юра с лицом веселого соучастника авантюрного заговора.

Входим в мощенный булыжником тесный дворик, типичный для южных городков. Справа, у самого забора, большая угольная плита. Чуть дальше, у глухой стены, будка известного назначения. Слева ветхие, прошлого века деревянно-саманные полутораэтажные постройки: внизу сараи, погреба, чуланы, вверху — жилье. И все это на высоте трех метров от земли опоясано узкой крытой галереей, тоже ветхой от времени.

Вот на этой галерее и стояла о н а. На ней светло-каштановый, под цвет ее волос, из легкой шерсти костюм. Под длинным жакетом — розовая, нежная блузка. Она стояла высоко надо мною, на другом, дальнем, конце двора, сверху вниз смотрела на нежданного гостя и доверчиво улыбалась.

Одолел крутую, скрипучую лестницу с ускользающими из-под ног ступеньками, поднялся на крыльцо.

Направляясь сюда, я не думал, как буду вести себя, что и как скажу. Искреннее, сильное чувство не умеет и не хочет быть расчетливым. Полагается на самое себя.

Открыла покосившуюся, в трещинах, с облупившейся краской дверь и ввела в захламленную полутемную прихожую. Сделала это безо всяких колебаний, уверенная, что в любом окружении остается сама собой. Ввела мне и себя, и свой неказистый дом со всем его барахлом.

Родился и вырос я не в барской усадьбе. На рабочей окраине, в Собачеевке. Обживал всякого рода халупы. И все-таки, войдя в дом, где жила Люба, я смутился. Отвык, живя в благоустроенных квартирах, от таких лачуг. В одном прогнившем углу жестяной, с черным помойным ведром рукомойник, в другом — посудный шкафчик.

Шагнул в узкую, не более двух метров в ширину, с крошечным подслеповатым оконцем комнату... Тахта, покрытая вытертым до ниток, лысым ковром. Представил себе, как она спит на продавленном, с визжащими пружинами матраце, как просыпается, как моется под рукомойником, как выносит помойное ведро.

Взял за руку и сказал:

— Поехали!

Юра деликатно исчез в тот момент, когда я встретился с Любой.

Мы сели в машину и покатили по городу.

Когда я заговорил о своей любви, Люба удивленно сказала:

— Но вы же совсем не знаете меня!

— Знаю! На всю жизнь знаю!

На мое предложение сейчас же пожениться она опять удивленно ответила:

— Зачем же так спешить? У нас есть время.

Оказалось, что Люба совсем не стремилась замуж. Дала себе слово, что не выйдет замуж, пока не закончит институт, и отказала не одному претенденту в мужья. Было достаточно видеть замужних подруг сестры, чтобы не стремиться в «рай».

Полюбить она жаждала, как все девчонки ее возраста, но...

Мне помогла моя первая книга. Люба много читала. Книга «Я люблю» не обошла ее стороной. Позже она рассказала мне: «Закрыв последнюю страницу, я воскликнула: вот это парень!» Знала она и мое выступление на съезде Советов в Кремле. Рассказала, как читали газету вслух всем двором и смеялись над оратором: сын первое слово скажет «мама», а не «Сталин».

Могла ли она отказать такому парню, т а к умоляющему стать его женой? Поверила и пошла за ним, как говорится, «на край света».

Загс притулился на захолустной улице, в приземистом, в три оконца, с деревянным крылечком, домике.

В тот момент, когда мы с Любой, не чуя под собой земли, взбежали на крылечко, низкорослая женщина преградила нам дорогу.

— Куда, граждане, прете, как угорелые?

— Здравствуйте, мамаша! Мы сюда... к вам. Собственно, не к вам лично, а туда... Пожениться решили.

— Опоздали! Наш рабочий день закончился. Завтра поженитесь.

Люба молчит, а я веду дипломатические переговоры с несговорчивым стражем.

— Кто знает, мамаша, что будет завтра. Невеста может передумать. Или жених закапризничает. Пропустите! Я человек суеверный, боюсь откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Пожалуйста!

Я не только выпрашивал, что было противопоказано моей натуре, я умолял.

В руках женщины появилась толстая дубовая палка — дверной запор.

Размахивая дрыном перед моим лицом, она наступала, пытаясь выдавить меня своей могучей грудью из загсовских пределов, кричала на всю улицу:

— Не фулиганьте, гражданин, а не то призовем милицию!

Я скалой стоял на пороге загса и не позволял наложить на дверь запор.

— Вы до которого часа работаете, мамаша?

— До пяти.

— А сейчас без пятнадцати пять. За пятнадцать минут можно две пары зарегистрировать.

— Посторонитесь! Уберите свои лапти с порога!

— Да поймите же вы, наконец!

Она с нескрываемым презрением и жалостью посмотрела на Любу.

— Опомнись, девонька, пока не поздно.

После этих слов я понял, что нам преградил дорогу в загс мой личный лютый враг. С врагом не церемонятся. Отодвинув женщину в сторону, я взял смущенную, притихшую Любу за руку, подвел ее к столу, за которым сидела курносая регистраторша, категорически заявил:

— Мы не уйдем отсюда, пока вы нас не зарегистрируете. До конца рабочего дня еще пятнадцать минут.

— Ну и скандалист же вы, гражданин жених! Нехорошо начинаете супружескую жизнь. Не завидую я вашей будущей жене. Паспорта! — рявкнула она.

Никто не благословил нас с Любой, как это бывает теперь, не напутствовал добрым словом, не поздравил.

Женился я двадцать седьмого августа, а тридцатого по заданию «Правды», прихватив с собой молодую жену, рванул на своей эмке в другой конец Донбасса, на шахту «Центральная-Ирмино» к Стаханову. Ехали по пустынным пыльным дорогам, среди скошенных пшеничных полей и еще стоящих на корню с тяжело поникшими головами красавцев подсолнухов. Главное же в пейзаже — гигантские терриконы породы, шахтные копры и железнодорожные рельсы. Индустрия вперемешку с хлеборедными полями, рощами, садами, речками, прудами, оврагами, древними курганами, тополиными и вишневыми селами. Последние дни августа, а все еще ясное небо, сухая земля и теплый, с Азова, ветерок. Время созревания и сбора плодов. Мое и Любино самое счастливое время.

Прибыв на шахту, спецкор «Правды» представился парторгу Петрову, молодому, веселому человеку. Среди начальников, в том числе и парторгов, веселых людей попадается мало. Не до веселья людям, перегруженным работой, ответственностью за каждый шаг, заданиями, приказами и нагоняями сверху.

— Конечно, прежде всего вам хочется повидаться с годовалым юбиляром, — смеется Петров.

— Да. Желательно прямо сейчас.

— Пожалуйста. Пойдемте, я буду вашим провожатым. Мы предоставили ему новую квартиру в хорошем доме. Две комнаты, кухня, погреб. Но, увы, без канализации и водопровода. До такой цивилизации наша шахта еще не доросла, хотя и поставила мировой рекорд добычи угля.

— Как отработал Стаханов первый юбилейный год? Не зазнался?

— Есть маленько. Живет, словно во хмелю. Легкое головокружение началось. Но выполнил и перевыполнил годовую норму. Остальное сами увидите. На то вы и писатель.

На сегодняшний день Алексей Стаханов самый знаменитый человек в стране. Слава его затмила, пожалуй, даже славу Бабочкина, исполнявшего роль Чапаева в фильме. Испытание такой славой не каждому по плечу.

От центра поселка, от ствола шахты, до самого крылечка дома, где живет Алексей Стаханов, — золотистая широкая полоса сухого песка, еще не сильно засслеженного. По этой дороге, дороге героя, мы и подъехали к Стаханову. Хозяин встретил нас на крыльце. Здоровенный детина. Улыбка светится на простецком лице, загорелом, как у хлебопашца. Вокруг глаз чернеет въевшаяся в кожу угольная пороша — шахтерская печать.

Знакомимся. Стаханов хватает меня за руку.

— Писатель? Прибыли на праздник? Не побоялись дальней дороги?.. Первый раз вижу живого писателя.

— А я первый раз вижу знаменитого Стаханова.

— Ну и как? — смеется Стаханов.

— Хорош! Я почему-то именно таким вас и представлял. Богатырь! Удалой парень!

— Это я сегодня по случаю праздника в ухарство ударился, а вообще по будням — тихий, корябенький, рот на замке держу. Дорогие гости, добро пожаловать до хаты! Моя она теперь. Предназначалась главному инженеру, а попала в руки забойщику Алешке Стаханову.

И смеется, показывая розовые десны с крепкими белыми зубами.

Входим в дом, забитый до предела вещами. Новенькое все, еще не до конца распакованное. Пианино, диван, полированный стол. Навалом — стулья. Два патефона. Радиоприемник, гора пластинок на полу. Кровати. Посуда в соломе. Колбасы и пластины сала на столе. Бублики. Батоны. Окорока. Ящики с пивом, водкой.

— Видали?! — смеется Стаханов. — Добро юбилейное. Со всех концов Донбасса подарки шлют. Как отказать людям?

Стаханов чрезмерно счастлив, безмерно весел, а жена строга.

— Если бы по-настоящему захотел отказать, насильно бы не заставили подарунки взять. Они, дарители, на чужой счет добренькие. Шесть ящиков пива! Пей — не хочу. Море разливанное. Зачем столько? Три ковра. Нам и одного, своего, хватало. И эта бандура ни к чему. Некому бренчать.

— А я? — хохочет Стаханов. Подбежал к пианино, раскрыл крышку и одним пальцем постучал по белым и черным клавишам. — Симфония! Марш! Концерт! Вальс! Чижик-пыжик, где ты был!

Смуглолицая, черноглазая, чернобровая, пригожая хозяйка закрывает уши ладонями.

— Перестань, юбилейщик, перестань! Пожалей!

— Слыхали? — не унимается Стаханов. — Родная жена, а не в ногу с мужем шагает. Вся страна уважает Алексея Стаханова, а она с утра до ночи пилит и пилит. Все не так делаю. Смотри, Мария, могу и разжениться. Невесты за мной табуном ходят.

— Не пугай! Я сама разженюсь, если не перестанешь кукарекать с утра до вечера. Уймись!

— Слушаюсь, ваше благородие.

Закрыл крышку пианино, со смехом чмокнул Марию в щеку.

— Во женушка, а! Бой-баба. С такой не заплесневеешь.

— Не подлизывайся. Все равно не забуду, каким ты был вчера и позавчера.

С улицы вбежали два малыша. Корень родительский не спрячешь. Крепенькие, ладные, смугловатые, черноглазые. С двух сторон жмутся к ногам матери, а на отца и на нас, незнакомых людей, поглядывают настороженно: ждут нахлобучки. Но отец похлопал малышей по плечикам, с восхищением сказал:

— Сорвиголовы! Будущие забойщики-рекордисты.

— Не хочу быть забойщиком. Буду Чапаевым! — воскликнул старшенький.

— А я Петькой! — молвил младшенький Стаханов.

Чапаев и Стаханов. Стаханов и Чапаев. Два маяка моего поколения.

Стаханов взглянул на часы, заторопил гостей.

— Братцы, нам пора митинговать. Поедем! Сразу тремя эмками. Одна за другой. Цугом. Как на параде.

И поехали. Впереди — Стаханов, вторым — редактор газеты «Кадиевский пролетарий» Каплан, с ним парторг Петров, третьим — я с Любой. Три новенькие, сверкающие черным лаком эмки.

Митингуем в летнем кинотеатре, полном шахтерского народа, под открытым небом. На трибуне — докладчик, в президиуме — именинник, первый секретарь Сталинского обкома Саркисов, секретарь райкома, парторг. Мы с Любой сидим в первом ряду. Саркисов встретился со мной

взглядом и широким хозяйским жестом пригласил занять место рядом с собой.

Сижу слева от Саркисова и тихонько, в четверть голоса, расспрашиваю его, как работает и живет юбиляр, — хочу проверить свое первое впечатление от Стаханова.

— Балует Алексей Григорьевич. Но если положить на чашу весов истории то, что он сделал и делает на рабочем месте, и то, чем грешит в быту... стахановское движение в стране и житейские недостатки Стаханова, — несоизмеримо. Труд — главное. Человек слаб и потому в житейском плане оказывается ниже своего подвига. Но это временное явление. Неминуемое головокружение от таких успехов. Есть все основания надеяться, что опомнится и подтянется до уровня, на какой взлетел. А пока что куражится. От семьи отбился. Любовь закрутил с девчонкой-десятиклассницей. Волосы зачем-то перекрасил. Был черный, стал серо-буро-малиновый. До Кремля, до товарища Сталина дошли слухи о загулах Стаханова. И знаете, что товарищ Сталин велел передать от его имени Алексею Григорьевичу?.. Скажите этому добру молодцу, что ему придется, если не прекратит загулы, поменять знаменитую фамилию на более скромную.

— Вы передали ему слова товарища Сталина? — спросил я.

— Еще нет. Сделаем это недели через две-три после юбилея, если в том окажется нужда. Думаю, окажется. Здорово разбаловали своего любимца. В Москве он с дружками, Митей Концедаловым и другими, крепко выпил, ввязался в драку. С него содрали пиджак с орденом Ленина, с партбилетом. Ну и что? Выдали новый партбилет, походатайствовали перед Президиумом Верховного Совета о выдаче дубликата ордена.

Докладчик тем временем рассказывал, как почин Стаханова превратился во всенародный бой за высокую производительность труда. Год назад возник Стаханов, а теперь во всех сферах народного хозяйства трудятся миллионы стахановцев. Пройдет еще год — и количество стахановцев утроится, а может, и удесятерится.

Бурные аплодисменты покрыли последние слова докладчика. Я тоже аплодирую, а сам с Любы глаз не спускаю. Какой женой одарил меня родной Донбасс!

После торжественного вечера мы с Любой отправились в гостиницу. Она сразу же уснула, а я всю ночь, до утра писал главу для будущего романа, навеянную встречей со Стахановым.

Как только Люба проснулась, я напоил ее гостиничным чаем и прочитал то, что вышло с пылу с жару.

Люба, вопреки моим ожиданиям, не похвалила. Правда, и не поругала. Хмуря юное личико, не желавшее хмуриться, сказала:

— А как же его недостатки?.. Работать Стаханов хорошо научился, а жить... жить по-человечески еще не умеет, хотя для этого у него есть все условия. Больше, чем у других. Мои мама и папа, да и весь наш двор до революции обитали в трущобах и теперь... И нет надежды на лучшее.

Крыть нечем, я отшутился:

— Зато дочь трущобных обитателей живет в двухэтажном коттедже, с горячей и холодной водой, с гаражом, черным и парадным входом, с балконом на солнечную сторону.

— Я попала в коттедж не благодаря общему улучшению жизни, а потому, что вышла замуж за тебя.

— А разве я не жизнь? — спросил я.

Ответ я предвидел.

— Жизнь, жизнь! — воскликнула Люба и поцеловала меня.

Перед отъездом с шахты «Центральная-Ирмино» я получил на память, с автографами Стаханова и Петрова, напечатанный типографским способом протокол заседания шахтпарткома.

«В ночь с 30 на 31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральная-Ирмино» (Донбасс) А. Стаханов установил выдающийся рекорд, добыв за 5 часов 45 минут 102 тонны угля при норме 7 тонн.

В 6 часов утра 31 августа собрался партком. Парторг К. Г. Петров рассказал о том, как был установлен рекорд производительности труда. Было принято

постановление
парткома шахты «Центральная-Ирмино»
от 31 августа 1935 г.

Постановили единогласно:
1. Занести имя тов. Стаханова на Доску почета лучших людей шахты.
2. Выдать ему премию в размере месячного жалованья.
3. К 3 сентября предоставить тов. Стаханову квартиру из числа квартир технического персонала, установить в ней телефон.
4. Просить рудоуправляющего тов. Фесенко разрешить заведующему шахтой за счет шахты оборудовать тов. Стаханову квартиру всем необходимым и мягкой мебелью.
5. Просить председателя Первомайского рудкома угольщиков тов. Игнатова и председателя ЦК профсоюза угольщиков тов. Шмидта выделить для Стаханова семейную путевку на курорт.
6. С 1 сентября выделить в клубе два именных места Стаханову с женой на все кино, спектакли, всевозможные вечера.
7. 10 сентября в новой квартире Стаханова устроить вечер, пригласив на него знатных людей шахты и Донбасса, мастеров отбойного молотка тт. Гришина, Свиридова, Мурашко, Изотова.
8. Объявить соревнование между забойщиками на лучшего мастера отбойного молотка, овладевшего техникой.
9. Предложить всем начальникам участков, партгрупоргам, профоргам, шахткому:
а) не позже 2 сентября по всем участкам посменно проработать опыт и установленный рекорд тов. Стаханова;
б) 3 сентября созвать специальное собрание забойщиков с обязательным участием «треугольников» участков, на котором заслушать доклад т. Стаханова о том, как он овладел высокой техникой работы на молотке и установил мировой рекорд производительности на нем;
в) развернуть соревнование по участкам на лучшего забойщика участка шахты.
10. Пленум шахтпарткома считает необходимым заранее указать и предупредить всех тех, кто попытается клеветать на тов. Стаханова и его рекорд как случайность, выдумку и т. п., что партийным комитетом они будут расценены как самые злейшие враги, выступающие против лучших людей шахты, нашей страны, отдающих все для выполнения указаний нашей партии о полном использовании техники.

Партийный комитет уверен, что за тов. Стахановым появятся новые герои, которые нашей организацией будут встречены с радостью и гордостью, как люди, решившие делом своим, честным трудом выполнять указания партии о полном использовании техники».

Я увлекся шахтерами. Езжу. На каждой шахте по крупицам собираю материал. И вдруг подвернулся большущий самородок. Потом другой, третий, четвертый...

Возвращаюсь домой, к Любе, с немалыми трофеями — с написанными по горячим следам главами и, не стесняясь, засаживаю молодую жену за машинку. Люба, к счастью, умеет печатать и уже разбирает мой почерк. Она печатает, я тут же читаю, дополняю, мараю машинописные страницы.

Вместе с шахтерами, сталеварами, доменщиками Донбасса меня избрали на Всеукраинский съезд Советов.

Заседаем в Киевском театре оперы и балета. Окумачены со всех сторон. Цвет трудящихся собрался. Все знаменитости Донбасса налицо: Алексей Стаханов, Петр Кривонос, Макар Мазай, Никита Изотов, трактористка Паша Ангелина.

Сижу в первом ряду у широкого прохода, крытого ковровой дорожкой. Алексею Стаханову, как и положено, предоставлено почетное место

в президиуме. Он то и дело поглядывает в мою сторону, делает какие-то непонятные знаки.

Не сразу я понял, что не мне уделяет он драгоценное внимание — пухленькой блондинке, которая сидит рядом со мной. В кармашке ее платья виден край мандата. Красное на фоне зеленого. Кто же эта молодая женщина? Новая жена героя Донбасса и страны. И делегат, никем не избранный. Сие объяснялось проще простого. Алексей Григорьевич решил, что ему, единственному на свете, его величеству Стаханову, все можно. Потребовал от мандатной комиссии сделать новую жену делегатом съезда. Мандатная комиссия поежилась, посовещалась, проконсультировалась и в конце концов уступила энергичному напору. В виде исключения... Принимая во внимание... Новоиспеченная жена получила мандат делегата с совещательным голосом. Знатная личность возмутилась, потребовала мандат с решающим голосом. Вежливо, терпеливо объясняли, что... Не захотел слушать. Если не выдадите!..

Выдали! А что оставалось делать мандатной комиссии? Не могла же она позволить, чтобы Всеукраинский съезд остался без главного лица — родоначальника стахановского движения. Если бы такой ляпсус, упаси боже, допустили, могли бы и без голов остаться. Во все времена, во всех землях мудрые люди выбирают из двух зол меньшее.

В перерыве я покинул кресло в первом ряду, нашел другое.

Многому я научился на примере Стаханова. Понял, что уверенность в непогрешимости, сознание своей исключительности очень и очень опасны для любого человека, пусть даже сверхзаслуженного.

Утром 25 мая 1937 года я зашел в комнату Любы узнать, как она себя чувствует. Припухшее ее лицо и взгляд были тревожны. Правая рука лежала на высоком животе.

— Кажется, началось... Очень больно. Не знаю, как должно быть больно, но очень больно.

— Я вызову «скорую помощь»?

— Пока не надо. Подождем. Говорят, должны быть какие-то схватки.

— Вот они и начались, наверное.

— Может быть, — застонала Люба.

— Я позвоню в «скорую помощь».

— Звони, — скорее угадал я, чем услышал.

Через полчаса прибыла машина с красными крестами и увезла нас в Макеевку. С рук на руки передал Любу нянькам, сестрам.

В тот же день, часов в семь вечера, позвонили на дачу из роддома и поздравили меня с рождением сына. Я бросил трубку, заорал на весь дом:

— Ура! Свершилось!.. Родился!.. Мама, слышишь? Поздравляю тебя с внуком!

Бабушка и смеялась, и плакала, и крестилась.

— Слава богу! Слава богу!

А я стремглав бегу в соседний дом отдыха металлургов, рассказываю директору, какое радостное событие произошло в моей жизни, и умоляю разрешить сорвать на клумбе несколько только что распустившихся цветов.

Директор очень хорошо ко мне относился, но моя просьба его озадачила.

— Это же клумба! У всех на виду. Радует первыми цветами...

Произнеся эти справедливые слова, он сейчас же застыдился:

— Что же я мелю, балда! Как только язык повернулся? Рвите!

Еду на попутной грузовой машине (эмка поломалась как на грех) в Макеевку, в роддом, только что построенный на сверхприбыльные деньги.

Люба похудела, бледная, с запавшими, но счастливыми глазами, тихая, умиротворенная. Не дожидаясь вопросов, успокоила:

— Все хорошо. Я рожала, улыбаясь. И все вокруг улыбались. Говорят, таких бесстрашных рожениц не видали. Сын похож на тебя. Как две капли воды. Удивительно!

— Где же он? Почему не с тобой?

— Новорожденные находятся в особой палате. Может, тебя пустят туда. Попроси врача.

В дальнем конце коридора я встретил нянечку с двумя упакованными в белое младенцами.

— Вы куда, няня? Не в детскую палату?

— Туда.

— Я отец одного из только что родившихся малышей. Хочу взглянуть.

— Очень приятно, дорогой папаша. Поздравляю с наследником, — она повернула ко мне личики младенцев. — Смотрите. Какой вам больше по душе, тот и ваш.

Я посмотрел на краснолицего, лобастого, с закрытыми глазками мальчика и, хотя не увидел в нем никакого сходства с собой, уверенно сказал: этот!

Так на двадцать девятом году жизни я стал счастливым отцом. Назвали мы первенца Сашей.

На следующий день, заглянув после длительного отсутствия в заводской партийный комитет, узнал, что секретарь парткома Глоба и его заместитель репрессированы как пособники врага народа Гвахарии.

Вскоре были арестованы многие заводские инженеры-коммунисты, начальники цехов и смен, мастера.

Каждую ночь шли аресты, исчезали секретари горкома, райкомов, партбюро шахт.

Однажды ночью исчезли первый секретарь обкома Саркисов, председатель облисполкома Иванов, редактор областной газеты Сыркин.

Но это был только первый заход. Недолго, всего несколько месяцев, продержались на своих постах вновь назначенные люди. Вторым заходом были арестованы новый первый секретарь обкома Прамнэк и все его окружение.

Тридцать седьмой и тридцать восьмой, полные чудовищных противоречий! Как мне вас описать?

Процесс за процессом над врагами народа, вчера еще занимавшими высочайшие государственные и партийные посты. Непостижимо это: был маршалом, народным комиссаром, начальником главка, главным редактором газеты, академиком, членом партии с 1905 года, а то и 1900-го — и вдруг шпион, вредитель, наймит фашистов.

Беспосадочные перелеты через Северный полюс в Америку — и репрессии против технической интеллигенции, специалистов.

На экранах демонстрируются фильмы, воспевающие революцию, наш образ жизни, — и исчезают из жизни знаменитые писатели Пильняк, Третьяков, Артем Веселый, Бруно Ясенский, другие.

С одной стороны, колоссальные успехи народного хозяйства — страна вырвалась на второе место в мире по производству промышленной продукции, с другой — смена кадров во всех отраслях, прорывы на заводах и шахтах, год назад передовых...

В роман о шахтерах-стахановцах «Государство — это я», над которым я работаю, ввожу новых персонажей — вредителей, саботажников. Перекраиваю сюжет.

Живу я, когда наезжаю в Москву, все в том же доме в Большом Комсомольском переулке.

Мне не положено тут квартировать, так как был изгнан из важнейшего по нынешним временам ведомства, которому принадлежит этот дом. Но почему-то не выселяют. Более того, управдом, который сейчас стал для многих зловещей фигурой, при встрече со мной подчеркнуто любезно раскланивается, справляется о здоровье. В прошлом году он еле замечал меня. Почему же теперь я стал для него персоной? После некоторого размышления я решил, что управдом причислил меня к неприкасаемым.

Он по секрету рассказал, что творится в нашем громадном доме. Ни единого подъезда нет, где не опечатано пять-шесть, а то и десять квартир. Называет при этом должности и фамилии лиц, носивших по два, три и четыре ромба. С каждым днем дом становится малолюднее.

— А дети с кем остаются? — спросил я управдома.

— Отправляют в спецзаведения. Детские дома.

Мороз по коже пробирает.

Многих, кто исчез бесследно, я хорошо знал. Казалось раньше — преданы партии, Советской власти. Большевики. Командиры Красной Армии. Чекисты.

Владимир Киршон. Ведущий драматург. Его пьесы ставились чуть ли не в каждом городе. Исчез.

Афиногенов, недавно процветавший, тоже живущий в нашем доме, висит над пропастью. На волоске его жена американка.

Фадеев тоже житель нашего дома. Непохоже, что загремит в тартарары. Возбужденный, краснолицый, веселый. Хохочет на всю улицу. Вчера он и Валентин Катаев, увлеченные каким-то разговором, никого не замечая, скорым шагом прошли по переулку, очевидно, спешили обедать к Фадееву.

Завидую. И удивляюсь. Не умею хохотать на всю улицу. Не до смеха сейчас. Да и не только мне. Притихла, приуныла Москва. Почему же так возбуждены Фадеев и Катаев? Отчего им весело? С Катаевым ясно — опубликовал потрясающую книгу «Белеет парус одинокий». А Фадеев? Большинство его сподвижников — враги народа. Леопольд Авербах, Алексей Селивановский, Михаил Чумандрин, Владимир Киршон, Иван Микитенко.

Написал киносценарий «Закон жизни». О современной молодежи, студентах медицинского института. О молодых чувствах, ревности, заблуждениях, счастливых обретениях. Не скрою: сценарий мне казался значительным по теме, остросюжетным, с убедительно выписанными характерами. Мосфильм одобрил его. Быстро нашлись и постановщики — молодые режиссеры Александр Столпер и Борис Иванов. Они приехали ко мне в Донбасс, жаждущие прорваться на большой экран, надеясь на мое содействие.

Едем в Москву. 2 марта 1938 года. Улицы столицы уже бесснежны. Сияет солнце. У выходов из метро продают привезенные с юга первые цветы: мимозу, подснежники, фиалки, крокусы.

В эти благодатные дни в центре Москвы, в Октябрьском зале Дома союзов, заседает Военная коллегия Верховного суда под председательством грозного Ульриха. Не менее грозен государственный обвинитель прокурор Вышинский. На скамье подсудимых, кроме Бухарина и Рыкова, бывшие наркомы Чернов, Розенгольц, Гринько, Иванов, бывший нарком внутренних дел Генрих Ягода, его помощник Буланов, бывший Первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана Икрамов, бывший полпред Раковский, бывший замнаркома иностранных дел Крестинский, бывшие кремлевские врачи Плетнев, Левин, бывший секретарь А. М. Горького Крючков. Двадцать один человек. Обвиняются в чудовищных по масштабу и жестокости преступлениях: вредительстве, шпионаже, в подготовке покушения на Сталина и его соратников, в разветвленном антигосударственном заговоре оппозиционеров и уклонистов всех мастей.

Центральная фигура процесса — Бухарин. По словам государственного обвинителя Вышинского, Бухарин — воплощение политического двурушничества, вероломства, иезуитства и человеческой подлости. Лицемерием и коварством этот человек превзошел самые чудовищные преступления, какие только знала человеческая история. Он намеревался убить Ленина еще в тот период, когда Ленин яростно боролся со своими противниками за Брестский мир.

Нет предела человеческому лицемерию! Каким он казался умным, эрудированным, обаятельным, когда на Первом съезде писателей делал доклад о поэзии. А ведь в это же время он строил козни против Советской власти, советского народа!..

Кроме Бухарина, мое внимание приковали к себе две фигуры — лечащий врач Горького Левин и секретарь Алексея Максимовича Горького Крючков. И того и другого я не раз видел в доме Горького. Внешне они ничуть не были похожи на убийц и извергов. Крючков — плотный, крупный мужчина в очках, угрюмо сосредоточенный при разговорах с посетителями и всегда чуткий, деловитый, исполнительный в присутствии своего давнего покровителя Алексея Максимовича.

С профессором Левиным я встретился в Крыму, в Тессели, на даче Горького. До его появления я занимал за обеденным столом крайнее правое место, напротив Горького. В тот день, когда появился Левин, меня пересадили на другой стул, левее, а мое место предоставили домашнему врачу Алексея Максимовича. Мы сидели рядом, иногда переговаривались. Он понравился мне. Небольшого роста, преклонных лет, но бодрый, моложавый. Когда к нему кто-нибудь обращался с вопросом, он переставал есть, осторожно клал вилку и нож на тарелку, внимательно слушал, доброжелательно глядя на собеседника, отвечал кратко, умно. Блистал чистотой, ухоженностью... Втерся в доверие. Не укладывается в голове. Врач, призванный исцелять и продлевать человеку жизнь, оказался палачом. Не лечил Алексея Максимовича, а преднамеренно усугублял его болезнь!

Что за существа эти бухарины, рыковы, левины, плетневы? Откуда взялись в нашем мире справедливости и правды? Чем порождены?!

Отвратительна эта мразь, сидящая на скамье подсудимых. Но мне надо их увидеть, услышать циничные признания, надо понять, **как** они стали **такими**, как втирались в наше доверие, как обманывали, предавали. Врага надо знать, чтобы иметь право писать о нем.

Михаил Кольцов, член редколлегии «Правды», когда я обратился к нему с просьбой похлопотать о пропуске для меня в Октябрьский зал Дома союзов, с какой-то странной тревогой посмотрел на меня и доверительно сказал:

— Зря ты туда рвешься. Не ходи!

— Почему? — удивился я.

— Там такое творится — уму непостижимо. Все говорят одно: Военная коллегия, государственный обвинитель, защита, свидетели и сами подсудимые. Странный процесс. Очень странный. Я сбежал оттуда. Не могу прийти в себя от того, что увидел и услышал.

Слушаю его удивленно, с нарастающим возмущением, хотя всегда доверял ему всей душой.

На процесс я не попал. Вечером дома заново проштудировал судебные отчеты. Вчитывался в каждую строку выступлений государственного обвинителя Вышинского, в вопросы председателя Военной коллегии Ульриха, в показания свидетелей и, главное, самих подсудимых, которые признают себя виновными во всех предъявленных им обвинениях, дают подробные показания: где, когда и как вредили, как подрывали мощь Красной Армии, кем и когда завербованы в платные агенты иностранных разведок, как ускорили смерть Куйбышева, Горького, как готовили покушения на Сталина, Молотова, Ворошилова, Ежова, как подличали в большом и малом, на каждом шагу.

Что ж, Военная коллегия Верховного суда, в строгом соответствии с советскими законами, вынесет приговор Бухарину, Рыкову и их сообщникам...

Большая статья Мих. Кольцова в «Правде» — репортаж из зала суда. Сотни и сотни гневных слов о врагах народа.

12 декабря 1938 года. Доклад Михаила Кольцова в клубе писателей. Скорее политический, чем литературно-творческий. Дубовый зал клуба переполнен. Кольцов не докладывает, а рассказывает нам о том, как в будущем страна будет постепенно переходить от социализма к коммунизму. Сначала отменят плату за проезд в общественном транспорте.

Потом хлеб станет бесплатным. Потом и продукты будут выдаваться по потребности, в обмен на добросовестный труд, а не на деньги, которые утратят теперешнюю свою роль, действительно станут презренным металлом.

После выступления Кольцов устроил для своих друзей скромное застолье в соседней с Дубовым залом комнате. Я видел его в тот час. Он был весел, шутил, иронизировал, смеялся, рассказывал об Испании то, о чем не писал в газетах. Застолье закончилось в полночь, если не позже. Мы гурьбой провожали Кольцова к машине.

На другой день, придя в редакцию, я узнал, что Кольцов арестован.

Далекое будущее, казалось ему, хорошо разглядел, а завтрашнее, свое собственное, бессилен оказался увидеть, предсказать, предотвратить.

Осень и зима тридцать девятого. Я с головой окунулся в совершенно новую для меня жизнь, жизнь Западной Украины, освобожденной от панского ига. Как спецкор «Правды» исколесил вдоль и поперек новые советские земли. Напечатал несколько очерков, дюжины две корреспонденций.

Пока я работаю на «Правду», на Мосфильме близятся к завершению съемки «Закона жизни».

Лето сорокового. В качестве спецкора «Правды» послан в Северную Буковину, только что освобожденную Красной Армией.

Здесь встретился и подружился с Александром Петровичем Довженко и Юлией Солнцевой, снимавшими документальный фильм.

Так освоился в новом крае, что стал гидом молодых поэтов Константина Симонова и Евгения Долматовского. На своем новеньком «бьюике» повез их в горы. Ужинали, пили местное вино в настоящей корчме, за одним столом с лесорубами.

В Черновицах, побывав у первого секретаря обкома Грушецкого, узнал, что на Буковине арестован приехавший сюда знаменитый академик Вавилов.

Что это? Запоздалая акция? Или... или новая волна арестов?

Август сорокового. «Закон жизни» идет на экранах Москвы и Ленинграда. Газеты взахлеб хвалят. В работе еще три моих сценария: «Миллиардерша» ждет режиссера, другой сценарий обсуждался на Ленфильме, третий, «Люди, перешагнувшие границу», принят на Киевской студии. Из-за него я и прилетел в Киев из Северной Буковины.

До прихода режиссера, до завтрака, я успевал прогуляться. Я любил утренний город, безлюдный, прохладный, только что орошенный искусственным дождем. Любил встречать восход солнца на Владимирской горке, смотреть на Днепр, Заднепровье.

В это утро, 16 августа, я направился по Крещатику к бульвару Шевченко. В глаза бросались огромные, в ярких красках, афиши, рекламирующие фильм «Закон жизни», который в этот день выходил на экраны Киева. Поперек Крещатика, на уровне третьих этажей, протянуты белые транспаранты, тоже рекламирующие фильм. Эта феерия, кажется, устроена специально для меня.

Кинотеатры открываются с одиннадцати часов. Сейчас только восемь. Как долго ждать первого сеанса!

Вероятно, в Киеве никто так не хотел посмотреть этот фильм, как я. Дело в том, что я не успел посмотреть картину ни в законченном виде, ни в сыром. Правда, режиссеры Столпер и Иванов сообщили телеграммой, что все в порядке, фильм получил высокую оценку в Комитете по делам кинематографии и у заместителя председателя Совнаркома Вышинского. В «Известиях», «Кино» и других газетах появились статьи, положительно оценивающие фильм. И все-таки я с нетерпением ждал одиннадцати часов. Никто не может так определенно сказать, как автор, то или не то вышло, что задумано.

Перед отъездом в Киев я получил письмо из Москвы, от редактора и кинокритика Ильи Вайсфельда. Приведу его полностью:

«Дорогой Саша.

Задумал я написать Вам письмо еще до Вашего обращения к Полонскому, а написал — после. Теперь это — самое настоящее обращение сценарного отдела к писателю Авдеенко с предложением написать для Мосфильма сценарий, а не только мое личное послание Саше Авдеенко.

Прежде всего от души поздравляю Вас с «Законом жизни» — получилась настоящая, хорошая картина. Публика на нашей студии смотрит картину по 2—3 раза с захватывающим (действительно захватывающим) интересом. В мосфильмовской многотиражке дана полоса, посвященная картине. Картину ждет большой успех у зрителя, в этом сомневаться не приходится. В общем, несмотря на все трудности и даже компромиссы, «Закон» — все же большая творческая удача и Ваша, и режиссерская.

В связи с этим нам со Столпером пришла мысль: не написать ли сценарий второй серии «Закона» — герои «Закона» на месте своей новой работы. Это должна быть самостоятельная картина, имеющая свою тему независимо от первой серии, но продолжающая линию морально-этических, публицистически-заостренных фильмов. Причем не хотелось бы, чтобы это был специфически медицинский фильм (по роду занятий героев). Пусть лучше Наташа и др. столкнутся на месте с новыми людьми — хорошими и не совсем хорошими, — но не только с медиками. Темой сценария, говоря общо, должно быть активное, творческое отношение к жизни, романтика будней.

Подумайте по поводу этих, пока еще бегло изложенных соображений и сообщите о своих темах и предложениях. Встретимся — и все уточним. Заверяю Вас, что Мосфильм и персонально Полонский хотят, чтобы Вы срочно писали для нас сценарий.

Крепко жму руку. Ваш И. Вайсфельд».

На углу Ленинской, около универмага, пустынную улицу торопливо пересекал человек в черной одежде, с ведерком в руках, с огромной сумкой за плечами, полной туго скрученных рулонов. Расклейщик афиш. Он был в ста метрах, я не видел его лица и все-таки понял, догадался, что это мой враг. Я смотрел, как расклейщик направляется к рекламной тумбе, и знал, что он собирается делать.

Он подошел к красочной афише с изображением счастливого юноши Сергея Паромова и счастливой девушки Наташи Бабановой, созданных моим воображением, сбросил тяжелую ношу на тротуар, вынул из ведерка толстую, с короткой ручкой малярную кисть, провел ею по афише, достал из сумки большой рулон, отмотал полосу, приложил к тумбе и одним ловким движением заклеил моих героев, Сергея и Наташу.

Едва успев появиться на свет, они погибали на моих глазах.

Я ускорил шаги, почти побежал. Перелетел на другую сторону улицы, тяжело дыша, остановился около убийцы и спросил хриплым голосом:

— Что же вы делаете, товарищ?

— Что надо, то и делаю. Проходите своей дорогой, гражданин!

— Этот фильм только сегодня начнет демонстрироваться. Зачем же вы заклеиваете афишу?

— Не пойдет! — коротко, с угрюмым удовольствием проговорил расклейщик, не взглянув на меня.

Все было ясно, однако я еще надеялся на что-то. Спросил:

— Почему не пойдет?

— Не пойдет!

— Кто вам сказал?

— Начальство. Кто же еще?

Он взвалил на плечи сумку, взял ведерко и удалился, шаркая по тротуару стоптанными рыжими ботинками.

А я немного постоял с опущенной головой, потом встрепенулся и пошел дальше. Дошел до Бессарабки, машинально повернул обратно.

Около почтамта я остановился. Человек десять толпились вокруг газетной витрины.

О, как я был прозорлив в этот день! Еще и краем глаза не взглянул на сегодняшнюю «Правду», но уже знал, что там напечатано обо мне, о «Законе жизни».

Я подошел к толпе, и люди, будто понимая, как важно для меня прочитать газету, посторонились. Не знаю, может быть, случайно так получилось, но я и теперь убежден, что выражение моего лица было страшным. Нельзя было не пропустить меня вперед.

Взгляд сразу нашел то, что искал. Две неполных колонки на второй полосе, в правом углу. Заголовок статьи крупный, черный.

«ФАЛЬШИВЫЙ ФИЛЬМ

О кинокартине «Закон жизни» студии «Мосфильм».

Недавно на экранах появилась новая кинокартина «Закон жизни», выпущенная студией «Мосфильм». Кинокартина с таким многообещающим названием поставлена по сценарию А. Авдеенко режиссерами А. Столпером и Б. Ивановым.

Картину «Закон жизни» можно было бы счесть просто одной из плохих картин, выпущенных за последнее время, если бы не некоторые особенности этого фильма. Автор картины А. Авдеенко взялся трактовать о законах жизни, поучать молодежь, утверждать те каноны морали, которым, по его мнению, должна следовать молодежь нашей страны. Но мораль фильма ложна, и сам фильм является насквозь фальшивым. Если выражаться точно, фильм «Закон жизни» — клевета на нашу студенческую молодежь.

Клеветнический характер фильма особенно ярко проявляется в сценах вечеринки студентов-выпускников медицинского института. Авторы фильма изобразили вечер выпускников в институте, как пьяную оргию: студенты и студентки напиваются до галлюцинаций. Авторы фильма смакуют эти подробности, еще и еще раз в десятках кадров показывают сцены бесшабашного пьяного разгула. И по фильму ни администрация института, ни общественные организации, ни сами студенты, завтрашние врачи, не только не останавливают, не прекращают этого безобразия, но и сами принимают в нем участие. Где видели авторы подобные сцены? Где видели авторы, чтобы наша студенческая молодежь походила на изображенных ими подонков буржуазной молодежи? Сцены эти — клевета на советскую студенческую молодежь.

На пьянку и разложение подбивает студенческую молодежь руководящий комсомольский работник Огнерубов — циник, внутренне гнилой человек, враг, разлагающий молодежь, через быт пытающийся внушить ей вражеские идеи. Авторы фильма дают полный простор своему герою Огнерубову, проповедующему беспорядочную любовь и разврат. По фильму выходит, что эта вражеская проповедь Огнерубова безотказно находит доступ к сердцам и умам студентов, завтрашних врачей, и «принципы» Огнерубова реализуются тут же, в аудитории, в пьяной оргии. В этих, да и в последующих сценах фильма видно своеобразное возрождение арцыбашевщины, которой в свое время пытались отравить молодежь, отвратить ее проповедями половой распущенности от политики, от революционного движения.

Среди советской студенческой молодежи авторы «Закона жизни» не сумели найти настоящих, положительных, ярких людей, которыми по праву гордится наша страна. Если не считать Сергея Паромова (о котором ниже), в фильме выделен лишь такой персонаж, как Черемушкин. Авторы фильма наделили его всевозможными комедийными трюками. Черемушкин, один из собутыльников Огнерубова, призван играть в фильме роль «души кабацкого общества». Все, что есть веселого в картине, исходит от Черемушкина. Удел всех остальных персонажей — мрачное раздумье. Удел Черемушкина — веселить публику. Но этот, якобы положительный персонаж обременяет картину глуповатыми и жалкими остротами. В такой среде Огнерубов мог жить и преуспевать. Но в том-то и дело, что эта среда выдумана, фальшива, что ее в природе нет.

В противовес Огнерубову авторы вывели в фильме комсорга Сергея Паромова, долженствующего служить олицетворением нашей новой морали, изображать боевого комсомольца, человека большого сердца и благородных чувств. Но вот странно, в то время, как враг Огнерубов изображен этаким завлекательным Печориным, комсорг Сергей Паромов, как и его товарищи, показан в фильме безвольным человеком и частенько недалеким простаком. На его глазах происходит безобразная общестуденческая пьянка, а он, Паромов, не находит в себе сил активно противостоять Огнерубову, прекратить пьянку. Его морализирование в фильме беспомощно и бесцветно.

Как это могло получиться? А получилось это потому, что действительные симпатии автора фильма на стороне Огнерубова, как бы он ни старался скрыть это маловразумительными сентенциями. Да, героем своей картины, именуемой «Закон жизни», автор сделал Огнерубова, морально и политически чуждого советской молодежи. Он, Огнерубов, по замыслу автора фильма, «властитель дум» молодежи, весьма легко овладевает симпатиями аудитории, покоряя без всякого труда молодежь своей щедро отпущенной ему автором фильма обворожительностью.

Сценарист и режиссеры наделили опустошенного и подлого врага качествами «сильного человека», всячески облагораживая его даже к концу фильма, когда, просмотрев добрых три четверти картины, зритель наконец видит (к своему немалому удивлению), что Огнерубова разоблачают. Конечно, происходит комсомольское собрание. Конечно, произносятся горячие речи. Конечно, зло наказано, а добродетель торжествует. Но и тогда подручные Огнерубова остаются неразоблаченными и ненаказанными. А сам Огнерубов, оставшись одиноким, сохраняет, если верить авторам фильма, и гордость, и достоинство, и даже благородство. Эта поза лжива насквозь, ее выдумали «творцы» фильма. Ибо люди, подобные Огнерубову, при всей своей вредности мелкотравчаты. Когда их разоблачают, они ползают на коленях, стеная и взывая к жалости, ибо им страшно оставаться наедине с собой. Огнерубовых заглушает крепкая, мужественная среда советских людей, наделенных волей, энергией, здоровой жизнерадостностью, радостным мироощущением.

В конце фильма авторы, отдавая дань духу времени, нехотя разоблачают Огнерубова, тем самым пытаясь приспособиться к нашей советской действительности, затушевать подлинное вредное существо картины. Однако разоблачение Огнерубова в фильме не мотивировано — ни логикой драматургического действия, ни ситуациями фильма, ни жизненной правдой, являющейся спутницей подлинного искусства. Авторы, видимо, рассчитывали, что «благополучным концом» им удастся обмануть зрителя. Но и здесь авторы просчитались. Наш зритель вырос и в состоянии оценить по достоинству подобный фальшивый фильм.

Тем более странно, что некоторые газеты расценили фильм «Закон жизни» как «событие» в советской кинематографии. Так, например, газета «Кино» обнаружила в картине «искренность», «темперамент», «подлинную правдивость», «глубокое знание материала». Если бы редакция газеты «Кино» (как и руководящий ею Комитет по делам кинематографии) вдумчиво и добросовестно относилась к фильмам, выпускаемым на экран, разве она допустила бы расхваливание надуманного и вредного фильма, искажающего нашу действительность, клевещущего на советскую студенческую молодежь!

В конце концов, почему фильм называется «Закон жизни»? В чем состоит существо так называемого «закона жизни»? Как видно, содержание «закона жизни» сформулировано Огнерубовым: он имеет право беспорядочно любить, он имеет право менять девушек, он имеет право бросать их после того, как он использует их, так как «закон жизни» состоит в праве на наслаждение, переходящее в распущенность. По сути дела, авторы фильма должны были закончить фильм торжеством «закона жизни», торжеством философии Огнерубова. Но так как авторы фильма трусят перед нашим общественным мнением, то они отдали ему дань и кончили дело провалом Огнерубова и его «закона жизни». В этом основа фальши фильма. Почему же, повторяем, фильм называется «Законом жизни»? Ведь «закон жизни» должен быть высоко жизненным и непреодолимым. Не странно ли, что «закон жизни» авторов фильма оказался пустышкой, не имеющей никакой силы? Не ясно ли, что «закон жизни» авторов фильма ни на йоту не походит на действительный закон жизни? Это не закон жизни, а гнилая философия распущенности».

Подписи под статьей не было.

Медленно, строку за строкой, читал статью, впитывал каплю за каплей яд.

Вопиющая, бессовестная неправда! Все извращено, оклеветано. Я ненавижу Огнерубова, люблю Паромова. Это же ясно. Проповедую одну-единственную мораль — коммунистическую! Мне хотелось кричать, протестовать, жаловаться, доказывать правоту. Но я молча стоял перед газетой. Холодел, старел, терял силы. Рядом кто-то изумленно воскликнул:

— Ну и ну! Выдали!

Выбираюсь из толпы, иду по Крещатику. Шагаю все так же, с руками, сцепленными за спиной, с поднятой головой. Что делать? Куда податься? Все ясно, но мне чего-то еще недостает.

Тут же, на Крещатике, помещалась Всеукраинская контора по прокату фильмов. Я зашел к управляющему, показал удостоверение корреспондента «Правды», попросил объяснить действия расклейщика афиш. Управляющий плотно прикрыл дверь и доверительно рассказал следующее. Сегодня ночью сотрудники НКВД на мотоциклах разъезжали по кинотеатрам Киева: опечатывали коробки с кинолентой «Закон жизни». Фильм запрещен, признан антисоветским и подлежит немедленному изъятию. О статье в «Правде» он ничего не сказал, наверное, еще не знал о ней. Я поблагодарил управляющего и вышел на улицу.

Все прояснилось. Складывай руки, автор, закрывай глаза, отдавай богу душу!

Я вернулся в гостиницу, позавтракал в сумрачном пустом зале, поднялся в номер и стал ждать режиссера, собирающегося ставить фильм «Люди, перешагнувшие границу». Он явился, как всегда, вовремя, ровно в десять. Мы сразу приступили к делу. Работали над режиссерским сценарием три часа, очень плодотворно.

Потом я пошел провожать режиссера. И тут только я поведал ему, что «Закон жизни» запрещен, что в «Правде» напечатана разгромная статья. Режиссер подавленно смотрел на меня и ничего не говорил, не пытался задавать вопросы, ничуть не притворялся. Откровенно рассматривал автора сценария как обреченного.

Попрощавшись, я пошел своей дорогой. Мы не условились встретиться завтра в девять. Само собой понятно, что договорные отношения с Киевской киностудией будут разорваны.

Спустился на Крещатик, прошел мимо стенда с сегодняшней «Правдой», где все так же толпился народ, на почтамте заказал разговор с Макеевкой. Примерно через час меня соединили. Откликнулась Люба. Радарадешенька, что я позвонил. Спешит сообщить, что соскучилась, что хочет прилететь в Киев.

Эх, Люба, Люба! Подвел я тебя, дружок. Выходила замуж за писателя, щедро обласканного государством, а теперь выясняется... Выдержишь ли все, что выпадет на твою долю? По твоим ли плечам неимоверная тяжесть?

Я молча выслушиваю ее ласковую скороговорку.

— Что с тобой? — встревожилась Люба. — Ты не хочешь, чтоб я приехала? Почему молчишь?

Рассказал о статье в «Правде». Говорил и удивлялся: до чего толково, вразумительно, кратко и ясно излагаю чудовищное, невероятное. Будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом.

Мое деловитое, чересчур деловитое сообщение не ввергло Любу, как я ожидал, в бездну отчаяния. Закричала в трубку — повелительно, с величайшим убеждением:

— Немедленно лети в Москву! Пойди в ЦК. Напиши Сталину! Слышишь? Немедленно! Нельзя бездействовать ни одной минуты! Как могла «Правда» написать о тебе такое? Разве там не знают, какой ты писатель и человек?! Слышишь, что я говорю? Поезжай в Москву. Напиши Сталину! Он во всем разберется.

Она угадала мои мысли. Именно об этом я и думал, ожидая разговора. Да, я должен быть в Москве. Должен написать товарищу Сталину. Но — что написать? Боже, если ты существуешь, помоги найти нужные слова!

Взял в Интуристе машину и поехал на окраину Киева на киностудию.

Зачем? Разве я не понимал, что со мной расторгнут договор, изгонят со студии? Очень хорошо понимал. Собственно, поэтому и поехал.

Но до сценарного отдела не дошел. Около проходной будки столкнулся с Александром Петровичем Довженко, легким, изящным, седоголовым, с лицом, бронзовым от загара.

Я восхищался Довженко давно. Его фильмом «Земля» я был потрясен. Дрожал от восторга, когда довженковский Василь возвращался домой по залитой лунным светом деревне, когда, переполненный жизнерадостностью, молодой силой, пускался в пляс. За минуту до своей гибели. Плакал, когда выстрел предателя сразил моего ровесника, моего брата. Когда его несли по украинским полям и подсолнухи поворачивали свои цветущие головы вслед Василю, прекрасному и в гробу, когда заволновалось, забушевало пшеничное поле вокруг Василя, когда ветка, полная яблок, прощаясь с мертвым, тронула его лицо. Я умирал и воскресал вместе со стариком садовником в довженковском саду. Я прикоснулся к прекрасному.

Сама судьба послала мне в такой тяжкий день Довженко!

Александр Петрович, разумеется, уже прочитал сегодняшнюю «Правду». Но ни словом не обмолвился. Обнял меня и, не отпуская, повел к себе, в корпус, именуемый довженковской студией. Попросил жену, Юлию Ипполитовну, и своих помощников принести угощение. Появилась полная корзинка яблок и большая банка меду. Яблоки из сада, который много лет назад посадил Довженко.

Мы ели яблоки и мед и говорили. Обо всем на свете, но только не о Киевской студии, не о кинофильмах, не о работе писателей и кинорежиссеров. Довженко говорил о садах Украины и Днепре, вспоминал детство, юность.

Никогда до этого я не видел Довженко таким добрым, ласковым, вдохновенным, как в тот день.

Когда пришла пора расстаться, провожал до ворот. Предчувствовал, что и с ним однажды расправятся, как со мной? Все под богом ходим. Так и случилось. За два года до конца войны Довженко постигла такая же судьба.

За что же расправился Сталин с Довженко, которого почитали во всем мире? Не понравился страстный антифашистский киносценарий «Украина в огне». Посчитал националистическим, антисоветским.

Довженко лишился права не только работать, но и жить в родном Киеве. Переехал в Москву, на Кутузовский проспект, где у него была квартира.

После войны я часто бывал у великого режиссера. Он бывал у меня. Мы стали друзьями. На моей «татре» уезжали далеко за город. Садились где-нибудь на обрывистом берегу реки в тени деревьев и беседовали. Часто говорили о Сталине. Пытались разобраться в происходящем.

Тяжелая болезнь сердца, вызванная жестокой расправой, безвременно свела Довженко в могилу. 25 ноября 1956 года он скоропостижно скончался. Из дома на Кутузовском проспекте выносили Александра Петровича в морозную, снежную ночь. Положили мертвого в кузов санитарной машины и увезли. Оледенелые ветви деревьев, казалось мне, склонились в его сторону, и сильнее выла вьюга, и метель мчалась в ту сторону, где скрылся Довженко.

Я долго стоял на ступеньках его подъезда и смотрел на то бесснежное место, откуда только что отчалила больничная машина, и вспоминал живой киевский сад, живого Довженко, пасеку Довженко, яблоки и мед Довженко, седую красивую его голову и все, что он говорил за годы нашей дружбы.

Но вернусь в год сороковой. В гостинице портье встревоженно помахал мне рукой:

— Вам правительственная телеграмма.

Я разорвал заклеенную телеграмму и прочитал:

«Секретарь Центрального Комитета товарищ Жданов предлагает вам явиться в ЦК. Кузнецов».

Помчался в агентство Аэрофлота. Билеты на сегодня и завтра проданы. Купил билет на послезавтра.

Ночью опять поговорил с Макеевкой, рассказал жене о вызове в Москву, к Жданову. Люба обрадовалась.

— Я уверена,— сказала она,— что твоя «Правда» получит нахлобучку. Все будет хорошо, вот увидишь!

Я не стал ее разубеждать.

На следующий день я случайно узнал, что статья «Фальшивый фильм» была написана по личному заданию Сталина правдистом, здравствующим и поныне. Писалась наспех, ночью и со специальным нарочным была послана в Кремль. Сталин кое-что вычеркнул, вторую половину заново переписал и отослал в редакцию. По его указанию статья была напечатана без подписи.

Случилось так, что этот правдист в тот сентябрьский день сорокового года оказался в Киеве, остановился в том же отеле «Континенталь», где жил и я. Мы встретились в ресторане за обедом. Он в весьма и весьма сочувственных тонах рассказал, как писалась, дописывалась, редактировалась статья.

Не знали тогда ни он, ни я, какая тяжелая судьба ожидает и его самого. Через несколько лет он был исключен из партии и едва не попал в тюрьму.

Не знал, не понимал я тогда и того, что автор фильма «Закон жизни» должен был немедленно, безоговорочно признать себя по всем пунктам виновным, публично покаяться, как можно безжалостнее к самому себе, поблагодарить от всего сердца за суровую критику и присягнуть всей жизнью, всеми трудами и помыслами искупить тяжкую вину.

Не сумел я отдать дань времени.

Прилетев в Москву, я сразу же разыскал телефон-автомат, позвонил в ЦК, в справочный отдел, узнал номер телефона Кузнецова и соединился с ним. Назвал себя и напомнил, какую именно получил от него телеграмму.

Кузнецов попросил меня подождать у телефона. Минуты через две-три снова появился на проводе, сказал, что товарищ Жданов занят и в ближайшие дни принять меня не сможет. «Ждите, вас известят».

Примерно через полчаса я был у Столпера. Глядя в его суматошные, полные ужаса глаза, слушая бешеную скороговорку, я понял, что меня ждет. Столпер рассказал во всех подробностях, какой переполох подняла статья «Правды» на Мосфильме, как перепуган комитет во главе с Большаковым.

Прошло немало дней, пока в секретариате Жданова вспомнили о нас.

9 сентября утром мне, режиссерам Столперу и Иванову сообщили, что нас вызывают в Центральный Комитет к пяти часам вечера. Войти в ЦК через главный подъезд, пропуска будут там же.

Весь день я готовился к встрече. Составил нечто вроде оправдательной речи. Примерно в половине пятого встретился со Столпером и Ивановым, и мы направились на Старую площадь, в Большой дом.

Лифт поднял нас на тот особый этаж Центрального Комитета, где кабинеты секретарей. Мы вошли к Кузнецову, представились.

Кузнецов провел нас по какому-то глухому, покрытому толстой красной дорожкой коридору. Мы очутились в комнате, заставленной тяжелыми, в белых полотняных чехлах креслами. Сидели мы в одиночестве довольно долго, минут тридцать—сорок.

Странное дело, ни в чем не виноваты, а ищем оправдательных слов. Не совершали никаких проступков, ни на что не покушались—и должны доказывать, что не фальшивили, не покушались.

Нас пригласили куда-то: проходите! Я думал, мы идем к Жданову, в его кабинет, но вошли в какую-то узкую дверь, миновали тамбур, прошли коридор и попали в большой, ярко освещенный зал с громадной квадратной колонной. Два ряда столов. За столами, друг против друга—каждый за отдельным столом—сидят люди. На возвышении, за светлым, длинным дубовым столом никого нет. Слева от возвышения—трибуна.

Мы заняли указанные нам места, недалеко от трибуны. Я сел в кресло и увидел перед собой привинченную к столу пластину, на которой золотыми буквами написано: «Член Оргбюро ЦК Л. З. Мехлис». Так вот куда я попал. Вот в каком кресле сижу! Рядом со мной, справа, Столпер, дальше Иванов. Против меня, спиной к сцене, сидел, почесывая длинную и жиденькую бородку, Лозовский. Рядом с ним Тренев, Катаев, Асеев, Фадеев и другие члены президиума Союза писателей. Все меня хорошо знали, но не смотрели на меня. Вообще никто не замечал—ни писатели, ни деятели кино, ни работники ЦК.

Говорят, на обреченных страшно смотреть. Не знаю, так это или не так, но от меня все отводили взгляды.

Еще не начиналось совещание, а на мне уже поставили крест. Вероятно, по этой причине меня и режиссеров и ввели в этот зал через особую дверь. Все вошли в дверь, предназначенную для живых, а я...

Из-за огромной квадратной колонны появился тучный, аккуратно причесанный, в новенькой тужурке стального цвета Жданов. За ним вошли маленький Андреев и толстый, с каким-то отрешенным выражением лица Маленков. Они заняли свои места за столом на возвышении: Жданов посредине, Андреев справа, поближе к трибуне, Маленков слева, невдалеке от той двери, из которой вышли. Дверь эта мне была видна, но от большинства сидящих в зале загорожена колонной.

Жданов положил перед собой несколько папок и, отчужденно глядя на присутствующих, сказал, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить кинофильм «Закон жизни» и работу писателя Авдеенко. Слово «работа» он проговорил с подчеркнутым пренебрежением.

И Жданов, и Маленков, и Андреев тоже не замечали меня, хотя я сидел ближе всех к ним, хотя ни на мгновение не спускал с их лиц взгляда.

Жданов напомнил присутствующим о статье в «Правде», затем стал говорить о моих романах и повестях. Он давал им резко отрицательную характеристику. Привел отдельные цитаты из критических статей о романе «Судьба». Потом назвал мои киносценарии — «Миллиардерша», «Люди, перешагнувшие границу» и сценарий, написанный для Ленфильма, сказал, что вся эта писанина порочна, как и «Закон жизни». Потратив примерно час на обзор сценариев и критических статей, он перешел к роману «Государство—это я».

Этот роман был написан два года назад, но не был опубликован. Рукопись я отложил с намерением еще поработать над ней.

Центральная фигура романа—донецкий шахтер Севастьян Бескаравайный. Посвящен роман событиям 1935—1937 годов, самому славному и самому тяжелому периоду в истории Донбасса. Живя там, я часто бывал в Горловке, Артемовске, Сталино, Мариуполе, Кадиевке, Алчевске на шахтах и заводах. Знал многих рабочих, почти каждого начальника шахты, каждого парторга, каждого директора завода. Дружил со многими стахановцами-шахтерами, с секретарями райкомов. Так что мне было что рассказать о моих земляках.

Естественно, я не мог пройти мимо того, что стряслось в Донбассе. Я имею в виду факты вредительства. Разумеется, я не был очевидцем вредительства. Мне факты стали известны из газет и по судебным процессам. Процессов в то время было много, и почти на каждом процессе в Донбассе я присутствовал. Я сидел в зале среди людей, приглашенных по специальным билетам, слушал обвинительные заключения, речи прокуроров, признания обвиняемых, показания свидетелей. И обвинительные заключения, и свидетельства, и показания казались мне достоверными, вскрывшееся на процессах ужасало. И я решил написать не только о рабочих-стахановцах, но и о маскировавшихся врагах Советской власти. Севастьян Бескаравайный и его друзья, их разоблачившие, олицетворяли, по моему замыслу, рабочую гвардию Донбасса, государство, партию, потому и назвал роман так: «Государство—это я».

По шестнадцать—восемнадцать часов работал. Писал все лето и зиму, уединившись с женой, младенцем и матерью неподалеку от Макеевки, километрах в восьми от города—на вишневом хуторе, на берегу ставка.

К весне 1938 года роман был готов. Но я никому его не показывал. Хотелось, чтобы рукопись прочитал кто-нибудь из друзей.

Первым моим другом в то время был Антон Семенович Макаренко. Ему-то я и послал рукопись.

Спустя несколько дней я был в Москве, и мы с глазу на глаз говорили о романе. Потом я уехал домой, и Макаренко вдогонку мне послал подробное письмо. Вот оно

«Москва, 3 мая 38

Дорогой, милый, родной Александр Остапович!

Рукопись вчера отправил в Макеевку, а сегодня получил Ваше письмо. Дело, впрочем, не в том.

Дело в том, что я перед Вами виноват, как самая захудалая свинья. Виноват, честное слово, не по злой воле. Я человек — несчастный. Меня загоняли, и я похож на угорелую лошадь. У меня на плечах свой роман — «Флаги на башнях», — на него все сроки пропущены, все деньги, взятые под роман, давно прожиты, неловко перед людьми, а писать некогда. Москва для меня гибель. В час пятнадцать телефонных звонков, пять посетителей, а толку на копейку. Бездельные люди, сами лодырничают и мне не дают работать. Роман мой растянулся, конца не видно, и я принужден был пойти на последнее средство — печатать его прямо в чистовку. Так и делаю, сердце кровью обливается, знаю, что я поганю свою работу, а никаких других выходов нет. Меня, как вы знаете, почти не издают, во всяком случае, не переиздают, нужно эти самые презренные средства к жизни зарабатывать горбом.

Дальше — сейчас меня пристроили заместителем редактора «Октября», я там провожу целый день, и тоже пользы от моей работы нуль — читаю жалкие рукописи, скучные, пресные, бесталанные.

В Макеевку я отправил вместе с рукописью целое сочинение, хотя, вероятно, оно Вам и не пригодится. Нужно Вам сказать, что Ваш роман в пристальном чтении мне понравился гораздо больше, чем тогда, когда Вы были у меня, при беглом просмотре. Это большая, высокоталантливая и свежая работа. Признаюсь Вам по секрету: иногда мне кажется, что это не Вы писали, настолько это не похоже на Ваши прежние работы и насколько это выше. Вы растете на глазах, и за это я больше всего Вас люблю. Страшно хочется для Вас огромного, головокружительного успеха, искренно говорю Вам, этот Ваш успех меня больше обрадует, чем мой собственный.

Собственно говоря, Ваш роман совершенно цельная вещь, в которой ничего не нужно исправлять и дополнять. Но, принимая во внимание интересы читателя и не всегда полную его способность разобраться в сложных вопросах, тот план, который мы наметили вместе, представляется мне по-прежнему очень хорошим и полезным.

Я уверен, что у Вас есть копия рукописи и в настоящее время Вы уже очень много сделали. В самом тексте поправок будет очень немного, исключительно по линии уменьшения натурализма, который у Вас выходит очень выразительно и правдиво, но от которого Вам все равно необходимо избавляться. И без натуралистических трюков у Вас очень много силы, для Вас не нужны никакие подстегивания. И, представьте себе, самые лучшие Ваши страницы — это те, где нет никакого натурализма. Например, объяснение в театре — прелесть, замечательно тонко и обвинительно, я перечитывал его несколько раз.

Жаль, что Вы небрежно отнеслись к Божедомову. Затеяна фигура хорошо, а потом кое-как прикончена, видно было, что Вам было некогда с нею возиться. Совершенно убежден, что Вы слишком много уделили внимания семейным подробностям Вашего героя. Я уверен, что самые интимные его переживания будут выглядеть интереснее, если Вы будете давать их в меньшем количестве. И, конечно, ни в коем случае не нужно Вашу героиню просто гробить при помощи милиционерского протокола. Картина, когда она уходит и на переезде отказывается сесть в машину мужа, и без того очень трагична и убедительна. Трамвай после этого — совершенно ненужная и обидная для читателя жестокость, не правда ли?

Нет, серьезно, Вы работаете над замечательной книгой. Я никак не могу отделаться от этого общего впечатления. В некоторых местах я очень боялся, что роман потеряет при переходе на третье лицо. Нельзя ли соединить первое лицо с третьим, то есть перемежать Ваш рассказ с выдержками из дневника? Вообще не думайте, что я Вам много помогу, — у меня самого голова кругом идет. И что особенно для меня приятно, — я Вам ни капельки не завидую. между нами говоря, это все-таки трудно.

Роман Ваш я прочитал несколько раз. Первый раз сразу после Вашего отъезда. Потом меня выбило из колеи, и в двадцатых числах я начал читать второй раз уже с карандашом, и, читая его как будто первый, иногда даже забывал, что у меня в руках карандаш. Думаю, что в своем письме, отправленном в Макеевку, я не смог отметить все, что приходило в голову, очень хочется с Вами видеться и говорить, писать писем я, собственно говоря, не умею. Надеюсь, что 15-го увижу Вас в Ялте. Но когда придется читать Ваш роман в готовом виде? Вы должны знать, что на Ваш роман я имею преимущественное право для того, чтобы печатать его в «Октябре». Панферов очень обрадовался, когда я рассказал о Вашей удаче, и тоже надеется, что Вы будете печататься у нас. Впрочем, имейте в виду, что я как редактор — лицо для Вас второстепенное, со мною можно и не считаться.

Крепко жму руку. Ваш А. Макаренко».

В «Октябре» я печататься не хотел. Макаренко, с моего согласия, отдал рукопись в «Красную новь». Редактор журнала В. В. Ермилов не заинтересовался романом. После беседы со мной и Макаренко он вернул мне рукопись. Мы знали, что только что, буквально на днях, Ермилов получил от ЦК выговор за документальное произведение Мариэтты Шагинян о семье Ленина, опубликованное в «Красной нови», и был на пороге снятия с работы.

Однако ни Макаренко, ни мне тогда не было известно, что директор Гослитиздата Лозовский попросил Ермилова дать ему мою рукопись для ознакомления, в издательстве рукопись срочно перепечатали.

Через несколько дней Лозовский неожиданно пригласил меня на Никольскую. После четырехчасового разговора у меня создалось впечатление, что в целом, с некоторыми оговорками, Лозовский одобрительно относится к роману. Мы тепло распрощались. Лозовский сказал, что верит в роман, что после доделок ему будет дана в издательстве «зеленая улица». С тем я и уехал в Донбасс.

А вскоре получил от Лозовского большое письмо — двадцать пять печатных страниц. И ни на одной из них не оказалось и следа недавнего сердечного разговора — сплошной разнос.

Я возмутился. Сел за стол и написал письмо — тоже большое, не менее двадцати пяти или тридцати страниц. Опроверг все, что нагородил Лозовский. Резкостью отвечал на резкость. Уличил его в передергивании, в подтасовке фактов.

Мое письмо Лозовскому Люба перепечатала, но со слезами на глазах начала умолять не посылать его. Даже ей, знающей, что Лозовский обвинения построил на песке, стало страшно, что я так гневно отвечаю директору Гослитиздата. Я разозлился, но скоро отошел. На Любу нельзя было долго сердиться. Написал другое, краткое, в несколько строк, письмо, отчужденное, но вежливое...

И вот теперь мы сидим с Лозовским лицом к лицу за столами членов Оргбюро ЦК. Как и зачем Лозовский попал сюда, ведь он не имеет никакого отношения к фильму «Закон жизни», и он уже не директор издательства, а заместитель наркома иностранных дел?

Но скоро все разъяснилось. Жданов обвел присутствующих многозначительным взглядом и сказал, что Авдеенко не случайно написал фальшивый и клеветнический сценарий «Закон жизни». До этого сценария он сочинил роман «Государство — это я», в котором оклеветал и партию, и народ, и Советское государство. И в подтверждение своих слов Жданов огласил послание ко мне Лозовского. Все письмо прочитал, все двадцать пять страшных страниц.

Я слушал и холодел. И до того, как Жданов прочитал письмо, была пропасть между мною и всеми, кто присутствовал в зале, но после этого она стала шире и глубже.

Жданов еще раз, опять очень многозначительно посмотрел в зал и сказал:

— И как же Авдеенко реагировал на справедливую критику? Он ответил товарищу Лозовскому высокомерной цидулькой. Вы послушайте, что он написал.

Извлек из папки еще одну бумагу и прочитал мой ответ Лозовскому.

— Мы видели лицо романиста и драматурга Авдеенко,— продолжал Жданов.— Давайте теперь посмотрим на Авдеенко-журналиста. Вот его статья, напечатанная в армейской газете. Называется «В Черновицах». Вот как он «живописует» буржуазный город, только что освобожденный Красной Армией.

И усталым голосом, скороговоркой, с нескрываемым отвращением он прочитал половину статьи, где я описывал внешний вид города. Вторую часть, где рассказывалось о социальных контрастах, опустил. Бросил газету, сказал:

— Ну и так далее.

Очерк этот был напечатан в «Правде», красноармейская газета лишь перепечатала его. Жданов и об этом умолчал.

Он не сказал о том, что я увидел в Черновицах не только оперный театр с цветником перед ним, но и людей, которые за всю свою жизнь ни разу не были в этом театре, предназначенном для панов. Не захотел прочитать и то место, где я рассказывал, что трудовой люд не покупал обувь в роскошном магазине «Кармен», а ходил босиком до морозов.

До этого в течение двух часов я не проронил ни слова, но тут не выдержал, сказал... Нет, не сказал, выкрикнул в лицо Жданову:

— Читайте, читайте до конца!

Не слышал или сделал вид, что не услышал. Закрыл папку, строго посмотрел в зал, брезгливо изрек:

— Вот как советский писатель Авдеенко описывает буржуазный город Черновицы.

И тут раздался хрипловатый, с кавказским акцентом злой голос:

— Тянет его туда... за границу.

Я оторвал взгляд от Жданова и увидел по ту сторону громадной четырехугольной колонны Сталина. Он сидел за отдельным столиком, скрытый от всех, и курил трубку. Видели его только Жданов, Маленков, Андреев и я—такое особое было мое кресло. Кресло члена Оргбюро ЦК Л. З. Мехлиса.

С этого момента один Сталин существовал для меня и для всех.

— Ишь, как расхвалил Черновицы!

Сталин поднялся, вышел из-за стола на то навощенное пространство, которое не было скрыто колонной, усмехнулся и язвительно добавил:

— Подумаешь! Тоже мне город, Черновицы. Бывали там, видали.— Проговорив это, он вернулся за колонну, сел за свой стол.

Смотрю на Сталина и не верю, что это он. Очень непохож на себя. Куда подевалось доброе, обаятельное лицо, известное по кинокадрам, фотографиям, портретам, монументам, бюстам. Вместо любимого, величественного облика вождя вижу более чем обыкновенную желтовато-смуглую физиономию, густо изрытую оспой. И рост совсем не внушительный. Ниже среднего. Пожалуй, даже малый. Узкоплечий, узкогрудый человек. Сильно разреженные седеющие волосы будто натерты черным варом. На макушке идеально круглая лысина, словно тонзура ксендза. Левая рука неподвижна, полусогнута, не то повреждена, не то парализована. Только усы, густые, рыжеватые, растрепанные, похожи на сталинские. Все остальное неуклюже сработано. Актер, загримированный под вождя. Актер, бездарно исполняющий роль великого Сталина. Актер, грубо утрирующий манеры Сталина...

Жданов, прямо обращаясь ко мне, продолжал:

— Скажите, как случилось, что вы написали такой сценарий, такой роман?

Не так-то просто подняться с кресла, на котором я сижу. Оно винтовое, как у пианиста, и вплотную придвинуто к столу. Надо повернуться влево или вправо, чтобы встать. Я этого не знал и поэтому засуетился, с трудом поднялся.

Многое хотел сказать, но удрученно молчал. И все настороженно смотрели на меня и ждали.

Все, что я бы ни сказал, никого бы не убедило. Самые искренние слова не были бы услышаны. Судьба моя была решена до того, как началось судилище. Все-таки кое-что выдавил из себя. Собрался с силами. Сказал, что только сегодня утром увидел фильм, смотрел его в Комитете по делам кинематографии. Что если бы увидел фильм раньше, то категорически возражал бы против эпизода, где разгулявшиеся оруженосцы Огнерубова выливают бутылку вина в человеческий череп и с хмельной удалью вопрошают: «Пить или не пить?». В моем сценарии не было этого эпизода. Его написал кто-то другой, он вставлен в фильм без моего ведома. И еще что-то бормотал.

Жданов прервал меня:

— Значит, вы безответственно, наплевательски относились к своей работе, раз не удосужились посмотреть фильм до сегодняшнего дня.

Я попытался возразить. Сказал, что в то время, когда фильм был готов, когда и должен был его посмотреть, я находился по заданию «Правды» в качестве ее спецкора на государственной границе в войсках Красной Армии, со дня на день ожидавших приказа об освобождении Северной Буковины. В такое время я не мог покинуть войска, это было бы равносильно дезертирству.

Жданов раздраженно, грубо перебил меня. Я уважал и Жданова, и дом, и зал, где находился. Понимал, как тяжко мое положение, и все-таки не мог вытерпеть несправедливости. Посмотрел на Жданова и сказал:

— Я не ожидал, что со мной так будут разговаривать в Центральном Комитете.

Больше не произнес ни одного слова до конца совещания. Опустился на свое неудобное, странное кресло и замер.

Жданов отреагировал на мои слова удивленным взглядом, мимолетным замешательством и продолжал хладнокровно свое дело. Глядя в зал, спросил:

— Кто желает выступить?

Поднялся Николай Асеев. Вышел на дубовую трибуну и сразу начал говорить обо мне.

Что он мог сказать? До позапрошлого года он не был даже знаком со мной. Мы встретились в Ялте, в доме творчества Литфонда. Месяц прожили в соседних комнатах, но разговорились только раз. Это было в тот день, когда я начерно закончил роман «Государство—это я». Усталый и счастливый, я вышел на крылечко, где в это время стоял Асеев. Должно быть, мое лицо, глаза сияли, и Асеев спросил, что со мной. И я, по простоте душевной, рассказал, что закончил первый вариант романа, что гора с плеч свалилась. И вот эту мою наивную, естественную радость Асеев теперь высмеивал. Вспоминая ялтинское весеннее, солнечное утро, он сказал, что я хвастался своей трудоспособностью, что не понимаю, как должен много и долго трудиться писатель над произведением. По словам Асеева выходило, что я не признаю необходимости кропотливо трудиться над рукописью, считаю пригодным для печати все, что выходит из-под моего пера.

Не говорил я так. Не мог говорить. Но если бы даже и говорил, то стоило ли с такой трибуны, в такую тяжкую для меня минуту это вспоминать? Не знаю, что случилось с Асеевым. Почему большой поэт оказался таким малым человеком?

Потом вышел на трибуну Николай Погодин. Он махнул на меня рукой—в буквальном смысле слова—и с таким же полным пренебрежением сказал:

— Такие люди меня не интересуют. И я не буду о нем говорить.

Эх, братцы-писатели...

Фадеев не пробился на трибуну. Говорил, вернее, пытался говорить с места. Короткой была его речь. Он успел сказать, что нужно освободить Союз от таких людей, как Авдеенко. И вообще надо провести генеральную чистку Союза писателей.

Сталин не дал ему довести мысль до конца, вышел из-за колонны, встал посредине зала между дубовым возвышением и столами, где сидели приглашенные, строго посмотрел на Фадеева и сказал:

— Ишь какой! Слон в посудной лавке. Ишь как разошелся! Чистка Союза писателей ему понадобилась.

Фадеев смертельно побледнел и сел.

Я сидел к Сталину ближе всех и неотрывно смотрел на него. Я считал его великим, гениальным. Преклонялся перед ним. Но выражение рябого, желто-смуглого лица поразило неумолимой жестокостью, надменностью, высокомерием. Я почувствовал и увидел, что Сталин не уважает ни одного из тех, кто находился в зале, никого не считает способным понимать жизнь. Он изрекал всем известные истины, как великие открытия. Говорил медленно, с частыми паузами, нисколько не смущаясь долгим молчанием. Не говорил, а размышлял вслух, не замечая присутствующих. Произнесет две-три фразы и замолчит, прохаживаясь вдоль дубового возвышения, сосредоточенно глядя в пол. Остановится, пахнет дымком, скажет что-нибудь и опять прохаживается. Почти слово в слово повторяет то, что напечатано в «Правде», в редакционной статье «Фальшивый фильм».

За все время, пока Сталин говорил, никто из присутствующих не шелохнулся.

Почему он один по-хозяйски расхаживает по залу, а все сидят затаив дыхание, ни живы ни мертвы? Почему один чувствует себя свободным, а все себя сами добровольно сковали? Похож на учителя с указкой в виде курительной трубки, а все — на провинившихся школьников-первоклашек.

Почему рукопись неопубликованного романа фигурирует на этом судилище в качестве вещественного доказательства как главнейшая улика моего преступления? С каких пор судят автора и за неопубликованные, находящиеся в стадии работы произведения?

До этого дня события тридцать седьмого, тридцать восьмого годов я воспринимал как трагедию государства и народа. Верил и не верил, что маршалы и наркомы, командармы и секретари обкомов, горкомов, райкомов, директора заводов, начальники главков, председатели облсоветов, горсоветов, райсоветов переметнулись в стан врагов, стали предателями и шпионами. Если у Советской власти такие враги и их столько, думал я, то плохи ее дела.

Теперь же, когда Сталин лично расправлялся со мной, я понял, как возникали обвинения в период массовых репрессий, как беззащитны были обвиняемые. Смертная буря в то время пронеслась мимо, не сняв с моей головы ни единого волоса. Сейчас, новым заходом, она сметет с лица земли и меня, и мою семью, и мои произведения. Имя мое и после физической смерти будет расстреливаться сталинским увековеченным словом.

Сталин прохаживался мимо моего стола и говорил:

— Коммунист режиссер Иванов в тот же день, когда была напечатана в «Правде» статья «Фальшивый фильм», пришел в райком партии и заявил, что согласен с критикой. А писатель коммунист Авдеенко до сих пор отмалчивается.

Мне бы потерять разум, умереть от разрыва сердца. Однако я жил, слушал, видел, мыслил.

Оборвав себя на полуслове, никого не замечая, Сталин скрылся за колонной, сел за столик, брал одну за другой папиросы из большой коробки, ломал, вышелушивал табак и набивал трубку.

Жданов, робко взглянув туда, где сидел Сталин, предоставил слово следующему оратору.

На трибуну вышел Валентин Катаев. Недавно раскритикованный за пьесу «Синий платочек», он чувствовал себя на трибуне не очень уютно, говорил несколько скованно и разбросанно. Обо всем и ни о чем.

Но Катаева выручил Сталин. Поднялся из-за стола и, глядя на Жданова, сказал, как простой смертный:

— Я еще хочу сказать. Можно?

— Пожалуйста, товарищ Сталин, — поспешно согласился Жданов.

Сталин вышел из-за колонны и опять, прохаживаясь вдоль возвышения, медленно ронял слова. И опять, опять говорил исключительно обо мне. Он сказал, что в свое время прочел мои книги.

— Что это за писатель! — с пренебрежением, даже с отвращением воскликнул он. — Не имеет ни своего голоса, ни стиля. И неудивительно.

Неискренний человек не может быть хорошим писателем. По-моему, Авдеенко пишет не о том, о чем думает, что чувствует. Он не понимает, не любит Советскую власть. Авдеенко — человек в маске, вражеское охвостье. Говорят, он был рабочим. А разве мы не знаем таких случаев, когда бывший рабочий становился нашим заклятым врагом? Разве у нас мало случаев, когда человек, имеющий в кармане партбилет, выходит на антипартийную дорогу? А кто, кстати, поручался за Авдеенко, когда он вступал в партию? Не враг ли народа Гвахария, бывший директор Макеевского завода, где живет Авдеенко? Гвахария был ближайшим его другом.

Андреев, секретарь ЦК, до сих пор не произнесший ни одного слова, вдруг оживился и сказал:

— Авдеенко дружил с таким заклятым врагом народа, как Кабаков, бывший секретарь Уральского обкома партии.

Да, это почти правда. Я любил мудрого Ивана Дмитриевича. Гордился его добрым отношением к себе. Да и кто бы не гордился на моем месте! Кабаков! Член Оргбюро!

Теперь о Гвахарии. С этим человеком я действительно дружил. Но он не поручался за меня. Я вступал в партию в заводской организации, в доменном цехе, там, где мой отец проработал двадцать пять лет. За меня поручались товарищи отца.

Сталин, продолжая расхаживать и дымить трубкой, говорил:

— Сегодня, перед заседанием, мы звонили в Донбасс. Там очень хорошо знают барахольщика Авдеенко.

Страшно прозвучали слова «человек в маске», «вражеское охвостье», но слово «барахольщик» почему-то показалось еще страшнее и обиднее.

И я вдруг посмотрел на себя глазами Сталина. Он в глухом сером мешковатом френче, в широких штанах, вобранных в сапоги, а я... На мне хорошо сшитый пиджак из темно-серой фланели, черные замшевые туфли, темно-синяя рубашка с накрахмаленным воротничком, шерстяной серый галстук.

Зачем я купил этот пиджак там, в Черновицах? Почему надел, когда шел сюда? Радовался, когда покупал добротные вещи, и ненавижу их теперь! Ненавижу пиджак, ненавижу галстук, которым повязан режиссер Столпер, — это мой подарок.

Но что такое творится со Столпером? Почему нагнулся над столом и лихорадочно шарит у себя на груди? Что делает? Развязывает галстук? Да! Развязал, скомкал, спрятал в карман. Может, и мне надо это сделать? Галстук можно спрятать, но что сделаешь с пиджаком, рубашкой? Что я могу сделать с собой? Куда себя спрячу?

Это была минута постыдной моей растерянности, слабости, вспышки невменяемости, сумасшествия. Что имел в виду Сталин, употребив слово «барахольщик»? Поверил донецким доносчикам? Надо было прислать милицию с обыском. Она бы подтвердила, что в моей квартире нет ни грамма золота, серебра, драгоценностей. Даже обручальных колец нет. Ни одного ковра. Нет сберегательных книжек. Есть бывшая казенная мебель, за которую заплатил наличными втридорога. Единственное, что есть в доме ценного, — это редкие, дорогие книги, купленные через книжную лавку писателей у букинистов. Уйма старинных изданий. Есть еще и «бьюик» на ходу. И это надо было мне сказать Сталину. Куда там! Сам себя только слушает. Единого слова нельзя вставить в его яростную речь. Да и почему я должен оправдываться, что не щеголял по Донбассу и Москве в чем мать родила, а прикрывал свои телеса приличными пиджаками, рубашками, купленными, кстати, на свои кровные, заработанные честным трудом деньги? Да и с каких это пор запрещено одеваться по-человечески? Стоит ли гордиться тем, что производим уродливый ширпотреб и обряжаем в него народ?

Такого рода мысли пронеслись в моей голове после того, как Сталин наклеил на меня еще один ярлык.

Был спровоцирован мудрейшим из мудрейших. Не об этом следовало мне думать.

Сталин рассуждает вслух о Шекспире, Гоголе, Чехове, о литературной плотве и китах, доводит до сведения присутствующих, какой манере письма отдает предпочтение, а я думаю о нем. Почему он с сокрушающей

силой урагана набросился на писателя из рабочих? Почему обвинил в грехах, которые я по своей природе, характеру и призванию не мог совершить? Почему, отодвинув в сторону чрезвычайно важные государственные и партийные дела, уже который час прорабатывает меня? Неужели в самом деле я в его глазах являюсь государственной опасностью, большей, чем фашистские армии, сосредоточенные вблизи наших западных границ?

Катаев тем временем молча стоял на трибуне. Сталин прохаживался перед дубовым возвышением. Туда и сюда. Сюда и туда. Говорил. Набивал трубку. Курил. Размышлял. Говорил. Молчал. А я слушал, вытирал и вытирал облитое то горячим, то холодным потом лицо. Платок не впитывал влагу — хоть воду отжимай. Рубашка мокрая, будто я окунулся в реку.

Сталин удалился за колонну, сел за столик, предназначенный только для него. И колонна, вероятно, воздвигнута специально, чтоб скрывала его до поры до времени?

Сидел в уединении не более минуты. Как только Катаев начал говорить, снова вышел из-за колонны и, прохаживаясь взад и вперед, продолжал свою безначальную и бесконечную речь. Катаев растерянно умолк. Переступая с ноги на ногу, стоял на трибуне, а Сталин говорил, говорил. О том, что писатели должны писать правду. Ходит туда-сюда и говорит. И еще, еще прошелся по моему адресу. В слова обо мне он вкладывал какую-то особую злость.

Я следил за ним глазами и ясно видел все, что произойдет со мной сегодня ночью. Угадывал, что буду видеть, о чем думать в последнюю секунду жизни, к кому обращаться, что говорить... «Люба, я ни в чем не виноват. Люба, объясни сыну, что я не совершил никакого преступления. Чист перед народом, перед Сталиным. Скажи, был честным человеком, коммунистом».

Сталин, обдавая меня запахом табака, шагал туда-сюда, что-то говорил обо мне, а я уже произнес предсмертную речь. Все, что происходило дальше, все, что еще говорил Сталин и другие, я уже видел и слышал оттуда, из камеры смертника.

Жизнь после смерти...

Сталин умолк, ушел за колонну. Катаев еще раз попытался закончить свое выступление. Но Сталин его снова прервал. Наконец выговорился и решил заметить Катаева, молча простоявшего на трибуне более часа. Посмотрел на него, кивнул и сказал:

— Извиняюсь. Продолжайте!

Катаев развел руками и сказал:

— А что же мне продолжать, товарищ Сталин? Вы за меня все сказали. — И сошел с трибуны.

Много лет спустя Катаев мне признался, что он не ожидал от себя такой отчаянной выходки. Когда вернулся на свое место, понял, что непочтительно ответил Сталину. Ему показалось, что Сталин очень внимательно посмотрел на него. Катаев долгое время боялся мести Сталина, ждал ареста.

В зале появились женщины, бесшумные, с сосредоточенно-отрешенными лицами, в белых халатах и мягких туфлях. Они разносили чай в подстаканниках и вазы с персиками.

Стакан чая и ваза появились и передо мной. Я давно изнывал от жажды. Обжигаясь, выпил чай. Но жажда все еще мучила. Протягиваю руку к персикам. Сталин говорит, а я ем персики, вытираю платком сок, текущий по рукам, и не думаю о том, как выгляжу, что обо мне подумают.

Спустя много лет один из писателей, присутствовавших на этом заседании, признался мне:

— Я видел бордовый влажный комок в ваших руках и с тех пор на всю жизнь возненавидел цветные платки.

Константин Андреевич Тренев через несколько дней после совещания сказал моей Любе, что слушал Жданова и Сталина и не понимал. В течение пяти часов меня всячески поносили, но не убедили Тренева, что я «человек в маске». Он считал, что судят меня не за сценарий «Закон жизни», не за роман «Государство — это я». Был уверен, что я навлек на себя гнев чем-то другим, чего нельзя обнародовать.

Около двенадцати ночи еще раз выступил Сталин. Его лицо почему-то стало мягче, добрее, голос почти беззлобный. И он не прохаживался, а взошел на трибуну, внимательно посмотрел в зал и сказал, как бы подводя итог всему, что говорил раньше:

— Может быть, я и ошибаюсь в отношении товарища Авдеенко. В душу человека не влезешь.

Впервые прозвучало это великое слово: «товарищ». Никто до Сталина и сам он за эти часы ни разу не назвал меня товарищем. А тут — назвал.

Отметил я и фразу: «В душу человека не влезешь». Меня потрясли и эти слова. Сталин, великий, гениальный вождь, говорит, что не умеет заглянуть в души людей?! Я часто, как, вероятно, и все, мечтал о встрече со Сталиным. Много раз мысленно разговаривал с ним. Я был убежден, что он понял бы меня сразу, как только увидел, как только услышал. Когда попиралась справедливость, я всегда думал о Сталине. Он для меня был олицетворением мудрости, чуткости, справедливости, честности. Когда я видел где-нибудь в стране, как именем Советской власти творится произвол, мои мысли всегда обращались к Сталину, главному защитнику справедливости. Я больше верил Сталину, чем самому себе. Как же он сейчас не увидел всего этого, не почувствовал, не понял? Почему так несправедлив с человеком, который, ни на мгновение не задумавшись, отдал бы за него жизнь? Как он, глядя на меня сегодня, не вспомнил февраль тридцать пятого года, когда я стоял на трибуне Большого Кремлевского дворца перед делегатами съезда Советов и рассказывал, за что я люблю Сталина, почему предан ему? Забыл?

Нет, не забыл. Не верит. Подозревает в двурушничестве, считает, что уже тогда, в тридцать пятом, я был «человеком в маске».

Сталин сошел с трибуны и, держа трубку на уровне груди, медленно направился за колонну, открыл дверь и скрылся. Жданов собрал папки, сунул их под мышку и, не глядя в зал, ничего не сказав, вышел. За ним последовал Андреев. Ушел и Маленков, так и не произнесший за пять часов ни единого слова.

Дубовое возвышение для президиума опустело, но писатели и работники ЦК еще некоторое время сидели в своих креслах, переглядываясь, очевидно, не зная, как им поступить. Наконец кто-то встал, и сразу же поднялись все остальные, один за другим начали покидать зал. Ушли Фадеев, Катаев, Погодин, Тренев, работники Комитета кинематографии. Удалились, не попрощавшись, режиссеры Столпер, Иванов.

Я остался один. Сижу и жду, когда подойдут ко мне люди Берии. Жду этого момента и мысленно твержу: «Люба, я ни в чем не виноват. Люба, передай Сашке, что я был честным человеком. Никогда не носил маски. Любил страну, Сталина, хотел выразить эту любовь в книгах. Прощай, Любонька! Прощай, сынок!»

Почему так тихо в зале? Почему ко мне никто не подходит? Наверное, на Лубянку не поведут, здесь будут расстреливать. Нет! Расстреливают не в таких залах, не при таком ярком свете.

Кто-то прикасается к моему локтю. Я не вздрагиваю, не пугаюсь. Уже ничего не боюсь, уже умер. Все сказал, что надо было сказать перед смертью.

Медленно разворачиваюсь вместе со странным вертящимся креслом, встаю. Передо мной человек в черном пиджаке, в черной косоворотке. Почему в пиджаке? Почему в косоворотке? Почему не в мундире? Почему без оружия? Почему добрые глаза? Этот добрый человек на кого-то похож. Я где-то видел его недавно. Он похож на Кузнецова, помощника Жданова. Да это он!

— Совещание закончилось, — говорит Кузнецов и уходит куда-то.

Я медленно, нетвердыми шагами бреду по залу, вдоль столов, вдоль пустых кресел. Направляюсь к людям, стоящим поодаль, у двери. Все в сапогах, в темных суконных галифе. Сейчас заломят мне руки за спину, наденут наручники и поведут т у д а. Но они почему-то освобождают проход.

— Сюда, сюда! — кто-то прикасается к моей спине, будто я не вижу, куда мне надо идти.

Я прошел дверь. Попал в коридор, длинный, ярко освещенный. Слева и справа стоят военные. Останавливаюсь и жду. Берите, я готов! Не берут. Смотрю на людей в малиновых фуражках и удивляюсь, что они не спешат.

— Дальше, дальше! — говорят позади меня.

Через несколько шагов опять останавливаюсь.

— Дальше, дальше!

Иду по коридору, внутри шеренги малиновых фуражек, и вижу справа, на пороге открытой комнаты Кузнецова.

— Сюда, пожалуйста! — говорит он.

Бог мой! Какое это великое слово «пожалуйста». Как я не чувствовал раньше его доброй силы? Миллион раз слышал и не понимал, сколько человеческой нежности оно таит.

Вошел в кабинет Кузнецова и, преисполненный благодарности к человеку, так неожиданно приласкавшему меня, разрыдался. Плакал навзрыд, содрогаясь. Но ни единой слезинки не выкатилось из моих глаз. Все слезы выплакал там, перед Сталиным. Пóтом они исторглись из меня.

— Почему Жданов не прочитал весь очерк? Почему оборвал?

Бормотание и бред невменяемого.

Кто-то, сидящий за столом, налил из графина воды, протянул мне стакан и сказал:

— Да разве в этом суть дела?

Да, он прав. Легко быть правым, когда тебя не оскорбили, не унизили, не оклеветали, не лишили ума, не осудили на смерть.

Человек, подавший мне стакан воды, был Поспелов, главный редактор «Правды». Я видел в его глазах сочувствие.

Сочувствовал мне и Кузнецов.

— Куда вы сейчас пойдете? — спросил он. — У вас есть в Москве квартира?

Вопрос удивил меня. Неужели не арестуют? Неужели эту ночь проведу дома?

— Есть! — сказал я.

— А там... там кто-нибудь ждет вас?

— Никто не ждет, — сказал я.

Кузнецов снял телефонную трубку, позвонил вниз, в подъезд, охране и приказал, чтобы задержали и прислали к нему режиссеров Столпера и Иванова.

Даже теперь, когда все было так ясно, я не понимал, что люди, считавшиеся моими друзьями, бросили меня. Нет, я не упрекаю их. Имели основания считать меня обреченным.

Столпер и Иванов вернулись. Кузнецов, не принимая в расчет мое присутствие, очевидно, уверенный в моей невменяемости, сказал:

— Товарищи, не оставляйте, пожалуйста, Авдеенко одного. Очень вас прошу...

Мы передвигались по огромному коридору почему-то очень мелкими, больничными шажками. Я чувствовал крепкие локти Столпера и Иванова. На лестничной площадке нас ждал лифт с распахнутыми дверцами.

Мы спустились вниз, прошли по вестибюлю мимо вооруженных людей. Никто не останавливал нас, не справился, кто мы и откуда.

Вышли на улицу, прошли несколько метров к откосу, заросшему густой травой. И тут я выскользнул из рук режиссеров, упал — ноги отказали.

Долго лежали на травянистом откосе, о чем-то говорили. Все слова забыл, а вот то, что сказал Столпер, очень хорошо помню. Он и сам, вероятно, не понимал, что говорил.

— Боря, — спросил он, — Жданов и Маленков смотрели или не смотрели на меня, когда я развязывал и снимал галстук?

Иванов не понял Столпера, попросил повторить. Столпер простодушно пояснил:

— Жданов и Маленков часто поглядывали в мою сторону. Мне показалось, что они смотрят на мой галстук, который привез Саша из Черновиц. Мне стало страшно, и вот я... Видели они, как я его развязывал?

Нет, я не рассердился на Столпера, который тревожился только о себе. Я был рад, что он рядом со мной.

Особенно хорошо мне было с Борей Ивановым. Он отдал мне свой сухой платок, говорил добрые слова, так нужные мне.

Мы лежали на откосе, на запретном месте, шагах в двадцати от главного подъезда Большого дома, и никто нас не тревожил.

Поднялись и пошли по темной безлюдной Москве. Миновали площадь Дзержинского, выбрались на улицу Кирова, дошли до почтамта.

Любонька еще ничего не знала. Она верила, что все будет хорошо. Она ждала моего телефонного звонка.

Мы вошли в пустынный почтамт, я попросил девушку, сидящую за стеклянной перегородкой, заказать телефонный разговор с Макеевкой. Она получила деньги, выписала квитанцию, но через полчаса сказала, что телефон не отвечает.

Не может быть. Должен ответить! Люба не спит, сидит у телефона и ждет моего звонка.

Я попросил еще раз позвонить. Позвонили и опять сказали, что телефон не отвечает. Я попросил позвонить в третий раз и теперь услышал более определенный ответ: «Телефон отключен».

Отключен! По лицам Иванова и Столпера я понял, что это значит.

Кабаков, Гвахария, Саркисов, Гугель, Тухачевский, Постышев, Чубарь, Мейерхольд, Бабель, Михаил Кольцов и много других людей явилось предо мной. Раньше я не понимал до конца, что с ними случилось. Сейчас я попал на их предсмертную дорогу. Пока жив. Но буду ли жив завтра? Пока на свободе. Но что будет через час, через пять минут, когда выйду из почтамта? Наверняка схватят, впихнут в черный ворон.

Каждый мой шаг контролируется невидимками. Все, что я ни сделаю, с кем ни встречусь, что ни скажу, — будет известно на Лубянке. И выше, в кабинете Сталина.

Жизнь после смерти.

Нужно воспользоваться и этими пятью минутами свободы. Подошел к окошку телеграфа, попросил бланк и написал телеграмму Любе. Писал и не был уверен, что дойдут до жены мои последние слова: «Немедленно вылетай Москву». Девушка получила деньги, выдала квитанцию.

Мы вышли на улицу. Я невольно посмотрел налево, направо, уверенный, что меня ждут дюжие молодцы с машиной. Никого не было ни у подъезда, ни на всей улице Кирова.

Боря Иванов вдруг сказал, что ужасно устал и пойдет домой. И ушел. А мы со Столпером отправились к его матери. Она жила неподалеку от почтамта, в каком-то переулке, выходящем на бульвар. Несмотря на позднюю ночь, там не спали.

Старая, больная женщина налила нам чай, села напротив и молча впилась в меня огромными глазищами. Сколько я ни буду жить, всегда буду помнить ее взгляд, полный сострадания, ее бледное отечное лицо, ее дрожащие руки, ее глубинный страх.

Мы долго чаевничали.

На рассвете я выложил на стол все деньги, которые у меня были, попросил передать Любе, когда она приедет в Москву. Мне они т а м не понадобятся. Я был уверен, что дома, на моей московской квартире, меня ждут. Ладно, пусть, не все ли равно, когда это случится — сейчас или двумя часами позже? От судьбы не уйдешь. Я решил идти домой. Обнял мать Столпера, поцеловал и ушел.

Вглядываясь в рассветную Москву, понимал, что последний раз вижу ее. Медленно прошел по бульвару, свернул на улицу Кирова, потом еще раз свернул и попал в Большой Комсомольский переулок.

Как только открылся мой дом, я поднял голову, разыскал свои окна. Темные. Странно. Почему малиновые фуражки сидят в темноте?

Медленно поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж, подхожу к двери с цифрой 6. Взялся за ручку. Не поддается. Зачем они заперлись? Хитрят?

Ладно, открою сам. Один поворот ключа, другой. Широко распахиваю дверь. Готов увидеть в прихожей людей. Но никого нет. Включаю свет, прохожу дальше. И тут никого. И никаких признаков, что был кто-то с обыском. Стою посреди комнаты, оглядываюсь, смотрю на шкаф, жду: вот-вот откроется, и оттуда выйдут. Нет, не открывается. Тогда заглядываю под кровать. Никого...

Падаю на диван, чувствую, что лицо, и голова, и спина покрыты холодным потом. А утверждал, что ничего не боюсь.

Очнулся от перезвона кремлевских курантов. Какой прекрасный звон! Неужели и завтра его услышу? Неужели буду жить, работать? Неужели жизнь не отвернулась от меня?

Из проруби — в кипяток. Из кипятка — в прорубь. Надежда изгоняла отчаяние. Смертная тоска душила надежду. Состояние обреченного, невменяемого, одной ногой стоящего на этом свете, другой — на том.

Меня для того оставили на воле, чтобы я покончил с собой и тем самым признал себя виновным. Не рассчитывайте — не покончу. Буду жить и работать, каждым днем жизни доказывать, что я не такой, каким примстился Сталину.

Но как Он мог обмануться?

Приснился Сталин. Стоял надо мной, долбал черной трубкой и говорил с сильным кавказским акцентом:

— Знаешь, почему я на тебя разгневался, почему прорабатываю? Пять лет назад, с трибуны Большого Кремлевского дворца ты поклялся, что когда у тебя родится сын, первое слово, которое он произнесет, будет не «мама», а «Сталин». Обманул народ. Не сдержал клятву. Не научил мальчика уму-разуму.

Проснувшись, вскакиваю с постели, сажусь за стол и начинаю писать... Но, кроме обращения «Дорогой товарищ Сталин», ничего не могу выжать из себя.

А написать надо. Нельзя отмалчиваться. Вчера не сумел, не успел сказать, как отношусь к его приговору. Он должен знать, что я не согласен с его ужасной оценкой. Не могу каяться в том, чего не совершал. Не могу согласиться, что я человек в маске. Не могу признать себя пособником врагов народа.

Сталин наверняка уже перестал думать обо мне, забыл вчерашнее совещание... Ладно, пусть так, а я напомню о себе.

Напишу, что он ошибся, введен в заблуждение доносителями. Расскажу, как строил Магнитку, как работал на горячих путях, как беспрестанно учился, как люблю советскую жизнь, как предан ей.

Кто-то стучит в дверь. Ну вот...

Входит человек в черном костюме. Не здоровается. Бесцеремонно садится на диван.

Я печально смотрю на стопку бумаги, на верхний лист, где всего три слова: «Дорогой товарищ Сталин!». Ничего не успел больше написать. А может быть, этого и достаточно? Может быть, сказал самое главное? Может быть, послать только одну строку с моей подписью?..

Человек прервал мои размышления:

— Я пришел к вам по поручению редколлегии «Правды».

А я думал, он оттуда, с Лубянки. Не понимаю, зачем он после того, что произошло на Старой площади, пришел. Что ему нужно? Еще ночью, когда слушал Сталина, я распрощался с «Правдой».

— Редколлегия «Правды» поручила мне отобрать у вас правдистскую карточку, — мрачно, официально сказал мой гость.

Я достал из ящика стола корреспондентский билет, молча вручил посланцу.

Работая в «Правде», ни разу не видел этого человека. Нет, он не журналист. Вероятно, работник отдела кадров или что-нибудь в этом роде.

Не попрощавшись, не сказав больше ни слова, кадровик ушел.

Почему он был так враждебен? Ведь первый раз видит. Не знает обо мне ничего. Не был свидетелем каких-либо плохих моих дел. Лично ему я не причинил никакого вреда. Ненавидит меня не своей ненавистью, а ненавистью статьи «Правды», ненавистью Сталина. До чего легко распространяются подозрительность, ненависть!

Двое суток сижу за столом, смотрю на бумагу и не нахожу слов, которые должен написать Сталину.

Около моей двери кто-то остановился. Слышен шелест. Почтальон! Заложил газеты за дверную ручку и пошел дальше по длинному коридору.

Открываю дверь, достаю газеты и, как в прежние дни, с нетерпением разворачиваю родную «Правду». Да, она осталась родной. Я не связываю то, что со мной случилось, с истинной сущностью «Правды». Газету делают обыкновенные люди, способные и на ошибку, и на подтасовку, и на дешевую, копеечную хитрость, и на добрые дела.

И вдруг на последней странице увидел крохотное сообщение:

«От редакции
(о писателе Авдеенко)

Ввиду того, что, как выяснилось в последнее время, ряд произведений писателя Авдеенко носят не вполне советский характер, а в некоторой части даже антисоветский характер, редакция «Правды» постановила исключить писателя Авдеенко из списка корреспондентов «Правды» и отобрать у него корреспондентскую карточку».

Что делают?! Где ум и сердце? Да и читали ли они мои книги, газетные очерки? Пусть самые строгие эксперты изучат, что я написал, им не найти ни одного антисоветского слова. Почему клевещут? Во имя чего?! Зачем? Может быть, хотят других воспитать на моем примере? Но разве ложь кого-нибудь может воспитать?..

Вполне возможно, что роман «Государство — это я», сценарии «Закон жизни» и «Миллиардерша» написаны плохо. Так и надо было сказать, и цель критики была бы достигнута. Но зачем приписывать автору отрицательные качества персонажей? Где логика? Где элементарная добросовестность? Где справедливость?

Если с эдакой меркой подойти к произведениям великих классиков, то можно написать, что Достоевский в лице Родиона Раскольникова описал самого себя — недоучившегося, завистливого студента, склонного к грабежу, убийству, тайной преступной жизни, ловко подводящего теоретическую базу под кровавое преступление. Да и «Войну и мир» можно раздраконить, зачислив в разряд произведений, восхваляющих красивую жизнь русского дворянства, отстаивавшего в войне с наполеоновским нашествием не Россию, не отчизну, а дворянский образ жизни, классовое, крепостническое право оставаться князем Болконским, графом Ростовым, графом Безуховым.

Нет, образ Огнерубова — это не образ самого автора фильма, как утверждают люди, выше которых нет в стране. Нет, автор не стоит на безнравственных позициях, он ненавидит огнерубовщину всеми силами души.

Огнерубовы произносят с трибун красивые речи. Льстят вышестоящим. Презирают нижестоящих. Правдами и неправдами, не гнушаясь ничем, пробивают себе путь к высокоответственным должностям. Притворяясь скромнягами, удалыми молодцами, этакими парнями-рубахами, соблазняют приглянувшихся девушек. Огнерубовы вводят в заблуждение и тех, кем руководят, и тех, кто ими руководит. Огнерубов представлялся мне страшным злом, и я считал себя обязанным указать на него людям.

Почему там, в Большом доме, я не сказал все это Сталину? Почему он не сумел или не захотел заглянуть в мою душу?..

Мысли мои, словно карусель, все время вертятся вокруг одной оси. Карусель, карусель, карусель!

Утопающий хватается за соломинку... Достаю из далекого ящика стола пухлую папку, в которую не заглядывал немало лет, перелистываю газетные и журнальные вырезки. Добрая сотня, если не больше, статей, рецензий, посвященных «Я люблю».

Как же мог автор «Я люблю», влюбленный в советскую жизнь и гордо говоривший об этом, проповедовать в сценарии «Закон жизни» худшие буржуазные взгляды? Товарищи Сталин и Жданов! Почему же вы ни единым словом не упомянули «Я люблю»? Ведь там моя истинная сущность.

Отлучение от корней, от красного знамени, от партии, от права любить Сталина и, наконец, от самой жизни...

Где же ты, Любонька? Почему тебя до сих пор нет в Москве? Дошли ли мои телеграммы?

Наконец-то — на следующий день — пришла ответная телеграмма. Люба сегодня утром вылетела. Теперь — двенадцать. Через час-полтора будет на Центральном аэродроме. Но я ее, увы, не могу встретить. Срочно вызвали в ЦК к Поликарпову.

С тяжелым чувством вхожу в ЦК. Партийный билет при мне, но я знаю, что скоро его отберут, выгонят из партии. Заметка в «Правде» не оставляет надежд. Вероятно, сюда вхожу в последний раз в своей жизни.

Больше часа торчал в приемной Поликарпова, пока он освободился. Но разговор был минутный, на ходу. Поликарпова куда-то вызвали, и, уже уходя, он сказал, что ему надо обязательно поговорить со мной. Ему и Фадееву. Я получил приглашение явиться в Союз писателей сегодня вечером.

Опять возникает надежда. Может быть, Сталин понял, что чрезмерно жесток со мной? Может быть, решил смягчить приговор или вовсе отменить? Только вряд ли.

Я почти бежал домой. Люба уже, наверное, ждет меня. Еще вчера я стонал, как Мармеладов: некуда пойти, не с кем поговорить, некому доверить свои страдания. Сегодня у меня будет такой человек. Люба все понимает, все чувствует. Я не шел к ней, а летел.

Открываю дверь. Люба стоит у окна, улыбается. Но лишь мгновение мы улыбались, потом молча бросились друг к другу и разрыдались горько, неутешно.

За все эти годы совместной жизни я не любил Любу так, не был ближе к ней, не чувствовал так ее преданности, как теперь. Испытание, выпавшее на ее долю, не унизило ее, не изуродовало, не обессилило. Она красива и сейчас, с опухшим, облитым слезами лицом. Вера и доброта в ее взгляде. В самую тяжкую минуту она оказалась рядом. Пока Люба с такой нежностью и преданностью смотрит на меня, не кончилась моя жизнь.

Люба в те дни была для меня и женой, и возлюбленной, и другом, и моей надеждой, и верой, и моей партией, и моей Советской властью. Все от меня отказались как от зачумленного, а для нее я был прежним, сильным и чистым. Если бы не она, я, вероятно, не выдержал бы.

И сейчас не могу до конца понять, как могла возникнуть эта сталинская машина в стране революционной и благородной идеологии. Человек, считавшийся одним из творцов этой идеологии, первым попирал ее. Мне понятен Гитлер, который открыто проповедовал расовое превосходство немцев, который во имя нацистской идеологии истреблял людей во всех странах Европы и целые народы превращал в рабов. Трудно, невозможно понять Сталина, произносившего речи о том, что человека надо бережно воспитывать и выращивать, как садовник выращивает облюбованную яблоню в своем саду, и в то же время бросавшего в тюрьмы и лагеря коммунистов, интеллигенцию, рабочих и крестьян, командиров Красной Армии. Разве такие действия можно называть ошибками, культом личности? Это преступление вселенского масштаба.

Выплакавшись, мы с Любой сели на диван и стали рассказывать друг другу, что произошло за эти дни. Я говорил скупо, только самое необходимое — каждое слово еще сочилось кровью. Больше говорила Люба.

— Беда не является в одиночку. Тяжело заболел Саша — воспаление легких. Да и бабушка прихворнула серьезно. Двое больных на моих руках. Врачи! Лекарства! Суетня... Но в голове единственная мысль: что тебе скажут в ЦК? Поймут ли, что ты не тот человек, каким тебя выставила «Правда». Позавчера во время завтрака — звонок в прихожей. Открываю дверь и вижу на лестничной площадке заместителя директора завода Быбочкина, начальника районной милиции и еще кого-то третьего. Они как-то странно смотрят. Очень странно. Явно смущены. Я не понимаю, в чем дело, приглашаю войти. Говорю: если вы к мужу, то его нет дома, он в Москве. Они молча входят, топчутся, оглядываются, потом, собравшись с духом, заявляют: «Мы знаем, что его нет дома. Но мы и без него все сделаем». Быбочкин протягивает мне бумажку. Читаю: «Предлагаю немедленно, к 10 часам утра, освободить квартиру и дачу». Выселители пришли позже назначенного срока — в половине одиннадцатого.

— Чья была подпись? — спросил я.

— Прокурора города. Бумажка написана от руки, к тому же простым карандашом. Я говорю: это не санкция прокурора, а филькина грамота. Начальник районной милиции сочувственно отвечает: «Если нам не верите, позвоните прокурору. Я сам не поверил, когда он мне сказал, но он настоял, что я должен поступить именно так». Быбочкин добавил от себя: «Мы к вашему выселению не имеем никакого отношения, все это делается по указанию свыше».

— И он прав, — сказал я. — Наверное, позвонили из секретариата Сталина и дали команду. Давай, рассказывай дальше.

— Поскольку я знала, что должно было быть совещание в ЦК, я поняла, что случилось что-то страшное, иначе не пришли бы тут же нас выселять. Вижу в окно — у нашего подъезда появились три грузовика. Потом распахивается дверь, входят рабочие и милиционеры... Бабушка плачет, Сашка плачет, жмется к моим ногам. А у меня — ни слезинки. Нельзя мне плакать, я должна действовать, должна быть сильной.

И тут появляется еще один неожиданный человек. Но не из вражеского лагеря. Почтальон! Телеграмма! От тебя! Свеженькая! Я прочла и сказала Быбочкину: вы уверены, что мой муж арестован, а вот телеграмма от него, он на воле, жив и здоров. И не совершил преступления. На каком же основании вы нас выселяете? Больного ребенка, больную бабушку?! Но даже если бы мы были самыми заядлыми преступниками, вы и тогда должны были бы дать нам двадцать четыре часа на выселение.

Слушаю Любу, и руки сами собой сжимаются в кулаки. Говорю мрачно — и верю во все, что говорю:

— Хорошо, что меня не было в Макеевке. Если бы я был дома, я бы вышвырнул всех милиционеров, забаррикадировался в своем кабинете и отстреливался до последнего патрона... Пистолет они не забрали? Обыск был?

— Нет, кажется, не было. Видела я тогда и не видела, что делается. Рассудок не теряла, но временами, наверное, на меня находило затмение.

— Начальник милиции не потребовал от тебя сдачи оружия?

— Нет, об оружии он ничего не говорил. Я о нем начисто забыла.

— Значит, пистолет при выселении уцелел?

— Не знаю. Не помню. Наверное, я машинально положила его в чемодан — и забыла.

— Что же дальше было? Рассказывай!

— Что?.. Начальник милиции не очень торопил милиционеров и грузчиков. То и дело сочувственно поглядывал на меня. И даже вслух посочувствовал: «Я выполняю приказ своего начальства, но не понимаю, чем он вызван. Если все так, как вы утверждаете, вам надо звонить прокурору, потребовать прекратить выселение. — Он подвел меня к телефону: — Звоните!»

Я позвонила прокурору и говорю ему, что получила его незаконное предписание. Что он не имеет права нас выселять. Да к тому же с больным ребенком и больной бабушкой. Он мне на это ответил: «Делайте так, как я велел. Выселяйтесь!» На прощание я сказала ему: «Вы — фашист».

— Правильно сказала. Молодец! Ну и что было дальше?

— Начальник милиции посоветовал мне обратиться к областному прокурору, товарищу Руденко. И уже не по телефону, а лично. И сейчас же. «Поезжайте в Сталино. А насчет вещей не беспокойтесь, все будет в порядке, я присмотрю. И ваша домработница здесь. Шкафы и диваны определим на склад хозяйственного двора, носильные вещи, книги и посуду отправим на новое место жительства». Не до шкафов и диванов мне было. Побежала в гараж, завела машину, подъехала к дому. Бегом, бегом, без передышки — на пятый этаж. Взяла в охапку безропотного Сашку, бросилась вниз. Бегом, бегом — в машину. Примчалась в Сталино. Заскочила прежде всего к родителям. Оставила им Сашку, рассказала, что происходит в данную минуту в Макеевке, и бросилась к областному прокурору. Не так-то просто было попасть к нему. В приемной громадная очередь — человек тридцать, а то и сорок. На мое счастье, я встрети-

ла в коридоре знакомого работника прокуратуры, недавно женившегося на девчонке с нашего двора. Он спрашивает с удивлением: «А вас что занесло к нам?» Говорю: «Беда! Выселяют из квартиры. Помогите попасть к Руденко». Не испугался. Помог. Областной прокурор выслушал меня с недоверием: «Не может этого быть!» А я ему говорю: «Выселение в самом разгаре. Я только что из Макеевки». Он подумал и сказал: «Выйдите на минутку. Я вас потом позову». Минут через пять прокурор вызвал меня. Лицо отчужденное, казенное, слова ледяные: «Ну что ж, с вами еще хорошо поступили. Не на улицу выбросили, а предоставили комнату». Я поехала к родителям, попросила маму вызвать для Саши врача и тут же вместе с папой поехала в Макеевку. Было два-три часа дня. Около нашего дома толпа — смотрят, как нас выселяют с милицией.

— Возмущались люди? Сочувствовали?

— Чем возмущаться? Кому сочувствовать? Я была для толпы непонятным существом и, может быть, враждебным. Сидела за рулем автомобиля. Вышла, хлопнула дверцей. Белое пальто. Белое платье в черный горошек. Белые туфли. Духи!

Неуместно и несвоевременно было усмехаться, но я усмехнулся.

— Не зря Сталин назвал меня барахольщиком. Надо было тебе не наряжаться, а щеголять в лохмотьях.

Люба тоже усмехнулась и продолжала рассказывать:

— Я смотрела на толпу и не испытывала никакого стыда, что нас с таким позором выселяют. Абсолютная уверенность в своей невиновности. Поднялись наверх. В доме полный кавардак. Галя говорит: «Грузчики и милиционеры воруют книги, бумагу, ручки». Ничего, пусть! Лес рубят — щепки летят... Огромное зеркало разбито на кусочки. Правильно! Так положено. Необходимая примета для дома, терпящего бедствие. Я спросила, где наша комната? Мне сказали, что это совсем в другом районе Макеевки, на улице Бассейной. Мы поехали туда, на Бассейную, там уже было свалено кое-какое барахло и книги. Мрачное помещение — не то бывший склад, не то кладовая, не то овощехранилище. Смрад и сырость. Зарешеченное окно на уровне земли, чуть-чуть выше. Думаю, такую комнату подобрали твои землячки, чтобы еще больше тебя унизить и оскорбить.

— Сталин так меня растоптал, что его уже никто не переплюнет. Последняя инстанция.

Люба внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Он сам себя переплюнет. Поживешь — увидишь...

Т а к о й Любоньки до сегодняшнего дня я не знал. Она была красивой, милой, любящей женой, хорошей матерью — и только. А сейчас...

Слушаю ее сердцем, всем существом. Она рассказывает, как вернулась из Макеевки к родителям в Сталино вместе с отцом и Галей, нашей юной домработницей.

Сталино! Сталино! Сталино! В моем сознании, в моей повседневной жизни рядом, бок о бок, стоят человек и город, носящий его имя. Когда-то Сталино был Юзовкой, по имени англичанина Юза, дореволюционного владельца металлургического завода. В 1929 году, в день пятидесятилетия Сталина, Юзовка переименована в Сталино. Тяжелая жизнь предстоит мне в городе Сталина. Его хозяева, то есть руководители, выполняя волю Сталина, не пощадят меня.

— Часа четыре я была за рулем, — рассказывала Люба. — Да еще в крайне возбужденном состоянии. Папа с тревогой на меня поглядывал, то и дело предупреждал: «Тише, доченька, тише, ради бога!» Какое там тише! Откуда ему взяться? Обгоняю машину за машиной. Шоферы то грозят кулаками, то смеются. Не заметила, как домчались до Сталино. Знакомые, как нарочно, встречаются то на одной, то на другой улице. Не отворачиваются, к моему удивлению. Пристально в меня всматриваются. Любопытство во взглядах: какая я стала после того, что случилось. И ни единой искорки сочувствия. Ладно, обойдемся. На квартире родителей меня ждала паническая телеграмма от тебя. «Где Люба? Почему не вылетает Москву? Что-нибудь случилось?» И тут, в Сталино, ты нашел меня! Весточка от тебя обрадовала. Жив, здоров, на свободе! Это — самое главное. Вечером пришел врач, лечивший меня еще ребенком. Осмотрел и выслушал Сашку, сказал, что у него не воспаление легких, а коклюш, и разрешил мне ехать в Москву — он уже знал, в какой переплет ты попал, и всей душой нам сочувствовал. В городской кассе Аэрофлота купила билет на самолет, отлетающий в Москву утром. Чуть свет была на аэродроме. Дул сильный ветер, и вылет задерживался. И ветер оказался моим противником. Весь день сидела и ждала. Терпеливо ждала: вот-вот разрешат вылет. Вечером вернулась к родителям, а сегодня на рассвете опять поехала на аэродром. На этот раз погода смилостивилась надо мной, я улетела. В Москве среди встречающих тебя не оказалось. И тут я дрогнула, по-настоящему испугалась. Решила, что тебя не только выселили из квартиры, но и арестовали. Будь ты на свободе, ты бы встретил меня. И я решила оставить чемодан в камере хранения и налегке поехала на Большой Комсомольский. Минут через двадцать была на месте. Ни жива ни мертва подошла к лифтерше и очень тихо спросила, не оставил ли ты для меня ключ. Была уверена, что услышу что-нибудь ужасное. Лифтерша ответила: «Да, оставил. И просил передать вам, что скоро будет дома». Слава богу! Я поднялась наверх, открыла дверь. На столе увидела твою записку. Вот и все... Зачем тебя вызывали в ЦК?

— Поликарпов и Фадеев ждут вечером в Союзе писателей, хотят о чем-то поговорить.

Пришел мой черед рассказать подробно о том, что было со мной. Искренне хотел быть обстоятельным — не получилось. Горький комок в горле мешал говорить, и голос срывался. Кое-как, с пятого на десятое, изложил высказывания Сталина. И этого для Любы оказалось более чем достаточно. Гневно закричала:

— Но это же неправда!

— В устах Сталина и неправда — правда.

Сказал — и самому стало страшно.

Люба понимает мое состояние. И не задает вопросов. Вдруг вспоминает, что голодна. Спрашивает, есть ли у меня что-нибудь съестное. Есть, милая, есть!

Вскипятил электрический чайник, заварил чай, разлил по чашкам и говорю:

— Как нам жить? Где? Что делать?

— Будем жить, как всегда жили. В трудах. Я — продолжать учиться в Литинституте, если не выгонят, а ты — писать новую книгу о Донбассе.

— Если я и напишу книгу, то ее никто не напечатает.

— Напечатают в конце концов, если хорошо напишешь.

Я обвел взглядом довольно уютную, большую комнату, вздохнул и сказал:

— Боюсь, что нас и отсюда прогонят. Негде будет писать. Если рука Сталина дотянулась до Донбасса, то сюда и подавно достанет.

— Нет! — закричала Люба. — Всякая жестокость имеет свои пределы!

— То, что нам с тобой кажется жестокостью, Сталину наверняка представляется законностью и справедливостью.

Сам не знаю, как сорвались с языка такие слова. Однако теперь я уже не испугался того, что было сказано. Не пускаешь правду в дверь или окно — она все равно найдет щель и пробьет себе дорогу в твой дом, в твою душу.

Не мог я безропотно принять вынесенный мне приговор. Нет! Еще и еще раз нет! Я должен, несмотря ни на что, чувствовать себя советским человеком. Это — мое право, полученное в октябре семнадцатого. И никому не дано лишать меня его. Буду искать и находить в самом себе нравственную опору. Не падать духом. Если меня и посадят, то и в тюрьме останусь самим собой, с достоинством буду разговаривать со следователями. Если вынесут смертный приговор, не упаду на колени, не стану выпрашивать помилования.

Вертится и вертится карусель. Езда по наезженному кругу.

Я любил Советскую власть, писал книги для советских людей — и все-таки «антисоветский писатель», «человек в маске». Не хочешь верить? Но ведь это сам Сталин сказал. И не имеешь права не согласиться с отцом народов, мудрейшим из мудрых. Сталин, учит история партии, никогда не ошибался, всегда прав. На всех крутых поворотах: и

в дни Октября, и в годы гражданской войны, и в годы борьбы с изменниками и предателями, с разного рода уклонистами.

Вертится, вертится карусель.

Пишу письмо Сталину.

Вождь подавляет, диктует свою волю. Собираю и собираю улики против себя.

Вдоль и поперек исколесил за последние годы Донбасс. Бывал на рабочих местах знаменитых работяг. Почему же люди коммунистического завтра во всем своем величии и простоте не присутствуют на страницах моих книг?

На неудачу обречен даже самый большой талант, если дело народа не стало его плотью и кровью. Как жил ты, писатель, в последнее время и как жили герои твоей несостоявшейся книги? Ты получал хороший гонорар, имел прекрасную квартиру, дачу, машину, ел и пил, что душе угодно. А они? Ты знал, что горновой доменной печи, сталевар и прокатчик получают маловато, живут в коммунальных, без удобств квартирах, едят с оглядкой и не имеют не только собственной машины, но часто и велосипеда, — мог ли ты понять, прочувствовать душу рабочих людей?

Еще и еще улики. Гора улик. Я беспощадно распинал себя. Не оправдал доверия, товарищ Сталин. Оторвался от действительной жизни народа.

Сталин бил меня по одной щеке, а я подставлял другую...

Карусель, карусель...

Но в письме к Сталину я не признал, что я «человек в маске», «вражеское охвостье», «антисоветский писатель» и пр., и пр. Обошел это молчанием.

Кстати, насчет молчания. Сталин говорил и о нем тогда:

— Комитет кинематографии, студия Мосфильм, кинорежиссеры, поставившие фильм, и газеты «Кино», «Известия» уже признали статью «Правды» правильной, покаялись, один Авдеенко гордо отмалчивается. Почему отмалчивается? — вопрошал Сталин и сам себе отвечал: — Говорят, молчание — знак согласия. Нет, не так. Молчание Авдеенко — знак несогласия. — И, уже обращаясь непосредственно ко мне, продолжал: — Почему вы, коммунист, писатель, прочитав статью в «Правде», которая выдвинула против вас тягчайшие политические обвинения, не всполошились, не задумались, не пришли в тот же день в Центральный Комитет, не добивались приема у секретарей? Почему не пришли ко мне?

Прийти к нему?.. Да мыслимое ли это дело?!

Как только стемнело, мы с Любой направились на улицу Воровского, 52, в Союз писателей. Шли и гадали: что еще обрушат на нас Фадеев с Поликарповым?

Явились раньше назначенного времени. Сидели в скверике на скамейке и ждали. Фадеев и Поликарпов пришли через час или полтора. Я оставил Любу в сквере под деревьями, листья которых еще не пожелтели. Теплое лето было в тот год. Не то что люди.

Я поднялся наверх. Фадеев и Поликарпов приняли меня в маленьком кабинете, который находился напротив большого, горьковского, то есть того, где когда-то работал Горький, будучи главой Союза писателей.

Фадеев погасил верхний свет, включил настольную лампу, расположился в кресле, в центре стола. Поликарпов сидел сбоку, поставив локти на кипу папок. Я сел на стул напротив Фадеева.

Фадеев, по-видимому, куда-то спешил, не собирался со мной долго разговаривать. Я видел это по нетерпеливому выражению его лица.

— Ну, рассказывай!

— Что именно я должен рассказывать?

Фадеев удивился или сделал вид, что увидился:

— Как, ты не знаешь, о чем должен говорить? Неужели не понял ничего? Не дошло?

— Дошло! — сказал я. — Писатель Фадеев превратился в следователя.

У Фадеева побледнели губы, а глаза стали темно-синими.

— Скажи, почему ты написал «Закон жизни», «Государство — это я», «Миллиардершу»? Кто на тебя влиял?

Что ж, вопрос не так уж и плох. Пожалуй, даже хорош.

Кто влиял?.. Перед моим мысленным взором пронеслась, пролетела вся моя жизнь с того дня, как помню себя. Один за другим возникают люди, влиявшие на меня. Их много, и все хорошие. Отец, мать, Макаренко, Довженко, Гугель, Ломинадзе, Люба. Влияли на меня Октябрьская революция, Ленин, Дзержинский, Горький, Серго, Чапаев, Толстой, Чехов, Достоевский, Есенин, Маяковский. Магнитка, легендарная Магнитка повлияла больше, чем что-либо другое. О ее влиянии я и написал книгу «Я люблю».

Собираюсь сказать это и ничего не говорю. Как бы искренне и убедительно я ни говорил, все равно ничего не изменится. Не поверят ни одному слову. Им нужно, чтобы я клеветал на себя, на друзей, на моих учителей.

Кто влиял?.. И ты, Саша Фадеев, когда-то повлиял на меня своим «Разгромом», жизнерадостным смехом, юным, красивым лицом, каким оно было в начале тридцатых годов. Ты влиял на меня и добрыми словами, и дружеским локтем, когда мы смотрели с тобой пьесу Михаила Светлова «Глубокая провинция». Ты влиял на меня, когда мы с тобой сидели в грузинском подвальчике на Тверской, напротив телеграфа, и пили доброе вино. Почему же теперь ты стал жестоким, бесчеловечным? Наивно спрашивать? Конечно! Ты поверил, что я «человек в маске», «антисоветский писатель»!

Фадеев напряженно смотрит на меня, всем видом показывает, что у меня осталась последняя возможность покаяться и тем самым хоть немного облегчить свою участь.

Ну что ж, если это действительно последняя возможность произнести человеческие слова, то я в полной мере воспользуюсь ею.

— Вы только для этого и позвали меня сюда, чтобы спросить, какие враждебные силы влияли на меня?

— А хотя бы и для этого, — сердито сказал Фадеев.

— Ну, если так, тогда с этим вопросом пусть ко мне обращаются в НКВД.

Фадеев побагровел.

— А что, разве НКВД не советская организация?

— Почему же не советская? Очень даже советская. Но всякому свое. Следователям НКВД привычнее, чем вам, товарищ Фадеев, задавать подобные вопросы.

И Фадеев, и Поликарпов мгновенно утратили ко мне всякий интерес. Заторопились уходить. Но я все-таки успел кое-что сказать, прежде чем они меня выдворили. Сказал, что не считаю себя конченым человеком и не собираюсь отправляться на тот свет. Люблю жизнь, как никогда. Хочу жить, как никогда. Буду бороться за жизнь.

— Подумаешь! — издевательски засмеялся Фадеев. — Червяк тоже любит жизнь, судорожно хватается за нее. Видели мы таких борцов, сверхчеловеков.

Да, так, именно так и сказал писатель Фадеев. «Прекрасный и ужасный», по словам Ольги Берггольц. Я ничего не могу ни изменить, ни смягчить, хотя знаю, как он прожил последний день своей жизни.

Больше не о чем говорить. Я покинул кабинет. Вслед за мной вышли Фадеев и Поликарпов. В пустынной приемной Союза писателей мы обменялись еще несколькими словами. Я вдруг вспомнил, что не имею права носить билет члена Союза писателей. Достал из кармана маленькую книжечку в кожаной темно-коричневой обложке, раскрыл, посмотрел на подпись Алексея Максимовича Горького, спросил Фадеева:

— Это вы отберете у меня?

Фадеев молчал. Молчал и Поликарпов. Теперь думаю, если бы я положил билет в карман и ушел, они бы не остановили меня. Но мысленно я уже распрощался с членским билетом, и рука моя автоматически протянулась к Фадееву.

— Берите, — сказал я. — Верю, что не надолго расстаюсь с этой книжечкой. Через год, два вернусь в Союз.

— Конечно, конечно,— великодушно промолвил Фадеев.— Все в твоих руках. Работай.

«Работай!» Спасибо за единое доброе слово. Оно, наверное, нечаянно вырвалось у Фадеева. Не имел инструкций для разговора со мной?

15 сентября в «Литературной газете» появилась передовая, написанная, как мне известно, Фадеевым. «Решением президиума союза советских писателей исключен из союза, как человек, проводящий в своих произведениях антисоветские взгляды, писатель Авдеенко...»

«Прекрасный и ужасный».

И передовую «Литературки», и невинно оклеветанных, безвременно погибших писателей, и бешеную кампанию против так называемых «космополитов», и многое-многое другое вспомнил я в ту минуту, когда мой сын, друживший с сыном Фадеева, однажды в воскресный полдень ворвался в дом с криком: «Только что застрелился Фадеев!»

Прекрасный!..

Многое искупил этот выстрел из старого, времен гражданской войны, нагана.

Я был на кладбище, когда хоронили Фадеева. Прощаясь с ним, бросал землю в его могилу и не вспоминал зла.

Потом неподалеку от того места, где похоронили Фадеева, на скамейке у какого-то памятника я увидел Юрия Либединского, его жену и Валерию Герасимову, бывшую жену Фадеева. Они подозвали меня и не скоро отпустили. Либединский часа два рассказывал о субботней встрече с Фадеевым накануне его гибели.

«Трудно жить,— сказал Фадеев своему старому другу,— после того, что́ мы узнали о Сталине, после того, как поняли, что́ вынуждены были делать по его указаниям. Совесть мучает. Трудно жить, Юра, с окровавленными руками».

На партийном собрании в марте 1956 года наш секретарь, говоря о произволе, царившем при культе личности, и о погибших писателях, упомянул и Фадеева. «Жертвой культа личности стал и наш Фадеев». Я согласен с ним и не согласен. Жертва и не жертва. Человек, изменяющий своей сущности, перестающий видеть в другом человека, не способный верить, сочувствовать, жалеть, прежде всего убивает человека в себе.

Вернемся в роковой сороковой.

В Москве все, кому я был здесь нужен, сделали свое дело: разоблачили, исключили, заклеймили, лишили. Теперь очередь за Донбассом, расправа должна быть завершена там. Ведь партийный билет и депутатский мандат горсовета Макеевки еще не отобраны у меня.

Через день или два после разговора с Фадеевым мы с Любой отправились на аэродром, купили билеты и вылетели в Донбасс. Но кто-то сделал так, что мы не попали на один самолет. То, что мы летим разными рейсами, мы обнаружили в самый последний момент и ничего не могли изменить. Первой вылетела Люба крымским рейсом. Она долго ждала меня в Харькове, там мы вместе сели в самолет, улетающий в Донбасс.

Приземлились в Сталино. Направляясь к выходу из самолета, я наклонился к Любе и шепотом говорю:

— У трапа нас встретят...

— Кто?— удивляется Люба.— Мы телеграммы не посылали.

— Ее послали другие.

Простодушная, по-детски чистая ее душа все еще не примирилась с жестокой действительностью, живет по старым меркам: по правде, совести, справедливости— и ждет такого же отношения к себе. Нет, милая. Мы с тобой изгои, достойные только презрения, наказания.

Мысли мои, должно быть, отразились на лице. Люба поняла.

— Ты думаешь?

— Донецкая земля... наше с тобой место жительства. Самое подходящее место для такого дела. Давай попрощаемся...

Ослепительное, не по-осеннему жаркое солнце Донбасса встретило нас. У трапа стояли только работники Аэрофлота. Те же, кто должен был взять меня, люди Берии, наверное, там, у выхода из аэропорта. Ждут около машины. Распахнут двери эмки, любезно скажут: садитесь!

И там, за аэродромом, никто вроде бы не обращал на нас внимания. Но я чувствовал на себе чей-то стерегущий взгляд. Кто-то не спускал с меня глаз, кто-то ждал, что сделаю я здесь, на родной донецкой земле. Ну что ж, пусть смотрят.

— На этот раз пронесло! Видимо, есть указание пока не трогать. Заберут в другом, более подходящем месте. У них свои расчеты.

Добираемся до конечной трамвайной остановки, и минут через сорок мы в городе Сталино, на Восьмой линии, у родителей Любы. К моему удивлению, в тесном дворике вижу «бьюик». Мой. Пока что мой. Могу ехать, куда хочу, а завтра... Завтра машина может не понадобиться. Прямо сейчас надо ехать в Макеевку: повидать маму. Несчастные мамы! Страдают за своих сыновей в любом случае— когда те виноваты и не виноваты.

Ехал на роскошной машине по улицам Сталино и Макеевки у всех на виду и не отводил взгляда от тех, кто с удивлением на нас заглядывался и немо возмущался: какой нахал! После всего, что натворил, смеет раскатывать в заграничном лимузине.

Маму нашел на окраине Макеевки в сером трехэтажном, тюремного вида доме. Стены комнаты изъедены сыростью, облупились. Как только я вошел в это бывшее овощехранилище, а может быть, арестантское крыло отделения милиции, я решил забрать отсюда мать: ни одной минуты она не должна быть в этом вонючем крысином подвале.

Но тут между мной и матерью оказался какой-то милицейский чин, не то капитан, не то майор. Значит, сюда явились по мою душу!..

Но милицейский чин не спешил подвергнуть меня аресту. Он еще больше, чем я, смущен. Не ждал моего появления. Полагал, что я упрятан за решетку в Москве. Оказывается, он допрашивал мою маму, что-то строчил в протоколе.

Гнев и ярость охватили меня. Рванулся к милиционеру, закричал:

— Как вы смеете мучить больную, старую женщину, мою мать?! Не имеете права! Меня допрашивайте, если считаете виноватым!

Милиционер бормотал:

— Я не допрашиваю, я знакомлюсь с новым жильцом.

— Не притворяйтесь!— закричал я с новой силой.— Убирайтесь вон отсюда!

Милиционер собрал свои бумаги и испарился.

Я посадил маму в машину, увез ее к брату, там и оставил.

Многое я постиг после этого случая. Понял, как должен разговаривать с преследователями. Мои противники должны чувствовать, что творят неправое, нечистое дело.

Мы с Любой, Сашкой и его нянькой Галей поселились у Любиных родителей. Вшестером в двух крошечных комнатушках. Просто негде было повернуться.

Едва успел войти в квартирку Любиного детства, как снова увидел милиционера. Не того, макеевского, другого, сталинского. «Моя милиция меня бережет...».

Этот, сталинский, милиционер, в отличие от макеевского, был вежлив. Снизошел даже до того, что назвал товарищем, когда спрашивал, тот ли я, кто ему нужен. Да, тот самый. В чем дело?

Представитель власти вручил мне повестку: немедленно явиться в областное управление милиции к начальнику уголовного розыска. Еще один вид унижения. Не просто милиция желает со мной разговаривать— обязан предстать перед деятелем уголовного розыска, авось испужаюсь, наложу в штаны, расколюсь повинно. Знаю, зачем меня туда вызывают. Речь, конечно, пойдет о пистолете, который когда-то был выдан мне милицией.

Этот пистолет мне однажды пригодился. Года три назад я жил километрах в восьми от Макеевки на даче. В одну из зимних ночей Люба, кормившая грудью ребенка при свете ночника, услышала, как кто-то настойчиво стучит в дверь. Не стучит, а громыхает. Перепуганная, она прибежала в мою комнату, разбудила. Я накинул халат, положил в карман пистолет и выбежал в прихожую, к двери, в которую только что стучали. Стук здесь уже прекратился. Теперь стучали с другой стороны дома, там, где веранда. Собственно, не стучали, а разбивали стеклянную дверь. Я побежал туда и начал стрелять. Выстрелы подействовали отрезвляюще. Наступила тишина. Потом послышался чей-то стон. Я подошел к разбитой двери и, отодвинув штору, посмотрел на террасу. Человек в черном лежал на заснеженном полу и стонал, по-видимому, тяжело раненный. Я бросился к телефону. Через час сквозь снега пробилась милиция, агенты уголовного розыска с розыскной собакой. После краткого разговора со мной милиция увезла громилу. На другой день выяснилось, что раненый мною человек — отпетый уголовник, намеревался ограбить нас, уверенный, что в доме одни женщины.

Направляясь в областной уголовный розыск, я подумал о том, что очень легко обвинить меня, пусть задним числом. Сознаюсь, я редко вспоминал раненого. Не задумывался, кто он и что. Был уверен, что мы квиты. Теперь только понял, что виноват перед ним, как и он передо мной. Все люди в ответе друг за друга. И Сталин не освобожден от ответственности и за весь наш народ, и за каждого отдельного человека.

Начальник уголовного розыска хорошо знал меня. Мы встречались с ним на партактивах, в обкоме. Но сейчас встретились, как незнакомые, чуждые друг другу. Глядя в какую-то бумагу, он строго официально сказал, что у меня имеется пистолет системы браунинг за номером таким-то, с таким-то количеством патронов, выданный в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа.

— Да, есть, — ответил я.

— Вы лишаетесь права иметь оружие и обязаны немедленно сдать его.

Я достал из кармана пистолет, запасную обойму, милицейское разрешение на право носить оружие, положил на стол и спросил:

— Больше нет вопросов?

— Нет, — ответил начальник уголовного розыска.

Мне показалось, что он сказал это через силу, с великим сожалением. Но он не посмел ни о чем спросить.

Из состава депутатов горсовета меня вывели таким образом: опубликовали в газете «Макеевский рабочий», что я лишен доверия избирателей, — и все. За избирателей «проголосовали» власть имущие.

Из партии исключали в райкоме, минуя первичную организацию, где я состоял на учете. Нарушается устав? Подумаешь! В отношении антисоветского элемента можно действовать без оглядки на устав, Конституцию, советские законы.

Заседание в райкоме было многолюдным. Члены бюро и почти все собравшиеся знали меня не один год и считали своим человеком. Теперь откровенно враждебны, угрюмо, с презрением смотрят на меня.

Почему легко поверили тому, что напечатали «Правда», «Литературная газета»? Встречались со мной каждый день, знали, как и чем я живу и дышу, а теперь воспринимают меня как человека в маске.

А разве я не верил всему, что печатают газеты?

Далеко отсюда, от Донбасса, Кремль, Сталин. Далеко и в то же время близко. В углу, на высокой тумбе — бронзовый бюст Сталина. Он наделен энергией, слухом, волей, властью. Нельзя в его присутствии быть не жестоким, не презирать, не ненавидеть, сомневаться, размышлять, быть самостоятельным. Нельзя! Иначе поставишь себя вне рядов партии, вне рядов советских людей.

Заседание началось с тягчайшего молчания. Члены бюро воинственно настроены, но все-таки чувствовали себя неловко. Картину «Закон жизни» не видели, сценарий «Миллиардерша» и роман «Государство — это я» не читали. Читали только обвинения в газетах.

Секретарь райкома, докладывая о моем персональном деле, пытался дорисовать мой портрет, который был набросан в газетных статьях небрежными, грубыми мазками. Но у него ничего не вышло, не было под рукой местных макеевских красок — фактов, подкрепляющих обвинения.

Я вижу, как он мучается, и спешу ему на помощь. Ни в чем решительно не оправдываюсь. Во всем, что случилось, обвиняю только себя. Виноват, что не хватило таланта и ума написать действительно хорошие киносценарии. Виноват в том, что после критической статьи в «Правде» не пошел в ЦК и не заявил, что признаю критику справедливой и правильной. Виноват, что не оправдал ожиданий читателей, возлагавших на меня надежды после выхода первой книги. Назвал и другие грехи, но решительно отверг обвинение, что я антисоветский писатель, и прочее такое.

Когда я умолк, на меня набросились со всех сторон, используя мои же слова, толкуя их превратно, чудовищно преувеличивая. Ожесточались по мере того, как говорили. Вдохновлялись собственным гневом. Решение об исключении, конечно же, было принято единогласно.

Бюро горкома партии должно утвердить или отменить решение района. И на заседании в горкоме я опять вынужден был выступить в роли главного обвинителя самого себя. Конечно же, горком утвердил решение об исключении меня из партии.

Это заседание памятно особенно. Рассказывая членам бюро горкома о своей встрече со Сталиным, я вдруг почувствовал, что говорю об этом подозрительно охотно, чуть ли не с гордостью, что мне выпала такая честь — быть объектом гнева самого Сталина. Вот когда мне стало страшно, вот когда я почувствовал себя на дне пропасти.

Я скомкал свое выступление и умолк.

Иду по главной улице, и мне кажется, люди, глядя мне вслед, возбужденно толкают друг друга, говорят обо мне. Умом я понимаю, что я отвержен, но душа не хочет мириться.

Я не хочу, я не должен умирать с клеймом, но и жить с ним не могу. Как же быть? Где выход? Да и есть ли он? Был... До того, как сдал пистолет. Кусочек свинца разрубил бы все узлы.

Никто не в силах заставить меня признать, что я не должен писать, не имею права. Сегодня мои книги изъяты из библиотек, но уверен, пройдет время, и они вернутся на свое место. Я хочу быть полезен стране, народу как писатель.

С такими мыслями я приехал домой, посадил Любу в машину, и мы начали колесить по окрестностям города Сталино.

Колесим по окраинам не праздно. Ищем шахту, где мне предстоит жить и добывать уголь. Бывший машинист паровоза, бывший писатель, бывший спецкор «Правды» решил снова стать шахтером, как в юности. Никто не ссылал меня под землю, никто не советовал туда идти. Я сам, с одобрения Любы, выбрал для себя рабочее место. Работая в шахте и живя в каком-нибудь общежитии, буду писать книгу о шахтерах.

Облюбовал шахту имени папанинцев, большую, механизированную, новую. Года два назад очерк о ней я опубликовал в «Правде».

Но не так-то просто досталось и это — работа под землей, звание шахтера. Отдел кадров, начальник шахты долго согласовывали с областным руководством, принять меня или не принять в ряды рабочего класса. Очевидно, и на шахте, и в обкоме мучительно гадали, почему я решил стать шахтером. Подозревали, видимо, в каком-то хитроумном антисоветском умысле. В конце концов определили помощником машиниста врубовой машины, дали место в общежитии.

Когда шагаешь от шахтного ствола по коренному штреку в лаву, то поступательная струя свежего, с поверхности, воздуха дует в спину, как в парус, гонит вперед. Возвращаешься с работы — искусственный ветер омывает лицо, покрытое черным потом и угольной порошей, въевшейся в кожу, в брови, в ресницы.

Первая шахтерская упряжка. Первые сотни тонн *нашего* угля,

добытого нашей врубовой машиной. Первый подъем на-горá. Первая баня после трудов.

В предбаннике, в старом зеркале, увидел свое отражение в полный рост. Шахтерка. Тяжелые ботинки на резиновом ходу. Пластмассовая каска. Черное — от уха до уха, от шеи до лба — лицо. Вот теперь я действительно человек в маске.

Неторопливо, с высочайшим удовольствием мылся под горячим душем. Не пыль, не грязь смывал, а черное золото. И чувствовал себя равноправным с крепильщиками, проходчиками, навалоотбойщиками, коногонами, машинистами врубовых машин и электровозов. Думал только о том, как работал, добывая уголь, что слышал, что видел.

Рассказывает Люба:

«С Сашкой и Галей собираюсь ехать в Москву. Будем там жить, буду учиться. Сборы были хлопотными, нервными. Но вот наконец все уложено, завязано, замкнуто, перетянуто ремнями. Можно ехать. В день отъезда я пошла в заводской комитет комсомола — попрощаться, а заодно и сняться с учета. Но не тут-то было! Секретарь комитета, мой ровесник, парень пригожий и вполне порядочный до сегодняшнего дня, всегда уважительный, неожиданно повернулся ко мне наихудшей стороной. Стараясь не встретиться со мной взглядом, отчеканил: «Не с учета мы будем тебя снимать, а рассматривать персональное дело на комсомольском собрании. Так что придется тебе задержаться в наших краях на три дня». — «Персональное дело? В чем я провинилась перед комсомолом?» Секретарь поднялся, осмотрел меня с ног до головы — и осудил и мою прическу, и платье, и туфли. «Ты провинилась не только перед комсомолом, но и перед всей страной, перед народом. Была активным членом бюро комитета, неплохим редактором стенной газеты и вдруг...» — «Вспомни, ты торопил меня подавать заявление в партию... Что я натворила? Конкретно: в чем моя вина? Уж не в том ли, что я жена писателя Авдеенко?» — «Твоя вина в том, что не пришла, куда следует в таких случаях, и не сказала, что твой муж пишет антисоветские романы и сценарии». Тише, Любка, не вопи, не заламывай руки! Не хватайся за голову! Не давай воли истеричному хохоту. Спокойствие. Хладнокровие. Ничуть не меняясь в лице, я сказала ровным голосом: «Не признаю себя виновной. Во-первых, мой муж не писал антисоветских произведений. А во-вторых, я не клеветник, не доносчица». — «Ах, вот как ты заговорила! Значит все, что напечатала «Правда», — клевета? Так надо понимать?» — «Да, клевета! Так и скажу собранию». — «Ничего ты не поняла. Ничему не научила тебя эта история. Тем хуже для тебя. До свидания».

И вот общее комсомольское собрание. Тон задал юный вождь заводского масштаба. Прорабатывал, пинал и топтал. Забыл, что всего месяц назад рекомендовал меня в секретари комсомольской организации, торопил вступать в партию. Сейчас — объявил наихудшей комсомолкой. Отказывалась от нагрузок. Вела мещанский образ жизни. Одевалась по последней парижской моде. Приезжала на собрания за рулем собственной машины. И это в чисто пролетарском городе Макеевке! Потупив очи, молчали не шибко понимающие, что происходит, комсомолки без году неделя, ученицы ремесленного, но дружно подняли руки, проголосовали единогласно за исключение. И началось! Как две капли воды похожее на то, через что прошел муж. Место действия другое, иные обвинители, а речи одинаковые. Протащили по всем кругам нашенского ада. Обвинения росли, как снежный ком. Если на собрании я была просто никудышной комсомолкой, мещанкой, выпендривалась, изображая модную парижанку, то на бюро заводского комитета я уже стала гулящей, соблазнявшей чужих мужей. На бюро райкома — устраивавшей у себя дома пьяные оргии с молодыми людьми, танцевавшей в чем мать родила. В горкоме... В общем, мое персональное дело с каждым новым обсуждением распухало. Впрочем, я заметила, клеветники не очень изобретательны. Одни и те же байки сочиняют. И все-таки не выдерживала. Потеряв хладнокровие, потрясенная, кричала: «Неправда! Ложь! Бред собачий!» И отчаяние было поставлено мне в вину: «Вы посмотрите, товарищи, как нагло она себя ведет!» Исключали единогласно, с искаженными ненавистью лицами.

Последняя инстанция — бюро областного комитета комсомола. Собрала все силы, пришла на заседание. Долго ждала, пока дошла до меня очередь. Стояла в коридоре. Сердце колотилось. Ноги подгибались. Наконец, вызывают. Вхожу в огромный зал. Большой квадратный стол. За ним человек пятнадцать парней и девчат. Все мои земляки. Я их чуть ли не каждый день встречала на улице. Они меня тоже знают. Предложили сесть. Я это сделала с превеликой радостью — ноги не держали. Встает секретарь макеевского горкома комсомола и докладывает. Повторяет все, что говорилось во всех инстанциях. Вызубренная клевета произвела впечатление на членов бюро обкома. Лица их становились все более и более враждебными. Смотрели на меня, как на чудовище. Закончил свою речь секретарь макеевского горкома такими словами: «Горком постановил исключить из комсомола. Единогласно. Не сомневаемся, что бюро обкома утвердит наше решение».

В отличие от предыдущих собраний, где меня исключали, даже не выслушав меня, здесь мне предоставили последнее слово. Говорила я долго. Рассказала, как полюбила Сашу Авдеенко, как вышла замуж, какой он хороший человек, как предан Советской власти, как много работает и мало отдыхает. Рассказала, что сдала сессию в Литинституте, что готовилась к вступлению в партию. Поверили мне ребята. Изменились лица, просветлели, в глазах появилась доброта. Посовещавшись, предложили создать комиссию, направить ее в Макеевку, чтобы разобраться в моем персональном деле. Председателем комиссии назначили редактора газеты «Комсомолец Донбасса». Мы с ним условились, что я приду к нему в редакцию, поговорим, а потом уже комиссия поедет в Макеевку. Встретились, поговорили. Через некоторое время опять назначают бюро обкома. За большим столом сидят те же люди. Слово берет редактор «Комсомольца Донбасса». «Мы были в Макеевке, встречались с многими комсомольцами. Могу сказать одно, товарищи: побольше нам надо бы иметь таких комсомольцев, как Люба Авдеенко.

Когда я пришла к своему секретарю, чтобы сняться с учета, он как ни в чем не бывало, сказал: «Надеюсь, ты не гневаешься на меня за то, что я выполнял указания сверху. Ты же знаешь, как у нас это делается».

Еду на своем хорошо приметном «бьюике» из города Сталино на шахту папанинцев.

Отец Любы, сидящий рядом, работает механиком в органах безопасности. Пока его почему-то не увольняют. Вероятно, жаль терять незаменимого мастера по несгораемым сейфам, ключи от которых их хозяева ухитряются терять.

Оглянувшись через заднее окно на дорогу, он сообщает мне с чисто одесским юмором:

— За нами «хвост»! Эти босяки, которых уже три года боится весь город, имеют наглость надеяться, что их «эмка» способна угнаться за «бьюиком». Газани, а я помашу им ручкой.

Я так и сделал. Тесть засмеялся, снял потертую, мятую шляпу и, высунув наружу руку, помахал преследователям, которые сейчас же пропали в туче донбасской пыли.

В другой раз я подвел «босяков» под монастырь. Заехал в огороженный двор какой-то полузаброшенной шахты. Дальше ехать некуда. «Хвост», плохо знавший местность, увязался за мной и попал в тупик. Я уже развернулся, чтобы мчаться дальше, а они только-только миновали раскрытые ворота. Подъехав к ним, я остановился. Три здоровенных парня растерялись. Один полез под машину, делая вид, что рассматривает кардан, второй согнулся в три погибели между передним и задним сиденьями. Третий сделал вид, что его сразил сон.

Я вежливо поздоровался с молодыми людьми, сказал:

— Маленько подвел вас. Не хотел, честное слово. Так что извините.

И нажал на газ.

Труд шахтера во все времена был тяжелым, если не самым тяжелым. В сороковом году уголь уже не добывали обушком, хотя обушок все еще был нужен для подсобных работ. Не гоняли вагоны от забоя к стволу вруч-

ную. Мало осталось под землей лошадей и коногонов, отдельных забоев — так называемых печей. Появились врубовые машины, а кое-где и горные комбайны.

Десятки миллионов тонн угля добывал перед войной Донбасс. Но машины только подрубывали пласт, а разрушали его обушком и грузили на конвейер обыкновенными лопатами. Делали это так называемые навалоотбойщики, молодые, во цвете лет, наделенные недюжинной силой. За смену навалививали пять-шесть тонн, стоя чаще всего на коленях, сутулясь, вдыхая тонко измолотую угольную порошу, кашляя, выплевывая черную, густую мокроту. И в легкие, и в желудок, и в кишки проникает пороша. Семь потов сойдет, пока выдадут на-гора́ норму. Обнаженные до пояса, блестящие от горячего пота, они не песни поют, а матерятся, проклиная нелюдей нелюди. Выработанное пространство забучивают породой вручную. Крепят вручную. Механизмы переносят вручную.

И механизаторам не легче. Часто приходится брать обушок, лопаты и вырубать зажатую под пластом машину. Много физических сил затрачивается, когда зарубываешься в кутке, в устье лавы. Потеем, как в парилке, когда отбрасываем штыб. К концу упряжки никаких сил не остается.

А ведь мне предстоит еще одна упряжка — за письменным столом. Нет, я не жалуюсь. Просто объясняю.

Покойный мой друг Антон Семенович Макаренко в любой ситуации утверждал: «Все, что с нами делается, — не к худшему, а к лучшему». Ох, милый человек!.. В тридцатых с нами происходило такое... Не воскреснут Бабель и Тухачевский, Блюхер и Кольцов, Мейерхольд и Орджоникидзе...

Кровавая или бескровная расправа, клевета в государственном масштабе, обрекание на бедность, нищету, унижение, бесправие, одиночество — это всё разновидности мести со стороны сильных мира сего тем, кто им чем-нибудь не угодил.

Эту месть я испытываю каждый день, каждый час. Бесшумный расстрел моей души. И тем не менее я живу, работаю и тем самым доказываю свою силу и право. Так будет и дальше, если даже мое положение еще ухудшится, хотя хуже, кажется, нельзя придумать.

Можно!

Приговорить к смерти и тем самым лишить возможности доказать жизнью и трудом, что я не человек в маске. Коммунист. Советский гражданин. Писатель. Частица великого народа.

Часа два сидел в коридоре обкома среди себе подобных, недостойных быть в партии большевиков, ждал вызова на бюро. Последняя инстанция. До сих пор, несмотря на то, что меня исключили на бюро райкома и горкома, я все еще числился коммунистом. Сегодня окончательно решится... Не верю даже в неминуемое.

Зал, где заседает бюро обкома, находится в конце коридора. Открывается дверь, выходит человек и суровым голосом называет мою фамилию.

Вхожу в зал с огромными окнами, за которыми море электрического света вечернего города Сталино. Огни большого Донбасса. Огни родины, ставшей мачехой, судьей и палачом.

Несколько часов назад я добывал уголь. Брови мои и ресницы покрыты несмываемой порошей, и вокруг глаз черно. В костях ломота. Я еще наполовину там, в лаве, среди рабочей братвы. А вторая моя половина здесь. Персональное дело...

Взгляды всех прикованы к моему лицу. Разглядывают с превеликим любопытством. Да и как не быть любопытным, как не разглядывать?

Во взглядах недоброжелательность даже к моему внешнему виду. Не нравится, что явился на заседание бюро обкома с неотмытой порошей. Думают, хочу произвести впечатление. А ведь эту порошу ох как трудно отмыть.

Поперек широкого кабинета протянулся массивный стол, за которым сидят члены бюро обкома, вторично сменившие репрессированных партработников. Суровые, как и положено им быть, лица.

Меня усаживают в конце длинного стола, примыкающего перпендикулярно к главному. Напротив — пожилой человек в очках. Наклонившись ко мне, деловитым шепотом спрашивает:

— Партбилет при вас?

— Да, конечно.

Лезу в карман пиджака, достаю красную книжечку, но он энергичным жестом дает понять, что пока могу не расставаться с партбилетом.

Человек на подхвате. Работник из отдела учета. Ворон, ждущий, когда может схватить добычу.

Члены бюро обкома ничего плохого не могут сказать о моей жизни в Донбассе, если не вздумают плести небылицы. Скорее всего просто повторят то, что напечатано в газете.

Начали с того, что предоставили мне слово. Решается вопрос моей жизни и смерти. И мне же велено как можно удобнее приладить к шее удавку, приготовленную на виселице. И я подчиняюсь. Оправдываю оказанное доверие. Говорю о встрече со Сталиным 9 сентября, о том, что он раскритиковал мои произведения.

Но я только расправил петлю, а голову в нее не засунул — предоставил это палачам. Пусть и они поработают. Употребив слово «раскритиковал», я все же не захотел вспомнить, что назван автором антисоветских произведений. Язык не повернулся. Да в этом и нужды не было. Все ведь было решено. Не здесь, а там, в Москве. Что бы, как бы я ни сказал, результат был бы один.

Обсудили, осудили, проголосовали. Формулировка кратчайшая: исключить за моральное разложение и как буржуазного перерожденца.

Ворон, сидящий напротив меня, захлопал крыльями, закаркал, протянул лапу. Я вложил в нее согретую моим сердцем, всей моей жизнью красную книжицу и вышел в коридор.

Лучше бы он глаза мне выклевал.

Исключенный!..

Малиновые фуражки возьмут меня под руки, посадят в машину, как только выйду из обкома. Долго ждали своего часа.

Не взяли. Решили оставить на длинном поводке.

Управляю врубовой машиной, подрубываю угольный пласт, погружен в работу, радуюсь угольному потоку, текущему по конвейеру вниз, на коренной штрек, но все равно чувствую — кто-то смотрит на меня и пытает: кто ты на самом деле — шахтер или человек в маске?

Сижу за столом в своей комнатушке, пишу страницу за страницей. Ночь. Тихо в общежитии, населенном молодым народом. Но все равно остро чувствую: кто-то стоит позади, заглядывает через мое плечо, вчитывается в каждую строчку, — так ли пишу, как Он указывает?

Иду по безлюдному штреку, от лавы к стволу. Одинокая моя шахтерская лампа еле-еле освещает узкоколейный путь и крепежные пары с верхняками, пахнущие живым деревом. Вдыхаю еле уловимый аромат таежной ели или сосны и чувствую, как по капле восстанавливаются силы, израсходованные в лаве на тяжелой работе. И все-таки, все-таки даже теперь прислушиваюсь и оглядываюсь: не крадется ли по моим следам какой-либо соглядатай? Вроде бы нет никого. Но я знаю, что он есть. Должен быть. Затаился где-то, ждет, когда пойду дальше. Пойду я, пойдет и он.

Пора бы привыкнуть. Не умею ценить того, что посылает судьба. Сначала грозила расстрелом или годами тюрьмы, лагерей, потом сменила гнев на милость: оставила на свободе, позволила стать шахтером. Более чем великодушно обошлась со мной — и тем не менее недоволен. Неблагодарная свинья.

Во время перекура, когда вышел из строя мотор, приводящий в движение рештаки качающегося конвейера, мой напарник Максим ни с того ни с сего сказал:

— А война, как мы от нее ни отнекиваемся, со дня на день навалится и на нас. Немцы побьют греков и югославов — и начнется. Ох, плохо нам будет! Москву разрушат до основания. И сюда придут, в Донбасс. Нас с тобой заставят работать на Германию.

Понял я, что напарник заговорил о будущей войне и чудовищном поражении не случайно, не по собственному хотению, а по чужому велению. Кто-то хочет знать, разделяю ли я пораженческие прогнозы. Явная провокация!

— Ну чего ты не мычишь, не телишься? — толкает меня в бок подонок. — Прав я или не прав? Скажи. Ты ведь грамотей!

— Скажу... Доносить на тебя не буду... А воевать, если придется, будем на чужой земле и победим малой кровью.

Максим расхохотался. А я молчу. С этого часа с моим напарником, который казался мне хорошим парнем, больше и словом лишним не обмолвлюсь.

Уходя на работу, оставляю на столе записные книжки, блокноты, начерно написанные главы. На чужой взгляд — беспорядок, а на мой — идеальный порядок. Каждый клочок бумаги лежит на своем месте. Накрываю «письменный стол» старой развернутой газетой, поверх кладу лист бумаги с обращением к безвестным, но вполне реальным соглядатаям: «Не перепутайте грешное с праведным. Прочтите и положите все на свои места».

И потянулось день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем шахтерское житье. Шесть часов работы под землей в механизированной лаве. Шесть, а то и больше, — усидчивой работы за столом в крохотной комнатушке. Слова сами собой, кажется, льются из-под пера. Есть о чем рассказывать. Черновые заготовки для романа. Эскизы портретов шахтеров и шахтерок.

Наконец наступает время, когда рождается сюжет и появляются один за другим герои будущего произведения — мои товарищи по труду, побратимы Стаханова.

Всю осень и зиму трудился я под землей и на земле: добывал уголь и писал страницу за страницей. И еще каждый день посылал письма Любе и Сашке в Москву, куда уехали они осенью.

И еще готовился к поступлению в Литературный институт имени Горького. На заочное отделение. Перечитывал «Слово о полку Игореве», древнерусские летописи и всякое такое.

Боюсь только, что не зачислят и в студенты-заочники. Больно страшная биография. Заявление с просьбой о приеме все же послал.

Приняли! К величайшему удивлению и, конечно же, радости. Шахтер и студент без отрыва от производства. Это звучало бы гордо, если бы...

Каждый день поднимаюсь на-гора́ с хорошей добычей — угольной и чисто писательской. Иногда добываю несколько подслушанных фраз, иногда два-три слова. Прихожу в общежитие и сейчас же записываю.

По зернышку, по камешку, по кирпичику собираю книгу. Рождаются новые мысли, и все яснее вырисовываются контуры будущего произведения, которое я, не мудрствуя лукаво, окрестил «Труд». Труд как жизненная необходимость.

Растаяли снега и льды. Иссякли вешние воды. Солнце греет все теплее. Дни длиннее, ночи короче. Весна на дворе. Но я ее только вижу и совсем не чувствую. Двойная болезнь одолевает: физическая и душевная. В общем, плохи дела и на одном, и на другом фронте. И на третьем, семейном, тоже нет ничего хорошего: вот уже который день не пишу Любе и Саше писем — рука не поднимается, нет сил рассказывать, что со мной происходит.

Милая Любонька! Чувствовала ли ты, как мне было тяжко всю последнюю декаду марта? Перенес ужасную болезнь. Ничего нового. Старая она, болезнь, уже не раз мучившая меня, — неверие в свои силы, неверие в то, что я называю «Трудом». Мало в нем правды, той великой правды, которой много и под землей.

Ворох исписанной бумаги. Пустая трата времени.

Припадки отчаяния начинались с утра, не кончались и поздней ночью. Беспросветное отчаяние. Беспросветное отвращение к тому, что уже написано, что задумано. Безнадежно плохо. Не вижу ни единой страницы, которая была бы по душе. Хочу писать правдиво, не жалею для этого сил, но желанной цели не достигаю. Если и был у меня талант, то он убит наповал в сентябрьскую ночь сорокового. Человек без настоящего и будущего.

Не пугайся, Любонька. Безвыходное отчаяние уже позади. Прошедшая декада была моим истинным «Путешествием на край ночи». Слава богу, сегодня оно кончилось. Кончилось так же внезапно, как и началось. Вернулась вера в себя, в то, что сделал и собираюсь сделать. Обычная история: большая вера в себя время от времени превращается в полное безверие. А я до такой степени измордован, что ум за разум заходит...

В самый разгар работы, когда машина подрубывала пласт где-то в середине лавы, произошел частичный обвал кровли. Не знаю, не могу сказать, чья тут вина. То ли мы, механизаторы, чересчур бойко, без оглядки на крепление, рванули вперед, не обеспечив тылы, то ли крепильщики не торопились надежно раскреплять за нами выработанное пространство, то ли напоролись на кумпол породы, плохо соединенный с коренной породной массой, висящей над нами трехсотметровой толщей. Так или иначе, но машину и кабель завалило. И мне, управлявшему врубовкой во время обвала, изрядно досталось: громадный корж породы угодил в спину, боль пронзила от шеи до крестца.

Травмированного шахтера посреди рабочего дня выдали на-гора́, увезли в больницу.

Неужели кончилась моя шахтерская жизнь? Неужели придется доживать век еще и с перебитым хребтом? Перебитым — в буквальном смысле этого слова. Завершилось то, что было начато на Старой площади. Убит и душевно, и физически.

Тщательно осмотрев и просветив меня, врачи вынесли более чем великодушный приговор: несмотря на сильный ушиб, позвоночник цел и невредим. Радоваться бы мне, а я готов криком кричать от страшной боли именно в позвоночнике. Не могу ни стоять прямо, ни согнуться, ни разогнуться. Способен только ползать на четвереньках. «Ничего, ничего, — утешали меня врачи. — Боль скоро пройдет».

Не прошла боль ни через час, ни через неделю, ни через три. Днем и ночью ноет крестец. Наружных повреждений нет, а внутри нестерпимо болит. Лечащий врач откровенно не верит в мою боль и бесцеремонно заявляет, что продлевать бюллетень не намерен. Нельзя в моем положении оспаривать мнение врача. Вынужден воспринимать как должное любое унижение и оскорбление. Такова теперь моя доля...

Итак, шахтер с перебитым хребтом и еще студент-заочник Литературного института имени Горького. Первую работу о «Слове» почти написал. Читаю, к сожалению, мало: два-три часа. Надо больше, но наверстаю потом, когда одолею самые трудные главы «Труда», когда приеду в Москву и буду сдавать экзамены вместе с Любой.

Апрель 1941 года. Долгожданный вызов в Москву в Литературный институт для сдачи экзаменов первокурсника. Древнерусскую литературу сдал на «отлично».

Май 1941 года. Хожу в Историческую библиотеку, как на работу, благо, она неподалеку от Большого Комсомольского, где мы живем с Любой, Сашей и Галей. С утра до поздней ночи читаю и перечитываю нужные книги и сдаю экзамен за экзаменом. В течение мая сдам по всем предметам за второй курс и начну штурмовать высоты третьего. Думаю к концу лета сдать все экзамены и получить диплом.

Не успел! Война!

Двор военкомата полон народа, мужчин и женщин, жаждущих немедленно попасть на фронт. Еще и часа не прошло, как узнали о нападении Германии, а от добровольцев нет отбоя.

Среди них и я. Сомнительный доброволец. Самим Сталиным крещенный как вражеское охвостье, антисоветский писатель. Все это я сейчас должен сказать. И боюсь, что не буду допущен в ряды добровольцев: побоятся, как бы такой-сякой не переметнулся к противнику.

Когда подошла моя очередь, вручаю военкому заявление с просьбой отправить на фронт и военный билет. Майор раскрывает военный билет, сейчас же возвращает и укоризненно говорит:

— Политсостав!.. Вам должно быть известно, что вас призовут в первую очередь. Ждите повестку. Там будет сказано, куда и когда явиться. Следующий!

— Видите ли...— промямлил я.

— Вижу и объясняю русским языком. Ждите повестку.

Собравшись с духом, говорю вполголоса:

— Я уже не политсостав. Исключен из партии... Отовсюду...

— Чего же вы сразу не сказали? Почему не пришли к нам вчера, позавчера, месяц назад?

Военком впервые встретился со мной взглядом. Удивлен. Настороожен. Малость растерян. И больше всего раздосадован тем, что я задерживаю очередь.

Наплевать на то, о чем он думает, что чувствует. Я пришел сюда не в гости к нему. Спрашиваю:

— Имею ли я теперь право попасть на фронт в качестве рядового?

Военком ответил раздраженно, почти с гневом:

— Я не могу вас зачислить в ряды добровольцев.

— Почему?

— Звание вам присвоено приказом наркома и лишить его тоже должен нарком. Предстоит длительная процедура. Приходите, когда схлынет народ, я вам объясню, что надлежит делать. Следующий!

Еще одно лишение. Хватит ли душевных сил?

Очевидно, мои мысли и переживания передались военкому, и он вдруг увидел меня тем, кем я был на самом деле,— попавшим в беду человеком. Он достал из ящика стола анкету.

— Заполните и вместе с военным билетом верните мне.

Я сделал, как было велено.

Прежде чем нарком лишил меня офицерского звания, прежде чем я прошел военную медкомиссию и получил военный билет рядового, минули долгие месяцы.

Фашистские орды гигантской дугой обложили Москву, ворвались в подмосковную Яхрому, форсировали последнюю водную преграду — канал Москва — Волга. Ужасное время. Отчаянное время. Смертельно опасное время. На площадях столицы появились сварные из рельсов и швеллерных балок «ежи» и противотанковые пушки. Многие обитатели Кремля, десятки правительственных учреждений, посольства покинули Москву. Воздушные тревоги сменяли одна другую. Станции метро превратились в подземные убежища, в гигантский табор.

Но и в этот грозный час мне не удалось получить оружие, стать красноармейцем, защитником Москвы — столичные военкоматы в середине октября потеряли интерес к таким, как я, военнообязанным и заботились главным образом о том, чтобы самим не попасть в немецкое окружение: грузили свои пожитки и куда-то спешно уезжали. Небо над Москвой заволокло дымом — горели секретные бумаги.

Начался массовый исход москвичей. Тысячи и тысячи людей, стар и млад, кинулись на восток, в узкую горловину, которая могла вот-вот быть перерезана вражескими танками. Кто на поезде, кто на машине, кто пешком. Поток беженцев подхватил меня, Любу и Сашу и через месяц изголодавшихся, грязных, вшивых вынес на Урал, на берега Камы, в город Пермь.

Тут, наконец, меня призвали и направили в минометно-пулеметное училище, которое я через полгода окончил в звании лейтенанта.

Попал в действующую армию. Командир 131-й дивизии полковник Песочин Михаил Александрович пренебрег тем, что было сказано в засургученной сопроводиловке, на свой страх и риск назначил меня не командиром минометного взвода, а корреспондентом дивизионной газеты «За Отчизну», где, по его мнению, я мог быть более полезным.

О фронтовой жизни, о фронтовых побратимах я рассказал в документальной книге «Вся красота человечества».

А это свое повествование закончу рассказом о событии, которое явилось историческим рубежом в жизни каждого человека моего поколения.

Судьбе заблагорассудилось устроить мне еще одну встречу со Сталиным. Через тринадцать лет после первой. Встречу живого с мертвым. Жертвы с палачом. Идолопоклонника с идолом.

По воле или капризу судьбы я должен был рассказывать миллионам радиослушателей об одетом в траур Колонном зале, о том, как переживает великую потерю Москва и вся наша страна. Об этом же как спецкор «Огонька» я должен был написать на страницах журнала.

Я был поражен, что именно мне д о в е р и л и освещать похороны Сталина.

Вслед за изумлением возникло чувство страха, что где-то, кто-то в последний момент вспомнит, как Сталин предавал меня анафеме.

Вспомнят и не допустят в Колонный зал.

Припадки страха в последние тринадцать лет часто мучили меня. Припадки, ниспосланные «всевышним».

До войны — страх, что моя работа в любое время может быть прервана людьми Берии, которым Сталин прикажет добить меня. Он может быть разгневан, что я не удавился, не пустил себе пулю в лоб, что, прóклятый им, не потерял веру в себя, что, всем чертям назло, пишу каждый день, несмотря на тяжелые шахтерские упряжки.

Страх перед будущей критикой моего нового романа, перед возможностью нового клейма, страх перед драматизмом собственной жизни и жизни, окружающей меня, страх перед истинной конфликтностью, которую Сталин воспринимал как очернительство социализма,— этот естественный в моем положении страх не покидал меня. Мною не осознанный, он, очевидно, в какой-то степени, может быть, даже в большой, влиял на то, что выходило из-под моего пера.

И во время войны меня преследовал страх. Нет, не смерти я боялся на переднем крае. Опасался снова вызвать гнев Сталина. После каждого очерка, напечатанного в армейской газете, я ждал расправы Верховного.

Но он нежданно-негаданно сменил гнев на милость.

В первых числах июля 1943 года главный редактор центральной военной газеты «Красная звезда» Ортенберг послал Сталину через фельдъегерскую почту короткое письмо-просьбу разрешить напечатать мой фронтовой очерк «Искупление кровью», в котором рассказывалось о боевом подвиге, совершенном бойцом штрафного батальона Соловьевым. К письму приложил типографский оттиск очерка. Уже через час позвонил Поскребышев и соединил Ортенберга со Сталиным. Сталин сказал: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину».

Напечатали громадный трехколонник, фамилию автора, три года назад изгнанного из печати, вынесли наверх. Но даже теперь я боялся, что Сталин вдруг передумает, еще раз изменит отношение ко мне и снова предаст анафеме.

После публикации очерка «Искупление кровью» я часто печатался в «Красной звезде», в 1944 году опубликовал в «Новом мире» роман «Большая семья» — и все же не распрощался со страхом. Боялся, что Сталин, прочитав, с прежней яростной силой раздраконит меня.

Боялся при **его** жизни. Боюсь и после смерти. Он и оттуда, с того света, грозит дамокловым мечом.

Тем не менее не отказываюсь от высокой чести вещать по радио и печатать репортаж о **его** похоронах.

В шестнадцать ноль ноль откроется доступ к телу Сталина. Позвонил о пропуске в Колонный зал и услышал почтительное разъяснение. Никаких пропусков не будет. Вход в Колонный зал для специальных корреспондентов с Пушкинской улицы, второй подъезд. Моя фамилия внесена в список.

От «Правды» до центра машиной не добраться. Все улицы и переулки забиты народом, устремившимся к Колонному залу.

Решил добираться подземным транспортом. Сел в метро на станции «Динамо», вышел в центре. У бездействующих эскалаторов дежурили милиционеры и всем желающим подняться наверх терпеливо-вежливо отвечали, что выход закрыт. Я подошел к их старшему и, соревнуясь с ним в терпении и вежливости, объяснил, куда и зачем направляюсь и почему меня надо пропустить. К моему удивлению, он сразу поверил мне и, посторонившись, пропустил.

Отменно вежливыми, предупредительными были и люди, контролировавшие боковой подъезд Дома союзов. Когда я назвал свою фамилию, никто не попросил меня предъявить паспорт или корреспондентский билет. Заглянули в сколотые скрепкой списки, пропустили, предложив раздеться. Я снял пальто и шапку в гардеробе первого этажа и поднялся на второй. Перед входом в зал передо мной появился человек в штатском с военной выправкой. Он тихо, опять-таки отменно вежливо попросил назвать свою фамилию. Я объяснил, кто я и что. Он указал на дверной проем.

— Пройдемте!

Я вошел за провожатым. Мы аккуратно вторглись в людской поток, пересекли его и попали в Колонный зал. Меня подвели к месту, где я, по чьим-то соображениям, должен был стоять.

Мой корреспондентский пост находился у самой сцены, под огромной пальмой в лакированной кадке. Все видно. В нескольких шагах возвышается громадный постамент. На нем — наклонно — гроб с усопшим. Масса цветов, венков. Красный бархат, атлас, шелк. Ордена, золотые звезды — на атласных подушечках.

Постамент задрапирован не со всех сторон. Я вижу его изнанку — массивные брусья подпорок, железный переплет днища, на котором стоит гроб. Распорядители с повязками на рукавах иногда заходят под этот навес пустотелого постамента и озабоченно шепчутся, нисколько не смущаясь, что над ними **его** останки.

Людской поток течет из конца в конец зала, по темно-красной ковровой дорожке.

В первые часы своего стояния под пальмой я почти не отрывал глаз от **него**. Видел я Сталина и при жизни в нескольких шагах от себя, слышал хрипловатый голос, чувствовал испепеляющий взгляд, устремленный на меня и на еще кого-то, будто бы затаившегося во мне, ужасался тем чудовищным обвинениям, которые он обрушивал на меня. На всю жизнь запомнились резкая жестикуляция, привычка беспрестанно двигаться, вышагивать туда-сюда по тесному пространству, манера заправлять папиросным табаком трубку и медленно раскуривать.

Тогда, в сентябрьскую ночь, я хорошо разглядел Сталина. И все-таки теперь жадно вглядываюсь в него. Неживые рыжевато-пепельные усы. Запечатанный рот. Непривычно кроткое, желтоватое, исхудавшее лицо. Закрытые глаза, метавшие в течение многих лет разящие молнии. Неестественная гладкость щек, носа, лба — искусные руки гримеров тщательно заделали глубокие следы оспы.

Мне, заклейменному лично товарищем Сталиным, надо бы смотреть на него без розовых очков. Куда там! Чувствовал себя осиротевшим. Столько лет мы с ним шагали в будущее. Вместе строили Днепрогэс, Магнитку, множество индустриальных крепостей. Вместе искореняли частную собственность в деревне, заменяя ее красотой колхозного труда. Вместе открыли и приручили силу народного энтузиазма, энтузиазма первопроходцев. Вместе провожали Чкалова и Громова в беспосадочные перелеты за моря и океаны. Вместе воевали на всех фронтах. Форсировали Днепр, Вислу, Одер. Штурмовали Берлин. Встречали День Победы. Ликовали, когда испытали нашенскую атомную бомбу. Вместе надеялись и дальше шагать. Он представлялся бессмертным, вечным. И вдруг... Траурная музыка, трагический голос диктора: «Центральный Комитет КПСС и Советское правительство с глубоким прискорбием извещают партию и народ, что в ночь с 4 на 5 марта...»

Нежданное, неутешное горе. Молчаливое, тысячеликое, проходит оно сейчас через Колонный зал. Лица, лица, лица. Печальные, удивленные, любопытные, заплаканные. Мужские. Женские. Старые. Молодые. Детские.

Все головы напряженно повернуты в **его** сторону. Был мало кому доступен при жизни. Хочется хорошенько рассмотреть, какой **он**.

Смотрят люди и не понимают, как смерть могла не пощадить гения всех времен и народов.

Внимание мое внезапно переключается с людского потока на подвижную, далеко не скорбную фигуру человека в светло-сером костюме, с сегодняшней «Правдой» в кармане пиджака. Это Никита Сергеевич Хрущев. Возглавляет комиссию по похоронам. Совершенно очевидно, что он именно в этом качестве появился в Колонном зале без соратников. Интересуется, все ли в порядке.

На какое-то время он исчез — скрылся по другую сторону постамента. Появился уже не один, а со Светланой Аллилуевой, рыжеволосой дочерью Сталина. Они стояли под навесом постамента в полумраке, так сказать, за кулисами похорон, и о чем-то оживленно говорили и даже, мне показалось, улыбались. Никита Сергеевич по-отечески обнимал Светлану одной рукой.

Меня поразило это маленькое событие. Поразило несоответствие их настроения с моим, с настроением людей, проходящих мимо гроба.

Побеседовали о чем-то своем и пропали.

Не умолкают скрипки и виолончели. Негодует и рыдает Бетховен. Скорбит Григ. В глубокой задумчивости роняют слезы Шопен, Моцарт, Чайковский.

Я, не отрывая пера от блокнота, пишу слово за словом, строчку за строчкой. Свидетельство очевидца.

«6 марта 1953 года. Шестнадцать часов.

Первые потоки москвичей вливаются в Колонный зал Дома союзов, чтобы проститься с любимым вождем, отцом и другом, Председателем Совета Министров Союза ССР и Секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищем Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Он лежит в гробу, на высоком постаменте, навеки уснувший, величественно строгий, ярко озаренный, словно светом утренней зари, в сени алых знамен, среди роз и вечнозеленых ветвей. Как благородны и прекрасны черты родного лица! Даже холод смерти бессилен скрыть от нас его строгую красоту, его величие. Мягкие седеющие волосы спокойно льются назад. Черные густые брови над высоким бледным лбом гения. Стальная воля и глубокая решимость в суровой складке губ. Чуть заснеженные, с оттенком бронзы усы. Мраморная лепка висков, подбородка...

Навсегда сомкнуты орлиные глаза, так хорошо видевшие душу и сердце народа, так чудесно проникавшие в самое отдаленное будущее, такие приветливые, ласковые, верящие, ободряющие и вместе с тем строгие, взыскательные, незабываемые сталинские глаза.

Недвижимы его руки, столько сделавшие на планете, заложившие столько путей в будущее, — руки вождя, полководца, друга всех трудящихся, неутомимого труженика, солдата революции, строителя социализма и коммунизма. Никогда уже не поднимется сталинская рука в приветственном жесте, не произнесут умолкшие уста сердечных слов.

Вечный покой, вечная тишина, неподвижность... Как они были чужды Иосифу Виссарионовичу Сталину, всегда кипевшему энергией!

Лежит в гробу тот, кто безошибочно вел корабль революции сквозь бури и грозы, кто всегда освещал дороги, по которым мы шли...»

Справа от дверей, откуда вливался в зал людской поток, в ложе между белых колонн я увидел высокого седовласого человека. Он стоял и внимательно вглядывался в проходивших людей. Василий Мефодьевич Верховых! Мой фронтовой друг. Комиссар госпиталя. Старый большевик. Человек с драматической биографией. В тридцать седьмом его бросили в тюрьму как врага народа. Неожиданно посадили, так же неожиданно и освободили. Повезло, конечно.

На фронте мы встречались нечасто, в периоды затишья. Тогда я по нескольку дней жил в его госпитале, писал очерки. Вечерами играли в шахматы, а то и в преферанс, если находился подходящий партнер.

Когда меня вновь стали печатать в центральных газетах, был опубликован в «Новом мире» роман «Большая семья» и выяснилось, что мне не заказан путь в партию, я обратился к Василию Мефодьевичу с просьбой дать мне рекомендацию. Он тут же ее написал. Правда, она мне не пригодилась: он не был моим однополчанином.

Дали мне свои рекомендации и однополчане. И весной 1944 года в Западной Украине, в деревушке Верба принимали меня в партию — заново!

Не за горами было летнее наступление, в результате которого мы вышли на Сандомирский плацдарм. Вслед за первыми батальонами я переправился через Вислу уже с кандидатской карточкой в кармане офицерской гимнастерки. Хотел быть на самом переднем крае и как корреспондент «Красной звезды» пробился туда вместе с корреспондентом «Правды» Сергеем Борзенко. У Сергея на груди сияла Золотая Звезда Героя. Он получил ее год назад под Новороссийском. Я и без Звезды чувствовал себя счастливым. Воскресение. Возрождение. Коммунист! Опять коммунист!

...Улучив момент, я протиснулся в третью ложу. Василий Мефодьевич сосредоточенно глядел на гроб и не сразу заметил меня. Но как только увидел, заулыбался, воскликнул:

— Ты, роднуша?! Сколько зим, сколько лет! И свиделись-то где? У подножия усопшего Хозяина! Не могли выбрать другого времени!

Обнял меня, увел в фойе. Уселись на скамью и говорили, говорили...

— Во зрелище! А? — сказал Василий Мефодьевич. — Затмило всемирный потоп, гибель Помпеи. Содрогнулась земля от Нарыма до Крыма. Почернели людские души. Что-то будет? Где-то грянет? Как аукнется? Спаситель человечества покидает землю, возносится на небеса. А что на улицах делается?! Похлестче Ходынки. Топчут друг друга москвичи. Бессмертный помер! Милиция на вздыбленных конях!.. Войска!.. Все входы в центр закупорены. Очередь на километры. Ни проехать, ни пройти. Во как!.. Мы Ильича хоронили скромнее. Без конной милиции, без давки, смертей, без Золотых Звезд. Что молчишь? Судя по опухшим глазам, ты, роднуша, дни и ночи плачешь. А?

— Как все, Василий Мефодьевич.

Он сердито мотнул головой.

— Не все, роднуша, не все плачут и рыдают. Немало и таких, кто крестится: «Слава тебе, боже, прибрал, наконец!!! Поздновато. Но лучше поздно, чем никогда». Я среди тех, кто крестится.

Я осторожно оглянулся, не слышал ли кто старика. Вроде никому нет дела до нас. Хорошо, если так...

— Тебе, роднуша, тоже бы надо креститься, а не слезами обливаться. Имеешь полное право. Измордовал тебя Хозяин, как бог черепаху, выставил на всенародное обозрение с клеймом на лбу: се есть антисоветский писатель, приказываю всем миром ненавидеть.

Зачем он все это говорит? Почему я слушаю?

Вероятно, ужас отразился на моем лице. Верховых погладил меня по плечу.

— Не бойся, роднуша! Он теперь не дотянется до нас. Кончилось его время. А?

Ни единого слова не могу вымолвить. Какая-то сила лишила речи. Слушаю, и мороз прошибает позвоночник.

— Кончился временщик. Испустил дух. Дутое величие обернулось прахом. Прахом станут и мраморные, бронзовые статуи, монументы. В прах превратятся доклады, указания, изречения.

Не для моих ушей такие речи. И не для моего сердца, по-прежнему преданного Сталину. Надо бы уйти. Но не решаюсь — все-таки фронтовой друг. Партийный поручитель.

— Своей смертью Хозяин принес стране больше пользы, чем всей долгой жизнью, — продолжал Верховых.

Слова его звучат кощунственно. Так бы мне следовало и сказать. Но вместо этого я засуетился и, оглядываясь на дверь Колонного зала, пробормотал:

— Пойду я... Я здесь не сам по себе... специальный корреспондент «Огонька». Освещаю.

— Иди, роднуша, иди. Освещай! Затемняй! Рыдай! А? На память подарю тебе стихи, написанные здесь, у его подножия. — И Верховых засунул в карман моего пиджака сложенную вчетверо блокнотную страницу. — Прочти на досуге.

Чем я заслужил подобное доверие? Ведь я ни одним словом не обмолвился о Сталине плохо.

Я вернулся на свой пост.

Тихий, печально-сосредоточенный течет людской поток. Лица, лица, лица. Исплаканные. Исстрадавшиеся. Осиротевшие. И на каждом вопрос: «Как же мы будем жить без н е г о? Что с нами будет?»

Жизнь после смерти «бессмертного».
Жизнь до XX съезда.
Жизнь после XX съезда.
Жизнь, переосмысленная, свободная от рабского культа «Хозяина».

Об этом нужно было бы написать отдельную книгу, но, увы, она мне уже не по силам — я разменял девятый десяток.

Завидую вам, молодые писатели, которым предстоит написать об этой эпохе.

Завидую вам, мои дорогие сограждане, которым предстоит жить в обновленной стране.

1956—1988 гг.

Н. П. Каманин

«ОБЪЯВЛЕНА МИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ...»

(ИЗ ДНЕВНИКОВ 1961 ГОДА)

18 января. В соответствии с приказом Главкома ВВС вчера приступила к работе комиссия по приему выпускных экзаменов у первой шестерки слушателей-космонавтов — капитанов В. Ф. Быковского, А. Г. Николаева и П. Р. Поповича, старших лейтенантов Ю. А. Гагарина, Г. Г. Нелюбова и Г. С. Титова.

В работе экзаменационной комиссии участвуют видные специалисты по авиационной медицине — представители ВВС, академик Н. М. Сисакян — от Академии наук СССР, представитель Главного конструктора кандидат технических наук К. П. Феоктистов, конструктор парашютных систем и скафандров С. М. Алексеев, а также заслуженный летчик-испытатель М. Л. Галлай. Председателем комиссии Главком К. А. Вершинин назначил меня.

Сначала эти первые в нашей стране выпускные экзамены космонавтов проходили в филиале Летно-исследовательского института на тренажере — имитаторе космического корабля «Восток». Каждый слушатель занимал место в кабине тренажера и в течение 40—50 минут докладывал о назначении корабля и его оборудовании, о действиях космонавта на различных этапах полета от старта до приземления. По ходу докладов члены комиссии задавали экзаменуемым множество вопросов. Особое внимание экзаменаторы обращали на умение космонавтов ориентировать корабль перед включением ТДУ — тормозной двигательной установки, на знание аппаратуры жизнеобеспечения и на действия после посадки на воду или в безлюдной местности. По знанию космического корабля и условий его полета Гагарин, Титов, Николаев и Попович получили оценки «отлично», а Нелюбов и Быковский — «хорошо».

Сегодня экзамены были продолжены в ЦПК — Центре подготовки космонавтов. Слушатели получали экзаменационные билеты и после 20-минутной подготовки отвечали на записанные в них вопросы, которые в сумме охватывали весь материал девятимесячного курса обучения. Затем члены комиссии задавали еще по 3—4 дополнительных вопроса. Как и накануне, строгие экзаменаторы были удовлетворены четкими ответами всех шестерых слушателей. Рассмотрев их личные дела, медицинские и зачетные книжки, комиссия единогласно решила поставить каждому выпускнику общую отличную оценку, а в акте записать такой вывод: «Экзаменуемые подготовлены для полетов на космических кораблях «Восток». Комиссия рекомендует следующую очередность назначения космонавтов в полеты: Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов, Г. Г. Нелюбов, А. Г. Николаев, В. Ф. Быковский, П. Р. Попович».

После объявления результатов экзаменов я пожелал космонавтам успехов в дальнейшей учебе и в предстоящих космических полетах.

И вчера, и сегодня я часто спрашивал себя: «Кто из этой шестерки прогремит на весь мир и войдет в историю как человек, совершивший первый космический полет? Кто из них, возможно, поплатится жизнью за дерзкую попытку нарушить тишину космоса голосом представителя Земли?» Мне кажется, что при нормальной работе техники любой из шестерых справится с ролью космонавта. Все они — отличные «человеческие экземпляры». О Гагарине, Титове

и Нелюбове можно сказать, пожалуй, только одно — эти трое пока не имеют никаких отклонений от эталона космонавта. Николаев — самый спокойный из шестерки, может быть, несколько медлителен. Быковский порывист и менее, чем другие, внутренне собран. Попович — пока загадка, хотя и производит впечатление волевого человека.

Первый полет человека в космос должен состояться в марте — апреле этого года. Есть твердая уверенность, что корабль успешно взлетит и выйдет на орбиту. А как сядет? Из пяти кораблей серии «Восток», стартовавших в 1960 году, взлетели четыре, вышли на орбиту три, приземлились два. Один из двух приземлившихся кораблей сел вскоре после старта по аварийному варианту, но, в общем, благополучно — находившиеся в нем собачки Жемчужная и Жулька остались невредимы.

До полета человека планируется запустить еще два корабля с манекенами и животными на борту. Будем надеяться, что оба корабля сядут удачно.

21 января. Встречался с М. В. Келдышем, С. П. Королевым, В. П. Глушко и другими членами комиссии по пуску ракет с автоматическими межпланетными станциями (АМС), предназначенными для исследования Венеры. Настроение у всех серенькое. В лучшем случае первый пуск состоится 29 января, но большинство считает этот срок нереальным. Да и надо ли так спешить?

Мне, как авиационному работнику, привыкшему к тому, чтобы техника перед полетом была всесторонне проверена, кажется невероятно диким вывоз на старт уникальной аппаратуры, по существу, не проверенной заводскими испытаниями. Комплексная проверка системы дальней радиосвязи, рассчитанной на четыре месяца работы в условиях космического полета, будет проводиться прямо на полигоне (испытания на заводе продолжались всего несколько часов).

На подготовку к осуществлению этого полета израсходованы громадные средства, хотя вероятность полного выполнения задания — встречи АМС с Венерой — почти нулевая. Руководство ждет эффекта, и он, несомненно, будет, но будет скорее всего отрицательным. Очень хочется, чтобы мой прогноз оказался ошибочным.

3 февраля. Позавчера встречался на космодроме с М. В. Келдышем и С. П. Королевым. У первого настроение довольно кислое, но Сергей Павлович бодрится. Ракета для вывода АМС на траекторию полета к Венере давно установлена на старте, но пуск уже несколько раз откладывался из-за разных неполадок.

Комплексная предстартовая проверка 1 февраля проходила в целом удовлетворительно, как вдруг неожиданно отказал один из гироскопов, определяющий вертикаль в системе управления. Поздно вечером, когда все собрались в землянке у старта, подполковник А. С. Кириллов доложил, что, исключая неясность с отказавшим гироскопом, ракета к пуску готова. Согласились на том, чтобы подписать задание на полет, а вопрос о заправке ракеты топливом и времени пуска решать в рабочем порядке.

Причина отказа гировертикали была установлена только сегодня: в подшипнике прибора нашли металлическую стружку длиной до 1 мм. После тщательной дополнительной проверки всего оборудования ракеты назначили пуск на 4 февраля.

4 февраля. Старт состоялся точно по плану — в 4 часа 18 минут московского времени. За два часа до восхода солнца, в очень светлую лунную ночь я стоял на открытой площадке в 800 м от стартующей ракеты и наблюдал, как под ней с нарастающим грохотом разрасталось море пламени. Какое это было грандиозное елище! По яркости света его можно сравнить только с мощным атомным взрывом.

На 119-й секунде после старта произошло отделение первой ступени. Невооруженным глазом ракета наблюдалась более 4 минут. Еще в течение нескольких минут на высоте около 100 км был хорошо виден освещенный солнцем инверсионный след от двигателей. По данным телеметрии, третья ступень вы-

шла на орбиту вокруг Земли, а затем четвертая ступень с АМС отделилась от третьей. До этого момента автоматика управления полетом работала безукоризненно. И вдруг произошел сбой: не прошла команда на запуск двигателя четвертой ступени (по-видимому, не сработал временной автомат).

Так в космосе появился «Великий немой» — самый большой искусственный спутник Земли весом 8 тонн, но без радиосигналов. Принудительное отделение АМС временником на этот случай не было предусмотрено, а с неразвернутыми антеннами станция не могла излучать радиосигналы.

Через два часа после старта собралась комиссия, чтобы решить один принципиальный вопрос: какое дать официальное сообщение о состоявшемся пуске? С. П. Королев и некоторые другие товарищи выразили сомнение в целесообразности вообще какой-либо публикации. Но большинство, в том числе и я, высказались за немедленное опубликование сообщения о пуске, мотивируя это предложение тем, что за границей будут наблюдать за полетом нового спутника и могут объявить его военным разведчиком или, того хуже, заявят о неудачном запуске человека в космос. В конце концов все согласились с вариантом сообщения, предложенным В. П. Глушко: «С целью отработки запуска более мощного космического корабля запущен новый спутник, который за первый же виток полета выполнил свое назначение, передав на Землю все необходимые телеметрические данные».

Итак, первый из намеченных полетов АМС к Венере не состоялся, но старт и работа трех ступеней ракеты могут быть оценены как отличные.

Учитывая до предела сжатые сроки подготовки пуска, уникальность третьей и четвертой ступеней носителя и оборудования АМС, без всякой натяжки можно поздравить нашу Родину с новым успехом в освоении космоса.

12 февраля. Вчера поздно вечером Государственная комиссия приняла решение о втором старте четырехступенчатой ракеты с целью вывода АМС на траекторию полета к Венере.

Установлено, что при пуске 4 февраля отказал умформер четвертой ступени, который на первой ракете не был герметизирован. На ракете, стартующей сегодня, этот недостаток устранен.

Пуск состоялся точно в назначенное время. На этот раз отлично сработали все ступени ракеты. Четвертая ступень вышла на околоземную орбиту, четко по программе включился и отработал ее двигатель, обеспечивший достижение второй космической скорости. Отделившаяся от четвертой ступени АМС устремилась к Венере по траектории свободного полета, близкой к расчетной. Через восемь с половиной часов после старта станция находилась уже в 126 000 км от Земли.

Я очень рад, что ошибся в своем прогнозе. Наша космическая техника еще раз продемонстрировала свой высокий класс, а наши люди — ученые, инженеры, техники, рабочие — одаренность, умение и упорство в труде. У нас нет еще «стопроцентной» уверенности, что АМС «привенерится» и что все цели этого полета будут достигнуты, но уже можно с гордостью сказать, что впервые в истории человечества космический аппарат, созданный советскими людьми, несет вымпел нашей Родины к далекой Венере [1].

Когда стало ясно, что АМС вышла на заданную траекторию, мы вспомнили, что еще не завтракали. В столовой чувствовалось приподнятое настроение, за некоторыми столиками даже выпивали в честь очередной победы в космосе. Королев, Келдыш, Бармин, я и другие ограничились более скромным завтраком. Затем мы направились в гостиницу, где между мной и Королевым состоялся разговор, о котором мне хочется кое-что записать.

Прежде всего несколько слов о самом Сергее Павловиче Королеве — главном конструкторе ракетно-космических комплексов. Он является создателем межконтинентальной баллистической ракеты, лунных ракет и ракет-носителей космических кораблей серии «Восток». Он главный «виновник» и сегодняшнего нашего триумфа — полета АМС к Венере. Ему 54 года, он окончил МВТУ имени Баумана и начинал свою конструкторскую деятельность с постройки планеров и самолетов, которые сам же и испытывал в полете. С 1932 года занимается ракетной техникой. Среднего роста, плотный, но очень подвижный и темпераментный человек. Его знания, волевой характер, талант конструктора и организатора вне всякого сомнения. Пожалуй, он несколько избалован и иногда ведет себя деспотично. «Жесткость» Королева заметна даже во взаимоотношениях его с М. В. Келдышем. Без консультации с Королевым и без его одобрения Келдыш не принимает ни одного решения по космическим вопросам — Мстислав Всеволодович излишне мягок и даже застенчив, а Королев очень самоуверен и порой бывает грубоват. И все же Сергей Павлович, безусловно, на своем месте — он уже очень много сделал для развития отечественной ракетной и космической техники и далеко еще не сказал своего последнего слова. Среди пионеров космоса имя Королева всегда будет одним из первых.

[1] АМС «Венера-1» пролетела на расстоянии менее 100 тыс. км от планеты.

Наш разговор начался с того, что Сергей Павлович поделился со мной замыслами на будущее и показал свою заветную голубую папку с планами работ возглавляемого им КБ на семилетку.

Во всех своих перспективных работах Королев ищет поддержки ВВС. Он сказал мне, что ракетчики его не понимают и что с ними «едва ли сваришь кашу». Я обещал подробно доложить о нашей беседе Главному маршалу авиации К. А. Вершинину и организовать поездку Главкома в КБ Королева. Затем мы наметили ориентировочные сроки пусков двух кораблей «Восток» с манекенами и животными для окончательной отработки средств приземления. Договорились, что очередной пуск будем планировать на последнюю декаду февраля, а последующий — через 8—10 дней после первого. Если оба пуска окажутся успешными, то будем ставить вопрос о первом космическом полете человека перед Президиумом ЦК партии.

Кстати, несмотря на официальное заявление ТАСС о запуске 4 февраля нового беспилотного спутника, в западной прессе появились сообщения о том, что «Советы неудачно запустили в космос человека». Итальянцы якобы даже слышали стоны и прерывистую речь русского космонавта... Пилотируемый космический полет реален уже сейчас, нас сдерживает лишь то, что мы пока не можем гарантировать благополучное возвращение космонавта на Землю. Мы упорно работаем над совершенствованием средств приземления, добиваясь их «абсолютной» надежности. Порой мне кажется, что мы слишком осторожны. Ведь гарантии полной безопасности в космических полетах, наверное, никогда не будет, а некоторая доля риска в первом полете оправдывается величием поставленной цели.

20 февраля. Сегодня в составе группы представителей ВВС, возглавляемой К. А. Вершининым, побывал в КБ у Королева. Сергей Павлович рассказал о планах строительства космических кораблей на ближайшие два-три года, показал сборку ракет-носителей, корабли серии «Восток».

Цель сегодняшней встречи Королев сформулировал коротко и ясно: «Я изложил вам наши возможности и перспективы. Как видите, они не малые — мы многое можем сделать по освоению космоса, но мы ждем поддержки со стороны ВВС, лично от вас, от ваших помощников. Вы должны подвести «стратегию и тактику» под наши начинания».

Вершинин сказал, что ВВС в принципе поддерживают планы Королева, и обещал оказывать всяческое содействие их реализации. Договорились: согласованные решения по конкретным вопросам взаимодействия КБ с ВВС будут принимать Королев и Каманин; в ближайшие дни представить предложения к плану взаимодействия, для чего создать рабочую группу из представителей обеих организаций.

24 февраля. Состоялось важное межведомственное совещание представителей ВВС и промышленности по вопросу о недостаточной готовности средств жизнеобеспечения и приземления космонавта. Ответственные за разработку и испытания этих средств Г. И. Воронин и С. М. Алексеев защищали «свои пози-

ции» и яростно отбивались от наседавших на них военных специалистов. В конце концов пришли к общему заключению, что очередной пуск будем производить, не дожидаясь окончания всех испытаний и устранения мелких неполадок. Следующий пуск будет «чистовым» — ему должны предшествовать несколько пробных приземлений катапультируемого кресла (сначала с манекенами космонавта, а затем с испытателями), проверка системы аварийного катапультирования на старте, морские испытания скафандра и носимого аварийного запаса (НАЗ). Решили также принципиальный вопрос о проведении длительных — в течение 13 суток — испытаний новых осушителей, которые должны обеспечивать относительную влажность воздуха в корабле не выше 60 процентов.

По результатам совещания пришлось отодвинуть ранее намеченные сроки пусков двух «Востоков» с животными и манекенами на первую и последнюю декады марта.

2 марта. Более трех часов редактировали «Инструкцию космонавту», составленную сотрудниками КБ Королева К. П. Феоктистовым и О. Г. Макаровым совместно с шестеркой космонавтов.

Эта первая в мире инструкция пилоту космического корабля, конечно, далека от совершенства, но она дает космонавту основные рекомендации по действиям при подготовке к старту, в момент старта, на активном участке выведения, на орбите, при спуске и посадке, а также в различных нештатных условиях полета (ручной спуск, вынужденное увеличение продолжительности полета и др.). Королев и Келдыш настаивали на резком сокращении текста инструкции, считая, в частности, что после проверки всего оборудования корабля инженером космонавт перед стартом должен проверить скафандр и радиосвязь, а остальное оборудование только осмотреть. По существу, эти предложения резко ограничивали деятельность космонавта в кабине корабля при подготовке к старту и в полете. Королев мотивировал свои предложения тем, что в одновитковом полете вся аппаратура четко сработает автоматически — без вмешательства пилота.

Яздовский, Галлай и я были категорически против ограничений действий пилота. Мы высказывали такие доводы. Космонавты очень хорошо знают оборудование корабля и свои возможности управления им. Они будут чувствовать себя увереннее, если лично убедятся в исправности аппаратуры. Кроме того, производя полную проверку оборудования перед стартом, наблюдая различные явления в полете, записывая свои впечатления и показания приборов в бортовой журнал и докладывая о них по радио, космонавт будет все время занят. Постоянная занятость космонавта будет отвлекать его от возможных отрицательных эмоций при перегрузках и в невесомости, к тому же мы сможем получить много ценной информации для подготовки последующих полетов.

После продолжительных споров все наконец согласились с нашей точкой зрения, и отредактированный первоначальный вариант «Инструкции» был утвержден Королевым и мною.

10 марта. Вчера утром точно в назначенное время состоялся очередной пуск «Востока» с манекеном и животными. Совершив один оборот вокруг Земли, корабль и манекен приземлились в 260 километрах к северо-востоку от Куйбышева. К месту посадки мы добирались на перекладных — сначала самолетом, потом на автомашинах, на лошадях, а последние два километра преодолели по глубокому снегу пешком.

Корабль и манекен очень удачно «выбрали» район приземления. На большом открытом поле не было ни одного дерева, ни одного столба, только несколько стогов сена выделялись на заснеженном горизонте. Манекен лежал на спинке катапультируемого кресла и «смотрел» в небо, рядом — ярко-красный парашют, резиновая надувная лодка и НАЗ. Судя по внешнему осмотру, вся автоматика кресла, парашюта и скафандра сработала нормально. Успешно приземлился и сам корабль. Собака Чернушка, мыши и морские свинки перенесли полет великолепно, никаких заметных на глаз изменений в их состоянии не обнаруживалось.

Я знал, с каким нетерпением ждут в Москве наших сообщений. Пока я в ближайшей деревне говорил по телефону с Москвой, у сельсовета собралась большая толпа колхозников и детей — всем не терпелось увидеть собачку, которая за полтора часа облетела планету. Владимиру Ивановичу Яздовскому пришлось показать Чернушку сельчанам и заодно прочитать самую короткую, но очень убедительную лекцию о космических исследованиях.

17 марта. Вчера на двух самолетах Ил-14 облетали район штатного приземления корабля и космонавта. На одном самолете летели Гагарин, Нелюбов, Попович и я, на другом — Титов, Быковский, Николаев и генерал Л. И. Горегляд. Местность всем понравилась — кругом ровные заснеженные поля, все водоемы подо льдом. Правда, на севере района видны небольшие лесные массивы и коварные для парашютистов и средств поиска Жигулевские горы.

Космонавты чувствуют себя хорошо, бодры, веселы и, как всегда, очень жизнерадостны. Лишь Юрий Гагарин — кандидат № 1 для первого полета в космос — бледнее и молчаливее, чем обычно. 7 марта у него родилась вторая дочь, и он только накануне привез жену Валентину Ивановну из роддома. Наверное, прощание с семьей было нелегким, и это тяготит его.

Сегодня вся наша команда перелетела на аэродром вблизи Байконура, где нас ждало много встречающих, в том числе несколько кинооператоров. Вскоре на аэродром прибыли Келдыш и Королев. Они очень тепло встретились с космонавтами, но, к сожалению, наотрез отказались от участия в киносъемках. Я попросил операторов не жалеть пленки и как можно полнее заснять учебу и быт космонавтов, подготовку к старту и сам старт в космос.

18 марта. Состоялась деловая встреча шестерки космонавтов с Королевым, Келдышем, Глушко и другими учеными и конструкторами. Королев задал каждому космонавту один-два контрольных вопроса на знание техники и был полностью удовлетворен полученными ответами. Особенно ему понравилась готовность всех шестерых «лететь хоть сегодня». Уверенность космонавтов в своих силах, их всесторонняя подготовленность к полету ни у кого не вызвали сомнений. В ходе двухчасовой беседы Королев убедился и в том, что космонавты знают о пусках «Востоков» не только по сообщениям ТАСС, что они информированы о всех возникавших неполадках, об их причинах и о мерах по их предотвращению.

20 марта. Следующий пуск «Востока» с манекеном отложен до 25 марта из-за необходимости доработки средств связи.

Вчера разбирали с космонавтами возможности посадки на территории СССР с различных витков полета. Пришли к общему заключению, что самые лучшие условия посадки на первом, втором и шестнадцатом витках. Можно садиться и на витках с четвертого по седьмой, но в более сложных условиях. Для всех этих витков наметили районы приземления и точки включения ТДУ и нанесли их на карту, которую дадим космонавту в полет. В этой работе нам очень большую помощь оказал Константин Петрович Феоктистов.

Меня одолевает бесконечный поток мыслей о космонавтах и их семьях, о подготовке к предстоящему пилотируемому полету и, главное, о серьезных организационных недостатках в очень сложном и дорогостоящем деле освоения космоса. Мы действуем медленно и «растопыренными пальцами». По-видимому, мне следует обратиться по этому вопросу в ЦК партии или прямо к Н. С. Хрущеву.

Мои обращения к К. А. Вершинину, Д. Ф. Устинову, М. В. Келдышу и другим ответственным работникам нельзя считать бесплодными — налицо, в частности, заметное усиление роли ВВС в проводимых в стране космических исследованиях. Однако того, что достигнуто нами, совершенно недостаточно, чтобы закрепить лидерство в космосе и не отстать в ближайшем будущем от США. На каждый наш новый спутник американцы запускают три-четыре своих, благодаря чему получают обширную информацию, необходимую для совершенствования конструкции и оборудования космических аппаратов. Полезно было бы нам признать, что, отставая от нас в силе тяги ракетных двигателей и в весе спут-

ников, США идут впереди по системам космической связи, телеметрии и управления. Нельзя забывать, что мы потеряли связь с АМС, летящей к Венере, на втором миллионе километров траектории, а американцы уже имеют опыт космической связи на дальности 37 миллионов километров.

Нам крайне необходимо как можно скорее объединить в едином государственном органе усилия всех связанных с исследованием космоса ведомств, институтов, конструкторских бюро, заводов и полигонов. Надо привлечь к руководству космическими делами не случайных людей, работающих «на космос» по совместительству с земными, а тех, кто хорошо знает космос, кто верит в него, кто в освоении космического пространства видел бы цель всей своей жизни.

В ноябре прошлого года я фактически возглавил все проводимые в ВВС работы, связанные с космосом. Моя первая встреча с будущими космонавтами произошла еще раньше — месяцев десять назад, когда Главком Вершинин принял в своем кабинете всю группу молодых летчиков, отобранных для подготовки к космическим полетам. Потом мои встречи с ними стали регулярными. Будучи председателем выпускной экзаменационной комиссии, я смог оценить степень подготовленности к полету каждого из шести первых летчиков-космонавтов, я хорошо знаю их родословные и анкетные данные, но все они до сих пор были для меня просто космонавтами, и только.

И вот уже пятые сутки здесь, на космодроме, я почти все свое время провожу вместе с шестеркой кандидатов на первые полеты в космос. Я организую их учебные занятия и тренировки, мы вместе занимаемся спортом, играем в шахматы, смотрим кинофильмы. Все они доверчиво и с уважением относятся ко мне, а я начинаю подмечать в них сугубо индивидуальные черты, увлечения, привязанности. Титов увлекается поэзией и много читает. Попович, Николаев, Быковский и Нелюбов прилично играют в шахматы, иногда садятся и за преферанс. Гагарин безразличен к шахматам и картам, но страстно любит спортивные игры, ценит юмор, остроумную шутку.

23 марта. Вчера в течение двух часов конструктор стартового оборудования Владимир Павлович Бармин знакомил космонавтов со своим обширным хозяйством. Весь стартовый комплекс очень сложен, зато подвеска ракеты гениально простая. Особенно просто осуществляется освобождение ракеты от опор, на которых она висит,— стоит ей подняться при пуске на 49 миллиметров, как опоры откидываются в стороны под действием силы тяжести десятитонных противовесов.

Сегодня вечером получили из Москвы печальное известие: погиб слушатель-космонавт старший лейтенант В. В. Бондаренко. Эта первая среди космонавтов жертва вызывает острое чувство досады своей нелепостью. Бондаренко скончался от сильных ожогов при пожаре в барокамере, в которой он проходил пятнадцатисуточные испытания. Пожар возник на десятые сутки эксперимента во время разогрева пищи на электроплитке. Причины этого трагического происшествия кроются в серьезных недостатках в организации и контроле испытаний.

25 марта. На корабле «Восток», стартовавшем сегодня, установлено точно такое же радиооборудование, какое будет использоваться в пилотируемом полете. Кроме того, в кабине корабля находится магнитофон с записями песен и отсчета секунд, выполняющий роль космического ответчика — нам надо потренироваться в двусторонних радиопереговорах «Земля — корабль» и убедиться в надежности средств связи.

Когда мы с космонавтами прибыли на старт, Королев был уже там. Он был спокоен, стартовый расчет действовал четко и слаженно, все шло строго по расписанию и предвещало удачный пуск. За десять минут до пуска я перешел в бункер управления полетом. Стартовые команды подавал подполковник А. С. Кириллов, доклады о выполнении предпусковых операций и ходе полета принимал Сергей Павлович.

Пуск и в самом деле оказался успешным. Радиосвязь работала надежно как на этапе выведения, так и в орбитальном полете. Четко действовала и служба поиска — примерно через два часа после старта мы уже знали, что корабль

с собакой Звездочкой и манекен «Иван Иванович» приземлились в районе Воткинска. Четвероногая космонавтка перенесла полет очень хорошо. Между прочим, Звездочкой окрестил ее накануне пуска Юрий Гагарин, остальные космонавты дружно его поддержали — пришлось «утвердить» их предложение. Теперь у нас уже четыре собачки — Стрелка, Белка, Чернушка и Звездочка, побывавшие в космосе и благополучно вернувшиеся на Землю.

Итак, можно считать, что подготовка к первому космическому полету человека в основном закончена.

4 апреля. В Центре подготовки космонавтов вчера сдавала выпускные экзамены вторая группа слушателей: Е. В. Хрунов, В. М. Комаров, П. И. Беляев, Б. В. Волынов, Г. С. Шонин, В. В. Горбатко, М. З. Рафиков, А. А. Леонов, В. И. Фклатьев, И. Н. Аникеев и Д. А. Заикин.

Я смог присутствовать только при ответах Хрунова и Комарова. Дело в том, что 3 апреля на совещании Президиума ЦК должен был рассматриваться вопрос о первом полете человека в космос. Поэтому Главком приказал, чтобы я, Гагарин, Титов и Нелюбов прибыли в Главный штаб ВВС в готовности, если потребуется, немедленно выехать в ЦК КПСС. Вскоре позвонил Королев и сообщил, что решение уже состоялось и что он в этот же день улетает на старт. Сергей Павлович попросил ускорить и наш вылет в Байконур, а затем вкратце рассказал, как проходило совещание.

В первом пилотируемом космическом полете может встретиться много нового и заранее непредвиденного. Не зря Н. С. Хрущев на Президиуме ЦК спросил: «А у кого есть мнения о том, как поведет себя космонавт уже в первые минуты полета — не будет ли ему очень плохо, сможет ли он сохранять работоспособность, выдержку и психическую уравновешенность?» Никто из присутствовавших не решился определенно и однозначно ответить на этот вопрос. Лишь Королев, не вдаваясь в детали, сказал: «Космонавты подготовлены отлично. Они знают корабль лучше меня и уверены в своих силах».

Что ж, уверенность — вещь хорошая и очень необходимая в таком большом и ответственном деле. Я тоже верю в успех, верю в технику и людей, которые будут участвовать в осуществлении полета.

Из семи кораблей «Восток», стартовавших в космос, пять вышли на орбиту, три сели штатно, а один — по аварийному варианту, но тоже благополучно. Очень важно и то, что оба последних полета, выполненные один за другим 9 и 25 марта, прошли безукоризненно. Статистика, прямо скажем, обнадеживающая, и я убежден, что корабль с человеком выйдет на орбиту.

Хочется верить, что и приземление космонавта будет успешным. Неприятности могут возникнуть лишь при посадке на воду или в сильно пересеченной местности (разброс возможной точки посадки колеблется в пределах 400—600 километров от расчетной). Но можно ли вообще говорить о «стопроцентной» безопасности любого пилотируемого полета, а тем более первого полета человека в космос?

5 апреля. До свидания, Москва! Ранним солнечным утром вся наша космическая команда и сопровождающая ее «свита» врачей, кинооператоров и фоторепортеров на трех самолетах Ил-14 отправляется на космодром. Погода по трассе отличная, ветер попутный, летим без промежуточной посадки.

На аэродроме нас встречают С. П. Королев и М. Л. Галлай. Сергей Павлович рассказывает подробности позавчерашнего совещания «в верхах», пытается шутить, но за его обычными шутками по адресу медиков чувствуется большая озабоченность подготовкой к предстоящему полету. Особенно беспокоит нас проблема осушителя в системе жизнеобеспечения космонавта. Дело в том, что в случае отказа ТДУ возможен аварийный спуск с орбиты за счет естественного торможения, но такой спуск займет более недели, а прошедший испытания осушитель обеспечивает заданную влажность в кабине лишь в течение 6—7 суток. Волнуют нас и трудности поиска и спасения космонавта в случае посадки на воду.

Тепло попрощавшись с космонавтами, Сергей Павлович высказал пожелание, чтобы они несколько раз основательно «проиграли» порядок ручного спуска,

провели занятия по связи и тренировки в скафандрах. Затем он показал мне ориентировочный план работы: 8 апреля — установка ракеты на старте, 10—11 апреля — пуск. Как всегда, Королев торопится, но до 15 апреля полет вполне может состояться.

Весь этот день — в автомашине по дороге на аэродром, в самолете и сейчас, когда я пишу эти строки, а космонавты играют за окном в волейбол, меня неотступно преследует одна и та же мысль — кого послать в первый полет, Гагарина или Титова? Все упражнения, которые мне приходилось наблюдать — работа в скафандре, корректировка глобуса, ведение радиообмена,— Титов выполняет более четко, отточенно и никогда не скажет ни одного лишнего слова. Гагарин же высказывал сомнения в необходимости автоматического раскрытия запасного парашюта, а однажды, при облете района посадки, наблюдая в некоторых местах оголенную, обледенелую землю, он со вздохом произнес: «Да, здесь можно крепко приложиться...» Во время одной из бесед с космонавтами, когда я рекомендовал им пройти катапультирование с самолета, Гагарин отнесся к моему предложению довольно неохотно.

Пожалуй, Титов обладает более сильным характером. Единственно, что удерживает меня от решения в пользу Титова,— это необходимость иметь сильнейшего для суточного полета. Второй полет, рассчитанный на шестнадцать-семнадцать витков, будет, бесспорно, труднее первого — одновиткового. Но первый полет и имя первого космонавта человечество не забудет никогда, а второй и последующие полеты забудутся так же легко, как легко забываются очередные рекорды.

Так кто же — Гагарин или Титов? У нас есть еще несколько дней, чтобы решить, кого из двух достойных сделать мировой известностью.

6 апреля. Утром на космодром прилетел К. Н. Руднев — председатель Государственной комиссии по пуску корабля «Восток» с космонавтом. В 11.30 в присутствии Руднева, Келдыша и всех главных конструкторов Королев открыл техническое совещание. Заслушали и обсудили доклады Г. И. Воронина — о системе регенерации воздуха и С. М. Алексеева — о скафандре и средствах обеспечения посадки. По обоим докладам я от имени ВВС дал заключение о готовности систем к полету. После совещания рассмотрели задание космонавту на полет. В задании указаны цели полета и действия космонавта в штатном одновитковом полете и в других возможных его вариантах. Задание подписали Королев, Келдыш и я.

Вечером Гагарин и Титов надевали свои индивидуальные скафандры, провели под руководством Алексеева подгонку подвесной системы парашюта и «проиграли» порядок действий при катапультировании.

Весь день придирчиво наблюдал за Гагариным. Мы вместе обедали и ужинали, вместе возвращались в гостиницу. Сегодня он ведет себя молодцом. Я не заметил ни одного штришка в его поведении, который не соответствовал бы обстановке. Спокойствие и уверенность — вот его характеристика за этот день.

8 апреля. Накануне провели трехчасовое занятие по ручному спуску и по действиям космонавта после приземления. Гагарин, Титов и Нелюбов знают ручной спуск отлично. По телефону доложил Вершинину о том, что старт намечен на 11—12 апреля и что у нас все идет нормально. В ответ услышал от Главкома «сенсационное» сообщение: США якобы планируют запустить человека в космос не позднее 28 апреля. Я заверил его, что американцам не удастся сделать это раньше нас, так как недавно у них был большой провал — при пуске 24 марта капсула «Меркурий» не отделилась от носителя и затонула в океане.

Сегодня под председательством К. Н. Руднева состоялось расширенное заседание Государственной комиссии. Заслушали доклады о готовности средств поиска. Рассмотрели и утвердили задание на космический полет. Основное содержание задания: «Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180—230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полета — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, проверить связь корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта».

Затем остались только члены комиссии и на закрытом заседании обсудили такие вопросы:

1. О назначении пилота-космонавта и дублера для выполнения первого полета.

2. О регистрации полета как мирового рекорда и о допуске на старт и в район посадки спортивных комиссаров.

3. Об аварийном катапультировании космонавта на старте.

По первому вопросу я от имени ВВС предложил допустить в полет Юрия Гагарина, а запасным готовить Германа Титова. С этим предложением все согласились сразу. Мнения членов комиссии по второму вопросу вначале резко разошлись. Маршал К. С. Москаленко и академик М. В. Келдыш выступили «против», а Королев, Руднев и я — «за». После непродолжительной дискуссии постановили: «Оформить полет как мировой рекорд. При составлении необходимой документации не допустить разглашения секретных данных о полигоне и носителе». Третий вопрос решили еще быстрее — до сороковой секунды полета команду на катапультирование подает Королев или Каманин, после сороковой секунды аварийное катапультирование космонавта производится автоматически.

После заседания члены госкомиссии наблюдали тренировку Гагарина и Титова в кабине «Востока». Тренировка прошла очень хорошо, у всех прибавилось уверенности в успехе предстоящего полета. Когда стали расходиться, вышел небольшой курьез. К. С. Москаленко, указывая на В. И. Яздовского, спросил у меня: «Он ведь ветеринар и занимается собачками — зачем же он здесь?» Пришлось убеждать маршала, что профессор, доктор медицинских наук Владимир Иванович Яздовский вполне «человеческий» врач, один из ведущих специалистов по авиационной и космической медицине.

10 апреля. На утренней зарядке в паре с Гагариным играл в бадминтон против Титова и Нелюбова. Мы выиграли со счетом 16 : 5.

Накануне я вызвал Гагарина и Титова и объявил им о решении, принятом Госкомиссией. Хотя для обоих оно не явилось неожиданным, все же заметны были радость Гагарина и небольшая досада Титова.

Сегодня в павильоне на берегу Сырдарьи в очень простой, неофициальной обстановке космонавты встречались с членами Государственной комиссии. Встреча получилась теплой, задушевной. Открывая ее, Сергей Павлович Королев сказал: «Не прошло и четырех лет после запуска первого искусственного спутника Земли, а мы уже готовы к первому полету человека в космос. Здесь присутствуют шесть космонавтов, каждый из них готов совершить полет. Решено, что первым полетит Гагарин, за ним полетят другие... Успеха Вам, Юрий Алексеевич!»

Примерно в том же духе выступили К. Н. Руднев, К. С. Москаленко, я и начальник Центра подготовки космонавтов Е. А. Карпов. Космонавты Гагарин, Титов и Нелюбов в ответном слове поблагодарили за доверие, выразили уверенность в успехе первого полета и подтвердили свою готовность участвовать в последующих более сложных полетах.

Вечером в торжественной обстановке, с киносъемкой и записью на магнитофон состоялось заседание Государственной комиссии в присутствии всех шестерых космонавтов. Комиссия единогласно постановила:

1. Утвердить предложение тов. Королева С. П. о производстве первого в мире полета космического корабля «Восток» с космонавтом на борту 12 апреля 1961 года.

2. Принять предложение тов. Каманина Н. П. об утверждении первым пилотом-космонавтом Гагарина Юрия Алексеевича, а запасным — Титова Германа Степановича.

11 апреля. В 10 часов утра К. П. Феоктистов начал занятия с космонавтами по активному участку полета, а я вместе с В. И. Яздовским отправился на стартовую площадку. К. Н. Руднев и С. П. Королев были уже там —

поднявшись на лифте к самому верху ракеты, они осматривали космический корабль.

Полный комплекс предстартовой проверки всех систем носителя и корабля прошел без замечаний. Королев попросил меня и Яздовского организовать контроль и обобщение данных о состоянии космонавта, которые будут поступать с борта корабля на наиболее ответственных этапах полета: старте, выходе на орбиту, движении в невесомости, включении ТДУ.

Днем на пусковой площадке организовали встречу первого космонавта со стартовым расчетом ракеты. Собрались человек триста, присутствовали Келдыш, Королев и другие «промышленники». Я представил собравшимся старшего лейтенанта Юрия Гагарина, после чего он произнес короткую, но прочувствованную речь, поблагодарил всех присутствующих за их большой труд по подготовке к осуществлению первого старта человека в космос. Затем мы с Гагариным и Титовым поехали в домик, где нам вместе с начальником ЦПК Е. А. Карповым и врачом А. В. Никитиным предстояло провести ночь перед стартом.

Юра чувствует себя превосходно. Час назад ему наклеили датчики для записи физиологических функций в полете. Эта процедура продолжалась около полутора часов, но никак не сказалась на его самочувствии. Непрерывно крутится магнитофонная лента с записями его любимых песен. Юра сидит напротив меня и говорит:

— Завтра лететь, а я совсем не волнуюсь и сам удивляюсь своему спокойствию.

На мой вопрос: «Юрий, ты верил, что полетишь первым?» — он отвечает: «Наши с Германом шансы я все время считал равными. Только после того, как Вы, Николай Петрович, объявили нам решение комиссии, я поверил в выпавшее на мою долю счастье — совершить первый полет в космос».

Завтра в семь утра по московскому времени Гагарин займет место в кабине «Востока», пуск которого назначен на 9.07. Для облета земного шара космонавту потребуется всего девяносто минут, а ждать старта в корабле ему придется два часа. Надо признать все несовершенство подобной организации подготовки к старту. Мы пытались сократить время ожидания, но из этого ничего не вышло — только закрытие люка корабля, отвод установщика и ферм занимают больше часа. Бездеятельное ожидание старта — очень неприятная необходимость, поэтому мы постараемся плотно «загрузить» Юру радиопереговорами.

Вечером в половине десятого к нам в домик заглянул Сергей Павлович, пожелал всем доброй ночи и отправился отдыхать. Из соседней комнаты до меня доносится разговор Юры и Германа — они тоже готовятся ко сну.

Итак, завтра первый в мире полет человека в космос станет свершившимся событием, и совершит этот подвиг скромный советский человек в форме старшего лейтенанта ВВС Юрий Гагарин. Пока это имя никому ни о чем не говорит, но вскоре оно облетит весь мир!

12 апреля. Ночь прошла спокойно. Я, Карпов и Никитин как по команде поднялись около пяти по местному времени. В половине шестого разбудили Юру и Германа.

Пока в монтажно-испытательном корпусе космонавты проходили медицинский осмотр и надевали скафандры, госкомиссия провела предстартовое заседание. Оно было удивительно простым и коротким. Все доклады сводились к одной фразе: «Все подготовлено, замечаний нет, можно производить пуск». В начале девятого я встретился на старте с маршалом Москаленко и договорился с ним о порядке посадки космонавта в корабль: автобус с космонавтами прибывает на стартовую площадку, все провожающие остаются у автобуса, а Королев, Руднев, Москаленко и я сопровождают Гагарина до лифта.

Соблюсти намеченный порядок удалось с большим трудом. Выйдя из автобуса, Юрий и его товарищи стали обниматься и целоваться. Некоторые до того расчувствовались, что вместо пожелания счастливого пути прощались и даже плакали. Пришлось чуть ли не силой вырывать Гагарина из объятий провожающих. У самого лифта я крепко пожал ему руку и сказал: «Все будет хорошо. До встречи в Куйбышеве, Юра!»

Через десять минут после посадки космонавта в кабину «Востока» установили с ним двустороннюю связь. Радиопереговоры с Гагариным (позывной «Кедр») вели с командного пункта (позывной «Заря») Королев, я и космонавт Попович. Слышимость была отличная, голос Юрия звучал задорно и уверенно. Подготовка к пуску проходила очень четко. За все время подготовки была только одна небольшая заминка: когда закрывали люк корабля, обнаружили отсутствие контакта в одном из сигнализаторов прижатия крышки люка. Пришлось вновь его открывать и устранять мелкую неисправность.

Но вот объявлена минутная готовность. Ровным, даже каким-то будничным голосом Королев транслирует «Кедру» предпусковые команды: «Ключ на старт!.. Дается зажигание... Подъем!» В ответ звучит: «Поехали!»

Пуск прошел безупречно. Через две с половиной минуты после старта был сброшен обтекатель корабля, и Юрий доложил: «Самочувствие отличное, настроение бодрое. Видимость отличная. В иллюминатор «Взор» наблюдаю Землю, облака... Вижу реки. Различаю складки местности, снег, лес... Красота!» На четырнадцатой минуте полета после доклада Гагарина об окончании работы двигателей третьей ступени мы уже знали — впервые в мире космический корабль с человеком на борту успешно выведен на околоземную орбиту.

Через двадцать минут после старта Гагарина я с группой товарищей (В. В. Парин, С. М. Алексеев, Г. С. Титов, В. И. Яздовский и другие) выехал на аэродром, откуда на самолете Ан-12 мы направились к расчетной точке посадки «Востока» в 110 километрах от Волгограда. Но вскоре нам пришлось изменить маршрут полета — в воздухе мы прослушали сообщение ТАСС о благополучном приземлении первого космонавта в районе Саратова и получили радиограмму с командного пункта: «Все в порядке. Майор Гагарин вылетает в Куйбышев». После этих радостных известий в самолете началось что-то невообразимое. Степенные люди обнимались, плясали и подпрыгивали, как мальчишки. Академик Василий Васильевич Парин достал заветную бутылку коньяку, но я посоветовал распить ее при встрече с Юрием.

Наконец-то все волнения позади, а было их немало. Очень тревожными были мгновения в момент переключения радиосвязи с кораблем с одной наземной станции на другую, когда мы не слышали Гагарина, а он не слышал нас. Не знаю, каким я выглядел в те несколько секунд молчания, но у Сергея Павловича Королева, когда он брал в руки микрофон, срывался голос, а лицо изменялось до неузнаваемости. Эти мгновения казались нам вечностью...

Когда мы приземлились на аэродроме под Куйбышевым, там уже собралась многолюдная толпа. Пришлось по рации приказать командиру экипажа Ил-14, на котором прилетел Гагарин, зарулить на самую дальнюю стоянку. Не успели мы добраться до нее на машинах, как и там образовалась толпа ликующих людей. Но вот открылась дверца самолета, и Юра первым спустился по трапу. Все девять часов, прошедшие с момента посадки в корабль до этой встречи на куйбышевском аэродроме, я волновался и радовался за него, как за родного сына. Мы крепко обнялись и расцеловались. Со всех сторон щелкали фотоаппараты, жужжали кинокамеры, толпа все росла. Была опасность большой давки, а Юра хотя и улыбался, выглядел сильно переутомленным. Решили как можно быстрее увезти Гагарина на дачу Куйбышевского обкома.

Часа через три прилетели с космодрома Руднев, Королев, Келдыш и другие члены Государственной комиссии. Около десяти часов вечера все собрались за столом на обкомовской даче: шестерка космонавтов, члены комиссии, руководители области. Было много тостов, но пили мало — чувствовалась общая усталость. Через час все разошлись отдыхать.

Так закончился для нас тревожный, радостный, победный день 12 апреля 1961 года — день, когда имя советского гражданина Юрия Гагарина навеки вошло в историю человечества!

14 апреля. Сегодня мы вылетаем в Москву на всенародную встречу героя космоса, а вчера с половины десятого до двенадцати в присутствии чле-

нов комиссии и представителей промышленности Гагарин подробно рассказывал о полете и отвечал на многочисленные вопросы собравшихся. Потом мы немного погуляли в окрестностях дачи, сыграли несколько партий на биллиарде.

Со второй половины дня Юра начал готовиться к встрече в Москве. Рапорт Н. С. Хрущеву он освоил за полчаса, но первое время излишне торопился. После третьей тренировки этот недостаток был устранен. Довольно быстро было подготовлено и выступление на Красной площади. Впрочем, я уже по предполетным выступлениям Юрия знал, что он обладает хорошими задатками оратора.

Вечером два раза звонил Л. И. Брежнев по поводу ритуала предстоящей встречи на Внуковском аэродроме. Перед тем как отправиться спать, Юра примерил новую шинель. Чтобы помочь ему окончательно отрепетировать рапорт, мне пришлось несколько раз изображать Никиту Сергеевича.

И вот, в 10.40 московского времени мы стартуем на самолете Ил-18. В полете Гагарин знакомится с прессой, беседует с корреспондентами, раздает автографы. Километрах в пятидесяти от Москвы к нашему самолету пристраивается почетный эскорт — семерка реактивных истребителей. Юра передает им по рации: «Друзьям-истребителям горячий привет. Юрий Гагарин». Истребители благодарят за приветствие.

Проходим над Внуковским аэродромом, затем возвращаемся к Москве, пролетаем над Ленинским проспектом, над Красной площадью и улицей Горького. На аэродроме, на улицах и площадях Москвы — всюду толпы людей с транспарантами и портретами Гагарина. Наконец, садимся во Внуково. Ровно в час дня самолет останавливается в сотне метров от правительственной трибуны, открывается дверь, и Юрий Гагарин выходит навстречу своей большой и заслуженной славе.

Публикация Л. Н. Каманина

Публицистика

Юрий Рубинский

ФРАНЦУЗЫ У СЕБЯ ДОМА

ОТКУДА ВЫ РОДОМ?

Впервые знакомясь с человеком, у нас обязательно спросят его, где и кем он работает. Американец поинтересуется, сколько новый знакомый «стоит», то есть сколько он зарабатывает за год, вернее, будет ожидать, что собеседник сам охотно сообщит это, математически точно определив тем самым свое место и вес в обществе. Француз же задаст прежде всего вопрос: «Откуда вы родом?»

Поначалу вопрос этот меня очень удивлял. Я вежливо отвечал, что родился в Киеве, но до войны жил в Харькове, потом на Урале, а с 1946 года — в Москве, ввиду чего, естественно, считаю себя москвичом. Однако моего французского собеседника такой ответ никогда не удовлетворял, и он тут же переспрашивал: «А откуда тогда ваши родители?» Сообщив, что они увидели свет в нынешнем Днепропетровске, я окончательно заходил в тупик, когда обнаруживал совсем уж неожиданный интерес к месту рождения моих дедушек и бабушек, которое, к стыду своему, я вообще не знаю. Смею думать, что в таком же положении находится подавляющее большинство моих соотечественников, для которых предки в четвертом-пятом колене являются чем-то весьма далеким, туманным и абстрактным.

Тогда наступала очередь удивляться французу. Пожав плечами, он со своей стороны детально информировал меня, что родился он, скажем, в Лионе, но от отца-бретонца и матери-нормандки. По правде говоря, не совсем нормандки, поскольку ее родители перебрались в департамент Эр с Юго-Запада, а деревня их расположена на границе между Перигором и Шарантами. Родители же отца жили не вообще в Бретани, а в «стране галь», то есть в восточной части полуострова, где говорят не по-бретонски, а по-французски. Парижане «вообще» отличаются от «парижских парижан» тем, что спешат иногда уточнить, в каком именно из 20 округов столицы они родились, и уж обязательно скажут, откуда прибыли в Париж их родители, деды и даже прадеды по отцовской и материнской линиям, провинции которых они до сих пор считают своей родиной. Именно родиной, потому что если слово «отечество» они относят к Франции, то «родина» («страна») для них прежде всего определенное место, откуда пошли их предки. Во Франции землячество — один из самых распространенных способов установления контактов между незнакомыми людьми, случайно столкнувшимися в обществе, на работе и уж тем более на чужбине.

Долгое время это пристрастие задавать вопрос о месте рождения казалось мне загадочным. Для чего такая подозрительная дотошность? Ответ пришел далеко не сразу, но все же в конце концов я отыскал, как мне представляется, единственно приемлемое объяснение. Дело в том, что уроженцы различных провинций Франции пользуются в народе вполне определенной репутацией по части черт характера. Нормандец, например, считается человеком осторожным, сдержанным, что называется, себе на уме; он предпочитает отвечать на вопросы двусмысленно и неопределенно, чтобы не попасть впросак: недаром такой ответ называют «нормандским». Бретонец слывет крутым, своенравным упрямцем, с которым договориться не так-то просто, овернец — прижимистым и оборотистым

хитрецом, любящим прикидываться простоватым только для того, чтобы обвести вас вокруг пальца, корсиканец — гордым, не прощающим обид, верным узам родства, но «не убивающим себя работой». Лионец обязан быть скуповатым, бордосец — замкнутым, марселец — хвастливым.

Для любого француза привычный с детства шестиугольник карты Франции, испещренный прихотливым узором границ 35 тысяч коммун, 95 департаментов, 22 регионов,— это сетка координат, вне которой он чувствует себя как бы голым: уязвимо, незащищенно, неуютно. Француз помнит место рождения своих предков не только для того, чтобы чувствовать твердую почву под ногами. С одной стороны, он заранее предупреждает людей о том, с кем они имеют дело, вручает им своего рода визитную карточку, с другой — подсознательно определяет, как ему держаться с теми, кому он эту незримую визитную карточку вручает, предполагая, что от него вправе ждать.

Во Франции нация и ее рамки—централизованное национальное государство — сложились гораздо раньше и они прочнее, чем в большинстве стран Западной Европы. Бюрократическая централизация скрепляла нацию воедино так же, как железный обруч стягивает бочку французского вина. «Подобно железным опилкам под действием магнита, все силовые линии Франции — торговля, транспорт, политика и духовная жизнь — сходятся в одном центре — в Париже. Любая деятельность в стране втискивается, вжимается в эти рамки, еще более усиливая их геометрическую строгость»,— писал швейцарский публицист Герберт Люти. Но «единая и неделимая» республика, административная структура которой была выкована еще Наполеоном, до сих пор вопреки всему остается поразительно разнообразной. А в разнообразии, по убеждению французов,— залог духовного богатства и свободы.

Чтобы разобраться в пестрой мозаике, составляющей понятие «Франция», следует прежде всего почувствовать незримый, но четкий водораздел между Севером и Югом страны, проходящий где-то по течению Луары. В плотном потоке автомобилей всех марок и моделей — во Франции их 21 миллион! — струящемся день и ночь по французским дорогам, я не раз замечал машины, у которых сзади над номерным знаком наклеен оранжевый в красную полоску овал с буквами «ОС». Как выяснилось, принадлежат машины вовсе не нефтяным шейхам из экзотических княжеств Персидского залива, чьи «роллс-ройсы» украшены зелеными номерами с арабской вязью. «ОС» значит «Окситания» — так во времена раннего средневековья именовалась юго-западная часть страны, где люди говорили на особом романском языке — «окситане». Вся южная половина Франции — Прованс, Аквитания, Гасконь, Беарн, Лимузен, Марш — называла себя тогда «Ланг д'ок», поскольку слово «да» произносилось там как «ок» (имя «Лангдок» и поныне сохранил регион, примыкающий с северо-востока к Пиренеям). Севернее же Луары «да» произносилось как «ойль», и эта часть страны именовалась «Лангедойль». В наши дни, когда «да» и на Севере и на Юге Франции звучит одинаково — «уи», инерция прошлого все еще дает о себе знать. Даже не владеющий французским языком иностранец сразу же улавливает на слух специфический южный акцент, а для любого француза этот акцент заметнее, чем, скажем, другой цвет кожи,— он придает речи гасконцев или марсельцев неповторимый колорит.

На Юго-Западе, в районе Беарна, он имеет особый оттенок — там не грассируют, а раскатисто, на испанский манер произносят «р». Так говорили когда-то крупнейшие парламентские ораторы Франции — коммунист Жак Дюкло, социалист Венсан Ориоль — первый президент республики после войны. Если для респектабельных парижских салонов южный говор звучит вульгарно, даже плебейски, то у простого северянина он вызывает немного ироническую, но добрую улыбку — совсем как у нас одесский. На нем хорошо рассказывать соленые южные анекдоты, что бесподобно делал блестящий комический актер Фернандель, уроженец Прованса.

На средиземноморском Юге повсюду яркие цвета — голубизна неба, золото солнца, красноватая охра каменистой земли. Серебром отливает хвоя южных сосен-пиний с длинными мягкими иглами и листва оливковых деревьев. Под стать яркой природе и темперамент людей. Южане живее, экспансивнее людей Севера, их чувства, их речь, как и их кухня, сдобрены острыми приправами. Они говорят громко, не жалея ни красочных эпитетов, ни сравнений, ни превосходных степеней, любят поспорить, а иной раз даже повздорить друг с другом. Но не принимайте темперамент французов-южан за откровенность: он бывает нередко своеобразным способом скрывать свои истинные мысли и чувства. В теплом климате им душно и тесно сидеть дома, их тянет на улицу, в кафе, где можно погреться на солнышке, обсудить за стаканчиком «пастиса» — анисовой настойки, разбавленной водой, или за чашкой кофе последние местные сплетни. По воскресеньям на базарных площадях южнофранцузских деревень и городков, обсаженных могучими тенистыми платанами, у поросшего мохом фонтана собираются степенные мужчины (сейчас, правда, больше арабы-иммигранты, чем коренные французы) сразиться в карты, в домино, в «петанк» — игру, в которой бросают большие стальные шары.

Здесь, на юге, превыше всего ценятся семейные узы, личные связи, а отношения людей строятся на знакомствах и взаимных услугах. Это не всегда так уж безобидно: из услуг рождается клиентелизм, то есть круговая порука, прочно спаянная коррупцией. На унавоженной ею почве вырастают ядовитые грибы местных кланов — мафий во главе с «каидами» — вожаками банд, которые, не поделив доходы от торговли наркотиками, игорных домов, спекуляции земельными участками, порой с помощью автомата сводят между собой счеты на улицах Марселя.

Теперь обратим внимание на автомашины, где вместо оранжевого овала наклеен белый с буквами «СНТ». Это сокращение слова «штими» — прозвища северян, уроженцев Бретани, Нормандии, Пикардии, Артуа и Фландрии, где ничто не напоминает яркий солнечный Юг. Переменчивое перламутровое небо часто затянуто низкими, несущими дождь облаками, сырой прохладный ветер тянет со свинцовых вод Атлантики и Ламанша, полосы утреннего тумана стелются над влажными зелеными пастбищами, разделенными колючей проволокой, невысокими каменными оградами или «бокажами» — живыми изгородями. Вдоль дорог, усаженных по обе стороны стройными тополями и липами, раскинулись яблоневые сады. Задумчиво пережевывают жвачку медлительные пятнистые коровы, из молока которых приготовляют прославленные нормандские сыры — нежно-маслянистый камамбер, мягкий бри, деликатный пон-л'эвек. А еще дальше на северо-восток, в департаментах Нор, Па-де-Кале, на плоском, как доска, горизонте, над бесконечными полями картофеля и свеклы вырисовываются пирамиды угольных терриконов, силуэты доменных печей, сейчас большей частью заброшенных и ржавых. Севернее Шампани исчезают виноградники, лозу вытесняет хмель. Хотя северяне не пренебрегают вином, их любимый напиток — пиво, иногда яблочный сидр или крепкий старый кальвадос. Житель Лилля, например, не мыслит себя без кружки пива с «фритами» — жареной в растительном масле картошкой. Здесь почти нет характерных для Юга кафе со столиками на улице, крытыми от солнца ярко-красными маркизами или зонтиками; люди предпочитают укрываться от частой непогоды в уютных, заставленных массивной мебелью домах и квартирах.

«Север умеет жить,— утверждает профессор университета «Лилль-III» Марсель Жилле.— Повсюду живут и здравствуют следы той народной культуры, которой этнографы и историки возвращают сейчас чувство собственного достоинства». Здесь, на Севере, существуют самодеятельные клубы, кружки фольклора, по улицам городов Фландрии и Артуа в праздники ходят ряженые, в семьях женщины заботливо хранят и передают по наследству бабушкину мебель и кружева. В популярной французской песне поется, что на Севере Франции голубизна неба, которой не хватает здешней природе,— в глазах людей, а жар затянутого облаками солнца — в их сердцах. Действительно, если француз-северянин далеко не так общителен и разговорчив, как его провансальский соотечественник, то зато он считается основательнее и солиднее в делах, надежнее, вернее в дружбе.

Природные различия между Севером и Югом Франции усугубляются их

судьбами. Южная часть страны выросла из римской Галлии, где культура, навеки отмеченная печатью античности, тяготеет к соседним Италии, Испании. В Арле, Ниме, Оранже до сих пор высятся амфитеатры античных арен, стройные храмы и грандиозные акведуки, построенные рабами Рима. Марсель основали до нашей эры еще более древние обитатели Средиземноморья — греки-фокейцы, чем немало гордятся местные жители. В Провансе есть деревни, обитатели которых напоминают по своему облику средневековых арабов-сарацинов, обосновавшихся здесь еще задолго до крестовых походов; недаром местные конфеты «Каллисон д'Экс» с миндальной начинкой или нуга из Монтелимара — типичные восточные сладости.

Если Прованс перешел под французскую корону добровольным актом «доброго короля Рене» из Анжуйского дома — имя которого носят на Юге множество улиц и площадей, ресторанов и гостиниц, то с Юго-Западом дело обстояло гораздо сложнее и драматичнее. В 1209 году закованные в стальные доспехи северные рыцари-крестоносцы во главе с бароном Симоном де Монфором под предлогом искоренения ереси катаров-альбигойцев обрушились на юго-западные города. «Убивайте их всех — бог разберет своих!» — таков был клич свирепых пришельцев. Цветущий край, преданный огню и мечу, лежал в развалинах. И хотя с тех пор прошло почти восемь столетий, мрачная память об альбигойских войнах все еще жива, подобно тому, как на Руси живет память о нашествии Батыя и татаро-монгольском иге. В подсознании жителей Юго-Запада Север навсегда остался синонимом «варваров», навязавших силой свое владычество, что отчасти объясняет традиционный антагонизм между ними.

Северяне ведут свое происхождение от германских племен, франков, которые упорно сопротивлялись владычеству Рима и в конце концов сокрушили его своими набегами. Франкские княжества стали колыбелью французского королевства, выделившегося в IX веке из империи Карла Великого. Примерно тогда же здесь осели воинственные грабители — норманны, приплывшие из далекой Скандинавии, которые дали имя двум крупнейшим северным регионам — Верхней и Нижней Нормандиям. Именно Север начал собирать разношерстные французские земли вокруг королевского домена Иль-де-Франс и его столицы — Парижа. Поэтому люди Севера чувствуют себя сначала французами, а затем уже уроженцами отдельных провинций, тогда как некоторые южане — скажем, корсиканцы — наоборот.

Если учесть, что различия между жителями Страсбурга и Нанта немногим меньше, чем между уроженцами Лилля и Марселя, то напрашивается заезженный штамп: «Франция — страна контрастов». Но в данном случае он плохо применим. В мире есть страны с гораздо более резкими контрастами — например, Бразилия или Индия. Даже в соседних Италии или Испании различия между северными и южными провинциями, их жителями глубже, острее, чем во Франции, зато трудно отыскать страну с таким множеством тонких, едва уловимых оттенков. «Франция,— писал Луи Арагон,— это результат столкновения противоположных сил, вековой борьбы, великих бедствий и великих мечтаний. В ней на ограниченной территории можно увидеть больше разнообразия и контрастов, чем в любой другой стране. В иных краях можно проехать сотни километров без перемены декораций; у нас пейзаж меняется с каждым поворотом дороги. И как Париж — это целых двадцать городов, так и Франция объединяет целую сотню, если не больше, стран».

Нормой во французском языке считается произношение уроженцев луарской провинции Турени — родины Рабле. Это естественно, ведь именно Луара служит границей между севером и югом страны, где чуть ли не в каждой местности, помимо южного или северного акцентов, есть сугубо локальные говоры — «патуа» с деревенскими словечками, смысл которых недоступен чужаку-пришельцу. Если еще сто лет назад школьникам строго воспрещалось правилами поведения в лицее «плевать на пол и говорить на «патуа», то за последние четверть века интерес к местным наречиям явно повысился: «Разве быть больше пикардийцем или гасконцем значит быть меньше французом?» — резонно задает вопрос еженедельник «Пуэн». Наверное, характер француза потому так многогранен и противоречив, что он вобрал в себя, хотя и по-разному, черты уроженцев всех провинций страны. Старая французская пословица гласит: «Нужно всего понемногу, чтобы создать целый мир».

Конечно, в наши дни многое меняется. Современная промышленность и торговля, школа и университет, армия и средства информации безжалостно унифицируют умы и души французов, вытравляют из них оригинальность, формируют одни и те же условные рефлексы, стандартные мнения и вкусы на все случаи жизни. «Массовое сознание» и «массовая культура» становятся неизбежными спутниками американизированного «общества потребления», но в жизни людей, как и в природе, действие рождает противодействие, причем именно во Франции оно, пожалуй, остается более упорным, чем во многих других западноевропейских странах. Сопротивление французов натиску «культурного демпинга» из-за океана — вовсе не обязательно ностальгия по безвозвратно ушедшему прошлому. Это просто проявление такого благородного, высокого чувства, как патриотизм. Случаи массовой эмиграции в истории Франции были крайне редки: «Разве отечество уносят на подошвах своих башмаков?» — ответил Дантон друзьям, которые советовали ему эмигрировать за границу, чтобы избежать ареста и казни. Исключением было только массовое бегство в Германию, Швейцарию, Голландию, Англию двухсот тысяч протестантов-гугенотов, вынужденных спасаться от религиозных преследований после отмены Людовиком XIV в 1685 году гарантии веротерпимости — Нантского эдикта Генриха IV. 300-летняя годовщина этого печального события была отмечена во Франции в 1985 году как напоминание о трагедии насильственного отрыва от родины ее сыновей, гонимых слепой ненавистью к иноверцам.

Бродяжий дух англосаксонских «флибустьеров и авантюристов» колониальной эпохи был чужд недоверчивому, осторожному французскому крестьянину, упрямо цеплявшемуся за свой клочок земли. Значительное число французов осело лишь в канадской провинции Квебек, захваченной в XVI веке Жаком Картье, где до сих пор по-французски говорят 6 миллионов человек. Сейчас за границей постоянно живет и работает не более полутора миллионов французов, да и то многие из них к старости возвращаются умирать на родину.

Как-то раз я был приглашен в столицу Бургундии — Дижон на ежегодное собрание «Ордена великих герцогов Запада». Так называли династию могущественных местных феодалов, последний из которых, Карл Смелый, долго враждовавший с французским королем Людовиком XI, погиб в битве под Нанси в 1477 году. Хотя герцогский дворец в Дижоне еще стоит, самих герцогов там давным-давно нет. В освещенных факелами просторных залах за грубо сколоченными столами сидели мирные фермеры, виноторговцы, врачи, адвокаты, одетые в средневековые рыцарские наряды. Юноши и девушки в национальных костюмах пели старинные бургундские песни, плясали, читали стихи, после чего почетным гостям торжественно вручали пергаментные грамоты о возведении их в мифический ранг «офицеров Карла Смелого». Все это театральное представление было невинной бутафорией, способом убежать от провинциальной скуки (в сочетании, конечно, с вполне практической заботой о рекламе знаменитых бургундских вин), но такие церемонии, которых бывает очень много, не случайны. Дело в том, что французские провинции всегда отличали не только традиции, но и уровень хозяйственного развития. Бургундия, Нормандия, Эльзас слыли сравнительно богатыми, Овернь, Бретань, Корсика — бедными. Бретонские девушки уезжали на заработки в Париж, нанимаясь там прислугой, овернские крестьяне («бунья») развозили по столице мешки древесного угля для каминов, торговали за оцинкованными стойками дешевым вином; корсиканцы вербовались в колониальные войска, в полицию или же пополняли уголовный мир континентальной Франции.

Эти различия еще более усугубились сейчас, когда на фоне тяжелого структурного кризиса 70-х годов началось свертывание традиционных отраслей промышленности — угледобычи, металлургии, судостроения, текстиля. А поскольку они сосредоточены в определенных районах, то к старым «бедным» провинциям добавились новые, пораженные язвой хронической массовой безработи-

пы. Стоит ли удивляться, что уроженцы этих зон, мечтающие жить и работать в своей стране, душой и сердцем привязанные к ней, чувствуют себя лишними людьми? Француз, всегда считавшийся тяжелым на подъем, в поисках работы стал все чаще кочевать, менять место жительства, порывая с привычной средой. За последние годы это затронуло десятую часть населения страны. Было время, когда честолюбивые, полные надежд южане «поднимались» на север, в Париж, подобно д'Артаньяну на его кляче невиданной желтовато-рыжей масти. Теперь все наоборот — разочарованные северяне подаются на юг. Именно там развиваются сейчас суперсовременные виды производства — авиакосмическая индустрия, электроника, информатика, биотехнология, органическая химия, перекачивающие капитал и рабочую силу из старых, приходящих в упадок промышленных районов Северо-Востока. Впервые в истории страны население Прованса и Лазурного берега превысило число жителей Северо-Востока: «Франция становится южанкой»,— писала газета «Матэн».

Тяга к возрождению региональных традиций, культуры объясняется не только поисками своего индивидуального лица или, скажем, стремлением привлечь туристов. Она символизирует законную решимость защищать свои жизненные интересы перед лицом столичной бюрократии и не знающих отечества многонациональных корпораций. Даже консервативная правая газета «Фигаро» признавала: «В некоторых провинциях язык, культурная специфика стали чаяниями такого же порядка, как экономические требования, а нередко и способом народа выражать последние».

Жизненную необходимость децентрализации начали ощущать в последние 20 лет все политические партии страны, хотя каждая вкладывала в этот лозунг собственное содержание. Это затянуло давно назревшую реформу, проведенную только в начале восьмидесятых годов левым правительством при участии коммунистов. Исполнительная власть в коммунах, департаментах и регионах перешла от всемогущих представителей центральной власти — префектов (комиссаров республики) к выборным мэрам, председателям генеральных и региональных советов. Тем не менее последовательность этой реформы, ее финансовое обеспечение, а значит, и реальные результаты еще остаются под вопросом.

Рассказ о диалектике многообразия и единства, центростремительных и центробежных тенденций среди французов был бы неполон, не упомяни я о так называемых «маршах» — пограничных областях, населенных особыми этническими группами: Корсике, Каталонии, Стране Басков, Бретани, Эльзасе. В советской этнографии их коренных жителей, в соответствии с устоявшимися у нас научными критериями и практикой, принято именовать «национальными меньшинствами». Это вызывает во Франции непонимание и даже обиду, воспринимается как дискриминация, чуть ли не покушение на целостность «единой и неделимой» Французской республики. На мой взгляд (я не раз бывал в каждой из этих «стран», а в Эльзасе даже преподавал в страсбургском Институте политических наук), речь идет о явном недоразумении. Понятия «национальность» и «гражданство» по-французски звучат одинаково, что, кстати, записано в основном документе, удостоверяющем личность. Подавляющее большинство эльзасцев, бретонцев, басков, каталонцев и корсиканцев вовсе не помышляют об отделении от Франции, себя они считают французами. Настроенных сепаратистски крайних националистов среди них очень мало, хотя, с другой стороны, все эти народности сохранили и по сей день свою культуру, нравы, обычаи и преуспели в этом гораздо больше, чем, скажем, оверньцы, нормандцы, бургундцы. Население Франции составляет 55 миллионов человек, из них, по подсчетам еженедельника «Пуэн», 15 миллионов говорят на местных языках, понимают или иногда используют их. На эльзасском общается 1,5 миллиона человек, на бретонском — 700 тысяч, на корсиканском — 150 тысяч, на каталонском — 200 тысяч и 100 тысяч на баскском. Различные виды «окситана» (лимузенский, овернский, гасконский, лангдокский, провансальский) по-прежнему распространены среди 2 миллионов жителей трети департаментов страны. Попытки же возродить в наши дни окситанский или провансальский языки безнадежны. Максимум, что могут сделать энтузиасты,— это создать благоприятные условия для расцвета местного

фольклора, литературы, поэзии, что, в свою очередь, не даст отделить провинцию от духовной жизни Франции, а целом обогатит нацию. Надо сказать, что если на окраинах Франции местные языки неуклонно вытесняются французским, то, скажем, в деревнях они живы, как и традиционные праздничные наряды эльзасских и бретонских женщин,— огромные черные банты — «эльзасский узел», высокие или плоские чепцы из накрахмаленных кружев, которые носят в Бретани. Если тут идет борьба за сохранение своих традиций, своих культур, борьба в защиту социально-экономических интересов, то, например, на Корсике речь идет уже об элементарном выживании экономически обездоленного, превращающегося в заповедник для туристов острова, добрая половина населения которого из-за безработицы эмигрирует на континент. Правительство создает автономный регион на Корсике, вводит в Бретани преподавание в школах на бретонском языке, но эти меры оказываются полумерами, и дают они весьма ограниченный эффект, что толкает горстки отчаявшихся экстремистов на безнадежные акты слепого террора.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕС

Один из самых уютных уголков в сердце старого Парижа — Пале Руаяль. Здесь, за столиком старинного ресторана «Гран Вефур», существующего и поныне, любил играть в шахматы Иван Сергеевич Тургенев. В двух шагах от Лувра, за бывшим дворцом кардинала Ришелье, который всемогущий первый министр подарил перед смертью королю Франции, разбит классический французский сад с фонтаном и статуями. Его строгий прямоугольник замкнут аркадами, в тени которых расположились мастерские ремесленников, рестораны, антикварные лавчонки, торгующие самым неожиданным товаром — например, орденами всех стран и народов. Привлекла меня старинная вывеска с потертой золотой надписью: «Гравер-геральдист Гийомо. Фирма основана в 1784 году». Подумать только, всего через четыре года после основания фирмы в том же самом саду Пале Руаяля молодой журналист Камила Демулен призвал парижан на штурм Бастилии; многие из аристократов — клиентов г-на Гийомо — сложили свои головы под ножом гильотины на соседней площади Согласия, которая тогда называлась площадью Революции, а два столетия спустя его наследник все так же невозмутимо рисует тщеславным заказчикам средневековые гербы!

В этой лавке красуется роскошный альбом, составленный королевским геральдистом и переплетчиком XVIII века Пьером-Полем Дюбюиссоном, тем самым, который пользовался покровительством маркизы де Помпадур. Альбом содержит 3240 фамильных эмблем с червлеными полями, ромбами, башнями, фантастическим зверинцем времен крестовых походов: горностаями, львами, грифонами... «Книга Дюбюиссона представляет сегодня интерес еще и в той мере, в какой потомки этого знаменитого дворянства в большинстве своем все еще живут среди нас»,— сообщает рекламное объявление.

Однажды мы с женой зашли в гости к французскому художнику, талантливому и милому человеку. Хотя перед фамилией художника стоит дворянская приставка «де», я никогда не задумывался о его родословной, тем более что был он беден и предельно прост в общении. Случайно обратив внимание на старинный женский портрет, висевший над дверью гостиной, я ему заметил, что полотно напоминает работы Филиппа де Шампеня, крупнейшего портретиста XVII века. «Это и есть Филипп де Шампень,— сказал мой друг.— Здесь изображена одна из моих прапрабабушек по материнской линии — мадам де Бражелон». Любители романов Дюма-отца вообразят мое изумление и восторг: «Мишель, дорогой, да ты же настоящий виконт де Бражелон!..»

«Ну, положим, не виконт, а только скромный шевалье, как д'Артаньян,— улыбнулся Мишель,— но какое значение сейчас имеет титул? В нашем роду старшие сыновья всегда были офицерами кавалерии, сам я кончал Сомюрское

кавалерийское, ныне бронетанковое училище — прославленный «Кадр нуар». Так вот, после выпуска отец мне сказал: «Титул — это только бутылка от вина, а вино — ты сам. Будь же достоин этикетки!»

Изысканный и жеманный мир романов Марселя Пруста — мир светских салонов Сен-Жерменского предместья или, скажем, замка Германт, еще существует, но дни его сочтены. Нынешняя аристократия, если она не успела вовремя «позолотить» свои гербы браками с отпрысками богатых буржуа, если не ушла сама «в дела» или не служит в государственных ведомствах, с трудом сводит концы с концами. Как-то мне пришлось вести длительные переговоры с настоящей княгиней, представительницей одного из древнейших родов Франции; после долгих колебаний она любезно согласилась передать нашей стране копии писем супруги русского декабриста, которые в прошлом веке получала из сибирской ссылки ее родственница. Так вот эта княгиня откровенно призналась, что содержать в провинции замок с парком, даже если это и превращено в платный частный музей, стало в нынешние времена не по карману — одно отопление чего стоит, не говоря уже о садовнике! Потому-то она сравнительно недорого сдает для празднования свадеб и юбилеев свой парижский особняк с фамильными портретами чинных особ обоего пола в напудренных париках, а знакомый барон — не из тех, кому щедро раздавал короны Наполеон, а настоящий, потомственный — ныне служит в банке. Пригласив меня на субботу-воскресенье в родовое имение, он на моих глазах облачился в заляпанную цементом брезентовую спецовку и, взяв топор и пилу, полез чинить прохудившуюся крышу.

Фирма Гийомо, судя по всему, не жалуется на кризис жанра в геральдическом деле. Дух спесивого мольеровского «мещанина во дворянстве» господина Журдена все еще благополучно здравствует в среде французской буржуазии, которой до сих пор кружат головы звонкие аристократические имена. Отмененные революцией в 1790 году, дважды восстановленные в XIX веке, но не дающие более никаких официальных привилегий, дворянские грамоты сохраняются как частная собственность владельца, и, хотя последний имеет право требовать у министра юстиции проверки незаконно присвоенных титулов, они не так уж дефицитны: не удалось если заполучить их матримониальным путем, то можно приобрести по сходной цене. Для этого достаточно формального усыновления бездетным представителем дворянского рода, чьи родственники против этого не возражают. В конторе Гийомо имеются не только списки чистокровных аристократов, входящих в знаменитый «Готский альманах», но и увесистый двухтомник «Справочник фальшивого дворянства», где, между прочим, отыскал я немало знакомых имен.

Ремесло геральдиста, способного, если угодно клиенту, и придумать герб, дополняется не менее процветающей специальностью «генеалогиста». Копаясь в пыльных архивах коммун, перелистывая потрепанные приходские книги, он вычерчивает генеалогические древа, от основного ствола которых отходят боковые ветви троюродных тетушек или кузенов по женской линии. Такое оригинальное растение, напоминающее по очертаниям баобаб, не обязательно имеет в своих корнях благородных рыцарей, обитавших в средневековых замках на вершине холма и грабивших путников на ближайшей большой дороге. Основателем рода вполне может оказаться скромный буржуа, ибо к своей генеалогии обращаются зачастую из весьма меркантильных соображений, в расчете, например, на неожиданное наследство, но все-таки объяснять интерес французов к своей родословной только тщеславием или жадностью было бы несправедливо. Главный побудительный мотив — бескорыстное стремление узнать не только откуда ты, но кем были твои предки. Это помогает французу лучше ощутить свою особую индивидуальность в анонимном и, увы, обезличенном мире.

В воскресном приложении газеты «Монд» есть специальная рубрика — «Генеалогия». По словам автора одной из статей, генеалогист-любитель не ограничивается установлением имен и степеней родства своих предков. Он должен выяснить, кем они были «физически, интеллектуально и морально», а это подразумевает сбор сведений о бытовых происшествиях, о случаях из жизни родственников, о профессиях предков, их материальном положении, успехах и неудачах в делах, об их отношениях с женами и мужьями, детьми и друзьями. Это и семейные анекдоты, и поиски окружавших их предметов — словом, генеалогист-любитель делает все то, чем обычно занимаются историки или литературоведы при написании биографий великих людей. И порой оказывается, что жизнь простого, ничем, казалось бы, не выдающегося человека, говорит о прошлом и больше, и красноречивее!

Стоит ли удивляться, что весьма непочтительные к пыльным архивам французские школьники проявили большой интерес к лекции специалиста по генеалогии Анри Дюваля, после которой скудные сведения о своих предках они стали закладывать в учебную электронно-вычислительную машину, чтобы спустя полгода подарить родителям по семейному альбому.

Конечно, генеалогическими изысканиями увлекается далеко не каждый француз. Но эта сторона их жизни достойна, как мне кажется, внимания хотя бы потому, что имеет прямое отношение к проблеме социальной справедливости. Французский национальный институт статистики и экономических исследований ИНСЕЕ путем опросов изучил происхождение представителей различных классов, и оказалось, что до сих пор около половины руководящих кадров таковыми являются уже в третьем поколении, как, впрочем, половина опрошенных рабочих — это дети и внуки рабочих. Таким образом, французское общество во многом остается кастовым.

Многие французы, не возводя свой род к «благородным» предкам или, на худой конец, к чиновникам, гордятся крестьянским происхождением. Особенно высоко оно котируется у политиков, которым по характеру деятельности нужно добиваться популярности в народе. Иметь предка «от земли» для них гораздо почетнее, чем, скажем, быть сыном бакалейщика или внуком торговца скобяными изделиями. Парадокс: классическая страна мещанского индивидуализма, где заветная мечта обывателя — маленькое собственное «дело» для наследника — лавка, кафе, ремесленная мастерская, работа в которых позволит тому перейти «на свой счет», словно бы стыдится своего буржуазного происхождения! Крестьянское прошлое настолько прочно в подсознании французов, что дает себя знать ощутимее, чем у большинства других народов. «Немногие западные народы цепляются так упрямо за свое крестьянское происхождение или восхваляют сельские добродетели с таким ритуальным пылом,— писал о французах американский социолог Гордон Райт.— ...Нигде так много горожан не рассматривают своих крестьянских предков как знак отличия». Не следует, конечно, принимать всерьез отдающее ханжеством умиление иных горожан буколическими «крестьянскими добродетелями». В рецензии на телефильм о «крестьянском наследии» газета «Монд» писала: «Всегда бывает так, что восхваляют группы людей, которых долго презирали, в тот самый момент, когда они начинали исчезать. С крестьянами обстоит дело так, как с американскими индейцами». Вечно спешащий парижанин, особенно если он за рулем, и сейчас презрительно обзовет неуклюжего сельского жителя «навозником» или «земляной задницей», возможно, даже не догадываясь, что и у него самого реакция на множество жизненных ситуаций будет если не точно такой же, как и у его далекого крестьянского предка, то довольно сходной. Страстная привязанность к своему клочку земли, пусть это даже не поле и не виноградник, а хотя бы и маленький садик, огородик, цветник на участке, возделывание которого остается для французов одним из самых популярных видов отдыха, домовитость и умение считать сантимы — все это, безусловно, типичные свойства крестьянской психологии.

ПОТОМКИ АСТЕРИКСА

Яркие эпизоды национального прошлого Франции без преувеличения столь же неотъемлемая часть родословной каждого француза, как и бабушкины письма в старинной шкатулке, а портреты исторических персонажей хранятся вместе

с пожелтевшими фотографиями в его семейном альбоме. Раньше вообще считалось, что французы, домоседы по натуре, плохо знают географию, но зато хорошо знают историю. Затем положение изменилось. Многие вехи прошлого французы подзабыли. Вину за это возлагают и на школьные программы, формировавшиеся в духе «Анналов» — одного из течений французской историографии, сторонники которого сделали упор на изучение «количественно измеримых» факторов жизни французского общества на различных этапах его развития, отойдя от старых метóд с их бессмысленным зазубриванием дат и анекдотов из жизни великих людей.

В теории все было гладко, но на практике был допущен известный перегиб: история в школе, теснимая естественными предметами, стала терять связность, конкретную сюжетно-хронологическую основу, из нее выпадали многие крупные факты, события, имена. Все это несколько напоминало наши крайности 20-х годов, когда ученики не могли сказать, кем же была Екатерина Вторая, зато знали, что она «продукт нарастающего влияния торгового капитала»... Был проведен опрос учеников в старших классах французских лицеев, и оказалось, что больше половины опрошенных понятия не имеют, в каком, например, году произошла Великая Французская революция, а кардинала Ришелье они даже зачислили в участники этой революции.

Всполошились родители, забила тревогу печать. Не обошлось, разумеется, без сведения счетов между представителями соперничающих течений исторической науки. Были приняты срочные меры: министерство народного образования провело в южном городе Монпелье специальный коллоквиум о преподавании истории в школах, а результатом его стали более сбалансированные школьные программы.

И все-таки интерес француза к истории страны очень высок. Согласно опросу, проведенному институтом Гэллапа в 1983 году, 67 процентов французов заявили, что они интересуются, а некоторые даже «страстно увлекаются» историей. За один только 1982 год спрос на историческую литературу подскочил на 30 процентов. Полки французских книжных магазинов буквально ломятся под тяжестью солидных научных трудов и популярных очерков, мемуаров и исторических романов, красочных альбомов для читателей всех возрастов и самых разных вкусов, биографий Людовиков, Генрихов и Карлов, бесчисленных их фавориток и министров. Фильмов же, телепередач и спектаклей на исторические темы, где звенят шпаги и страдают красавицы в старинных платьях, вообще не счесть.

В замках, церквах, музеях по воскресеньям встретишь не только толпы иностранных туристов, щелкающих фотоаппаратами, но и скромно одетых, немного робких французских посетителей, которые с интересом разглядывают и пышную спальню Марии-Антуанетты в Версале, и выцветшие, пропитанные пороховым дымом знамена секций Парижской Коммуны в музее Карнавале, и знаменитую треуголку Наполеона, и трехцветные нарукавные повязки бойцов Сопротивления времен второй мировой войны.

Еще лет 40—50 назад французские школьники прилежно писали на классных досках: «Наши предки были галлы». По воле правителей «единой и неделимой» республики, чьи колониальные владения простирались тогда на трех континентах, ту же фразу выводили смуглые ручонки маленьких арабов и сенегальцев, кхмеров и полинезийцев. Речь шла о кельтах, пришедших на территорию нынешней Франции из долины Дуная в VII веке до нашей эры. Французы с гордостью приписывают им изобретение множества обиходных предметов — от бочки, двухколесной повозки и матраца до мыла, плаща и даже... штанов, что вызывает законный скептицизм иностранцев. Кельтские племена, жившие в условиях родоплеменного строя, не знали единого государства; героическое, но беспорядочное сопротивление галлов легионам Цезаря в I веке до нашей эры завершилось битвой при Алезии, где римлянами был взят в плен молодой вождь галльского племени арвернов Верцингеторикс.

Теперь же в сознании французов прочно утвердился образ их легендарного предка — высокого, крепкого, с развевающейся гривой светлых волос, длинными

висячими усами и суровым взглядом из-под мохнатых бровей (хотя, по некоторым данным, так скорее всего выглядели германцы, а настоящие галлы были брюнетами), одетого в просторную холщовую блузу с медными пряжками и рогатый шлем, с коротким прямым мечом на боку. На основании римских источников галлов рисуют «смелыми, сообразительными, умеющими красиво говорить, общительными, но безрассудными, тщеславными, неустойчивыми и абсолютно неспособными к соблюдению какой-либо дисциплины». В этих особенностях характера, комментирует современный французский историк де Бертье де Совиньи, «можно узнать немало черт, приписываемых иностранцами французам во все времена».

Сегодняшний француз чувствует себя прямым потомком галлов со всеми их предполагаемыми достоинствами и недостатками благодаря не столько школьным учебникам, сколько смешному человечку Астериксу, придуманному в 1959 году художниками Рене Госинни и Альбером Юдерзо. В отличие от персонажей американских «комиксов», Астерикс — забавный, маленький галл с висячими усами песочного цвета, на голове — крылатый шлем. Живет он в деревушке, расположенной в Арморике — нынешней Бретани, обитатели которой мужественно сражаются с римскими захватчиками, но постоянно ссорятся между собой, чтобы помириться только за пиршеством. Перед Астериксом трепещет сам Юлий Цезарь, а помогает мужественному воину волшебная мазь, которую приготовил жрец-друид, друг Астерикса, могучий, но недалекий каменотес Обеликс. Успех Астерикса превзошел все ожидания — к его 25-летнему юбилею в свет вышли 27 альбомов на многих языках мира общим тиражом 150 миллионов экземпляров и было снято множество мультфильмов.

На северо-востоке от Парижа, в Пикардии, решено было разбить большой туристический комплекс для детей и взрослых — «Парк Астерикса». Хотели построить и «галльскую деревню», но, к сожалению, этот проект в последнее время зачах. Зато полным ходом идет подготовка к сооружению грандиозного туристического киногородка «Диснейленд» по калифорнийско-голливудскому образцу, что достаточно красноречиво говорит о масштабах американизации французской культурной жизни.

Сомерсет Моэм в одном из своих рассказов писал, что типичные черты национального характера французов воплотились в творчестве трех писателей-классиков: Рабле, Лафонтена и Корнеля. Рабле символизирует «галльский дух». Это непочтительность к авторитетам, привычка без ложного ханжества называть вещи своими именами, склонность к фривольной шутке, не всегда отвечающая чопорным стандартам приличия других народов. Лафонтен — это солидность, здравый смысл знающего жизнь крестьянина. Корнель — красивый жест и дерзкая бравада, символом которых является «панаш» — пышный султан на рыцарском шлеме. Все эти черты отождествляются в сознании француза с определенными персонажами истории Франции. Раблезианская радость жизни — это Франциск I, чей грандиозный замок Шамбор высится на Луаре. Неугомонный забияка, одержавший блестящую победу при Мариньяне в 1515 году (одна из немногих дат, крепко засевших в голове любого школьника), но разбитый наголову и попавший в плен в битве при Павии. Франциск, самый ренессансный из королей Франции, вывез из своих итальянских походов любовь к искусству и Леонардо да Винчи с его гениальной «Джокондой». С луврских портретов Жана Клуэ и Тициана на нас смотрит хитрец с длинным носом ростановского Сирано де Бержерака и лукавой, двусмысленной улыбкой ловеласа на чувственных губах.

Здравый смысл лафонтеновских басен олицетворяет, разумеется, Жан-Батист Кольбер, всесильный министр-буржуа Людовика XIV; всегда одетый в подчеркнуто скромное черное платье, оттененное лишь белым кружевным воротником, этот внешне некрасивый сын руанского торговца сукнами педантично считал каждый су государственной казны. Он не бряцал шпагой, а приводил в равновесие доходы и расходы страны, и его кровными врагами были не императорский дом Габсбургов, а казнокрадство и бюджетный дефицит. Он боролся с разъеденной взяточничеством гражданской администрацией, брал под охрану леса и водоемы (за 400 лет до нынешних защитников окружающей среды!), поощрял

развитие промышленности и торговли, строительство мощного флота и организацию заморских экспедиций. Для любого французского министра финансов сравнение его с Кольбером звучит высшим комплиментом и по сей день.

По части же «панаша» у французов, как они сами говорят, «затруднение в выборе». Наполеон держит речь перед войсками во время экспедиции в Египте: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с вершины этих пирамид!». Маршал Камброн в битве при Ватерлоо заявляет: «Гвардия умирает, но не сдается!» (добавив, правда, при этом не совсем литературное словечко, которое и сейчас служит самым расхожим французским ругательством, именуемым «словом Камброна»). Подобных звонких фраз, порой подлинных, а зачастую и придуманных впоследствии, французская история хранит великое множество.

Конечно, французы (к сожалению, далеко не все) отдают себе отчет в том, что в жизни эти противоречивые качества не могут существовать в чистом виде, одно без другого,— иначе нарушается такое важное свойство их национальной психологии, как чувство меры. «Галльский дух» рискует обернуться тогда циничным, вульгарным шутовством, здравый смысл — обывательской трусостью и скупердяйством, а «панаш» — наглым позерством и самовлюбленностью. Поэтому наибольшим уважением и симпатией пользуются те выдающиеся личности прошлого, которые умели сочетать величие с трезвым расчетом, преданное служение интересам государства — с мудрой иронией, понимающей и извиняющей человеческие слабости, не чуждые им самим. Отсюда популярность таких фигур, как король Генрих IV — «вечный ухажер», любимец женщин, но терпимый и осторожный правитель, замиривший измученную религиозными войнами страну,— кардинал Ришелье или генерал де Голль.

Иностранцев вообще, а особенно американцев, эти французские черты одновременно забавляют и раздражают. «Не много ли французы о себе думают?» — в сердцах негодует иной самоуверенный господин, недоумевая при этом: почему французы становятся упрямыми, трудными, порой неприятными собеседниками и партнерами как раз тогда, когда дела их оставляют желать лучшего.

Мне кажется, что причина здесь вовсе не во фрейдистском «комплексе неполноценности», который толкает к самоутверждению. В трудных обстоятельствах француз стремится сохранить свое лицо, свое национальное и человеческое достоинство. «Потеряно все, кроме чести»,— писал Франциск I своей матери Луизе Савойской после поражения в битве при Павии. «Я слишком беден, чтобы склонять голову»,— повторял Черчиллю де Голль, когда был руководителем эмигрантского движения Свободной Франции в Лондоне.

Может быть, в этом и надо искать истоки французского «панаша»? Недаром в национальной эмблеме Франции не орлы и не львы, а галльский петух с высоким гребнем «шантеклер», красующийся на остроконечных шпилях ее деревенских колоколен. Он возвещает зарю, разгоняя своим победным кличем силы тьмы, и его задорный характер — наследие той старой крестьянской цивилизации, где мерилом человеческих качеств служат не только богатство и сила, но труд и талант, ум и вкус, врожденная культура и умение держаться — словом, все то, что приобретается ценой пота и крови бессчетных поколений пахарей, ремесленников, воинов, родившихся на французской земле и сделавших ее такой, какая она сегодня.

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ»

Сравнение с другими народами помогает каждому из них острее почувствовать собственную индивидуальность, точнее, найти свое особое место в общечеловеческой семье. Это справедливо и для французов, которые за рубежом инстинктивно обращают внимание не столько на то, что резко отличается от Франции, сколько на то, что напоминает о ней. Все эти наблюдения служат неисчерпаемым кладезем французских анекдотов: бельгийцы со своим медлительным валлонским выговором неизменно выступают в них в амплуа лишенных чувства юмора наивных простаков-тугодумов, швейцарцы — скуповатых и расчетливых педантов, итальянцы — любителей приврать. В словаре французских прописных истин турок обязательно силен физически, грек — оборотист, поляк — не дурак выпить. Писатель-сатирик Пьер Даниннос писал: «Французы убеждены в том, что они никому не желают зла. Англичане высокомерны, американцы стремятся господствовать, немцы — садисты, итальянцы неуловимы, русские непостижимы, швейцарцы — швейцарцы. И только французы удивительно милы. А их обижают».

Распространенные во Франции традиционные стереотипы характерных черт тех или иных наций Западной Европы уходят корнями в ее бурную историю, изобилующую кровопролитными конфликтами. Столетняя война и Ватерлоо, Седан и июнь 1940 года отравляли отношение многих поколений французов к «наследственным врагам» — англичанам и немцам (точно так же, как для испанцев или итальянцев «наследственный враг» — сама Франция). Сынов «коварного Альбиона» французы упрекали в своекорыстии и эгоизме, германские соседи внушали опасения своей жесткой дисциплиной и организованностью, трудолюбием и агрессивностью. Теперь эти стереотипы постепенно выветриваются. К 2000 году численность населения во Франции, ФРГ, Англии и Италии примерно сравняется. В производстве валового национального продукта Франция давно уже обогнала Англию, но отстает от ФРГ, превосходя ее зато в военном отношении, поскольку она ядерная держава. Былые соперники в борьбе за европейскую гегемонию не внушают более особых комплексов французскому обывателю, который трезвее стал воспринимать характер своих партнеров по «Общему рынку» за Рейном и Ла-Маншем. Перед лицом таких гигантов, как СССР, США, Китай, Индия, французский буржуа волей-неволей чувствует себя в одной западноевропейской лодке, какие бы внешние бури и ссоры ни раскачивали самих пассажиров.

Неоднозначные чувства испытывает француз к американцу. Он уважает его энергию, его упорство, завидует богатству, но... Разумеется, юбилей маркиза де Лафайета, помогавшего молодым Соединенным Штатам в войне за независимость, или годовщины высадок американских войск во Франции во время двух мировых войн дают повод для официальных церемоний, где с обеих сторон говорится немало медоточивых слов, но даже консервативный буржуа, самый что ни на есть правоверный «атлантист», который видит в США страховку от «красной опасности» и пример для подражания в делах, с трудом переваривает бесцеремонность заокеанского «старшего партнера», в глубине души утешаясь тем, что уж умению жить американцу следует набираться только в Париже.

«Ну, а как французы относятся к нам?» — всегда спрашивают меня дома. В таких случаях я даю осторожный «нормандский ответ»: «Все зависит от того, какие французы». Одни открывали Россию благодаря Толстому, Достоевскому, Чехову; другие узнавали о ней из лубочных книжек графини де Сегюр (урожденной Ростопчиной) о приключениях генерала Дуракина или из ядовитых пасквилей маркиза де Кюстина. Русские традиционно пользовались среди французов симпатией, хотя иногда и окрашенной далекими от реальности представлениями о загадочной «славянской душе». В нас они ценят то, чего иной раз не хватает им самим,— размах и широту, сердечность и щедрость, выдержку и стойкость в беде. Мы не соседи, пограничных споров у нас с Францией никогда не было, и с середины прошлого века французы и русские не скрещивали на поле боя оружия, а наоборот, в обеих мировых войнах сражались против общего врага. Тысячи советских людей, бежавших из гитлеровских лагерей и павших в рядах французского Сопротивления, покоятся в земле Франции.

И все-таки отношение к нам неоднозначно, оно колеблется в очень широком диапазоне — от горячей искренней дружбы до непримиримой, злобной вражды. Дело здесь вовсе не в исторических традициях — ведь речь идет не о «вечной России», а о Советском Союзе. У французов есть типичная склонность при-

давать своим национальным проблемам некое международное измерение, а события в мире или в отдельных странах «примерять» к французским реальностям. Пытаясь объяснить симпатии, вызванные в левом движении Франции Великой Октябрьской социалистической революцией, швейцарец Г. Люти отмечал: «Франция всегда видела и понимала внешний мир лишь как продолжение ее самой... Для французских левых Советский Союз не чужая страна. Кремль в их глазах возвышается на площади Ратуши в Париже, где были провозглашены все республики и Коммуна. Для них большевистская революция — лишь завершение славной Французской революции, а расхождения между этими революциями — дело семейное, того же порядка, что между жирондистами и монтаньярами, сторонниками Дантона и Робеспьера, коммунарами и версальцами». В свою очередь все те, кто чувствует себя духовными наследниками роялистов, переносят свою ненависть из прошлого в настоящее. Для них антисоветизм вне Франции — синоним антикоммунизма внутри нее. Можно сейчас столкнуться с патологическим антисоветизмом и в «левом» лагере, особенно среди тех, кто изменил своим прежним убеждениям, «вывернул пиджак наизнанку», как говорят французы.

А как воспринимает француз народы «третьего мира», прежде всего те, на которые еще отбрасывает тень былое колониальное величие Франции? Любое событие в этих странах бередит плохо затянувшиеся раны времен индокитайской и алжирской войн, когда политическая борьба в метрополии вокруг судеб империи грозила вылиться в гражданскую войну между самими французами. Француз, в зависимости от своей социальной принадлежности и политических симпатий, либо обижен на «неблагодарных» арабов и африканцев за то, что они не оценили «благодеяний» бывшей метрополии, не прочь позлорадствовать по поводу их трудностей, либо наоборот, испытывает определенную неловкость, чувство вины за пережитую ими нещадную эксплуатацию, за кровь колониальных авантюр. К сожалению, речь идет не только о далеком прошлом. Недавно накалилась обстановка в небольшой заморской территории Франции на Тихом океане — Новой Каледонии, где вспыхнул конфликт между коренным населением — канаками и европейцами — кальдошами, и на стенах Парижа вновь, как много лет назад, появились намалеванные жирной краской лозунги: «Новая Каледония — французская!». Опять то тут, то там замелькал «кельтский крест» в круге — эмблема неофашистов. Конечно, события в Новой Каледонии гораздо менее масштабны и драматичны, чем в свое время в Алжире.

Склонность иного обывателя видеть в иностранцах «козлов отпущения», винить их во всех своих неприятностях особенно опасна, когда объектом неприязни оказываются люди, живущие не за тридевять земель, а тут же, рядом, в самой Франции, и отличаются они внешним видом, цветом кожи, языком или произношением, бытом и нравами, религией — в этом, если хотите, истоки болезненной проблемы Франции — расизма...

В Западной Европе трудно найти этнически менее однородную нацию, чем французы, предками которых были не только кельты, но и дальние предшественники галльских племен — лигуры, аквитаны, иберы (от которых пошли современные баски), греки и римляне, германцы — вестготы, бургунды, аламаны, франки, давшие название стране норманны и многие другие. И в более близкие к нам времена во Францию не прекращается приток выходцев из других стран — как соседних, так и более отдаленных. В парижском культурном центре имени Жоржа Помпиду как-то была устроена выставка, на одном из стендов которой я обнаружил интереснейшую статистику. Оказывается, в 1850—1975 годах во Францию въехали на постоянное жительство около 50 миллионов человек — немногим меньше, чем проживает там сейчас французов. Каждый четвертый француз может отыскать в одной из ветвей своего генеалогического древа итальянца, испанца, немца, поляка... Талантливый комический актер и клоун итальянского происхождения Колюш (Колуччи) как-то заметил: «Француз — это иностранец, который не любит иностранцев».

Стоит ли удивляться, что коренные французы лишены ярко выраженных антропологических черт? Вспомним хотя бы таких популярных французских киноактеров, столь непохожих друг на друга, как Луи де Фюнес и Жан Габен, Пьер Ришар и Филипп Нуаре, Катрин Денев и Анни Жирардо! Еще более разношерстна парижская толпа, и в то же время она более «усреднена», чем прохожие на улицах любых других европейских городов, особенно скандинавских, где преобладает классический северный тип высоких, худощавых и голубоглазых блондинов, или средиземноморских, где чаще попадаются низкорослые, коренастые, по-южному смуглые брюнеты. Север и Юг Европы встретились и смешались именно на французской земле, на берегах ленивой, медленно текущей Луары. «Франция — не раса, а культура»,— заметил бывший премьер-министр Раймон Барр.

В стране, согласно переписи 1982 года, насчитывалось около четырех с половиной миллионов иностранных граждан. На первом месте оказались португальцы, затем алжирцы, итальянцы, марокканцы, испанцы, тунисцы, турки, уроженцы стран Индокитая, югославы, бельгийцы. Меньше всего выходцев из Сенегала, Камеруна, Ливана. Официальные цифры не дают, однако, полной картины. Немало иностранных рабочих-иммигрантов прибывает во Францию нелегально и живет по фальшивым документам, изготовление которых стало процветающим промыслом. Постоянно находясь под угрозой высылки, они оказываются жертвами наиболее жестокой эксплуатации.

Иммигранты, составлявшие в 1985 году около восьми процентов всего населения Франции и около семи процентов самодеятельного населения, заняты на самых тяжелых, грязных, низкооплачиваемых работах, особенно в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, угледобыча. В последние годы их труд используют на потогонных конвейерах французских автозаводов. Улицы Парижа убирают малийцы, гостиницы обслуживают испанки, арабы копают траншеи для коммуникаций и кладут кирпичи новых домов.

Большая часть иностранцев сосредоточена вокруг крупнейших промышленных центров — Парижа, Лиона, Марселя. Города северо-восточных департаментов Нор и Па-де-Кале заселены шахтерами-поляками. Русские белоэмигранты селились в Пасси и в Медоне — к западу от Парижа. Нынешние выходцы из арабских и африканских стран осели в северо-восточных округах столицы. В лавчонках под вывесками с арабской вязью торгуют коврами, яркими тканями, покрывалами, всевозможным третьесортным тряпьем. В здешних кинотеатрах идут египетские и индийские фильмы, из дешевых ресторанчиков и кафе доносится запах кускуса — пшеничной каши с овощами, мангалы несут густой дым мергезов — сосисок, в которых больше жгучего красного перца, чем баранины. Худые высокие малийцы или сенегальцы раскладывают прямо на тротуаре кустарные африканские сувениры из кожи и поддельной слоновой кости, металлические запястья и кольца, и все это разительно напоминает не только узкие кривые улочки алжирской «касбы» или марокканской «медины», но и черные «гетто» Нью-Йорка, Бостона. Недавно в Париже появилась копия типичного заокеанского «чайнатауна», где живут выходцы из Гонконга, стран Юго-Восточной Азии.

В 60-х годах, на которые приходится пик иммиграции, она не создавала острых социальных или психологических проблем: темпы роста экономики были сравнительно высокими, безработица — небольшой, дешевая импортная рабочая сила служила немаловажным козырем французских промышленников в борьбе за мировые рынки. Знакомые французы в один голос уверяли меня тогда: «У нас возможен национализм, даже шовинизм, но расизм — никогда!» Действительно, какой там, казалось бы, расизм в стране величайшего смешения народов, на родине Декларации прав человека и гражданина? И все-таки даже в те времена на месте моих французских друзей я проявил бы большую осторожность в оценках и прогнозах, ведь сам термин «расизм» (как, впрочем, и «шовинизм») родился именно во Франции: его изобрел еще в XIX веке граф Жозеф-Артюр де Гобино — дипломат и писатель, выпустивший трактат «О неравестве человеческих рас».

В конце XVIII века один из основателей Соединенных Штатов, Бенджамин Франклин, в порыве благодарности французам за помощь в борьбе аме-

риканских колоний за независимость от британской короны сказал: «У каждого человека есть два отечества — свое собственное и Франция». Спустя два с половиной столетия сатирик Пьер Данинос поправил его: «Однако пусть иностранец будет настороже, если только, буквально поняв это знаменитое выражение, он решит принять французское гражданство (что, кстати, не так-то просто.— **Ю. Р.**). Ему быстро дадут понять, что вторая родина — далеко не то же самое, что первая, и если ему что-нибудь не нравится — в конце концов, Франция для французов!»

В справедливости этих слов могли не раз убедиться полноправные граждане Французской республики, живущие в стране на протяжении многих поколений,— французы еврейского, армянского или цыганского происхождения. Кануло, казалось бы, в далекое прошлое позорное «дело Дрейфуса», массовые полицейские облавы времен гитлеровской оккупации, когда десятки тысяч «расово чуждых» французских граждан сгоняли на Зимний велодром в Париже перед отправкой в лагеря смерти. Страшные названия этих лагерей — Освенцим, Майданек, Берген-Бельзен, Дора, Равенсбрук, Бухенвальд — выбиты бронзовыми буквами на мемориалах, сооруженных на восточном мысе острова Сен-Луи на Сене, в старинном парижском квартале Марэ. И вдруг несколько лет назад преподаватель из Лиона мсье Фориссон преспокойно сообщает своим слушателям, что в газовых камерах лагерей смерти просто-напросто проводили... дезинфекцию одежды заключенных, «газировали вшей», ввиду чего цифры погибших там людей «сильно преувеличены». Сенсационное «открытие» Фориссона напомнило о живучести расистских рефлексов в подсознании части мещанства.

Во Франции зловещий симптом расистских настроений впервые дал о себе знать в 50-е годы — во время алжирской войны. Именно тогда с другого берега Средиземного моря во французский лексикон вползло грязное словечко «ратонада» («ратон» — «крысенок», одна из презрительных кличек арабов). Имелся в виду антиарабский погром, когда людей со смуглым цветом лица и курчавыми волосами преследовали на улицах Парижа, избивали до полусмерти, бросали с мостов в Сену. Причем занималась этим не горстка полупьяных неофашистов, а сами полицейские, которые искали среди арабов-иммигрантов представителей Фронта национального освобождения Алжира (ФНО) и мстили за гибель в уличных перестрелках нескольких своих коллег.

Гораздо более тяжелый приступ все той же болезни потряс страну четверть века спустя, когда на фоне затяжного экономического кризиса начала быстро расти безработица, охватившая, по официальным данным, 2,7 миллиона человек, а фактически около 3 миллионов, то есть свыше 10 процентов самодеятельного населения. Болезненными последствиями этого стал быстрый рост насилия, преступности и наркомании, особенно среди наиболее чувствительно затронутой безработицей молодежи. Когда каждый десятый работоспособный француз не имеет возможности трудиться и выбит тем самым из колеи нормального существования, он невольно задается вопросом: «Кто в этом виноват?». И тогда на него не действуют разумные доводы противников расизма, с цифрами в руках доказывающих, что рабочие-иммигранты внесли своим трудом огромный вклад в развитие французской экономики, исправно, как и все, платят взносы в фонды соцстраха, из которых им выплачиваются пособия. К тому же, по данным опросов, почти половина французов не склонна выполнять их тяжелую, малоквалифицированную работу. Ссылаясь же на то, что среди иммигрантов высок уровень преступности, умалчивают, например, о том, что безработица среди иностранцев вдвое выше, а она-то и является основной почвой для правонарушений...

Стоит ли после всего этого удивляться, что инциденты на расистской почве стали за последние годы не чрезвычайными происшествиями, а повседневной реальностью? То араба откажутся обслуживать в кафе («столики зарезервированы заранее»), то не пустят в плавательный бассейн («мест нет»), то выгонят из дискотеки («пристает к женщине»). Хуже того — нервный обыватель, которого раздражает шум, не долго думая, стреляет из охотничьего ружья в окно кафе, где собрались рабочие-турки, и убивает ни в чем не повинного человека. Всю страну потряс чудовищный случай, когда четверо пьяных солдат-новобранцев избили до смерти и выбросили из мчавшегося поезда случайного спутника-араба: история эта послужила темой для фильма, снятого известным актером Роже Анэном.

Олицетворением современного французского расизма и его знаменосцем выступает лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Свою политическую карьеру он начал в 1956 году, когда был избран депутатом от «Союза защиты торговцев и ремесленников» (движение мелких лавочников, недовольных налогами.— **Ю. Р.**), уже тогда выступавшего под лозунгами ультраколониализма, национализма и антикоммунизма. Потом воевал в Алжире, лично участвовал в истязаниях парашютистами пленных арабов. После окончания войны стал адвокатом и, оказавшись наследником одного из своих богатых приверженцев, умершего при весьма подозрительных обстоятельствах, завладел миллионным состоянием. Остается удивляться, что этот проходимец вдруг вырос в политическую фигуру национального масштаба, что партия его собрала в 1988 году на выборах свыше 4,4 миллиона голосов, то есть 14,4 процента всех избирателей...

Лепеновцы не маршируют в ногу на факельных шествиях, не носят коричневых или черных рубашек, вышедших из моды после Гитлера и Муссолини. На митингах Ле Пена поют «Марсельезу»; да, да, не удивляйтесь — национальный гимн! Постыдное сборище расистов проводится в день Жанны д'Арк возле маленькой позолоченной конной статуи национальной героини — Орлеанской девы, некогда изгнавшей чужеземцев из Франции; историю своей страны лепеновцы используют в реакционных целях.

Директор правого журнала «Фигаро-магазин» писатель Луи Повель пугает французов тем, что в результате высокой рождаемости иммигрантов президентом Франции рано или поздно может стать мусульманин. В одном из номеров «Фигаро-магазин» появился фотомонтаж, где традиционный бюст Марианны, символизирующей республику, задрапирован мусульманской чадрой.

Расистское поветрие пробудило мощное движение протеста. 73 процента французов прямо осуждают лозунги «Национального фронта». Массовые митинги и демонстрации, организованные левыми партиями, профсоюзами, интеллигенцией, молодежью, свидетельствуют о том, что демократическая общественность Франции полна решимости преградить путь грязной неофашистской волне. Конечно же, прогрессивные силы во главе с компартией не закрывают глаза на то, что иммиграция создает в условиях кризиса вполне реальные проблемы. Но вот ставит ли буржуазия цель эти проблемы решать? Главный урок, который основная масса французов не без помощи коммунистов начинает извлекать из «феномена Ле Пена», состоит в том, что искать в арабе-иммигранте виновника всех своих проблем — дело бесполезное и опасное. Оно только отвлекает внимание от жизненно важных проблем нации, которая до сих пор всегда умела находить в себе силы и мужество решать их в соответствии с лучшими интернационалистскими традициями великого французского народа. Как любил говорить Жорес, мало интернационализма отдаляет от собственного отечества, много — приближает к нему.

Франция переживает сейчас глубокую историческую ломку, которая затрагивает не только условия ее существования, но и нравственные ценности, характер, психологию нации, сложившиеся веками. Прошлое Франции — это не только общенациональное достояние, но и поле боя между враждебными классами, составляющими современное французское буржуазное общество, между партиями, которые так или иначе выражают их противоречивые интересы. Имена видных государственных деятелей, полководцев, писателей, которые давным-давно покоятся в могилах, все еще будят страсти, бушевавшие вокруг них при жизни, служат оружием в политической борьбе. Католическая церковь, приложившая в свое время руку к гибели Жанны д'Арк, с упорством пыталась присвоить себе национальную героиню, причислить ее к лику святых. Чтобы определить

социальный состав населения коммуны или городского квартала и, соответственно, политическую окраску их муниципального совета, достаточно беглого взгляда на дощечки с названиями улиц. Недаром самая фешенебельная магистраль буржуазнейшего XVI округа Парижа — авеню Фош — названа по имени главнокомандующего союзными армиями Антанты на заключительном этапе первой мировой войны, тогда как площадь и улица в «плебейском» XIX округе носят имя социалиста Жана Жореса, страстного борца за мир, павшего накануне начала этой войны от пули убийцы-фанатика.

«Франция — страна живучего прошлого, где ничто не забывается и редко служит уроком...— отмечал корреспондент американской телекомпании Си-Би-Эс Дэвид Шенбрун.— Для французов любая история современна. В их глазах прошлое и настоящее — одно и то же в потоке жизни, где конфликты редко решаются, а страсти нарастают и опадают, подобно приливам и отливам. Побежденные никогда не признают своего поражения, победители не могут быть великодушными, ибо они не уверены в своей победе. Поэтому старые раны никогда не могут зарубцеваться полностью, а исторические конфликты остаются актуальными для многих поколений».

Но привязанность французов к своему прошлому никоим образом не отгораживает Францию от современности. Это высокоразвитая индустриально-аграрная страна, вторая, после США, ядерная держава Запада, занимающая прочные позиции на фронте научно-технического прогресса. Ее атомные реакторы и ультрасовременные средства связи, скоростные поезда и реактивные самолеты, биотехнология и электроника находят заслуженное признание на мировых рынках, тесня порой таких грозных конкурентов, как США, Япония, ФРГ. Кварталы Дефанс, расположенные на западной оконечности Парижа, или Богренель на левом берегу Сены — это леса сверкающих небоскребов, оригинальности архитектурных решений которых может позавидовать нью-йоркский Манхэттен.

Некоторые французские авторы пишут о «двух Франциях» — динамичной, ультрасовременной и отсталой, архаичной, зябко прячущейся в старинные национальные костюмы. «С одной стороны — эффективность, упорный труд, прогнозирование будущего и высокие доходы, с другой — корпоративизм, фольклор, воспевание неподвижности или прошлого»,— утверждает близкий к соцпартии социолог Ален Турэн. Он, как и его единомышленник в правом лагере экономист Лионель Столерю, чья вышедшая несколько лет назад книга озаглавлена «Франция с двумя скоростями», умышленно подменяет понятия. Главный конфликт сегодняшней Франции — не между ее Севером и Югом, архаикой и модерном, завтрашним и вчерашним днем,— он столь же психологический, как и общественный. Речь идет не о тоске по прошлому, а о будущем нации: о способности ее достойно встретить третье тысячелетие, сохранив свое лицо и свою душу.

Рой Медведев

О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

5

Репрессии 30-х годов завершили давно задуманную и проводившуюся поэтапно узурпацию Сталиным власти в стране и в партии. Еще в конце 20-х годов его не без основания называли диктатором. Та ничем не ограниченная, единоличная диктатура Сталина, которая утвердилась с конца 30-х годов, не имела прецедента в истории. На протяжении последних пятнадцати лет своей жизни Сталин обладал такой властью, какой не обладал ни один из русских царей и ни один из диктаторов последнего тысячелетия. В руках Сталина была не только вся полнота политической и военной власти, он мог бесконтрольно распоряжаться всеми материальными ресурсами страны, единолично решал все основные вопросы внешней политики и внутренней жизни страны, даже если это касалось науки, литературы, искусства. Как лидер партии Сталин нарушал одну за другой все ранее сложившиеся партийные нормы и традиции, пока не отбросил их полностью.

Еще совсем недавно не только западные советологи и эмигранты, но и историки в СССР утверждали, что никаких особенных изменений в советской системе в 30-е годы не произошло, что в эти годы развивались ленинизм и социализм.

«Культ личности... не мог изменить природы социалистического строя, не мог поколебать ленинские основы партии,— читаем в одном из пособий по истории партии.— Партия и ее местные органы жили своей активной, самодеятельной жизнью. В постоянном столкновении с теми нездоровыми тенденциями, которые порождались культом личности, подлинно ленинские начала, лежащие в основе партии, неизменно брали верх».

Однако немало западных и эмигрантских авторов рассматривали и продолжают рассматривать узурпацию Сталиным власти как его полный разрыв с социализмом и ленинской революцией, как контрреволюционный, монархический или даже фашистский переворот.

Еще в конце гражданской войны среди некоторых теоретиков белого движения велись разговоры о том, что Октябрьская революция, как и многие из прежних революций в других странах, завершится в конце концов установлением новой монархии. Известный националист и монархист В. Шульгин приводит в своей книге «1920 год» беседу, которая состоялась у него в конце 1920 года с одним из работников русского посольства в Константинополе. Шульгин пытался доказать, что большевики в силу объективных условий должны будут не только восстановить военное могущество России, а также границы Российской державы «до ее естественных пределов», но и подготовить «пришествие самодержавца всероссийского». Таким самодержцем, однако, не смогут стать ни Ленин, ни Троцкий. «...И Ленин, и Троцкий не могут отказаться от социализма,— говорил Шульгин,— они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца. Тогда придет «Некто», кто возьмет от них их «декретность»... Их решимость принимать на свою ответственность невероятные решения... Но он не возьмет от них их

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 1, 2, 3 за 1989 год.

мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. Комбинация трудная — я знаю... Да, это так... И все, что сейчас происходит, весь тот ужас, который сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас нависает над Россией,— это только страшные, трудные, ужасно мучительные роды. Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца, да еще всероссийского».

Некоторые представители правой и кадетской эмиграции расценивали узурпацию Сталиным власти как своеобразный монархический переворот. Так, в статье «Сталинократия», опубликованной в 1937 году журналом «Современные записки» (США), Георгий Федотов писал: «Лед тронулся. Огромные глыбы, давившие Россию семнадцать лет своей тяжестью, подтаяли и рушатся одна за другой. Это настоящая контрреволюция, проводимая сверху... Происходящая в России ликвидация коммунизма окутана защитным покровом лжи. Марксистская символика революции еще не упразднена и это мешает видеть факты... Сталин и есть «красный царь», каким не был Ленин. Его режим вполне заслуживает название монархии, хотя бы эта монархия не была наследственной и не нашла себе еще подходящего титула».

«Я счастлив,— сказал своему соседу по камере, молодому тогда еще коммунисту М. Б. Кузенцу старый офицер-монархист, сидевший по тюрьмам с 1920 года.— Наконец-то мечта нашего дорогого Николая Александровича, которую он не мог осуществить из-за своей мягкости, воплощается в действительность. Ведь тюрьмы полны евреями и большевиками. Неужели вы не понимаете, что речь идет о создании в России новой династии».

Версия о Сталине как о сознательном противнике Коммунистической партии Советского Союза в частности и мирового коммунистического движения в целом высказывается порой и теперь. Например, эмигрировавший из СССР в США публицист Валерий Чалидзе посвятил ее обоснованию свою брошюру «Победитель коммунизма», где можно прочесть следующее: «Он обманул всех нас и весь мир. Почти все до сих пор верят, что Сталин создал социалистическое государство, что он имел своей целью построение коммунизма. Между тем анализ показывает, что Сталин одержал победу над социалистической революцией, уничтожил коммунистическую партию и реставрировал Российскую империю в гораздо более деспотической форме, чем это было до 1917 года. При всем этом он был вынужден пользоваться марксистской фразеологией и скрывать свои истинные цели...»

Достаточно убедительного анализа брошюра Чалидзе почти не дает, а аналогии, как известно,— еще не доказательство. Конечно, узурпация власти Сталиным не была изменением лишь внешней формы Советской власти. По существу, это был **частичный** контрреволюционный переворот. Однако Сталин не намеревался и не смог бы, если бы даже хотел, довести этот переворот до конца. Сталин не был намерен ни устанавливать новую династию, ни возвращать изгнанных из страны помещиков и капиталистов, ни создавать какую-либо новую «советскую» аристократию, новый правящий класс. Он пытался в какой-то форме совместить новый социальный строй с антидемократическим режимом абсолютной личной власти. Можно говорить поэтому о различных вариантах сталинского казарменного социализма, но не о новой абсолютной монархии. Поскольку к сталинскому режиму часто приклеивали ярлык «бонапартизма», поучительно сравнить в некоторых отношениях Сталина с Наполеоном. После прихода к власти Наполеон вовсе не собирался возвращать землю, уже захваченную французским крестьянством, ее прежним владельцам. Сохранил он и все основные приобретения буржуазии, и ее ведущую роль в тогдашнем французском обществе. Обладая прочной поддержкой буржуазии и крестьянства, Наполеон действовал открыто. Он не побоялся провозгласить себя пожизненным диктатором, а затем и увенчать себя императорской короной. Напротив, террор Сталина и узурпация им власти в стране и партии никак не соответствовали интересам пролетариата и крестьянства, то есть тех классов, на которые опирались

Октябрьская революция и Советская власть. Поэтому там, где Наполеон действовал открыто, Сталин прибегал к обману. Там, где Наполеон шел до конца, Сталин останавливался на половине дороги. Но и без всяких монархических титулов Сталин сосредоточил в своих руках такую власть, которой никогда не обладал и не мог обладать Наполеон.

6

В своей борьбе против русских революционных партий царская охранка широко использовала провокаторов как из числа засылаемых в них агентов, так и из числа неустойчивых членов той или иной партии, с которыми сумела войти в сговор.

Большинство провокаторов, внедренных в социал-демократическую, эсеровскую, анархо-коммунистическую партии, разоблачили вскоре после Февральской революции. Однако некоторые агенты охранки были раскрыты значительно позже. Во-первых, значительную часть документов столичной охранки восставшие рабочие сожгли во дворе полицейского департамента. (Явная и грубая ошибка революционеров, вероятно, спровоцированная кем-то из тех, кто был очень заинтересован в уничтожении этих документов.) Во-вторых, о наиболее ценных для полиции провокаторах знали только один-два руководителя охранного отделения. Так, например, только в 20-е годы стало известно о Серебряковой, выдавшей полиции многих большевиков.

В годы террора Сталин и НКВД широко использовали обвинения старых и заслуженных работников партии в якобы давних связях с охранкой. Эти обвинения выдвигались против членов ЦК ВКП(б) Пятницкого, Зеленского, Разумова. Даже Мейерхольда обвинили в связях с охранкой, где он будто бы числился под кличкой «Семеныч». Гораздо менее известно, что многие политические противники Сталина аналогичные обвинения выдвигали против него самого.

Еще в 20-е годы с такими обвинениями выступил грузинский меньшевик Ной Жордания, ссылаясь на давний разговор со Ст. Шаумяном.

После XX съезда партии множество публикаций на эту тему появилось на Западе. А. Орлов, автор выпущенной на английском языке в США в 1953 году книги «Тайная история сталинских преступлений», в мае 1956 года опубликовал в журнале «Лайф» большую статью «Сенсационная тайна Сталина», где привел материалы, которых не было в его книге. В этой статье он пытался доказать, что Сталин в течение многих лет до революции активно сотрудничал с царской охранкой. По свидетельству Орлова, Ягода поручил Штейну, одному из ответственных работников НКВД, изучить в архивах документы охранки. Самое большое собрание этих документов хранилось в кабинете Менжинского, предшественника Ягоды. Просматривая их, Штейн обнаружил папку с бумагами, принадлежавшую одному из начальников секретной полиции Виссарионову.

«Перелистывая папку,— писал А. Орлов,— Штейн наткнулся на вопросник, к которому была приложена фотография молодого Сталина. Он подумал, что открыл здесь некоторые сведения о революционной деятельности великого вождя в подполье... Но вглядевшись внимательно, Штейн заподозрил недоброе. Его радостное возбуждение сменилось страхом и ужасом, когда он начал вчитываться в документы. Здесь были доклады и письма, адресованные Виссарионову и написанные почерком диктатора. Папка, как установил Штейн, действительно касалась Сталина, но не Сталина-революционера, а Сталина — агента-провокатора, который добровольно работал для царской секретной полиции».

С этой папкой Штейн поехал к своему другу и бывшему начальнику Балицкому, возглавлявшему Управление НКВД Украины. Проведя экспертизу документов и установив их подлинность, Балицкий познакомил с ними З. Кацнельсона, И. Якира, С. Косиора. А Якир, в свою очередь,— Тухачевского, Гамарника, Корка и некоторых других высших военачальников. Было сделано много фотокопий, и круг посвященных все время расширялся. Верхушка армии составила заговор против Сталина. Предполагалось при помощи двух наиболее верных воинских подразделений совершить переворот, по возможности избегая волнений в стране.

Таким образом, по версии А. Орлова, большинство репрессий во второй половине 30-х годов было вызвано неожиданной находкой Штейна.

Книга «Тайная история сталинских преступлений» основана на фактах или же слухах, которые не соответствовали фактам, но сами по себе были интересны и показательны для того времени, когда она вышла. Статью же, появившуюся в журнале «Лайф» через три года, иначе как сознательным вымыслом, порожденным жаждой сенсации, не назовешь. Начать хотя бы с того, что Кацнельсон в 1937 году не был ни членом, ни кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Арестовали перечисленных Орловым «заговорщиков» отнюдь не одновременно, причем никто из них не пытался скрыться. Например, Косиор был арестован через год после ареста Тухачевского. Если бы существовали фотокопии документов из «папки Виссарионова», хоть одна из них должна была бы сохраниться или же попасть за границу, ведь многие «заговорщики» вполне могли обеспечить сохранность или передачу зарубежным друзьям любого документа. Так что версия о заговоре высших военных и политических деятелей с целью военного переворота совершенно несостоятельна. К тому же трудно поверить, что до 1937 года никто в НКВД не пытался изучить столь важный архив. В статье Орлова очень много и других несообразностей, и вся она представляет собой не слишком ловко состряпанную фальшивку. Надо сказать, что статья эта не включалась в новые издания книги Орлова.

В том же номере «Лайф» опубликована статья Исаака дон Левина, автора одной из первых вышедших на Западе биографий Сталина (1931 год). Левин привел в журнале якобы попавший в его руки документ, изобличающий Сталина как агента царской охранки, а затем издал на эту тему небольшую книгу — «Великая тайна Сталина». То, что американские советологи ни разу не использовали «документ» Левина, лишний раз доказывает, что дело идет опять-таки о не слишком убедительной фальшивке. О том, что это фальшивка, сообщили мне и некоторые наиболее авторитетные американские советологи.

После XX съезда КПСС предположения на ту же тему начали высказывать и иные старые большевики. Вот несколько версий, которые мне довелось услышать и записать в 60-е годы.

1. Когда в середине 30-х годов группа историков просматривала кавказские архивы, собирая материалы для книги об истории социал-демократических организаций Закавказья, в Кутаиси якобы обнаружили донос на группу социал-демократов, подписанный Иосифом Джугашвили. Этот донос был передан Кобулову, который отдал его Берии, своему шефу и другу.

2. Один из старых большевиков утверждал, что в начале века, зайдя неожиданно на конспиративную квартиру Сталина в Тифлисе, он застал там жандармского офицера высокого чина. После его ухода гость спросил: «Что у тебя общего с жандармами? Зачем приходил этот тип к тебе?». «А... он помогает нам в жандармерии»,— ответил Сталин.

3. В конце 1916 года было решено призвать в действующую армию многих ссыльных, среди них оказался и Сталин. Группу ссыльных доставили под охраной в Красноярск. Сталин отпросился в город и не вернулся на призывной пункт. Жил он почти открыто, и полиция не проявляла к нему никакого интереса.

4. После Пражской конференции Орджоникидзе, выполняя поручение ЦК, предпринял поездку по городам России. Начиная от границы за ним все время следили «филеры» охранки. На одной из станций в поезд сел Сталин. Они поговорили, легли спать, а наутро Сталина в купе не было. Уже после Февральской революции Орджоникидзе спросил Сталина, куда он тогда делся. «Я заметил, что за мной следит кто-то, и не хотел подводить тебя»,— ответил Сталин. Позже в делах охранки был найден доклад сыщиков, следивших за Орджоникидзе. Ни слова о встрече со Сталиным там не было.

Все перечисленные «доказательства» связи Сталина с охранкой основаны на косвенных свидетельствах, весьма сомнительных, к тому же почерпнутых из вторых или третьих рук.

Почему, например, Сталин не расстрелял Берию и Кобулова, если они знали столь зловещую тайну о его прошлом? Кто может поручиться за достоверность рассказа старого большевика, якобы видевшего в квартире Сталина жандармского офицера высокого чина? Да и вообще маловероятно посещение жандармом в форме конспиративной квартиры. Донос в охранку не мог быть подписан именем и фамилией. Доносы подписывали кличками, которые знал лишь начальник местного или центрального жандармского управления. Не соответствует действительности и рассказ о встрече Сталина с Орджоникидзе в поезде. Позже в охранке были обнаружены сведения об этой встрече. В доносах филеров сообщалось, что Сталин и Орджоникидзе встретились в Москве и вместе выехали в Петербург. Полковник Заварзин телеграфно предупредил об этом начальника Петербургского Охранного отделения. Для негласного сопровождения Сталина и Орджоникидзе, севших в поезд 9 апреля 1912 года, были выделены три опытных филера. Поезд пришел в Петербург 10 апреля; 14 апреля арестовали Орджоникидзе, а Сталина — 22 апреля, вероятно, именно потому, что он «отделился» от Орджоникидзе.

Начальник Петербургского Охранного отделения полковник Герасимов лично вел дела с агентами-провокаторами, не ставя об этом в известность своих коллег. В эмиграции А. Герасимов опубликовал в 1934 году большую книгу о русской охранке и о помогавших ей осведомителях-провокаторах. Имя Сталина в ней вообще не упоминается.

Конечно, в охранке были разного рода документы о Сталине, поскольку его много раз арестовывали, подвергали допросам, ссылали, поскольку он несколько раз бежал из ссылки. Охранка собирала досье на всех видных революционеров, а Сталин до революции был одним из ведущих «практиков» революционной борьбы. Полные полицейские досье Сталина и других видных революционеров в советское время не публиковались. Те несколько документов, которые были в разное время опубликованы, или те, которые я мог получить из архивов, не подтверждают версии о связях Сталина с охранкой.

Нельзя не отметить, что эта версия время от времени возникала и в недавних публикациях. Так, 16 июня 1988 года газета «Советская культура» напечатала большой отрывок из воспоминаний бывшего корреспондента «Комсомольской правды» Александра Лазебникова. Он писал: «Глядя на фотографию [Сталина], я почему-то вспомнил разговор с Борисом Ивановичем Ивановым, членом партии с 1904 года. В 1935 или 1936 году комсомольцы Сольвычегодска совершили лыжный пробег Сольвычегодск—Москва. Лыжники пришли в «Комсомолку», принеся ворох материалов о пребывании Сталина в ссылке. В документах упоминался и питерский рабочий-булочник Б. И. Иванов. Тогда я и обратился к нему — он был председателем ЦК профсоюза рабочих хлебобулочной промышленности, жил в Доме правительства. Показал я ему документы и услышал действительно, я был в ссылке, жил в Курейке с Джугашвили. Все время, пока он находился там, в нашей маленькой колонии большевиков постоянно случались провалы. Мы решили поговорить начистоту, так сказать, по «гамбургскому счету». Назначили день собрания большевиков Курейки, но Джугашвили на него не явился. А назавтра мы узнали, что он исчез из Курейки — ушел в побег, а до первого поселения пятьсот верст. Такой побег можно было совершить только с помощью властей. Эти слова ошеломили меня — они были сказаны в 1935—1936 гг.».

Здесь немало и сомнительного, и явно неверного. Во-первых, трудно поверить, что такой человек, как Б. И. Иванов, в 1935—1936 годах стал бы сообщать явившемуся к нему корреспонденту столь компрометирующие Сталина факты. Во-вторых, Сталин — и это хорошо известно — готовил побег из Курейки, но не осуществил его. И жил он в Курейке вместе со Свердловым, а не с Ивановым. В Туруханском крае в то время было много политических ссыльных, в основном большевиков, но также и меньшевиков, эсеров, анархистов. История Туруханской ссылки хорошо изучена, и такое чрезвычайное событие, как побег Сталина, не могло пройти незамеченным и не стать предметом рас-

следования в 1917—1918 годах, то есть после Февральской и Октябрьской революций. Неопровержимые факты свидетельствуют, что Сталин жил в Курейке до начала 1917 года.

Таким образом, нет никаких доказательств каких-то тайных связей Сталина с царской охранкой, боязнь разоблачений которых могла толкнуть его на массовые репрессии. Если Сталин и был провокатором, то в совершенно ином смысле слова. Дело в том, что в борьбе за власть провокация была излюбленным оружием Сталина. Еще в 20-е годы он раздувал разногласия в партии, натравливал одних видных ее деятелей на других, поддерживая вражду между руководителями.

Какой бы версии об убийстве Кирова ни придерживаться, нельзя не видеть, что Сталин использовал это убийство в провокационных целях, направив гнев советских людей против бывших лидеров оппозиции. Что касается «открытых» судебных процессов 30-х годов, то это была одна из наиболее подлых и тяжелых по своим последствиям провокаций XX века.

7

Не следует слишком усложнять мотивы, которые побудили Сталина развязать террор 1936—1937 годов. Главный из них — непомерное честолюбие и властолюбие. Всепоглощающая жажда власти обуяла Сталина, конечно, раньше 1936 года. Влияние его уже к началу 30-х годов было огромно, но он хотел безграничной власти и абсолютной покорности. Вместе с тем он понимал, что этому будут противиться партийные и государственные руководители, сложившиеся в годы подполья, революции и гражданской войны.

Вот свидетельство Петра Чагина, одного из видных работников Ленинградской партийной организации и близкого Кирову человека. Вскоре после избрания Кирова первым секретарем Ленинградского обкома, во время обеда, на котором присутствовали некоторые ленинградские руководители, а также Сталин и Томский, разговор зашел на обычную среди большевиков в те годы тему — как управлять партией без Ленина. Все, конечно, сошлись на том, что партией должен управлять коллектив. Сталин вначале молчал, а потом встал из-за стола и, пройдясь вокруг него, сказал: «Не забывайте, что мы живем в России, в стране царей. Русский народ любит, когда во главе государства стоит один человек. Конечно,— добавил Сталин,— этот человек должен выполнять волю коллектива». Никто не возразил, но никто и не подумал тогда, что Сталин, хотя бы в мыслях, предлагает именно себя на роль единоличного вождя России.

Можно предположить, что Сталин серьезно относился к своему тезису об обострении классовой борьбы в СССР по мере продвижения к социализму. Склонный к схематизму и механистическому пониманию действительности, он нередко был убежден, что его теоретические построения — единственно правильные. Но нельзя поверить, что он вполне искренно относил этот тезис и на счет ветеранов революции, на счет основных кадров партии.

Сталин боялся заговоров, боялся даже своего окружения. За всеми членами Политбюро и другими ответственными работниками велась слежка. На дачах Сталина было по нескольку спален, на каждой кровати лежала смена белья, которое он обычно стелил сам. Во всех дачах было по два выхода; дачи тщательно охранялись круглый год, независимо от того, жил ли там Сталин или нет.

В конце 20-х годов Сталин нередко прогуливался за пределами Кремля. Конечно, его охраняли, но это не было заметно. В Кремле и в здании ЦК ВКП(б) он ходил без видимой охраны; некоторые старые большевики вспоминали, как поднимались или спускались в лифте вместе со Сталиным или встречали его в коридоре. Почти все видные большевики имели при себе оружие — этот обычай сохранился еще со времени гражданской войны. После убийства Кирова рядовому партийно-комсомольскому активу носить оружие было запрещено. С пистолетами в кобуре ходили Ворошилов и Буденный, Берия и Каганович, Орджоникидзе и Любченко. Из своего оружия застрелились Томский и Гамарник. Пытались застрелиться, как известно, Бухарин и Рыков. Любил поупражняться в снайперской стрельбе из браунинга Нестор Лакоба. Все эти «вольности» постепенно урезались и перед войной были отменены. На дачах и в Кремле оружие было лишь у внешней охраны, не вступавшей в контакт со Сталиным. Люди, которых он принимал, должны были перед этим сдать оружие, если оно у них было. Иных высокопоставленных посетителей даже обыскивали. В этом проявлялся страх узурпатора и тирана за свою власть и свою жизнь, а отнюдь не бдительность вождя первого в мире социалистического государства.

Однако не страх и не мания преследования побудили Сталина уничтожить старую партийную гвардию. Это было сделано сознательно. У Сталина был план уничтожения партийных, советских и военных кадров, который, по выражению А. Тодорского, своими масштабами не уступал плану мобилизации большой армии. Этот план был тщательно продуман, материально богато обеспечен и мастерски проведен в жизнь.

Из истории известно, что непомерное честолюбие того или иного правителя не вело автоматически к массовым репрессиям или к убийствам политических соперников, даже если для расправ и не было никаких серьезных препятствий. Поэтому, говоря о терроре 30-х годов, надо отметить не только честолюбие и властолюбие, но и чудовищную жестокость Сталина. Надо сказать также о противоречии между непомерным честолюбием и тщеславием Сталина и ограниченностью его способностей и заслуг перед партией и революцией. Ибо это противоречие сталкивало Сталина не только с теми, в ком он не без оснований видел своих противников, но и со многими старыми большевиками, которые были лично преданы ему и выполняли все его указания и распоряжения. С юных лет Сталин обладал комплексом неполноценности, который при рано развившихся честолюбии и тщеславии усиливал такие его связанные с жизнью в доме родителей и занятиями в духовном училище и семинарии черты, как завистливость и злобность. Не получив достаточно систематического и глубокого образования, не зная иностранных языков, Сталин оказался в 1917 году членом правительства, которое даже враги называли самым образованным правительством в Европе. Среди людей ярких дарований и блестящего ума Сталин не мог не ощущать своей неполноценности как политика, полководца, теоретика и оратора. Но он не хотел оставаться на вторых ролях, и это вызывало у него злобную зависть ко всякому образованному партийцу. К тому же Сталин хотел не только неограниченной власти, но и неограниченной славы. Никто не мог играть рядом с ним сколько-нибудь значительной роли на подмостках истории. Поэтому не борьба против Советской власти, но, напротив, огромные заслуги перед партией и революцией делали многих людей для Сталина врагами.

До революции Сталин не принадлежал к основному руководящему ядру партии большевиков, образовавшемуся вокруг Ленина. Лишь в 1912 году он был заочно введен в ЦК партии, но ссылка в Туруханский край лишила его возможности продолжать активную партийную работу. Гораздо скромнее, чем это утверждала последующая легенда, была роль Сталина в работе Закавказской организации большевиков — и в Баку, и особенно в Тифлисе.

Однако Сталин хотел восхвалений не только своей нынешней, но и прошлой деятельности. Миф о Сталине вступал здесь в явное противоречие с историей партии, и ее начали беззастенчиво фальсифицировать. Оставшиеся еще в живых ее участники мешали Сталину и его легенде. Они знали, например, что газета «Брдзола», которую так восхвалял Берия, представляла собой небольшой листок и вышла в свет только четыре раза. Было поэтому нелепо сравнивать «Брдзолу» и «Искру». Они знали, что не Сталин был создателем знаменитой Бакинской типографии, как утверждал в своей книжке Берия. Одного этого уже было для Сталина достаточно, чтобы уничтожить тех большевиков, заслуги которых стали приписываться ему. Таким же образом были созданы мифы о «двух вождях» Октябрьской революции и о «решающих заслугах» Сталина в победах Красной Армии в годы гражданской войны.

Те, кто знал Сталина, отмечали не только его честолюбие, тщеславие

и жестокость, но и грубость, недостаток культуры, неинтеллигентность. Однако он мог быть и необычайно приветлив, даже нежен со своими гостями: делал им комплименты, угощал тем или иным кавказским блюдом.

Крайне злопамятный, Сталин не прощал своих критиков, даже если впоследствии они много лет славословили его. А вот критику или оскорбление того или иного из своих приближенных он мог легко «простить», иногда это даже забавляло его.

Во многих воспоминаниях отмечается огромная сила воли Сталина. «Основное психологическое свойство Сталина, которое дало ему решительный перевес, как сила делает льва царем пустыни,— это необычайная, сверхчеловеческая сила воли,— писал в 1939 году в своем дневнике Ф. Ф. Раскольников.— Он всегда знает, что хочет, и с неуклонной, неумолимой методичностью постепенно добивается своей цели. «Поскольку власть в моих руках, я — постепеновец»,— сказал он мне однажды. В тиши кабинета, в глубоком одиночестве он тщательно обдумывает план действий и с тонким расчетом наносит внезапный и верный удар. Сила воли Сталина подавляет, уничтожает индивидуальность подпавших под его влияние людей. Ему легко удалось «подмять под себя» не только мягкого и слабохарактерного М. И. Калинина, но даже таких волевых людей, как Л. М. Каганович. Сталин не нуждается в советниках, ему нужны только исполнители. Поэтому он требует от ближайших помощников полного подчинения, повиновения, покорности, безропотной рабской дисциплины. Он не любит людей, имеющих свое мнение, и со свойственной ему грубостью отталкивает их от себя. Он мало образован... У него нет дальновидности. Предпринимая какой-нибудь шаг, он не в состоянии взвесить его последствий. Он не предусматривает события и не руководит стихией, как Ленин, а плетется в хвосте событий, плывет по течению. Как все полуинтеллигенты, нахватавшиеся обрывков знаний, Сталин ненавидит настоящую культурную интеллигенцию: партийную и беспартийную в равной мере... Он знает законы формальной логики, его умозаключения логически вытекают из предпосылок. Однако на фоне других, более выдающихся современников, он никогда не блистал умом. Зато он необычайно хитер... В искусстве «перехитрить» никто не может соревноваться со Сталиным. При этом он коварен, вероломен и мстителен. Слово «дружба» для него пустой звук. Он резко отшвырнул от себя и послал на расправу такого закадычного друга, как Енукидзе. В домашнем быту Сталин — человек с потребностями ссыльнопоселенца. Он живет очень скромно и просто, потому что с фанатизмом аскета презирает жизненные блага: ни жизненные удобства, ни еда его просто не интересуют. Даже в друзьях он не нуждается».

Раскольников хорошо знал Сталина, но нарисованный им портрет требует дополнений. Да, Сталин был волевым человеком, он был непреклонен и тверд в достижении своих целей. Эти качества импонировали многим большевикам, создавая Сталину репутацию несгибаемого борца. Однако вовсе не потому он уничтожил одних и подчинил других руководителей партии, что был более твердым и волевым человеком, чем Киров, Орджоникидзе, Чубарь, Якир или Дыбенко. Убийца, который стреляет из-за угла, вовсе не должен быть «более волевым», чем его жертва. Честный человек не совершает преступлений не потому, что у него «слабая воля». Мы нередко называем сильным человека, который отбрасывает все принятые между людьми нормы взаимоотношений и все правила честной борьбы. А между тем большинство преступлений свидетельствует не о силе воли, а о слабости моральных принципов и убеждений преступника.

Да, Сталин был сильной личностью. Но он не обладал «сверхчеловеческой силой воли». У него никогда не было твердых моральных убеждений, он не испытывал ни любви, ни уважения к людям и не стремился служить им. Он не признавал никаких правил в политической борьбе. Используя преимущества своего положения и нанося неожиданные и коварные удары, Сталин сумел уничтожить многих сильных людей. Но как вел бы он себя, если бы его подвергли тем унижениям и истязаниям в застенках НКВД, на которые он обрек своих соратников?

Раскольников упоминает о хитрости Сталина. Но Сталин был не просто хитер и лицемерен. Он умел надеть на себя любую личину.

Необычайная жестокость Сталина проявлялась и в отношении его приближенных. З. Г. Орджоникидзе рассказывала своим друзьям, что ей всегда было тягостно бывать у Сталина, который любил поиздеваться над гостями, особенно над своим секретарем Поскребышевым. Однажды на встрече Нового года Сталин свернул из бумажек маленькие трубочки, надел их на пальцы Поскребышева и зажег, как свечи. Поскребышев корчился от боли, но не смел сбросить горящие трубочки.

Однако, как уже говорилось, Сталин мог быть предельно любезным хозяином. Своим гостям он преподносил цветы, самолично срезая их в саду. Многих, особенно иностранцев, это сбивало с толку. Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс писал после встреч со Сталиным в 1934 году: «...Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего зловещего и темного, и именно этими его качествами следует объяснять его огромную власть в России. Я думал раньше, что люди боялись его. Но я установил, что, наоборот, никто его не боится, и все верят в него... Его искренняя ортодоксальность — гарантия безопасности его соратников...»

Желая произвести впечатление на того или иного человека, Сталин разыгрывал иногда целые сцены. Так, уже после войны, принимая в своем кабинете одного из адмиралов, Сталин прервался, чтобы получить от Поскребышева стопку книг по языкознанию. Перечислив принесенные книги, среди которых были и дореволюционные издания, Поскребышев сказал, что еще не все удалось достать. «И чем только не занимается Сталин»,— подумал гость.

Академик Е. Варга рассказывал друзьям, что всякий раз, когда он бывал у Сталина, у того на столе лежал «Капитал» Маркса.

В дни войны широкую известность получила история с летчиком, который, возвращаясь из Кремля после вручения ему Звезды Героя Советского Союза, застрелил на затемненной тогда улице какого-то мужчину, пристававшего к девушке. Летчика задержал патруль; доложили Сталину. Он спросил, что можно сделать для летчика «по советским законам». Сказали, что летчика можно взять на поруки до суда. Сталин сам написал заявление в Президиум Верховного Совета. Летчика временно вернули в его часть. Вскоре он погиб в воздушном бою.

Не следует давать односторонние оценки Сталину. Он не был каким-то «сверхчеловеком», не был и всего лишь простым честолюбцем, садистом, пробравшимся в результате обмана и интриг к руководству партией. И как человек, и как вождь Сталин — фигура сложная и противоречивая. Конечно, его нельзя называть, как это часто делалось и делается, ни подлинным марксистом, ни подлинным ленинцем. Одни авторы хотят таким образом возвысить Сталина, другие — принизить Ленина.

В своих публикациях Сталин использовал марксистскую терминологию, но не марксистский метод.

Конечно, Сталин повторял многие марксистские лозунги, ведь он не мог вообще не считаться с идеологией партии.

Учение о социализме, различными ступенями и формами которого являются и марксизм, и ленинизм, представляет собой не только систему понятий, но также систему убеждений и нравственных принципов, которых Сталин вовсе не имел. В сущности, он был не столько участником, сколько попутчиком социалистической революции.

Политическую армию революции составляют в первую очередь низы общества. К ней примыкают обычно и отдельные представители средних слоев и интеллигенции,— они чаще всего преобладают в руководстве революционных партий. Одни из них приходят в революцию из благородных побуждений, стремясь осуществить свои идеалы справедливого общества. Другие — из личных и порой весьма низменных побуждений, надеясь занять в новом обществе лучшее положение, чем то, которое они занимали прежде.

История знает немало примеров того, как вчерашние революционеры перерождались в тиранов или слуг тирании — назову Фуше и Талейрана. Не случайно Сталин отзывался о Фуше с большим уважением. Прочитав переведенную в 30-е годы книгу С. Цвейга «Жозеф Фуше», Сталин сказал: «Вот это был человек, всех перехитрил, всех в дураках оставил». Примерно то же самое сказал он о Талейране, прочитав книгу о нем Е. Тарле.

Сталин никогда не стремился к реставрации капитализма, но своими преступными методами и действиями он нанес большой ущерб делу социализма — практически ликвидировал и без того крайне ограниченную социалистическую демократию, подорвал руководящую роль партии в советском обществе, обрушил удар на союз рабочего класса и крестьянства.

И все же, ломая и разрушая многое из того, что было достигнуто после революции, Сталин вынужден был во многих случаях как-то приспосабливаться к происшедшим в обществе необратимым переменам, к настроениям и требованиям трудящихся масс. Он был вынужден не только на словах выдвигать марксистские положения, но в ряде случаев и действовать как марксист. Были уничтожены многие выдающиеся представители советской интеллигенции, но Советское государство без интеллигенции обойтись не могло. Поэтому и в 30-е годы продолжали осуществляться различные меры, направленные на расширение системы образования и создание новой советской интеллигенции.

Проводя репрессии в Красной Армии и Коминтерне, Сталин оказал большую услугу фашистской Германии. После ее нападения на СССР он должен был провозгласить и лозунги национального освобождения, и антифашистские лозунги, а это способствовало не только военному, но и морально-политическому поражению фашизма в западных странах.

Сталин был озабочен сохранением и своей власти, и своей популярности. Он не был безразличен ни к мнению современников, ни к мнению потомков. Он хотел распространить свое влияние на десятилетия и века.

Не из любви к страдающему человечеству Сталин пришел к революции и социализму. Он пришел к большевикам из жажды власти и тщеславия. Большевистская партия всегда была для Сталина лишь инструментом, способствующим достижению его собственных целей. Рядовые люди были ему чужды, он не встречался с ними, не бывал на фабриках, заводах, в колхозах и не испытывал потребности в таких встречах.

Возможно, поверив в свою исключительность, Сталин решил, что в сравнении с величием его дел преступления, на которые он был вынужден пойти,— мелочь, издержки движения. В действительности же ни один из врагов Коммунистической партии и Октябрьской революции не принес делу социализма больше вреда, чем Сталин.

УСЛОВИЯ, ОБЛЕГЧИВШИЕ СТАЛИНУ УЗУРПАЦИЮ ВЛАСТИ

1

Почему Сталин смог в 30-х годах нанести столь страшный удар по партии, почему не встретил решительного сопротивления народа, партии и ее руководства?

О возможности или даже неизбежности перерождения революции, происходящей в условиях, не соответствующих ее идеалам, писали еще К. Маркс и Ф. Энгельс. В спорах с народниками об этом не раз писал и молодой Плеханов. Если народ, утверждал он, придет к власти при незрелых социальных условиях, то «революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перуванской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке».

Конечно, во всякой почти политической системе и ситуации есть различные возможности развития. Выбор определяется и объективными, и субъективными факторами, порой явно случайными. Даже у русского царизма в начале XX века были разные возможности для развития. Не была с неизбежностью обречена на гибель и та хрупкая система буржуазной демократии, которая существовала между Февралем и Октябрем 1917 года.

В этом смысле сталинизм вовсе не представляется неизбежным: у Советского государства после Октября были разные возможности развития.

Как же удалось Сталину, несмотря на очевидную чудовищность его злодеяний, сохранить не только власть, но и увеличивавшиеся год от года уважение, доверие, преданность и даже любовь большинства советских людей?

2

Навязать свою волю партии Сталину помог прежде всего непомерно раздутый культ его личности.

«У нас много говорят о культе личности,— писал И. Эренбург в своих мемуарах.— К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада».

Обожествление Сталина лишало партию возможности контролировать его действия и заранее оправдывало все, что от него исходило. Олицетворение в личности Сталина всех достижений Советского Союза парализовало политическую активность коммунистов, мешало разобраться в происходящем, требовало слепого доверия «вождю». Культ Сталина, как и всякий культ, порождал тенденцию превращения партии в особую церковную организацию, где «пастыри» — руководители с непогрешимым «папой»-Сталиным во главе — отделены от паствы — рядовых членов партии. Культ Сталина не только прикрывал уже совершенные им беззакония и ошибки, но и заранее оправдывал новые преступления. В то же время культ закреплял отрыв Сталина от народа и партии. Вожди в Кремле были для народа такими же далекими и непонятными, как боги на Олимпе.

В 30—40-е годы в сознание народа внедрялись элементы религиозного восприятия, религиозной психологии со всеми ее иллюзиями, самовнушением, некритичностью, нетерпимостью к инакомыслящим и фанатизмом. Как справедливо писал Ю. Карякин, возник светский вариант религиозного сознания. Восприятие действительности искажалось, факты и явления принимали несвойственную им окраску. Было трудно поверить в приписываемые старым большевикам чудовищные преступления. Но еще труднее было подумать о том, что все это лишь преднамеренная провокация, что это Сталин совершает страшное преступление, уничтожая своих друзей и соратников по партии.

Обожествив Сталина, люди иными глазами смотрели на него, стараясь оправдать и то, что никакими разумными доводами оправдать было невозможно. Подобно тому, как вера во всемогущего и всеблагого бога не исчезает у верующих оттого, что они видят вокруг себя страдания и несчастья, ибо на счет бога относят все хорошее, а на счет дьявола — все плохое, так и при культе Сталина на его счет относили все хорошее, что происходило в нашей стране, а все плохое связывали с какими-то злыми силами, главным борцом против которых и был Сталин.

Конечно, культ Сталина по-разному воздействовал на людей разного возраста и положения. Наиболее сильное влияние он оказывал на молодежь, как это было через 30 лет в Китае. Школа и институт стали едва ли не главными рассадниками культа Сталина. Восхищалась Сталиным и верила ему не только молодежь 12—17 лет. С возгласом «Да здравствует Сталин!» шли на расстрел некоторые видные партийные и советские работники.

Это религиозное сознание, охватившее массы, сковывало волю даже и тех, кто уже перестал верить в Сталина и начинал прозревать. Почему Орджоникид-

зе стрелял в себя, а не в Сталина? Почему 20-летняя история кровавых преступлений Сталина не вызвала ни одной попытки устранить его? Возможно, были люди, способные на такой шаг, но их останавливал страх не столько за свою жизнь, сколько за невозможность предвидеть последствия этого шага.

Обожествлять представителей духовной или светской власти различные народы стали на самых ранних стадиях своего развития. В античную и феодальную эпохи эта форма религиозного сознания получила широкое развитие. Нередки были различные виды культа личности и в новое, и в новейшее время. «Культ личности,— откровенно писал Гитлер,— самая лучшая форма правления».

К сожалению, представления о богоподобном вожде и ведомой им «толпе» нередко проникали и в революционное движение. Однако, казалось бы, именно большевики были в наибольшей степени застрахованы от появления в их среде и в созданном ими государстве какого-либо варианта религиозного сознания и культа личности. Чем же объясняется столь длительное существование культа Сталина?

Кампания непомерного восхваления Сталина была в значительной степени организована и инспирирована им самим и его ближайшим окружением. Культ Сталина внедрялся в сознание уже с детского сада. В начальных классах школы детям внушалось, что за все хорошее в жизни они должны быть благодарны Сталину. Дело было, однако, не только в пропаганде. В свое время и появление христианства пытались объяснить в первую очередь церковным обманом, а не историческими условиями начала эры.

Некоторые западные и советские историки высказывали мнение, что появлению и упрочению культа Сталина способствовали традиции и социальный строй царской России, которые были изменены, но не уничтожены революцией. Внедрявшийся столетиями культ царя, императора не мог сразу исчезнуть. Это мнение имеет право на существование. Нельзя не видеть, однако, и в самой революции некоторых предпосылок к возникновению культа личности.

Октябрьская революция в короткое время разрушила сложившийся веками уклад жизни. Вызванные ею перемены были велики и необычны. И те, кто руководил революцией, становились в глазах народа какими-то неземными героями. Стремление возвеличить своих вождей проявляется, по-видимому, во всякой массовой и победоносной революции.

В возникновении и развитии культа Сталина немалую роль сыграли масштабы репрессий 30-х годов. Сталин действовал не в одиночку. Он втягивал в преступления не только карательные органы, но миллионы людей. Тысячи партийных работников входили в «тройки» и Особые совещания. Десятки тысяч активистов и руководителей предприятий громили «врагов народа». Еще в 1937 году Политбюро приняло решение о том, что аресты работников тех или иных ведомств должны, по возможности, санкционироваться руководителями этих ведомств. Наркомы санкционировали аресты своих сотрудников, секретари обкомов — работников обкомов. Руководитель Союза писателей санкционировал аресты писателей.

Сотни тысяч коммунистов голосовали за исключение «врагов народа» из партии. Миллионы людей на митингах и демонстрациях требовали суровой расправы с «врагами народа». При этом на суд и расправу выдавали нередко и своих вчерашних друзей. Конечно, большинство верило Сталину и органам НКВД. Были и сомневающиеся, чаще всего если речь шла о каких-то конкретных случаях, но и они молчали, облегчая тем самым расправу с кадрами партии. Даже испытывая колебания и сомнения, эти люди не хотели считать себя соучастниками преступлений. И они заставляли себя поверить в Сталина, который якобы все знает и не может ошибаться. Культ Сталина помогал им успокоить свою совесть.

Сплав противоречивых чувств и настроений, образовавшийся в годы террора,— одна из важных причин длительности и прочности культа Сталина. Иначе говоря, между террором и культом Сталина была и прямая, и обратная причинно-следственная связь.

Разумеется, в иных условиях культ того или иного руководителя вовсе не ведет автоматически к массовым беззакониям и репрессиям. Многое зависит от человека, облеченного чрезвычайными полномочиями. Но любое здоровое общество не может существовать в таких условиях, когда единственной гарантией не только прав, но и самой жизни его граждан служат главным образом личные качества руководителя партии и государства.

3

Главная газета большевиков называлась «Правда». Борясь против царизма, а затем против буржуазного Временного правительства, они выступали за максимальную гласность и свободу критики. Сталину в борьбе против политических противников, в интригах и провокациях гласность и свобода критики были не нужны. Вся деятельность НКВД в 30-е годы велась в глубокой тайне, и любая попытка проникнуть в эту тайну уже сама по себе рассматривалась как преступление. Громадные масштабы террора ускользали от сознания советских людей. Способствовала этому и характерная для 1937—1939 годов вакханалия постоянных перемещений работников из одной области в другую, с одной должности на другую. Часто было неизвестно, арестован тот или иной партийный деятель или перемещен на другую работу. В большинстве случаев даже родные арестованных ничего не знали об их судьбе. Подло обманывая родственников, органы НКВД обычно не сообщали им о расстреле «врагов народа», а говорили о ссылке в отдаленные лагеря «без права переписки».

Во многих случаях Сталин и НКВД предпочитали прямым репрессиям тайный террор, к примеру, инсценировку нападения «грабителей» на квартиру того или иного неугодного человека. Именно так была убита жена Мейерхольда, актриса Зинаида Райх, боровшаяся за освобождение мужа. Те, кто совершил налет на квартиру Райх, оставили, по свидетельству Эренбурга, нетронутыми многие ценные вещи, но похитили подготовленные ею документы. Отдельных политических деятелей убивали дома, в гостинице, на охоте, в рабочем кабинет, выбрасывали из окна, отравляли, а затем сообщали о смерти от «сердечного приступа», о несчастном случае или самоубийстве. Так был отравлен Нестор Лакоба, тело которого затем перевезли из Тбилиси в Сухуми для торжественного захоронения. (Позднее гроб с телом Лакобы, посмертно объявленного «врагом народа», вырыли из могилы в центре города и куда-то увезли.)

Первый секретарь ЦК Армении А. Ханджян был убит самим Берией в Тбилиси. По свидетельству бывшей работницы аппарата КПК А. Ивановой, находившейся в день убийства в помещении, соседствующем с кабинетом Берии и слышавшей выстрел, труп Ханджяна был отвезен в гостиницу, где обычно останавливались приехавшие из Армении партийные работники. Сообщники Берии положили тело Ханджяна на кровать и выстрелили в воздух. В карманы убитого, по свидетельству С. О. Газаряна, были положены два заранее подготовленных письма: одно — жене Розе, другое — самому Берии. Во втором письме Ханджян якобы писал, что запутался в своих делах и решил покончить с собой. Предательски убив Ханджяна, Берия и его клика обвинили ими же убитого человека в «позорном малодушии». По всему Закавказью в июле 1936 года прошли партийные собрания с осуждением трусости и малодушия Ханджяна. А уже через несколько месяцев было объявлено, что Ханджян — «враг народа», и в Армении арестовали множество его «сообщников».

Государственные деятели из сталинского окружения занимались не только политическим бандитизмом, но и совершили немало «обычных» уголовных преступлений. Незаконно расходуя миллионы, они возводили себе и своим родственникам роскошные особняки; создавали (подобно Г. Ф. Александрову — ведущему «идеологу» и видному деятелю сталинской администрации) тайные публичные дома. Берия, проезжая на машине по улицам Москвы, высматривал молодых красивых женщин и девушек, и их доставляли к нему в особняк. И во всем этом Сталину и его окружению было на руку в первую очередь именно отсутствие гласности.

Еще Маркс и Энгельс неоднократно говорили, что полная гласность — это важнейшее средство противостоять не только интригам правительства, но и злоупотреблениям внутри самой революционной партии. Ленин писал: «...Необходимо, чтобы вся партия систематически, исподволь и неуклонно воспитывала себе подходящих людей в центре, чтобы она видела перед собой, как на ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и «поражениями»...

Света, побольше света!..» [1].

Многие защитники цензуры и сегодня ссылаются на Декрет о печати, принятый вскоре после революции и подписанный Лениным. Этим декретом были запрещены некоторые буржуазные газеты, но он имел лишь временный и частный характер. Развернувшаяся вскоре гражданская война, однако, заставила на несколько лет продлить его действие и даже усилить административные меры против печатных органов других партий. Так, в 1918 году были временно закрыты газеты и издательства меньшевиков и эсеров. Но уже через несколько месяцев после окончания гражданской войны Ленин настоял на расширении свободы слова и печати, хотя, как это видно из его переписки с Г. Мясниковым, и в 1921 году выступал против свободы печати «от монархистов до анархистов», ссылаясь при этом на бедность РСФСР и богатство мировой буржуазии, которая сможет организовать («купить», «оплатить») более мощную пропаганду и агитацию. Поэтому с согласия Ленина и руководства РКП(б) цензура печати была сохранена, хотя и значительно ослаблена в первые годы нэпа.

Сталин ни в какой степени не продолжил тенденцию к расширению свободы слова и печати, которая наметилась в начале 20-х годов. Напротив, под его прямым влиянием уже с середины 20-х годов гласность непрерывно ограничивалась, в том числе и при обсуждении чисто партийных вопросов, или проблем и перспектив социалистического строительства. Свободно высказывать свои мнения не могли не только «монархисты» или «анархисты», но и крупнейшие партийные деятели. Когда в 30-е годы Сталин добился единоличной власти, он довел до небывалых масштабов и свой личный контроль над всеми источниками информации. Советские люди не получали никакой другой информации, кроме той, которая была разрешена Сталиным и его помощниками. Ни один кинофильм не мог выйти на экраны прежде, чем его просмотрит Сталин. Отсутствие у советских людей, в том числе и самых ответственных работников, той информации, которой располагал один лишь Сталин, делало его во многих случаях хозяином положения. Всем казалось, что Сталин знает гораздо больше любого другого, и это лишало людей уверенности в своих силах и правоте.

4

В 30-е годы пропаганда сосредоточивала внимание главным образом на успехах, неизменно связывая их с именем Сталина.

Трагическое в жизни страны переплеталось с героическим. Противоречивость эпохи: с одной стороны, политическая реакция, с другой — дальнейшее развитие революции — накладывала отпечаток и на деятельность Сталина. Она складывалась не из одних преступлений. Сталин отдавал распоряжения не только о репрессиях и расстрелах. Как глава государства, он принимал решения по многим вопросам хозяйственного и культурного строительства, внешней политики, образования и здравоохранения. Он допустил и здесь немало ошибок, которые дорого обошлись советскому народу. Однако Сталин не мог вообще не считаться с идеологией и устремлениями партии, с положениями марксизма и ленинизма, с принципами социализма. Поэтому культ Сталина затормозил или повернул вспять развитие нашего общества в одних направлениях, но не мог остановить сравнительно быстрого развития страны и общества в других направлениях. Это до сих пор затрудняет разоблачение Сталина, которому официальная пропаганда приписывала все достижения страны и народа. Мало кто понимал, что означают арест и гибель многих советских руководителей, объявленных «врагами народа». Но все видели, как развивается Советский Союз, как возникают повсюду новые школы, заводы, дворцы культуры. Не все понимали, что означают аресты военачальников, объявленных «шпионами». Но все видели стремление партии и правительства создать сильную современную армию, способную противостоять нападению любого врага. Не все понимали, что означают аресты ученых, объявленных «вредителями». Но все знали о достижениях и быстром развитии молодой советской науки. Не все понимали, что означают аресты писателей, объявленных «троцкистами». Но люди читали не только книги, искажающие или приукрашивающие действительность, а и книги правдивые, ставшие классикой. Не все понимали, что означают аресты руководителей национальных республик, объявленных «националистами». Но все видели, как быстро идет экономический и культурный подъем отсталых ранее национальных окраин, развивается дружба народов, разделенных ранее стеной угнетения и вражды. И эти очевидные успехи порождали доверие не только к партии и государству, но и к человеку, который стоял во главе партии и государства.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 8, стр. 96.

И даже тот, видимо, случайный факт, что страшный своими репрессиями 1937 год был и наиболее урожайным в довоенный период, сослужил немалую службу Сталину. Ибо Сталин нанес удар по партии не во время кризиса и упадка, а во время подъема, и это помогло ему обмануть народ.

Некоторые мемуаристы и писатели пытались объяснить поведение советских людей в 30-е годы прежде всего страхом. В своих мемуарах А. Письменный писал: «В сложном, пожалуй, даже болезненном процессе научиться верить, подчиниться неумолимой и в то же время сомнительной логике общественной жизни тридцатых годов было что-то животное, нельзя этого не признать, вероятно, сходство с зоологическим инстинктом самосохранения. Может быть, это как раз и было самым нестерпимым. За всеми высокими рассуждениями, обширными выкладками, идейно-политическими домыслами притаился и приплясывал в моем сознании маленький бесенок обыкновенного страха. Он не исповедовал возвышенных принципов. И не был склонен к трибунному суесловию, ставшему таким обычным. Маленький бесенок инстинкта самосохранения со своей подлой рожей был наивен и прозорлив. Он не занимался политическим анализом. В его здравом смысле житейской мудрости было больше, чем в десятках ученых книг. Его скептические представления об окружающем мире приходилось скрывать от посторонних, потому что, хоть по-житейски они, может быть, и находились к истине ближе всего, их можно было счесть обывательскими и даже реакционными».

Еще чаще, чем простой инстинкт самосохранения, людьми владел страх быть опозоренными. Они доверяли партии и Сталину, верили, что искренне служат народу и социализму, и боялись оказаться за бортом.

Чтобы понять причины легкости, с какой Сталину удалось обмануть партию и народ, убедить советских людей в существовании в стране разветвленного фашистского подполья, надо вспомнить и о суровой, предгрозовой обстановке середины и конца 30-х годов.

На протяжении 20—30-х годов Советский Союз был единственным социалистическим государством на Земле. Советские люди были уверены, что смертельная схватка с империализмом и фашизмом не только неизбежна, но и близка. Это создавало и атмосферу приподнятости, и атмосферу тревоги.

В 30-е годы те, кто был враждебен Советской власти, создавали небольшие и разрозненные контрреволюционные организации. Значительные размеры приняла и шпионско-диверсионная деятельность капиталистических разведок, особенно разведок фашистских государств. Шпионаж против СССР не был мифом, хотя это нисколько не оправдывало ни искусственного разжигания страстей, ни шпиономании, ни массовых репрессий. Поэтому версия о существовании в СССР разветвленного контрреволюционного подполья могла казаться многим, особенно

молодежи, правдоподобной, люди поверили в существование фашистской «пятой колонны».

Возникла именно такая психологическая атмосфера, которая нужна была Сталину и существенно облегчила проведение его террористической программы. Жестокость и подозрительность Сталина воспринимались в этой атмосфере как положительные качества. Таким образом, Сталин и в годы террора продолжал опираться на обманутые им массы, используя их порыв к лучшему будущему и любовь к Родине. Свое отступничество от идеалов социалистической революции Сталин всегда прикрывал архиреволюционными фразами, и это не давало возможности трудящимся разобраться в истинных мотивах, которые им двигали. Но эта же поддержка народа, без которой даже Сталин не мог бы сохранить власть, не позволила ему выйти сколько-нибудь далеко за пределы социалистического общественного строя и полностью уничтожить основные социальные завоевания революции. Обманув советских людей, Сталин уничтожал ветеранов революции как «врагов народа». Но он не мог открыто выступить против революции, против Ленина, против социализма. Сталин сильно замедлил колесо истории, но повернуть его вспять не мог.

5

Еще задолго до революции партия большевиков — и в этом одна из важных ее особенностей — строилась на основе строгой централизации. Вопрос о соотношении демократии и централизма в партии был с момента возникновения РСДРП основным в дискуссиях между большевиками и меньшевиками. Меньшевики тогда немало протестовали против жесткой централизации в партии, против увеличения полномочий партийного руководства, против системы демократического централизма, превращающего, как они считали, членов партии в «колесики» и «винтики» и т. п. Ленин всегда решительно отвергал подобные рассуждения и протесты меньшевиков как проявление интеллигентской расхлябанности и мелкобуржуазного индивидуализма. Несомненно, опасения по поводу чрезмерного централизма в партии были вызваны не только «интеллигентской расхлябанностью». Вряд ли можно утверждать, что Ленин вообще не видел многих опасностей чрезмерного централизма. Вместе с тем он неизменно указывал, что именно благодаря четкой централизации и строгой дисциплине — не в меньшей степени, чем благодаря правильной политической программе — социалисты могут рассчитывать на победу в революционной борьбе в такой стране, как Россия.

В первые годы после Октябрьской революции в условиях ожесточенной гражданской войны централизация в партии не только сохранилась, но и значительно усилилась. Это была уже не столько централизация, сколько военизация партии и комсомола. На основе строгой централизации строилось и молодое Советское государство. Без жесткой централизации и военной дисциплины большевики не смогли бы мобилизовать на борьбу против многочисленных врагов все ресурсы истощенной и разоренной страны. С чисто теоретической точки зрения многие упреки, которые высказывали в адрес «диктаторства» большевиков Роза Люксембург и даже Карл Каутский, были справедливы. Но Ленину и большевикам, которые летом 1918 года, то есть в самом начале гражданской войны, потерпели ряд тяжелых поражений и потеряли контроль над большей частью территории России, трудно было следовать какой-либо иной логике, кроме логики ожесточенной военной борьбы. Усиление централизации власти и ограничение демократии были тогда не только естественны, но и необходимы.

Сразу же после окончания гражданской войны ЦК РКП(б) наметил ряд мер для ослабления централизации партийной и государственной жизни и развития внутрипартийной и общенародной демократии. Уже IX Всероссийская конференция РКП(б), состоявшаяся в сентябре 1920 года, наметила меры расширения свободы дискуссий и критики внутри партии.

Запрещение фракций и группировок внутри ВКП(б) на X съезде существенно ограничивало внутрипартийную демократию. Однако тот же X съезд отметил многие отрицательные стороны излишней централизации власти и предложил провести ряд мер, направленных на развитие внутрипартийной демократии.

Речь, конечно, не шла и не могла идти об отказе от весьма строгой централизации партийного и государственного руководства. Коммунисты никогда не рисовали себе социалистическое общество как некую сумму самоуправляющихся общин или коммун, не подчиненных никакому центральному руководству. Необходимость централизации диктовалась не только политическими, но и экономическими причинами. В такой экономически слабой и разоренной стране, как Россия, без сильной и авторитетной центральной власти нельзя было быстро создать современную промышленность и особенно различные отрасли машинной индустрии. Только такая власть могла добиться перераспределения накоплений, мобилизовав для создания новых отраслей промышленности средства из других отраслей хозяйства и проведя необходимые меры налогового обложения и монополии внешней торговли. Да и в дальнейшем большая и все возрастающая экономическая система современного социалистического общества создавала объективную основу для централизации, ибо не могла функционировать без оперативного, единого, авторитетного, компетентного и твердого руководства.

И в 20-е, и в 30-е годы централизация была необходима. Разумеется, во всем следовало соблюдать меру. Речь могла идти не о слепой, бездумной и всеобъемлющей централизации, а об умелом сочетании централизации с местной инициативой, с индивидуальным творчеством, с развитием самостоятельности. О разумном сочетании централизации и демократизма, государственной дисциплины и личной свободы, подчинения необходимости и сохранения свободы выбора. Сталин даже и не думал о таком сочетании. Начатая в первой половине 20-х годов работа, направленная на демократизацию партийной и общественной жизни, не была продолжена в последующем. Напротив, прикрываясь тезисом об усилении классовой борьбы, Сталин постоянно настаивал на усилении централизации и постепенно забирал в свои руки все большую и большую власть. В результате репрессий 1937—1939 годов централизация была доведена до абсолютизма. Но надо иметь в виду, что и сами эти репрессии стали возможны только тогда, когда сосредоточенная в руках Сталина власть уже превысила разумные для социалистического государства пределы.

Очень помогла Сталину и длительность пребывания у власти. В нашей стране в прошлом не существовало какой-либо системы, определяющей регулярную смену руководства партией и государством. Это и позволило Сталину тщательно подготовиться к узурпации всей власти и постепенно устранить одного за другим всех своих оппонентов.

6

Ленин никогда не придавал дисциплине в партии самодовлеющее значение, отделял эту проблему от проблем коммунистических убеждений и вопроса о том, насколько правильна или ошибочна политика партийных центров. Единство партии Ленин никогда не понимал как полное и абсолютное запрещение групп и течений в партии вне зависимости от конкретной исторической обстановки и от того, какую политику проводит в данное время тот или иной руководитель партии.

Конечно, единство дает любой партии добавочную силу. Однако бывают случаи, когда в отсутствии споров и течений проявляется не сила, а слабость партии, когда ее члены под влиянием того или иного лидера все как один идут *не туда*. Поэтому Ленин решительно отвергал догматическое толкование единства партии. Еще в 1904 году, то есть на самых первых этапах создания партии, он писал:

«...В партии всегда будут споры и борьба, их надо лишь ввести в партийные рамки, а это под силу лишь съезду... ... весь опыт послесъездовской борьбы... учит, по нашему убеждению, необходимости обеспечить в уставе пар-

тии права всякого меньшинства, чтобы отводить постоянные и неустранимые источники недовольства, раздражения и борьбы из обычных обывательских потоков скандала и дрязги в непривычные еще каналы оформленной и достойной борьбы за свои убеждения» [1].

Когда на Пражской конференции РСДРП в 1912 году было предложено осудить борьбу групп в партии, то именно Ленин выступил против. Нельзя осуждать внутрипартийную борьбу вообще, заявил он. Мы должны осудить лишь безыдейную борьбу. Осудить же борьбу групп вообще — это значит осудить и борьбу большевиков против ликвидаторов.

Среди большевиков при Ленине всегда существовали различные группы и фракции, и это считалось естественным и нормальным. Только в период самого острого кризиса Советской власти в 1921 году Ленин призвал временно прекратить фракционную борьбу и распустить все существовавшие тогда среди большевиков группы и фракции. Однако предложенная Лениным резолюция о единстве партии не отменяла права ее членов критиковать и частные, и общие аспекты партийной политики, права иметь по тем или иным вопросам свое мнение, отличное от мнения ЦК. Эта резолюция не только не отменяла возможности дискуссий и споров в партии, но прямо говорила об их желательности.

К тому же Ленин специально подчеркивал, что принятая X съездом РКП(б) резолюция относится к разногласиям в данный момент и не может иметь расширительного толкования. Когда Д. Б. Рязанов предложил и впредь запретить выборы на съезды партии по платформам различных групп, то именно Ленин отверг это предложение. Он, в частности, заявил:

«Я думаю, что пожелание т. Рязанова, как это ни жаль, неосуществимо. Лишить партию и членов ЦК права обращаться к партии, если вопрос коренной вызывает разногласия, мы не можем. Я не представляю себе, каким образом мы можем это сделать! Нынешний съезд не может связывать чем-либо выборы на будущий съезд: а если будет такой вопрос, как, скажем, заключение Брестского мира?.. Возможно, что тогда придется выбирать по платформам... Если же обстоятельства вызовут коренные разногласия, можно ли запретить вынесение их на суд всей партии? Нельзя! Это чрезмерное пожелание, которое невыполнимо и которое я предлагаю отвергнуть» [2].

Резолюция X съезда о единстве партии сыграла в начале 20-х годов положительную роль, но в последующем она не помешала ни возникновению серьезных разногласий в партии, ни появлению новых оппозиционных фракций. Оппозиционные течения в 20-х годах существовали в партии открыто, и с ними велась открытая борьба. Конечно, с самого начала предпринимались попытки догматически толковать решения X съезда. В середине 20-х годов большинство партийного актива понимало, что при серьезных разногласиях по принципиальным вопросам члены партии имеют право на критику партийных верхов, критику политики ЦК, то есть на оппозицию.

В дальнейшем Сталин решительно изменил толкование принципа единства партии. Почувствовав себя хозяином положения, он повел борьбу не только против оппозиционных взглядов, но и против самого права членов партии или ЦК на оппозицию. Сознательная дисциплина заменялась слепым повиновением воле «вождя». Членам партии прививалось убеждение, что Сталин и его сподвижники не могут совершать ошибки, и потому всякая оппозиция — это агентура мелкобуржуазных и буржуазных кругов в ВКП(б). Искаженное толкование резолюции X съезда сыграло печальную роль. В верхах партии возобладал оппортунизм, догматически толкуемый лозунг единства послужил Сталину важным средством укрепления его личной диктатуры и разгрома ленинского ядра партии. Великий лозунг единства рабочего класса и партии Сталин использовал для фактического ее раскола и истребления всех неугодных ему коммунистов.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 9, стр. 8—10.
[2] Там же, том 43, стр. 112.

7

Система созданной Сталиным единоличной диктатуры была сложной и прочной. Главную роль в ней играли карательные органы, находившиеся под личным контролем Сталина.

Перед Октябрьской революцией Ленин предполагал, что пролетариат сумеет достаточно легко сломить сопротивление буржуазии, и при подавлении контрреволюции можно будет обойтись относительно короткими и ограниченными карательными акциями. Действительность оказалась много сложнее, и Советскому правительству пришлось создавать вскоре после революции специальные карательные органы. Первое заседание Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК) состоялось в декабре 1917 года. Особый размах деятельность ВЧК приобрела в годы гражданской войны, и прежде всего в прифронтовых районах. Чрезвычайные комиссии мыслились в тот период не как судебные или следственные органы, а именно как военно-административные *карательные* органы, которые должны находить внутренних врагов и уничтожать или изолировать их. Как солдат убивает своего противника только потому, что видит его по ту сторону линии фронта и с оружием в руках, так и органы ВЧК должны были искать контрреволюционеров и саботажников и уничтожать их на месте преступления.

Советская власть и Красная Армия вряд ли смогли бы победить своих противников без помощи ВЧК, без ее массовых карательных действий и «красного террора». Однако именно «чрезвычайные», но не всегда точно определенные функции ВЧК вели нередко к злоупотреблениям и ошибкам.

Карательные акции ВЧК включали не одни лишь расстрелы, но и создание больших концентрационных лагерей. Заключение в этих лагерях рассматривалось как временное — лишь на период гражданской войны. И действительно, сразу после ее окончания началась разгрузка тюрем и лагерей и изменились формы работы ВЧК. В приказе руководства ВЧК от 8 января 1921 года говорилось:

«Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного переворота отпала. Острый период гражданской войны закончился, но он оставил тяжелое наследие — переполненные тюрьмы, где сидят главным образом рабочие и крестьяне, а не буржуи. Надо покончить с этим наследием, разгрузить тюрьмы и зорко смотреть, чтобы в них попадали только те, кто действительно опасен Советской власти. При фронтовой обстановке даже мелкая спекуляция или переход через фронт могли бы представлять опасность для Красной Армии, сейчас же подобные дела нужно ликвидировать. На будущее время с бандитами и злостными рецидивистами разговор должен быть короткий, но держать в тюрьме толпы рабочих и крестьян, попавших туда за мелкие кражи или спекуляцию, недопустимо...»

Дело было не только в изменении стиля и методов работы ВЧК. Еще в 1919 году по предложению Дзержинского были ликвидированы почти все уездные ЧК, так как исчезли чрезвычайные условия, вызвавшие их существование. В мирное время «быстродействующие» карательные органы были уже не нужны. В декабре 1921 года по предложению Ленина очередной съезд Советов поручил ВЦИК «в кратчайший срок пересмотреть положение о Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и ее органах в направлении их реорганизации, сужения их компетенции и усилении начал революционной законности». 6 февраля 1922 года был принят декрет о реорганизации ВЧК в ГПУ (Государственное политическое управление), на которое возлагалась борьба лишь с особо опасными государственными преступлениями: политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. При этом ГПУ не имело права выносить окончательные решения о наказании преступников. Органы ГПУ вели следствие: приговор, как правило, должен был выносить суд.

Перестройка органов ВЧК — ГПУ завершилась к середине 20-х годов, но очень скоро началась снова — уже в другом направлении. Под влиянием Сталина ГПУ стало опять превращаться в карательную организацию: получи-

ло право заключать в тюрьму или лагерь, высылать в отдаленные районы страны, а позднее даже расстреливать отдельных заключенных.

В. Р. Менжинский, Председатель ОГПУ после смерти Дзержинского, не имел такого влияния и авторитета, как Дзержинский. К тому же Менжинский тяжело болел и мало вмешивался в повседневную работу ОГПУ. Фактическим главой ОГПУ стал его заместитель Г. Ягода, находившийся под большим влиянием Сталина. В начале 30-х годов ОГПУ руководило выселением кулаков. На органы ОГПУ опирался Сталин при проведении репрессий среди «буржуазной» интеллигенции, технических и военных специалистов. Уже тогда достаточно широко применялись фальсификация следственных материалов и пытки заключенных. Когда М. П. Якубович сказал в конце 1930 года своему следователю, что при Дзержинском такие методы следствия были бы невозможны, тот рассмеялся: «Нашли кого вспоминать! Дзержинский — это пройденный этап в развитии нашей революции».

Постепенно увеличивались и штаты ОГПУ, реорганизованного в Наркомат внутренних дел (НКВД), в его состав вошло также управление милицией и пограничной охраной. После смерти Менжинского в 1934 году наркомом внутренних дел назначили Ягоду. Права НКВД были значительно расширены. При наркоме было создано Особое совещание, наделенное правом заключать людей в лагерь, тюрьму или отправлять в ссылку на срок до пяти лет без какого-либо судебного разбирательства. В состав Особого совещания, кроме наркома внутренних дел, входили его заместители, начальник главного управления милиции и Прокурор СССР или его заместитель. Решение Особого совещания мог отменить по протесту Прокуратуры СССР только Президиум ЦИК СССР.

После убийства Кирова и особенно после первого «открытого» судебного процесса в 1936 году Сталин и Ежов провели «генеральную чистку» органов НКВД, о которой уже говорилось в этих очерках. Важно отметить, что в 1937 году оклады работников НКВД были увеличены сразу вчетверо и значительно превышали оклады сотрудников других партийных и государственных учреждений. Органам НКВД передавались лучшие квартиры, дома отдыха, больницы. Сотрудники органов за успешно проведенные операции получали правительственные награды. В 1937 году штаты НКВД были еще более расширены, наркомат превратился в огромную армию со своими дивизиями и полками, сотнями тысяч работников охраны, десятками тысяч офицеров. Управления НКВД имелись не только во всех областных, но и во всех районных центрах. Специальные отделы НКВД были на всех крупных предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях. Под контролем НКВД находились и все средние предприятия, а также парки, библиотеки, железные дороги, театры и др. По всей стране была создана громадная сеть осведомителей и доносчиков, работавших на «общественных началах». Специальные досье заводились на десятки миллионов людей. Наряду с отделами кадетов и монархистов, меньшевиков и эсеров, а также «прочих контрреволюционных партий» в четвертом управлении НКВД был создан и отдел ВКП(б) для надзора и наблюдения за всеми партийными организациями вплоть до ЦК. Секретари горкомов, райкомов и обкомов утверждались на эти посты только после согласования с органами НКВД. Были в НКВД «особые» отделы, наблюдавшие за самими чекистами, а также «спецотдел», наблюдавший за работой «особых» отделов. Сотрудникам НКВД прививалось убеждение, что чекистская дисциплина выше партийной. В программу подготовки кадров входило изучение истории ремесла, в том числе история инквизиции. Конечно, пыткам и многому другому обучали на практике — в теории такое осуждалось. Даже в районных управлениях на видных местах были вывешены слова Ленина: «Малейшее беззаконие — это дыра, через которую пролезет к нам контрреволюция». Все это было вполне в духе Сталина.

Полномочия и права органов НКВД были необычайно велики и в начале 30-х годов, однако по предложению Сталина летом 1936 года ЦК ВКП(б) принял постановление о предоставлении органам НКВД «чрезвычайных полномочий» сроком на один год — для полного разгрома «врагов народа». На июньском (1937 года) Пленуме ЦК ВКП(б) эти «чрезвычайные полномочия» были на неопределенное время продлены, а также расширены судебно-карательные функции НКВД. После этого Пленума в течение суток было арестовано 18 членов ЦК ВКП(б).

Кроме Особого совещания при наркоме внутренних дел, во всех крупных управлениях НКВД была создана система «троек», которые выносили заочные приговоры, не считаясь ни с какими формальностями и нормами судопроизводства. Карательные органы были выведены из-под контроля партии, а тем более Прокуратуры. Санкция прокурора имела для НКВД чисто формальный характер. Во многих областях прокуроры подписывали не только задним числом любые санкции, но и чистые бланки, в которые следователи НКВД могли затем вносить какие угодно фамилии. Вся эта чудовищная, непомерно разросшаяся карательная система подчинялась приказам и воле только одного человека — Сталина, была прочной опорой сталинского режима. Однако она обладала и определенной собственной инерцией, ибо значительная часть офицеров из привилегированного аппарата НКВД не хотела оставаться без работы, а «работа» эта состояла в том, чтобы искать, судить и изолировать «врагов народа».

Надо отметить в этой связи и «запросы» на рабочую силу, требующуюся огромной сети трудовых лагерей, созданных почти повсюду. В середине 30-х годов заключенные строили в основном каналы, сначала Беломорско-Балтийский, а затем Москва — Волга. К концу 30-х годов положение изменилось, так как стремительное расширение системы ГУЛАГа совпало с расширением в стране промышленного строительства. Работа ГУЛАГа входила в государственные планы и занимала в них все более и более важное место. В конце 30-х годов на долю ГУЛАГа приходилась значительная часть вывозки древесины, добычи медной руды, золота, угля. ГУЛАГ строил не только каналы, но также стратегические дороги и промышленные предприятия в отдаленных районах страны. К началу 50-х годов ГУЛАГ эксплуатировал некоторые шахты в Донбассе, часть швейных фабрик, владел почти всей лесной промышленностью в Архангельской области, строил высотное здание Московского университета и некоторые другие столичные здания, а также санатории в Крыму и Сочи, жилые дома для работников НКВД в Орле и т. д. Планирующие организации нередко оказывали через близкий Сталину аппарат давление на ГУЛАГ, чтобы ускорить те или иные стройки. При этом планировалось не только развитие работ по линии ГУЛАГа, но и прирост лагерной рабочей силы. Перед началом некоторых крупных строек областные органы НКВД получали разнарядку на поставку «рабочей силы». Таким образом, однажды возникнув, широкая система принудительного труда становилась одной из важных причин все новых массовых репрессий.

8

Ни Маркс, ни Ленин никогда не отрицали необходимости насильственных мер в революционной борьбе, ибо насилие, по словам Маркса, это повивальная бабка старого общества, когда оно беременно новым. Ленин также не раз повторял, что революции не делаются в белых перчатках. Именно твердость в борьбе, умелое сочетание убеждения и насилия, а в ряде случаев и террора обеспечили большевикам победу в революции и гражданской войне. Однако марксизм никогда не придерживался тезиса о том, что революционные и гуманные цели могут оправдать любые средства в борьбе за победу революции.

Тезис «цель оправдывает средства» был выдвинут еще в средние века и получил наибольшее развитие в деятельности инквизиции и ордена иезуитов, взявших на себя защиту католической церкви. Известно, какой жестокостью сопровождались религиозные распри и войны во всех странах. Однако и каждая светская тирания заранее освобождала своих защитников от соблюдения почти всех моральных норм.

К сожалению, из арсенала врагов революции и прогресса этот тезис нередко переходил и в арсенал революционеров — догматиков и фанатиков, а так-

же тех, кто примыкал к революционной партии из корысти, тщеславия и честолюбия или слепой ненависти к старому обществу, личной озлобленности, комплекса неполноценности.

Крайняя неразборчивость в средствах характерна для многих участников буржуазно-демократических революций. Якобинская диктатура и якобинский террор преобразовали Францию. Но этот же террор, став непрерывным и все более массовым, подорвал силы революции. Не только с ведома, но и по настоянию Робеспьера его политических противников на основании клеветнических обвинений предавали суду. Сопутствующее террору упрощенное судопроизводство привело к казни многих честных республиканцев; террором ответили якобинцы и на требования городской бедноты. Не свободно было от этой «бесовщины» и русское революционное движение XIX века.

Примеры неоправданной жестокости, подозрительности, самосуда и вспышек необузданного насилия были нередки и в революционном 1917 году в России. После начала гражданской войны расширились и масштабы неоправданного насилия, приносившего лишь огромный вред молодой Советской республике. Чего стоила революции позорная кампания по «расказачиванию», проводившаяся в начале 1919 года Донбюро РКП(б) и Гражданупром Южного фронта и поддержанная директивой, полученной от Я. М. Свердлова! Нередко прибегали к насилию во время гражданской войны не только И. Сталин и Л. Троцкий, но и многие другие командиры, комиссары и специальные уполномоченные.

Чрезмерно широко применялся в годы гражданской войны метод заложников. Во многих случаях можно было найти объяснение временной изоляции в специальных лагерях потенциально опасных для Советской власти групп людей. Метод же заложников предполагал не только временную изоляцию, но и физическое уничтожение одних людей за проступки и преступления других. Об этом без обиняков говорилось, например, в приказе наркома внутренних дел Г. Петровского в сентябре 1918 года:

«Расхлябанности и миндальничанию должен быть немедленно положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейшей попытке сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочно массовый расстрел. Местные Губисполкомы должны проявлять в этом отношении особую инициативу».

Этот приказ вызвал массовый расстрел заложников. К примеру, в № 5 «Еженедельника Чрезвычайных Комиссий» мимоходом сообщалось о расстреле в Петрограде 500 (пятисот) заложников. Такие расстрелы лишь ожесточали борьбу и вели к новым жертвам с обеих сторон. В том же «Еженедельнике» опубликованы предложения некоторых чекистов подвергать арестованных «самым ужасным пыткам, от описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров». Это было уже слишком, и по требованию Я. М. Свердлова выпуск «Еженедельника ЧК» вскоре прекратился. Но не прекратились многие случаи неоправданной жестокости в работе ВЧК и других органов революции.

После окончания гражданской войны даже многие отчасти оправданные ранее формы насилия становились недопустимы и опасны. Советское правительство должно было принять решительные меры для укрепления законности. Сделать это было, однако, нелегко, так как многие советские и партийные деятели искренне считали, что введение законности равносильно «разоружению революции».

Председатель ЦИК М. И. Калинин писал, что «война и гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых единственным законом является целесообразное распоряжение властью. Управлять для них — значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь регламентирующим статьям закона».

Историк М. Н. Покровский писал в 1924 году о коммунистах, которые, возвращаясь с фронтов гражданской войны, были уверены, «что то, что дало такие блестящие результаты по отношению к колчаковщине и деникинщине,

поможет справиться со всеми остатками старого в любой другой области». Победа в гражданской войне порождала у этих людей надежду, «что дело пойдет так же быстро и в хозяйственном строительстве, стоит только пустить в ход военные приемы».

В работе Маркса «Разоблачения о кельнском процессе коммунистов» можно прочесть, что пролетариат нуждается в 10—20 и даже 50-летнем периоде гражданских войн, чтобы победить врага и освободиться от собственных пороков.

Несомненно, что жестокая гражданская война помогла русскому пролетариату и его партии избавиться от ряда недостатков и иллюзий,— это была суровая школа закаливания и отбора. Но эта же война привила немалому числу людей иные пороки, от которых им потом очень трудно было избавиться. К тому же длительная война или террор создают не только привычки и качества личности, но и определенные учреждения и институты, от влияния которых избавиться еще труднее. Переход от образа мышления времен гражданской войны к новым понятиям, методам и средствам революционной работы оказался трудным даже для В. И. Ленина, о чем свидетельствует его переписка с Д. И. Курским.

Широко известно изречение К. Маркса: «Революции — локомотивы истории»[1]. Так же известны слова Ленина: «Революции — праздник угнетенных и эксплуатируемых»[2]. А вот слова Энгельса вспоминают гораздо реже. Он писал: «Во всякой революции неизбежно делается множество глупостей так же, как и во всякое другое время; и когда, наконец, люди успокаиваются настолько, чтобы вновь стать способными к критике, они обязательно приходят к выводу: мы сделали много такого, чего лучше было бы не делать, и не сделали много, что следовало бы сделать, поэтому дело и шло скверно»[3]. Конечно, революции могут быть различны по своему характеру и результатам, но после опыта XX века трудно слагать гимны в честь насильственных революций. Они необходимы, когда отжившие реакционные общественные группы и институты не оставляют прогрессивным силам никакого другого выбора, кроме применения силы. Однако вооруженную борьбу классов трудно регулировать и еще труднее предвидеть ее результаты, которые оказываются мало похожими на первоначальные замыслы революционеров.

Старая коммунистка Р. Б. Лерт, прочитав эти очерки, написала мне: «Революция была необходима в такой стране, как Россия, и эта революция не могла обойтись без насилия. Нельзя было победить в гражданской войне без массового террора, без насилия над офицерами, над кулаками... Разгорелась действительно смертельная борьба, и если бы коммунисты не победили, их всех бы вырезали белые. Но мы, как революционная партия, допустили ошибку, когда представили революционное насилие не как печальную неизбежность, а как подвиг. Массовое насилие, террор, даже «красный», все равно остаются злом. Пусть это зло временно необходимо, но это все-таки зло, а между тем его скоро стали представлять как добро. Мы стали думать и говорить, что все, что полезно и необходимо для революции,— это добро, это нравственно. Но такой подход к оценке событий неверен в принципе. Революция несла с собой не только добро, но и зло. Избежать насилия в революции было невозможно, но нужно было понимать, что речь идет о временном допущении зла в нашу жизнь и в нашу практику. Романтизировав насилие, мы продлили ему жизнь, мы сохранили его даже тогда, когда оно стало уже совершенно излишним, стало абсолютным злом... Непротивление злу насилием — это не наша философия, она во многих случаях может лишь помочь торжеству зла. Но, применяя и весьма крутые средства, мы не должны были менять моральную оценку этим актам насилия».

Если злоупотребления насилием были достаточно часты еще при жизни Ленина, то по мере того, как Сталин укреплялся в руководстве партией и государством, они становились нормой. Еще задолго до репрессий 1936—1938 го-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 7, стр. 86.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 11, стр. 103.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 18, стр. 516.

дов Сталин приучил большинство советских и партийных работников не стесняться в выборе средств в борьбе с теми, кого он объявлял врагами революции. Разве думали о судьбах многодетных семей при выселении кулаков на север? Разве не избивали во время коллективизации кулаков и «подкулачников»? Разве не говорил Макар Нагульнов из «Поднятой целины», что станови перед ним тысячи дедов, детишков, баб и если скажут ему, что это нужно для революции, то он их всех из пулемета порежет?

Конечно, Сталин далеко не один использовал иезуитские методы в руководстве партией и революцией — у него было немало единомышленников. Это облегчило внедрение в практику государственных и особенно карательных органов тезиса о возможности «в интересах революции» применять любые средства. Это облегчило Сталину осуществление его целей. Ибо достаточно было объявить всех неугодных ему «врагами народа», как эти люди оказывались вне закона и любое насилие над ними становилось оправданным и допустимым.

Не все партийные и советские работники с готовностью приняли в 1929—1933 годах сталинские методы. Но таким говорили, что это нужно для революции, и привычная логика успокаивала совесть, туманила сознание честных ранее революционеров, превращавшихся со временем в послушное орудие сталинского произвола, а позднее чаще всего и в его жертву.

Старый большевик, революционер, нарком юстиции СССР Н. В. Крыленко выступал в начале 30-х, да и в конце 20-х годов особенно рьяным защитником внесудебных репрессий. В 1930 году он писал: «Для буржуазной Европы и для широких кругов либеральствующей интеллигенции может показаться чудовищным, что Советская власть не всегда расправляется с вредителями в порядке судебного процесса. Но всякий созидательный рабочий и крестьянин согласится с тем, что Советская власть поступает правильно».

Не вызывали протеста Крыленко и противоречащий Конституции Закон от 1 декабря 1934 года, и все репрессии в 1935, 1936 и 1937 годах. В 1938 году клеветнически обвиненный во вредительской деятельности, Крыленко был арестован и вскоре расстрелян также безо всякого законного судебного разбирательства.

Первый секретарь Северо-Кавказского крайкома партии Б. П. Шеболдаев в начале 30-х годов активно защищал политику массовых репрессий на Кубани. В ноябре 1932 года в Ростове-на-Дону он говорил: «Мы прямо опубликовали, что будем выселять в северные края злостных саботажников, кулацких подпевал, не желающих сеять. Разве мы не выселяли с той же самой Кубани кулацкие контрреволюционные элементы в прежние годы? Выселяли, и в достаточном количестве. И сейчас, когда эти остатки кулачества пытаются организовать саботаж, выступают против требования Советской власти, правильнее отдать плодородную кубанскую землю колхозникам, живущим в малоземелье на плохих землях в других краях... А не желающих работать, поганящих нашу землю вышлем в другие места. Это справедливо. Нам могут сказать: «Как же раньше кулаков выселяли, а сейчас речь идет о целой станице, там есть и колхозы, и добросовестные единоличники, как быть?» Да, приходится ставить вопрос о целой станице, ибо колхозы, ибо колхозники, ибо действительно добросовестные единоличники в нынешней обстановке отвечают за состояние своих соседей. Какая же это опора Советской власти — колхоз, если рядом с ним другой колхоз или целая группа единоличных хозяйств выступают против мероприятий Советской власти!»

А всего через пять лет Сталин нашел, что и весь Северо-Кавказский обком партии не может служить надежной опорой Советской власти. Шеболдаев был арестован и расстрелян.

В 1936 году секретарь Гомельского обкома партии М. О. Стакун, выступая на активе, критиковал органы НКВД за «либерализм» и требовал арестовать старуху, которая ругала Советскую власть за недостаток хлеба. А через год переставшие «либеральничать» органы НКВД арестовали самого Стакуна.

Литератор Л. Л. Авербах, будучи генеральным секретарем РАППа, долгое время травил всех «непролетарских писателей». Еще в 1929 году он обрушился со злобной критикой на Андрея Платонова. В журнале «На литературном посту» Авербах писал: «К нам приходят с проповедью гуманизма, как будто есть на свете что-либо более человечное, чем классовая ненависть пролетариата». А в 1938 году Авербах был расстрелян как ненавистный пролетариату «враг народа».

Первый секретарь ЦК КП Белоруссии В. Ф. Шарангович руководил в 1936—1937 годах разгромом партийных кадров в республике. После его требования снять Председателя ЦИК Белоруссии А. Г. Червякова тот покончил самоубийством. Узнав об этом, Шарангович на съезде партии в Минске сказал: «Собаке собачья смерть». А через год Шаранговича расстреляли. Он был одним из подсудимых на процессе Бухарина — Рыкова, и Прокурор СССР А. Я. Вышинский, требуя высшей меры наказания также и для Шаранговича, заявил: «Изменников и шпионов, продававших врагу нашу Родину, надо расстрелять, как поганых псов!»

Некоторые старые большевики в своих мемуарах утверждают, что все плохое началось именно в 1937 году. Я. И. Дробинский думает иначе: «Это готовилось исподволь, и даже не исподволь, а на глазах. Постепенно, медленно, но систематически малыми дозами вливался этот яд бесчестия и готовились кадры для этой операции. Он накапливался в организме, и когда защитные силы ослабели, захватил весь организм. Это готовилось тогда, когда ломали семьи мужиков, разрушая насиженные гнезда мужика, загоняя его на край света в лагеря, наклеивая ему ярлык подкулачника за то, что он осмелился сказать, что неправильно раскулачили его друга-середняка — трудового человека! Это накапливалось тогда, когда заставляли мужика сдавать лен, заведомо зная, что не уродил он, когда давались директивы ломать саботаж, судить саботажников, опять-таки зная, что нет саботажа и саботажников, потому что льна нет, не уродило. Когда судили этих «саботажников», забирали последнюю коровенку, то ведь прокурор знал, что никакого саботажа нет, но давал санкцию на арест. Знали и судьи, что мужик честен, но они судили его. А сейчас тот же прокурор дает санкцию на твой арест, и те же судьи судят. Принцип не изменился. Ведь тогда и были подготовлены кадры для этих дел, кадры людей, для которых неважно, виновен ли ты в чем, а важно, что есть директива считать тебя виновным».

Недостойные средства, применяемые большевиками для достижения якобы революционных целей,— одна из излюбленных тем западной политической литературы. Один из героев романа А. Кестлера «Слепящая тьма», следователь Иванов, пытаясь убедить себя и других в оправданности жестоких репрессий 1937 года, говорит подсудимому Рубашову: «Твой Раскольников — дурак и преступник, но вовсе не потому, что убил старуху, а потому, что он совершил убийство только ради своей личной пользы. Закон «цель оправдывает средства» есть и останется во веки веков единственным законом политической этики; все остальное — дилетантская болтовня. Если бы твой малахольный Раскольников прикончил старуху по приказу Партии — для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы,— логическое уравнение было бы решено... На свете существуют две морали, и они диаметрально противоположны друг другу. Христианская, или гуманистическая, мораль объявляет каждую личность священной и утверждает, что законы арифметических действий никак нельзя применять к человеческим жизням. Революционная мораль однозначно доказывает, что общественная польза — коллективная цель — полностью оправдывает любые средства и не только допускает, но решительно требует, чтобы каждая отдельно взятая личность безоговорочно подчинилась всему обществу, а это значит, что, если понадобится, ее без колебаний принесут в жертву или даже сделают подопытным кроликом».

Этика Иванова не имеет ничего общего с социалистической этикой, однако она вполне устраивала всех сталинистов. Справедливо писал Ю. Карякин: «Марксисты признают классовое насилие, но лишь в одном случае: пока есть насильники, оно должно применяться по отношению к ним и только к ним. И это гуманно, ибо это означает освобождение подавляющего большинства от

гнета ничтожного меньшинства. Без борьбы за это освобождение нет никакой свободы личности, никакого ее самоусовершенствования, а есть лишь ее распад. Неизбежные жертвы на таком пути борьбы — это не унавоживание почвы для грядущих поколений, а сам посев будущего; это не заклание баранов на алтарь неизвестному божеству, а подъем, порыв масс, сознающих свое рабское положение при капитализме, и свои силы, и свои идеалы; это все более свободный выбор человека, становящегося человеком... Гуманизм целей коммунистов определяет и гуманность их средств, а иезуитство —...это извращение и средств и целей борьбы. Самые верные идеи, защищаемые иезуитскими методами, не могут не превратиться в свою противоположность».

Революция средства может выбирать из очень широкого арсенала в зависимости от конкретной обстановки. В жизни нашей страны и в развитии революции были трудные ситуации, когда ради спасения Советского государства приходилось применять очень жесткие средства, немыслимые в условиях мирного времени или даже обычной войны. Но не отказываясь заранее от тех или иных средств борьбы, мы не можем и объявлять заранее их все допустимыми. Революционная партия должна в каждой конкретной обстановке (ситуации) анализировать, какие средства при минимуме издержек приведут наилучшим (и не обязательно кратчайшим) путем к цели. На основании такого же анализа следует определить, какие средства не могут быть применены в той или иной ситуации, и какие не могут применяться ни в какой ситуации. Революционер, который вообще не считает нужным стеснять себя в средствах, может добиться временного или личного успеха. Но рано или поздно он потерпит крах как революционный деятель. Недостойные средства отталкивают народные массы, а это, в свою очередь, мешает использовать и такие средства, которые усиливают революционный порыв народа. Революция не всегда может позволить себе рыцарское благородство в борьбе, тем более, что такое благородство почти нигде и никогда не проявляют ее противники. Однако недостойные и низкие средства, мстительность и неоправданная жестокость свидетельствуют только о слабости революционной партии. Движение той или иной страны к социализму должно воспитывать не циников и садистов, а честных, преданных народу, гуманных и правдивых людей.

Сталин не думал о будущем революции и социализма. Безраздельная личная власть была его главной целью, и для ее достижения годились любые средства, в том числе и самые бесчеловечные. Делу социализма это нанесло громадный урон.

9

Доверие большинства советских людей к Сталину и руководству партии ставило незаконно репрессируемых коммунистов в невероятно трудное положение. Ведь все считали их преступниками, и лишь родные и немногие друзья знали, что они невиновны. Еще более тяжелым для арестованных было то, что они не могли ничего понять. В сборнике воспоминаний о Михаиле Кольцове можно прочесть: «Что происходит,— повторял, бывало, Кольцов, шагая взад и вперед по кабинету.— Каким образом у нас вдруг оказалось столько врагов? Ведь это же люди, которых мы знали годами, с которыми мы жили рядом!.. И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что они враги народа, шпионы, агенты иностранных разведок... В чем дело? Я чувствую, что схожу с ума. Ведь я по своему положению — член редколлегии «Правды», известный журналист, депутат — я должен, казалось бы, уметь объяснить другим смысл того, что происходит, причины такого количества разоблачений и арестов. А на самом деле я сам, как последний перепуганный обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах».

Большинство думало, что случившееся с ними — ошибка. «Я завтра вернусь домой»,— сказал жене армейский комиссар Г. Осепян, когда ночью за ним пришли сотрудники НКВД. Такого же рода «конституционные иллюзии» испытывал и бывший председатель Госплана СССР В. И. Межлаук — незадолго до

расстрела он написал в тюрьме статью «О плановой работе и мерах ее улучшения». Даже после пыток и истязаний многие продолжали верить, что, если не на следствии, то на суде все разъяснится.

Непонимание и одиночество порождали у тех, кто ожидал ареста или находился в заключении, растерянность, пассивность и даже покорность судьбе. Сталину удалось расправиться с миллионами людей именно потому, что они ни в чем не были виновны. Когда после расстрела Якира был вызван в Москву один из его заместителей, М. П. Амелин, он сказал своим близким: «Не знаю, вернусь ли я, но верьте, что никогда я не был врагом своей родной власти и своей страны».

Предчувствовал недоброе и командующий Белорусским военным округом И. П. Белов, когда его неожиданно вызвали в Москву. Выехавший вместе с ним Л. М. Сандалов рассказывал, что командарм все время думал о своем предшественнике И. П. Уборевиче, который так же внезапно был вызван в Москву... Тревога Белова не была напрасной. Как только поезд прибыл в Москву, его арестовали.

Были случаи, когда люди, мучительно и долго ожидавшие ареста, чувствовали облегчение, оказавшись в тюрьме. «Ну, товарищи,— сказал соседям по камере старый большевик Дворецкий,— сегодня я, наверное, высплюсь... Три месяца мучаюсь. Жду, когда придут за мной. Каждый день берут людей, а за мной не приходят. Наркомов всех взяли, а меня не берут. Просто душой измаялся. Не звонить же мне: почему, мол, не берете? И вот, слава богу!.. Сегодня звонок из НКВД. А я лежу уже год почти, ноги не действуют. Ну звонит какой-то начальник: «Не можете ли вы к нам подъехать на часок? Нужна,— мол,— ваша консультация», «Пожалуйста,— говорю,— могу, присылайте машину».

Именно непонимание, расстерянность, страх позволили Сталину сравнительно легко узурпировать всю власть в стране. Он не только использовал обстановку растерянности, непонимания и недостаток сплоченности в рядах партии, а всячески поощрял разрозненность. Натравливая одну группу членов ЦК на другую, он получал возможность уничтожать неугодных ему людей чужими руками. Запрещение фракций в партии не прекратило споров и борьбы между отдельными группами или видными руководителями государства по тем или иным принципиальным или личным проблемам. Лишенная открытой трибуны, эта борьба часто принимала уродливую форму интриги. Сталин умело использовал раздоры, стараясь увеличить возникавшие трещины и разногласия в руководстве. Он использовал и борьбу мнений, и чрезмерное самолюбие некоторых работников, и их личные столкновения, и неприязнь, использовал худшие качества окружавших его людей — зависть, злобу, тщеславие, глупость. Сталин немало сделал для того, чтобы отношения между членами Политбюро стали антагонистическими, он поощрял борьбу между Литвиновым и Крестинским в наркомате иностранных дел, между Ворошиловым и Тухачевским в наркомате обороны, между Орджоникидзе и Пятаковым в наркомате тяжелой промышленности и т. д. За год до своей гибели Блюхер, Белов, Алкснис и Дыбенко принимали участие в судебном заседании Военной коллегии, на котором были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие. И. Эренбург вспоминал: «Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографию Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден. Не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных... «Они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место».

Назначенный в 1938 году наркомом Военно-Морского Флота В. Смирнов предпринял сразу же поездку по флотам для их «очистки» от «врагов народа», а в конце года сам был арестован и расстрелян.

Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии Р. Эйхе санкционировал аресты и расстрелы в Сибири «троцкистов» и «бухаринцев». Бывших

оппозиционеров заставили дать ложные показания на самого Эйхе, и он был арестован как глава «троцкистско-бухаринского подполья» в Западной Сибири.

Секретарь ЦК КП(б)У П. П. Постышев немало потрудился, громя украинские национальные кадры еще в 1932—1933 годах. В 1937 году он направлял уполномоченному НКВД на Украине В. А. Балицкому десятки списков с сотнями фамилий ни в чем не повинных людей. В марте 1937 года Постышев был снят со своего поста «за недостаток бдительности». Оставаясь еще кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), он был направлен секретарем Куйбышевского крайкома партии. Во второй половине 1937 года Куйбышевский край, включавший тогда и Мордовию, был с невиданной жестокостью «очищен» от «врагов народа». Были разгромлены почти все краевые организации и арестованы руководители всех 110 райкомов. Под руководством Постышева в Куйбышеве состоялся «открытый» процесс «вредителей» из КрайЗУ, после которого были арестованы сотни работников сельского хозяйства. Получая на визу приговоры суда, Постышев нередко требовал расстрела в тех случаях, когда прокурор и следователь считали возможным ограничиться 8 или 10 годами заключения. Когда край был «очищен», Постышева сняли с работы, исключили из состава Политбюро с формулировкой «за истребление кадров», а затем арестовали и расстреляли.

Конечно, люди вели себя по-разному, и мера их ответственности не одинакова. Многое зависело от того, на каком расстоянии от эпицентра разыгравшейся в стране трагедии стоял тот или иной человек и какими он располагал возможностями. Нельзя сравнивать ответственность наркома или крупного писателя — и рядового члена партии, рядового рабочего или колхозника. Нельзя сравнивать ответственность начальника концлагеря или тюрьмы для политических — и простого бойца охраны. Многое зависело и от того, в какой степени тот или иной мог разобраться в происходящем. Наконец, многое зависело от моральных качеств человека, его мужества и честности.

Немало людей были опорой Сталина, активно помогали ему совершать преступления. Они и сами творили преступления. Их надо бы не только «переметить презрением», но и воздать им по «заслугам».

Было немало добровольных доносчиков или таких, кто из одной лишь боязни ареста подписывал и составлял любые «свидетельские» показания.

Но были и такие, кто в доступной для них форме выступал против произвола. Этот протест носил различный характер. Одни из них сопротивлялись пассивно — зная об угрозе ареста, отдельные руководители уезжали из родного города, переходили порой даже на нелегальное положение, меняли фамилию.

Другие — не только родственники и друзья арестованных, но и видные деятели культуры, науки, государственные и партийные работники — направляли письма и заявления в ЦК ВКП(б). Известно уже, как боролся П. Л. Капица за освобождение физика Л. Ландау. Упорно добивался освобождения Н. И. Вавилова академик Д. Н. Прянишников — был на приеме у Молотова, у Берии, а затем решился на отчаянный шаг: представил арестованного Вавилова к Сталинской премии. Когда был арестован поэт Давид Выгодский, то заявление в его защиту подписали Ю. Тынянов, Б. Лавренев, К. Федин, М. Слонимский, М. Зощенко, В. Шкловский. Узнав об аресте Тухачевского, старый большевик Н. Н. Кулябко, рекомендовавший его в партию, немедленно написал протест на имя Сталина. Ответом был арест самого Кулябко. Когда в 1937 году был арестован физик Бронштейн, письмо в его защиту подписали физики А. Ф. Иоффе, И. Е. Тамм, В. А. Фок и писатели С. Я. Маршак и К. И. Чуковский. Протест, как и сотни тысяч других протестов, был оставлен без внимания.

Были и такие, кто, имея доступ к следственным материалам, пытался и более активно выступать против беззаконий. Секретарь одного из обкомов в Казахстане Н. С. Кузнецов в первые месяцы массовых репрессий давал санкции на арест многих коммунистов области; со временем он усомнился в справедливости репрессий, и, поехав в областную тюрьму, допросил там некоторых партийных работников. Убедившись в их невиновности, Кузнецов направил работников обкома в аппарат НКВД, взял контроль над деятельностью карательных органов в области в свои руки и добился освобождения многих ранее арестованных коммунистов. Он категорически запретил следственным органам применять пытки. Собрав большой материал о незаконности действий НКВД и засоренности этих органов людьми с сомнительным прошлым, Кузнецов поехал в Москву и добился приема у Сталина. Тот посоветовал рассказать обо всем Маленкову. Маленков также не стал разбираться, предложил Кузнецову вернуться в Казахстан и оттуда прислать материалы фельдъегерской почтой. Приехав домой, Кузнецов узнал, что его перевели в другой обком. А через несколько месяцев вызвали на совещание в Алма-Ату и арестовали в гостинице. Вновь арестовали и всех коммунистов, освобожденных по требованию Кузнецова [1].

В 1937 году бюро ЦК КП(б) Киргизии, получив сообщения о пытках и истязаниях заключенных, создало специальную комиссию для проверки работы прокурорских и следственных органов республики. Деятельность этой комиссии закончилась трагически — все ее члены были репрессированы.

Попытался выступить против произвола военный прокурор Западно-Сибирского военного округа М. М. Ишов. Проверяя работу Томского управления НКВД, он установил, что следователи истязали заключенных, держали подолгу без пищи и воды. Многие заключенные не имели представления, в чем их обвиняют, так как следователи сами писали и подписывали протоколы «допросов». А некоторых заключенных расстреляли без суда и следствия. Ишов немедленно арестовал группу томских следователей и отправил их под стражей в Новосибирск. Собрав большой материал о деятельности четырех управлений НКВД, входивших в Западно-Сибирский округ, Ишов написал докладную записку Главному военному прокурору СССР Розовскому, Генеральному прокурору СССР Вышинскому и лично Сталину, Молотову, Кагановичу. Затем он настоял, чтобы вопрос был обсужден на бюро обкома партии. С большим трудом Ишову удалось спасти от расстрела нескольких незаконно арестованных, но многого добиться не смог. Обращения в Москву оставались обычно без ответа. Заслушав его доклад, бюро обкома поручило не кому-либо, а начальнику Новосибирского управления НКВД «выправить положение». В Москву доносили: «Военный прокурор Ишов противопоставляет себя органам НКВД, мешает следствию по делам врагов народа, отказывая в санкции на их арест, самоуправствует, проводя аресты сотрудников НКВД. Своими действиями он подрывает авторитет органов. Просим его от работы отстранить и санкционировать его арест».

В марте 1938 года Ишов ездил в Москву, чтобы передать дополнительные материалы о преступлениях НКВД в Сибири в Главную Военную Прокуратуру. В июле 1938 года он снова поехал в Москву и добился приема у Вышинского. Через 25 лет Ишов вспоминал: «Когда мы вошли в кабинет, то Вышинский, указав мне место у своего рабочего стола, предложил сесть и спросил, по какому поводу и с чем я к нему приехал. Вынув из портфеля документы и выложив их на стол, я попросил меня выслушать. ...Кроме того, я просил Вышинского обратить особое внимание на способы и приемы получения ложных показаний: избиения, издевательство, применение средневековых методов инквизиции. Выслушав меня, Вышинский обратился ко мне со словами, глубоко, на всю жизнь засевшими в моей памяти. Он сказал: «т. Ишов, с каких это пор большевики приняли решение либерально относиться к врагам народа? Вы, прокурор Ишов, утратили партийное и классовое чутье. Врагов народа гладить по голове мы не намерены. Ничего плохого нет, что врагам народа бьем морду. И не забывайте, что великий пролетарский писатель Максим Горький сказал, что если враг не сдается, его надо уничтожить. Врагов народа жалеть не будем». Ишов пытался доказать, что речь не о врагах народа, а о невинных людях, что именно их заставляют пытками оговаривать себя и других. Вышинский холодно отвел все эти доводы и лишь для приличия поручил присутствующему при разговоре Розовскому проверить изложенные Ишовым факты. Но никакой проверки не

[1] Н. Кузнецов был реабилитирован в 1955 году и стал работать лесником — подальше от людей.

было. Когда Ишов вернулся в Новосибирск, его арестовали. Ордер на арест был подписан Вышинским.

Безуспешность попыток бороться с произволом объяснялась несколькими причинами. Во-первых, эти попытки были разрозненны и единичны. Во-вторых, многого было уже нельзя сделать в рамках легальности. Сталина можно было легально отстранить от власти в 20-е годы, а после 1934 года — только силой. Но на это никто не решался из боязни возможных последствий. Не все понимали, что Сталин фактически осуществил государственный переворот. Поэтому люди использовали прежние, привычные им формы протеста: писали «куда следует» и надеялись на помощь «сверху». Между тем важно было не только прийти к мысли о необходимости борьбы против произвола, но и найти приемлемые для этого формы. Не следует, однако, винить современников Сталина. В подавляющем большинстве они честно работали, преодолевая огромные трудности первых пятилеток, мужественно воевали в годы Отечественной войны. У советских людей не было исторического опыта в создании нового общества и государства, и они не знали, что можно противопоставить произволу своих же руководителей. Партия, народ, государство были застигнуты врасплох, так как удар был нанесен совсем не с той стороны, с какой его можно было ожидать. Вторая мировая война показала, что советское общество и Советское государство способны встретить любую опасность лицом к лицу. Но они оказались беззащитны от удара в спину, нанесенного руками собственных вождей.

10

Развитие культа Сталина и режима сталинизма в огромной степени облегчалось теми социальными процессами, которые происходили в нашей стране после революции и отнюдь не сводились к борьбе пролетариата и буржуазии. Не менее важное значение имела борьба между мелкобуржуазными и пролетарско-социалистическими устремлениями как вне, так и внутри Коммунистической партии, Советского государства.

Было бы наивно думать, что большевистская партия сумеет как-то изолироваться от окружающей ее мелкобуржуазной стихии, что это окружение не будет по самым разным каналам оказывать давление на партию и не повлияет существенно на состав революционных кадров, на партийный и государственный аппарат молодой Советской республики. Кроме того, революция и гражданская война выдвинули множество новых политических и военных руководителей, которые не прошли многолетней и суровой школы предреволюционной подпольной борьбы. И при жизни Ленина, и после его смерти среди руководителей большевистской партии оказалось немало людей, которых трудно без оговорок назвать настоящими пролетарскими революционерами, и это не случайность, не результат недостаточной прозорливости или ошибки. Это был закономерный результат пролетарской революции в такой мелкобуржуазной стране, как Россия. Слова Ленина о необходимости строить социализм из того человеческого материала, который оставлен капитализмом, относились также и к РКП(б).

Ленин хорошо понимал, что одна из самых трудных проблем пролетарской революции в России состоит в том, чтобы уберечь от мелкобуржуазного и бюрократического перерождения кадры партии и Советского государства, преодолеть усилившееся давление мелкобуржуазных элементов на пролетариат и большевиков. При этом Ленин отчетливо видел, что превращение большевиков в правящую партию во много раз увеличивает не только мелкобуржуазные и бюрократически-карьеристские тенденции, возникающие среди части старых и, казалось бы, стойких членов партии, ставших теперь крупными «начальниками», но также стремление мелкобуржуазных и карьеристских элементов вне партии к проникновению в ее ряды.

Во всех своих последних работах и письмах проблеме взаимоотношения пролетарских и мелкобуржуазных элементов в обществе и государстве, а также проблеме бюрократизации и перерождения партийного и государственного аппарата Ленин уделял самое большое внимание. В 1922 году, через пять лет после

революции, Ленин был не слишком высокого мнения о составе партии. В закрытом письме членам ЦК партии он с тревогой отмечал:

«Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» [1].

Еще более резко и отрицательно Ленин отзывался об основном составе советского государственного аппарата:

«...Мы называем своим аппарат, который на самом деле насквозь еще чужд нам и представляет из себя буржуазную и царскую мешанину... Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке» [2].

Тревога Ленина относительно сохранения социалистического характера Советского государства и пролетарской политики большевистской партии была вполне обоснованной. Но Ленин говорил лишь о реальной угрозе, а отнюдь не о фатальной неизбежности бюрократического и мелкобуржуазного перерождения партии и государства. Гражданская война ослабила пролетариат, но она дала в руки большевикам государственную власть. Через Советы, через профсоюзы, через печать и школу, через кружки по ликвидации неграмотности и избы-читальни, через Красную Армию и всеми другими доступными путями большевистская партия старалась закрепить в сознании масс идеологию социализма. И надо сказать, что еще при жизни Ленина добилась немалых успехов. После смерти Ленина эта работа стала ослабевать, так как к руководству партией пришел Сталин, в характере и взглядах которого переплелись черты и идеология пролетарского революционера и склонного к перерождению мелкобуржуазного карьериста. Но дело было не только в Сталине.

Надо с сожалением отметить, что моральное разложение и бюрократическое перерождение в той или иной степени затронули и часть старой партийной гвардии, на которую Ленин возлагал такие надежды, и о которой говорил с такой гордостью. Во-первых, как уже отмечалось, на всем протяжении 20-х годов старую партийную гвардию разобщала жестокая идеологическая борьба, которая была одновременно и борьбой за руководящее положение в партии. Во-вторых, большие успехи, но и немалая власть вскружили голову многим представителям ленинской партийной гвардии. Этому содействовало и непрерывное усиление централизации государственного и партийного руководства, не скомпенсированное усилением контроля со стороны народных низов, рядовых членов партии. В результате среди, казалось бы, стойких и скромных в прошлом революционеров стали появляться симптомы зазнайства и чванства, нетерпимость к критике и, напротив, терпимость к подхалимству. И по своему материальному положению, и по своему поведению и образу жизни эти люди все дальше отходили от народа, не препятствовали неумеренным восхвалениям в свой адрес.

Типична в этом отношении судьба М. Разумова, секретаря Татарского обкома партии. Профессиональный партийный руководитель, он, по свидетельству хорошо знавшей его Е. С. Гинзбург, овельможивался прямо на глазах. Еще в 1930 году он занимал комнату в коммунальной квартире. Но уже через год построил «татарскую Ливадию», а в ней для себя отдельный коттедж.

В 1933 году, когда Татария за успехи в сельском хозяйстве была награждена орденом Ленина, портреты «первого бригадира Татарстана» носили с песнями по городу, а на сельскохозяйственной выставке эти портреты были изготовлены из различных злаков — от овса до чечевицы. По свидетельству М. Д. Байтальского, Первого мая 1936 года секретарь Харьковского обкома партии Н. Демченко распорядился (через вторых лиц) вывесить на балконах домов

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 19—20.
[2] Там же, стр. 357.

и на фасадах учреждений свои портреты. Их заранее отпечатали большим тиражом, причем из-за нехватки бумаги Демченко разрешил использовать запас, предназначенный для школьных учебников. К 1937 году на Колыме существовал уже настоящий культ личности ослепленного властью начальника колымских лагерей Берзина. Законченным бюрократом стал, по отзывам его подчиненных, старейший революционер Я. Ганецкий, близкий соратник Ленина. Столь же нелестные отзывы можно было бы привести и о многих других старых партийцах.

Причины этого прискорбного явления не одинаковы. Разным был путь людей к революции. Разным был путь людей от идеалов и нравственных норм революции. Можно легче понять моральное падение А. Я. Вышинского, который, по-видимому, всегда был беспринципным и трусливым, жаждущим власти и известности человеком. Сложнее объяснить поведение таких старых большевиков, как Ем. Ярославский и М. И. Калинин, которые полностью подчинились Сталину. Управлять страной оказалось во всех отношениях труднее, чем бороться за власть. Не борьба с самодержавием, не поведение в царской тюрьме, ссылке или на каторге, не лишения и невзгоды гражданской войны оказались подлинным испытанием для революционеров. Гораздо более суровым испытанием оказалась для них власть, то есть поведение в качестве руководителей большого и могущественного Советского государства.

Разумеется, после сталинских «чисток» состав партийно-государственных верхов ухудшился: к руководству часто приходили беспринципные карьеристы, готовые выполнить любое указание Сталина, нисколько не заботясь при этом об интересах народа и социализма. На разных уровнях власти появился немалый слой «партийных» мещан и обывателей, которые отличались от «традиционных» мещан и обывателей еще большим хамством и лицемерием. И тем не менее, даже и выдвинувшись к управлению партией, эти люди не могли действовать с открытым забралом, они должны были, хотя бы на словах, заявлять о своей приверженности пролетариату и коммунистическому движению. Эти процессы были особенно заметны во многих союзных республиках, где пролетариата до революции почти не было и где революция не вспахала социальную почву так глубоко, как в основных районах России. Мы видим, таким образом, что культ Сталина был не только идеологическим явлением, он имел и определенное классовое содержание, а именно — бюрократическое и мелкобуржуазное перерождение части партийных и советских кадров и широкое проникновение карьеристско-бюрократических элементов в руководящий слой общества. Сталин стоял на вершине целой пирамиды более мелких диктаторов. Он был главным бюрократом над сотнями тысяч других бюрократов.

Важные и еще мало изученные процессы шли и в рабочем классе. С одной стороны, индустриализация приводила к очень быстрому росту рабочего класса в СССР. Однако ряды рабочих и служащих пополнялись главным образом за счет мелкобуржуазных городских слоев, а также за счет миллионов крестьян, которых драматические преобразования в деревне заставили бежать в город. В начале 30-х годов такие рабочие, фабрично-заводской стаж которых не превышал 5—6 лет, в несколько раз превосходили по количеству сложившееся на протяжении десятилетий ядро русского рабочего класса. Быстрое изменение количественного и качественного состава рабочего класса отражалось и на поведении рядовых членов партии, способствовало перерождению различных звеньев партийного и государственного аппарата. Параллельно индустриализации, продиктованной революцией и жизненно ей необходимой, начался другой процесс: мелкобуржуазная стихия стала наступать на пролетарскую общественную психологию, на пролетарское отношение к человеку, к собственности.

И все же наряду с негативными процессами в 30—40-е годы происходила, пусть и в значительно искаженных формах, переделка идеологии и сознания огромных масс; в недрах общества шли процессы, которые в конечном счете не ослабили, а усилили влияние и роль социалистических элементов. Социалистическое сознание с наибольшей интенсивностью распространялось в низах общества и среди новых поколений, выросших и вступавших в жизнь в 20—30-е годы, а также в низших звеньях советского, партийного и хозяйственного аппарата. В руководстве первичными партийными и комсомольскими организациями, в руководстве отдельными предприятиями, цехами, колхозами и совхозами, среди учителей, врачей, руководителей клубов, спортивных организаций, рядовых работников райкомов партии большинство принадлежало не бюрократам и карьеристам, а честным и искренним людям.

Разумеется, извращения, связанные с произволом и культом Сталина, затронули и большинство первичных организаций партии и комсомола. Многие неправильные и даже преступные директивы проводились в жизнь с участием всей партии. Однако в поведении и действиях рядовых коммунистов, рабочих и крестьян, молодежи было гораздо больше искреннего заблуждения и «честного» самообмана, чем в верхах. Дело в том, что все постановления и директивы Сталина и ЦК ВКП(б) составлялись всегда в самом «революционном» духе, в них говорилось о борьбе с врагами социализма, о внимании к людям и необходимости развивать дело революции. Не зная подлинных дел и мотивов Сталина, низы партии и молодежь не видели в те годы разрыва между словами и делами своих вождей и старались следовать тем политическим и моральным нормам, которые Сталин и его окружение, провозглашая, никогда не считали для себя обязательными. По мере сил и возможностей рядовые коммунисты и комсомольцы и работники низового аппарата старались осуществить на деле те социалистические лозунги, которые для многих карьеристов и бюрократов превратились в пустые, повторяемые всуе слова.

Конечно, и в верхах партии были разные группы и типы работников. Сталину неизбежно приходилось привлекать к руководству страной и партией немало молодых деятелей, которые поддерживали его во всем, с усердием выполняли его указания, но не были осведомлены о его преступлениях. Обладая многими недостатками, характерными для окружения Сталина, эти люди хотели честно служить народу, партии, социализму, однако не могли еще из-за малого политического опыта разобраться в происходящих в стране трагических событиях. Некоторые из этих руководителей погибли уже в послевоенное время. Другие остались в живых и после смерти Сталина в той или иной степени поддержали борьбу против культа личности, за восстановление нормальной обстановки в партийной и государственной жизни.

11

Считается, что именно творческое отношение и к действительности, и к теории — основное преимущество марксизма и научного социализма. Однако было бы неправильно уповать на эту творческую сторону социалистической идеологии и недооценивать силу догматизма. Наивно считать, что догматизм всегда отталкивает людей, тогда как творческий подход, напротив, их привлекает. К сожалению, для значительной части людей, не обладающих необходимым образованием и подготовкой, гораздо чаще именно догматизм оказывается более привлекательным, ибо он избавляет от необходимости проявлять самостоятельность, творчески мыслить, непрерывно повышать уровень своей образованности. Вместо того, чтобы изучать постоянно изменяющуюся действительность, оказывается достаточным заучить некоторые формулы и положения. Как история человечества в целом, так и история всех религий и идеологий в особенности показывают громадную силу именно догматического мышления. Творчески мыслящим людям, новаторам приходится всегда труднее, чем догматикам. И хотя всякая революция связана с победой нового над старым — над старым укладом жизни и над старыми догмами, однако с течением времени всякое революционное движение обрастает своими догмами. Тем более такая тенденция должна была проявиться в стране, где очень многие участники революционных преобразований не обладали необходимыми знаниями и подготовкой. Эти люди не видели, что Сталин обедняет и вульгаризирует и марксизм, и ленинизм, они воспринимали научный социализм в упрощенном и схематическом сталинском

толковании, превращенным из развивающегося и творческого учения в своеобразную религию.

Было бы поэтому неправильно любое ошибочное действие таких революционеров объяснять мелкобуржуазным перерождением. Напротив, многие из ошибок объясняются не изменением их прежней системы взглядов, а неспособностью к такому изменению, то есть догматизмом. В мышлении и способе деятельности этих людей все отчетливее преобладали доктринерство, идеологическое окостенение, сектантская ограниченность и замкнутость, то, что Томас Манн называл революционным консерватизмом. Для многих из этих людей был характерен упрощенный и узкий взгляд на вещи, они продолжали мыслить категориями, мало подходящими послереволюционному времени. Кое-кто из большевиков даже кичился своей необразованностью. «Мы гимназий не кончали,— заявил под одобрительные возгласы аудитории один из видных деятелей партии,— а губерниями управляем». Неудивительно, что, столкнувшись с трудностями, не понимая обстановки, не имея достаточных знаний, такие деятели превращались в простых исполнителей приказов, проявляли слепую дисциплинированность и покорность. Косность мысли, неспособность к анализу и творческому мышлению составляли гносеологическую основу культа личности. Поэтому среди людей, принявших и поддержавших культ личности, были не только перерожденцы и карьеристы, но и «честные исполнители», искренне верившие, что все совершаемое необходимо и полезно для страны и революции. Эти люди поверили в ложь политических процессов 1936—1938 годов, поверили в тезис об обострении классовой борьбы и в необходимость массовых репрессий и стали вольными или невольными соучастниками преступлений Сталина, хотя многие из них впоследствии сделались его жертвами.

«Ни силой, ни словом не выжечь во мне верность вождю и народу»,— писал из заключения своим родным Е. А. Гнедин, еще недавно работавший на ответственном посту в Наркомате иностранных дел. «Клятву верности» вождю он повторял и после многодневных пыток и избиений, издевательств в кабинете Берии. В своих мемуарах Гнедин писал: «От психологии преданного чиновника и догматика я постепенно освобождался по мере того, как моя мысль становилась свободнее в раздумьях и строгих размышлениях, которые составили содержание моей духовной жизни в тюрьмах и лагерях».

О крайней косности и догматизме жен ответственных работников свидетельствует сочиненная во время одного из женских этапов песня «жен врагов народа», в которой были и такие строки:

По суровым советским законам
Отвечая за наших мужей,
Потеряли мы честь и свободу,
Потеряли любимых детей.
Мы не плачем, хоть нам и неможется,
С верой твердой мы всюду пройдем,
И в любой край страны необъятной
Мы свой пламенный труд понесем.
Этот труд даст нам право на волю.
Снова примет страна нас, как мать.
И под знаменем Ленина — Сталина
Будем труд свой стране отдавать.

Через систему пропаганды и воспитания многие примитивные догмы и шаблоны прививались массам, становились и для них руководством к действию. Конечно же, массовый догматизм и сектантство только помогали победе Сталина и сталинизма.

12

Проблема государства занимала важное место в социалистической литературе еще в XIX веке. Должен ли пролетариат после революции использовать или разрушить прежний государственный аппарат? Должен ли он создавать новое пролетарское государство, или же сможет обойтись без государства? Долго ли должно существовать пролетарское государство, не превратится ли оно со временем в стоящую над народом клику привилегированных чиновников? Все эти вопросы были предметом ожесточенного спора среди революционеров. Так, анархисты проводили резкую границу между обществом и государством, которое, по их мнению, в любом обществе было главной консервативной силой и самым серьезным препятствием для развития на началах равенства и свободы. Поэтому, считали анархисты, социалистическая революция означает немедленное уничтожение государства, социализм и государство несовместимы.

И Маркс, и Энгельс решительно возражали против этой доктрины. Социализм, указывали они, не может возникнуть в один день. Создание нового общества потребует многих лет борьбы и, в частности, подавления сопротивления свергнутых классов. Поэтому между капиталистическим и коммунистическим обществом неизбежно будет существовать более или менее длительный переходный период, и в этот период пролетариат не сможет обойтись без государства. Сломав и уничтожив старую государственную машину, пролетариат должен будет создать собственную государственную машину, придав, однако, ей, как писал Маркс, революционную и преходящую форму.

Вставал вопрос: как уберечь пролетарское государство от перерождения, от превращения из слуги в господина общества? Эта проблема не получила в марксистской литературе XIX века удовлетворительного решения. Было трудно, во-первых, давать какие-либо советы, не имея конкретного опыта построения нового государства. Некоторые рекомендации на этот счет были высказаны Марксом и Энгельсом только после Парижской коммуны. Во-вторых, марксисты прошлого века исходили из перспективы одновременной победы революции в основных капиталистических странах. Поэтому существование государства было, по мнению Маркса и Энгельса, хотя и необходимым, но все же кратковременным этапом в развитии социалистического общества. Энгельс писал: «...В лучшем случае государство есть зло, которое по наследству передается пролетариату, одержавшему победу в борьбе за классовое господство; победивший пролетариат, так же, как и Коммуна, вынужден будет немедленно отсечь худшие стороны этого зла, до тех пор, пока поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности» [1].

В августе — сентябре 1917 года Ленин написал одну из своих главных теоретических работ — «Государство и революция». Читаем там:

«Рабочие, завоевав политическую власть,— разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, **против** превращения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, чтобы **все** исполняли функции контроля и надзора, чтобы **все** на время становились «бюрократами» и чтобы поэтому **никто** не мог стать «бюрократом» [2].

Старый бюрократический аппарат был действительно разбит и сломан до основания. Однако реальная действительность послереволюционной России очень быстро показала неосуществимость и утопичность теоретически «подробно разработанных» мер. Составить новый аппарат из самих рабочих и служащих оказалось невозможно. Для создания нового государственного аппарата приходилось использовать обломки старого, и сам Ленин скоро признал, что в этой царской и буржуазной мешанине действительно советизированные рабочие «тонут, как мухи в молоке». Основную массу населения страны составляли различные группы мелкой буржуазии с их неустойчивой идеологией, с их колебаниями, с нежеланием перестраивать жизнь на социалистических началах. Выборность и сменяемость государственных органов «в любое время» могла привести лишь к быстрому отстранению большевистской партии от власти. Поэтому прин-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 22, стр. 201.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 33, стр. 109.

цип фактического назначения «сверху вниз» стал очень быстро преобладать над формально сохраняемой выборностью «снизу вверх». Уже с весны 1918 года пришлось вводить для «буржуазных специалистов» оклады, во много раз превышающие среднюю заработную плату рабочего. Ограничения в зарплате сохранялись в 20-е годы только для членов партии («партмаксимум»), но и тут существовало много ступеней, и высшие ставки зарплаты в 3—4, а то и в 5 раз превышали среднюю зарплату рабочего.

Главным контрольным аппаратом, стоящим над всеми государственными учреждениями, оказалась сама большевистская партия. Лучшие ее деятели были назначены на ключевые государственные посты, все государственные учреждения должны были отчитываться перед партийными организациями и ЦК РКП(б) и выполнять полученные от партии директивы. Контроль партии не смог, однако, предотвратить процесс бюрократизации важных звеньев государственного аппарата; более того, бюрократизм затронул и саму партию. Руководители высших партийных органов имели больше власти, чем руководители государственных органов, и это толкало на злоупотребления. Свое влияние эти люди начали использовать отнюдь не в интересах трудящихся. Для части руководителей партии создавались дополнительные привилегии, обретающие некую самостоятельную ценность и подчиняющие помыслы тщеславных или честолюбивых людей. С другой стороны, усиление партийной власти ослабляло значение представительных органов, которые были созданы революцией, например, съездов Советов. Эти съезды теперь не столько разрабатывали или обсуждали по существу те или иные законы, но лишь формально утверждали рекомендованные ЦК и съездами партии постановления и директивы.

Известно, что Ленин собирался написать после революции вторую часть книги «Государство и революция». К сожалению, эта работа — одна из самых важных и ключевых задач научного социализма — не была выполнена и после смерти Ленина. И меньше всего заботился об этом Сталин. Наоборот, он умело использовал в своих целях незавершенность теории построения социалистического государства. Именно отсутствие в системе диктатуры пролетариата каких-либо эффективных механизмов контроля и предотвращения злоупотреблений властью, особенно со стороны самых высших представителей партии и государства, помогло Сталину узурпировать всю власть в стране и в партии.

13

Во всяком революционном движении именно роль народных масс имеет в конечном счете решающее значение. Именно народ рано или поздно ниспровергает всякого рода тиранов и деспотов. Однако народные массы служат и наиболее прочной опорой деспотизма.

Здесь уже говорилось о том, что Сталину удалось обмануть народные массы, и что в этом сказались не только хитрость его как политического демагога, но и исторический опыт народа, недостаток образования и культуры, слабость демократических традиций и т. п.

Россия была подготовлена своим предшествующим развитием к революции, но она была подготовлена и к такому развитию событий, которое оставляло возможность для возникновения тоталитарного и деспотического режима, казарменного социализма, то есть к сталинизму.

Вопрос о взаимосвязи и преемственности между Россией XIX и Россией XX веков — между самодержавием русских царей и самодержавием Сталина — до сих пор служит предметом ожесточенных дискуссий среди различных представителей эмигрантской мысли и западной советологии, в официальной историографии и националистических течениях современной литературы и публицистики. Не вдаваясь во все оттенки мнений, приведем лишь некоторые крайние высказывания. Так, например, редактор издаваемой в Париже газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская писала: «Наша точка зрения, если отжать ее до самой сути, состоит в полном отвержении тождества русской и советской государственности. Отвергаем и опровергаем мы это тождество не наследственно и традиционно, а исходя из четкого понимания, что ни в каком плане и ни в какой области возникшая после революции коммунистическая машина не связывается с историческим прошлым России, не ложится в русло русской культурной и духовной традиции. Эта машина не является продолжением России даже в самых худших имперских и крепостнических проявлениях последней, как бы умело и успешно ни использовала она самые низкие человеческие черты, отчасти этими явлениями порожденные: сама их природа, качество зла различны... Русская история прервалась большевистским переворотом, когда она уже четко шла к либерализации и демократизации, к европейской уравновешенности и сверхъевропейской гуманности. Оттуда и должна она восстановиться...»

Напротив, американский историк Ричард Пайпс в своей книге «Россия при старом режиме» пытается доказать не только полную аналогию, но и всестороннюю преемственность истории России XIX и XX веков: «Между 1878 и 1881 годами в России был заложен юридический и организационный фундамент бюрократическо-полицейского режима с тоталитарными обертонами, который пребывает в целости и сохранности до сего времени. Можно с уверенностью сказать, что корни современного тоталитаризма следует искать скорее здесь, чем в идеях Руссо, Гегеля или Маркса. Ибо, хотя идеи могут породить новые идеи, они приводят к организационным переменам, лишь если падут на почву, готовую их принять».

Убежден, что истина лежит между этими крайними точками зрения. История не может прерваться в результате даже самой радикальной революции, и хотя природа социальной революции означает решительный разрыв с прежней структурой и порядками старого общества, характер революции и ее последствия связаны с характером и особенностями этого старого общества. В революции есть и отрицание прошлого, и сохранение преемственности, а потому ошибочно принимать во внимание только что-то одно, не видя другой стороны взаимосвязи прошлого и настоящего. Как за 60—70 лет до революции, так и позднее, Россия прошла через ряд различных эпох, одной из которых была эпоха Сталина и сталинизма.

Прервалась не русская история, а история царской России, причем разрыв произошел не на ровном пути к «европейской уравновешенности» и «сверхъевропейской гуманности», а на исходе безжалостной империалистической войны, которая велась не за какие-то гуманистические идеалы, а за передел мира и за колонии.

Большевики отмечали не только революционность русского рабочего класса, но и крайнюю отсталость основной массы трудящихся России. Именно поэтому, как не раз предупреждал Ленин, в России сравнительно легко начать социалистическую революцию, но гораздо труднее довести ее до конца — и не только в экономике, но и в сознании людей. Конечно, культура, которую народ мог бы обрести в более развитом буржуазном обществе, была бы по преимуществу буржуазной, а не социалистической. Некоторые революционеры считали неграмотность народа не недостатком, а преимуществом для революционной пропаганды, ибо народ легче будет воспринимать социалистические идеи, не зная других. Но это был очень сомнительный тезис. Ведь в созданных после революции десятках тысяч кружков ликвидации неграмотности крестьяне и рабочие изучали не только русскую или украинскую азбуку, но и «Азбуку коммунизма», воспринимали идеологию марксизма и социализма — правда, в крайне упрощенном изложении.

Несомненно, что для укрепления своей диктатуры Сталин использовал не только революционный порыв, но и низкую культуру народных низов и молодежи. Он всегда упрощал свои лозунги, в том числе и лозунги о борьбе против «врагов народа».

Однако взаимосвязь культа Сталина и степени образованности народа непроста. Некоторые историки и публицисты пытались связать появление культа Сталина с особенностями русского крестьянства, с его царистскими иллюзиями и религиозностью. Это объяснение не кажется достаточно убедительным.

Культ живого бога-Сталина не заменял русским крестьянам традиционную религию, влияние которой в деревне ослабло, но продолжало оставаться сильным. К тому же культ Сталина шел в большей мере из города. Этот культ возник как раз в самые трудные для деревни времена принудительной коллективизации, голода и ссылок. Вряд ли все это могло способствовать любви русского мужика к Сталину. Не слишком силен был этот культ и в массах городской мелкой буржуазии, имевшей много причин для недовольства, усталости и апатии, а отнюдь не для энтузиазма. Я считаю, что культ Сталина был наиболее силен среди партийной прослойки рабочего класса, а также среди большей части молодой интеллигенции и особенно среди работников партийно-государственного аппарата, сложившегося после репрессий 1936—1938 годов.

Нельзя подходить упрощенно и к вопросу о низкой культуре и образованности народных масс. Конечно, невежество, грубость, дефицит моральных ценностей, недостаток цивилизации, обилие потенциально авторитарных типов личности — все это сыграло большую роль в становлении сталинской диктатуры. «Невежество,— писал молодой Маркс,— это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих трагедий» [1].

Однако в первую очередь справедливее говорить не столько о невежестве и грубости самих народных масс, сколько о невежественном руководстве массами, о грубости и некультурности тех, кто оказался в годы культа у кормила власти.

Мысль о том, что настоящий социализм невозможен без определенного уровня культуры и морали общества, не нова. Еще в XIX веке английский философ Герберт Спенсер писал: «Верования ие одних социалистов, но так называемых либералов... состоят в том, что при надлежащем умении худо функционирующее человечество может быть вогнано в формы отлично функционирующих учреждений. Но это не более как иллюзия! Природные недостатки граждан неминуемо проявятся в дурном действии всякой социальной конструкции... Нет такой политической алхимии, посредством которой можно было бы получить золотое поведение из свинцовых инстинктов».

В этих рассуждениях есть доля истины, но в целом марксизм не без оснований отвергает подобную точку зрения. Если мораль и «социальные инстинкты» населения влияют на общественное устройство, то и общественное устройство может оказать самое сильное влияние на мораль и «инстинкты».

В начале XX века в связи с перемещением в Россию центра революционного движения среди социал-демократов вновь возникли дебаты о взаимоотношении социализма и культуры. При этом не только западные социал-демократы и русские меньшевики, но и некоторые большевики отвергали насущность социалистической революции в России, которая, по их мнению, еще «не созрела для социализма». Мы знаем, что Ленин решительно отбросил эти сомнения. Он писал: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы... Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны?» [2].

Сразу же после Октября партия большевиков приняла решительные меры для продвижения вперед не только социальной, но и культурной революции. Однако Ленин не раз отмечал, насколько трудным оказалось в России продвижение элементов культуры и цивилизации не только в массы трудящихся, но и в аппарат рабоче-крестьянской власти и даже в аппарат партии.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 1, стр. 112.
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том. 45, стр. 380—381.

Не подлежит сомнению, что с приходом Сталина к власти в партии общий уровень руководства страной понизился — уровень не только политических методов, но и культуры, нравственности, цивилизованности. Этот дефицит, дополненный плохим знанием марксизма, непониманием противоречий нового социального строя и путей их преодоления, предопределял одностороннее политическое и культурное развитие народных масс. Сколько-нибудь серьезных препятствий установлению сталинского самодержавия не оставалось.

* * *

Долгое время легкомысленные догматики, отечественные и зарубежные, пытались преуменьшить преступление Сталина, которые они и по сей день скромно именуют «ошибками» или «деформациями». По их мнению, каждый крупный политик не застрахован от ошибок, и о его деятельности нужно судить по общим результатам, которые в 30-е годы были якобы положительными. Но преступления Сталина не были «ошибками», это были сознательные и хладнокровные убийства, и прежде всего убийства честных советских людей.

Неприемлема для нас и теория «взвешивания»: сколько у Сталина было преступлений и сколько достижений и заслуг и что должно перевесить.

Да, Сталин был руководителем партии и страны в трудное время и в течение многих лет пользовался доверием большинства народа и партии. В те годы наша страна добилась немалых успехов в экономическом и культурном строительстве и одержала победу в Отечественной войне. Но эти успехи были бы куда более значительны, если бы не было террора 30-х годов, и военную победу мы одержали бы быстрее и с меньшими жертвами. Так за что благодарить Сталина? За то, что он не привел страну к катастрофе? В руководстве партией Сталин наследовал Ленину. Это так. Но он не приумножал, а скорее проматывал полученное им политическое наследство. И мы не можем, не имеем права выводить сталинизм из ленинизма, отождествлять с марксизмом или социализмом. Сталинизм — это те извращения, которые внес Сталин в теорию и практику социализма. Дела Сталина принадлежат истории, и имя его вряд ли будет забыто. Но оно не войдет в число тех имен, которыми справедливо гордится человечество.

Наша страна перенесла тяжелую болезнь и потеряла многих своих сынов. Мы знаем теперь, что социализм, не сочетаемый с настоящей демократией, не может дать гарантий от беззаконий и преступлений. Мы знаем и то, что не все, связанное со сталинизмом, осталось позади. Процесс очищения социализма и коммунистического движения от скверны сталинизма не закончен. Этот процесс надо продолжать последовательно и настойчиво.

Август 1962 г.— ноябрь 1988 г.
Москва.

Критика

А. Лебедев

«ТЕПЕРЬ, КОГДА ГЛЯДИШЬ НАЗАД...»

«Раздаются призывы чуть ли не к гражданской войне...»

«...Пока существует эта простая структура: «мы—за, они — против»,— за «пистолет» будут хвататься обязательно».

Из современной популярной периодики

Отменены экзамены по истории — не выдержала их официальная историография. Если процесс демифилогизации общественного сознания пойдет дальше, настанет черед экзаменов по литературе. Он, собственно, настал — не ясно, как все будет оформлено. Литература столь тесно связана с историей, что одну без другой понять ныне нельзя. Но дело не только в том. Насаждавшаяся «литература», выдаваемая за действительность,— и есть тот *миф*, который вменялся действительности в качестве исторической истины. Отсюда призывы к искусству «быть ближе к жизни». Сейчас приходится начинать с того, чтобы, обратившись к истории, постараться *отделить* действительность от такой «литературы» — тогда станет видно, где начинался миф и кончалась литература, не выдававшая себя за действительность.

Отвращение к казенному литературоведению и уставным «требованиям» в искусстве более чем понятно. Но «принципиальный» отказ от «концепций», целостного взгляда и влечение к интуитивистским подходам, став признаком хорошего тона среди наиболее впечатлительных или боящихся опоздать литературоведов и критиков «новой веры», не есть ли это знаки методологического отчаяния? Знакомы и попреки по поводу обращения к «старым студенческим конспектам» в современных наших литературных и окололитературных спорах и разговорах. Что ж, если принять метафору «студенческих конспектов», можно прийти к облегчающему выводу, что настала пора забросить их подальше. Можно, напротив, решить, что время вновь вернуться к ним, сверив их с первоисточниками. Если, конечно, составлялись они по первоисточникам, а не по «курсам», формулировки из которых вытатуированы в памяти моих сверстников и сопредельных поколений. Десятки лет минули с тех пор, когда давались торжественные обещания «сдать только на 4 и 5» и когда за «двойку» карали «персональными делами», в организации которых сам — комсомольский *деятель* тех лет — принимал рьяное участие, содрогаясь от мысли, как бы не оказаться в числе «персональщиков». Так проигрывалась тренировочная модель тотальной ситуации, в которую не миновать быть втянутым, если бы все осталось без перемен. Прививка против подобного жизневосприятия сохранилась на всю жизнь. Но татуировка въелась насмерть.

Только вот «старые конспекты» не лоскуты татуированной памяти, а скорее те самые «узелки на память», которые, похоже, и приходит время постараться распутать, посмотреть, из каких нитей они сплетены, откуда и к чему тянутся эти нити... Понятие «узелка на память» применимо и к самой истории. Есть в ней свои «узлы», узловые, как мы говорим, моменты, а есть и некие малоприметные «узелки», значение которых открывается не вдруг, а лишь по истечении некоего исторического времени, в ретроспективе, когда «глядишь назад», а иногда это значение затемняется и намеренно.

Об одном таком «узелке» и пойдет речь — мне кажется, сейчас есть прямой резон попытаться его распутать. Тем более что одна из нитей в нем — литературная.

Откроем наши старые студенческие конспекты...

Это не прием. Я — всерьез. Пусть тут будут иной раз потери за счет увлекательной легкости изложения «материала» — сюжет стоит того. Да и зачем стараться делать вид, что в разговоре о насущном держишь, как всегда, старые конспекты в руках, если и впрямь держишь их в руках, говоря, как всегда, о насущном?

Но тут уже действительно одними «старыми конспектами» не обойдешься — хватит того, что они способны детонировать ход мысли, связанной с осознанием того «предкризисного состояния», которое захватило, без сомнения, всю идеологическую систему, унаследованную нами еще от сталинских времен.

1

Россия получила марксизм из рук леворадикального народничества. Это обстоятельство имело самые серьезные последствия для всего дальнейшего развития страны. В тяготении народничества к марксизму, внешне парадоксальному, нет ничего необъяснимого. Тут срабатывал эффект объединения разнородных сил против «общего врага». Народники видели в марксизме сильного союзника в борьбе с наступающим капитализмом, остальное для них в этом случае отходило на задний план или вообще как бы не существовало. В результате на какой-то (сравнительно краткий, но чрезвычайно важный по последствиям) отрезок времени именно народники, сознавая это или нет, так или иначе интегрировали марксизм в свою доктрину. Приняты были, как свои, почти любые, отдельно взятые, положения марксизма и таким способом «доказывалось» нечто, к марксизму не относящееся. Так случилось, что на каком-то этапе освободительного движения субъективно-социологическая доктрина народничества оказалась едва ли не главной формой «бытования» марксизма в России. И сама она «оделась» в марксизм.

Вместе с тем каким бы «козлотуром» подобное идеологическое образование ни выглядело, такого рода феномен вообще, видимо, характерен для случаев, когда, как отмечал Антонио Грамши, «философия практики (т. е. марксизм. — **А. Л.**) должна... вступать в союз с чуждыми тенденциями для того, чтобы победить сохранившиеся в массах пережитки докапиталистической формации».

Короче, первоначальное распространение марксизма в России шло в форме его народнической ревизии, и эта ревизия стала формой его распространения.

Применительно к судьбам русского народничества и некоторым «постнародническим» тенденциям Ленин писал о том, что «теоретическая победа марксизма заставляет врагов его *переодеваться* марксистами». Но речь здесь не о каких-то своекорыстных ухищрениях и преднамеренных уловках, а об объективном процессе, вовлекавшем в себя людей, которые вполне искренне считали, что он направляется и организуется ими, тогда как на самом деле они оказывались во власти этого процесса, направлявшего и организовывавшего их усилия...

Кстати сказать, пост- и неонароднические настроения у нас, характернейшим образом обнаружившиеся после крушения принудительного единомыслия, как бы еще сами себя не узнают в «общепринятых», если уже и не «общеобязательных» марксистских одеждах. Если социалистический плюрализм пойдет дальше, ни сторонники этих настроений, ни кто-либо иной не будут иметь поводов обманываться на сей счет. Да и ничего зазорного и предосудительного в подобной откровенности не обнаружится, ибо нельзя же представить себе, что все наше общество когда-либо состояло или состоит сплошь из одних марксистов.

Причудливый идеологический симбиоз, возникший в пору распространения марксизма в России при попытке соединить марксизм с субъективно-социологической народнической доктриной, скоро стал обнаруживать способность создавать идейные предпосылки для того, чтобы люди, проповедовавшие доктрину, искренне считали себя при этом и даже старались выглядеть в глазах других марксистами, как ранее люди, внутренне все дальше и дальше расходившиеся с народничеством и обращавшиеся к марксизму, продолжали в течение какого-то времени «чувствовать» себя народниками и готовы были дать это почувствовать другим. Да, бесспорно, как утверждают представители нашей сегодняшней исторической науки, «инфильтрация марксистских идей в народническую мысль была небесполезной для освободительного движения, особенно на его ранних этапах». Как бесспорно и то, что «отражение» марксизма в представлениях народнических теоретиков дало скорее своеобразный «ревизионизм слева», проявившийся позднее у эсеров, нежели переход к марксизму». (Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. «Революционная традиция в России. 1783—1883». Мысль. 1986.) Но, пожалуй, теперь уже можно сказать о преемственности, идущей от субъективно-волюнтаристских воззрений леворадикального народничества, особенно его экстремистского крыла, к «левому» коммунизму в его крайних формах времен «военного коммунизма», ожививших самые лихие замашки нечаевской «Народной расправы». Когда именно апологеты «военного коммунизма», ревнители «кавалерийских» приемов втеснения «светлого завтра», недреманные стражи «особой чистоты» марксизма подняли знамя мещанской нетерпимости в партии после победы Октября.

Нельзя, конечно, на таких людей, как, скажем, Лавров или Михайловский, возлагать персональную ответственность за политическую уголовщину во вкусе Нечаева. Это было бы и несправедливо по существу, и оскорбительно для исторической памяти об этих замечательных и достойных людях. Тут, видимо, уместнее сказать не об исторической вине, а об исторической беде их. Умножаясь во времени, беда их обернулась виной многих. Нельзя теперь уже не видеть, какую не-

добрую роль в общественной драме, в духовной катастрофе, постигших позднее российское общество, сыграли те именно идеи, к которым эти народнические лидеры совсем ведь не случайно пришли и которые зачастую именно с их «легкой руки» пошли гулять по свету. Порой почти неузнаваемо переряжаясь в новые терминологические одежды, порой сами предлагая себя в качестве исторически испытанного маскарадного обличья для тех грозных и грязных социальных сил, с которыми мир столкнулся позже, не вдруг сумев сказать: «маска, я тебя знаю!»... Здесь просто нет места, чтобы привести многочисленные и очень выразительные факты, свидетельствующие о том, что именно тот мелкобуржуазный народнический социализм (отчасти в эсеровской уже своей модификации), о необходимости борьбы с которым говорил еще в 1905 году Ленин, вступив в контакт с марксизмом и в известном смысле паразитируя на недостаточности его корней в российской действительности, представил собой важный слой той духовной традиции, которая идет от худших сторон идеологии «военного коммунизма» к послензповским временам, когда было сказано, что «Сталин — это Ленин сегодня!»

В известном смысле так оно и было. Целые поколения знали Ленина «по Сталину», получили ленинизм из его рук, хотя, понятно, и могли читать ленинские работы, даже читали. Но это было «слепым чтением» — смысл текста оставался «не в фокусе» совершавшегося вокруг. «Вторые похороны» Сталина, начавшиеся после XX съезда партии,— «второе рождение» Ленина. Сталин осуществил некую подмену и перехват традиции, объявив себя «четвертым основоположником» и истолковав Ленина как прецедент[1].

Ленин по образу и подобию Сталина — некое «высшее существо», имеющее быть вне пределов научно-критического анализа и вообще каких бы то ни было несанкционированных суждений. Это, несомненно, вполне сакральное «существо» — Ленин, который *всегда прав* и не знает ни сомнений, ни заблуждений, ни исканий, ни сожалений. Вопреки тому, что следует из его же работ (в пору, к примеру, отказа от методов и программы построения нового общества в духе «военного коммунизма», уже успевшего, однако, стать прообразом сталинского «лагерного коммунизма», и перехода к нэпу, так и не успевшему, однако, утвердиться в качестве альтернативного пути развития). Ленин по Сталину — тот же культ Сталина в образе Ленина, дважды опасный, потому что он дважды лицемерен.

В конечном счете Ленин был превращен Сталиным в своего рода второе «я» и в этом виде вменен общественному сознанию в качестве некоего абсолютного эталона истины, добродетели и совершенства. И потому наше новое — *самостоятельное* и без заданного истолкования — прочтение Ленина имеет ныне не только научно-познавательный смысл, но и значение важного общественно-исторического и социально-политического акта. Ибо пока мы будем относиться к Ленину, «как учил нас Сталин», культ Сталина будет продолжать жить в нашем отношении к Ленину. Духовное освобождение общества вообще не сможет осуществиться, если будет сохранен теологический дух нашей идеологической системы. Ибо дело заключается здесь отнюдь не в «личности» божества, а в *культе* какой бы то ни было «личности» и в том еще, чтобы, «оставшись свободным, сыскать поскорее того,— как писал Достоевский,— пред кем преклониться... И все опять во имя свободы!» А если так, то нечего и беспокоиться: «свято место пусто не бывает»!

Конечно, система сталинской мифологии не «просто система вранья», хотя и «просто вранье» на уровне грубого манипулирования массами, сознание которых подверглось едва ли не самой губительной по своим последствиям из всех случившихся «коллективизаций», имело место. Но прежде всего это такая идеологическая система, которая, паразитируя на реальных проблемах общественной жизни и действительных противоречиях истории, превращала свою органическую неспособность разрешить их в как бы самодостаточные стереотипы мышления, из которых и состояла. Скрытое или очевидное социальное своекорыстие закрепляло эти стереотипы в качестве «общепризнанных в передовой науке» и неоспоримых «фактов народного сознания». В этом смысле миф из правды делал ложь, вменяя эту ложь реальной действительности в качестве ее же собственного «исторического закона» или «непреложного факта», который не способен увидеть «только слепой». С этой точки зрения переосознание истории самой *партии* оказывается ныне *первейшим* условием всего процесса десталинизации нашего сознания. Одними призывами «порвать» с инерцией того «историзма», который связан с особой ме-

[1] Повесть Анатолия Жигулина «Черные камни» («Знамя», 1988, кн. седьмая и восьмая) представляет, помимо прочего, живое свидетельство того, как попытки «своими глазами» прочитать Ленина и «своими словами» изложить прочитанное пресекались «органами», не заблуждавшимися относительно полной недопустимости такой самодеятельности. Как же внешне парадоксально и с какой внутренней последовательностью идет у нас освободительная мысль! Праправнук «первого декабриста» наследует у него не только некоторые узнаваемые черты характера и стили мышления, не только «судьбу свою сурову», но и самое «идею жизни»... Речь, понятно, тут не о том, чтобы дополнить классическую периодизацию русского освободительного движения, а лишь пока о нравственно-поведенческой преемственности. А вот с политическими противниками В. Ф. Раевскому «повезло» куда больше, чем его духовному наследнику. Не Александру с Аракчеевым и не Николаю с Бенкендорфом тягаться с «нашим родным и любимым»!

тодологией «Краткого курса», здесь дела не исправишь — тут требуется кропотливая работа, перебирание «по кирпичику» всего здания привычного мифа. «Случай», связанный с «отзовизмом» в партии,— не лишний и не случайно подвернувшийся тому пример.

2

Об «отзовизме» и «отзовистах» Ленин уже в послеоктябрьский период характерным образом вспомнил в «Детской болезни «левизны» в коммунизме», явившейся, помимо прочего — как мне уже доводилось писать,— своеобразной идеологической подготовкой партии к отказу от принципов и методов «военного коммунизма» накануне принятия решения о переходе к нэпу.

Вспоминая о времени, наступившем после поражения революции 1905—1907 гг., Ленин вспоминает и о воцарившихся тогда в рядах недавних активных борцов деморализации, разброде и упадке, выразившихся, в частности, в лозунге *отзыва* депутатов-большевиков из тогдашнего парламента — Государственной думы. Но вместе с тем он отмечает, что именно такие периоды, возникающие после крушения несбывшихся и несбыточных надежд и планов, дают революционным партиям и классам урок исторической диалектики, урок понимания истории и умения вести борьбу в самых разных условиях. Конечно, какие-либо параллели между поражением революции 1905—1907 годов и крахом режима «военного коммунизма» в строгом смысле неуместны, но только ведь не «просто так» вспомнил Ленин в 1920 году, говоря о «болезни левизны» в коммунистическом движении, об «отзовистах». Речь в данном случае у Ленина шла о той *традиции* «левизны» в русском освободительном движении вообще, в русской социал-демократии в том числе, от которой он призывал решительно освободиться и на *опасность* которой обращал теперь особое внимание партии. Говоря в «Детской болезни...» о *врагах*, в борьбе с которыми внутри рабочего класса вырос и окреп большевизм, Ленин отмечает, что если борьба большевиков с правым оппортунизмом довольно хорошо известна в мировом коммунистическом и рабочем движении, то этого еще отнюдь нельзя сказать о борьбе большевиков против *мелкобуржуазной революционности*. И в этой связи он обращается к *истории* борьбы большевизма именно с *данной* опасностью в партии.

Нельзя не увидеть той закономерности, с которой Ленин именно в канун введения нэпа привлекает внимание партии к существующей в ней с давних пор *левой* опасности и к традиции борьбы с *этой* опасностью. «Теперь,— пишет он в «Детской болезни...»,— когда глядишь назад на вполне законченный исторический период, связь которого с последующими периодами вполне уже обнаружилась,— становится особенно ясным, что большевики *не могли бы*,— подчеркивает Ленин,— удержать (не говорю уже: укрепить, развить, усилить) прочного ядра революционной партии пролетариата в 1908—1914 годах, если бы они не отстояли в самой суровой борьбе *обязательности* соединения с нелегальными формами борьбы форм легальных, с *обязательным* участием в реакционнейшем парламенте и в ряде других, обставленных реакционными законами, учреждений». Таково, согласно Ленину, было значение борьбы с «отзовизмом» в партии, таков был вес этой борьбы и этого «эпизода». И тут же Ленин отмечает несомненную связь «левой» опасности, обнаружившейся в пору «отзовизма», с той угрозой, которую представляла «левая» оппозиция в партии во времена Брестского мира. В той же работе упоминает он и о том, что в 1908 году дело дошло до исключения «левых» из большевистских рядов. Несмотря на то, подчеркивает Ленин, что в их числе было много превосходных революционеров, впоследствии с честью носивших имя членов Коммунистической партии. Тем не менее в их исключении в *ту* пору не было ошибки, а была самая прямая политическая и идеологическая необходимость.

Заметим, что такого рода оценки «отзовизма» и «отзовистов» появились у Ленина не в пору написания «Детской болезни...» — они имели у него очень устойчивый характер, обнаружившись при самом появлении «отзовизма» в партии, тогда, когда, как писал он в 1909 г. в «Пролетарии», «отзовизм» из простого *настроения*, захватившего в пору поражения революции и наступления общественной реакции часть самой передовой интеллигенции, стал превращаться в *направление* и определенную *систему* политических взглядов и действий, стал возводиться в *теорию*, в которой под флагом «революционности» и «левизны» обнаруживался несомненный отказ от большевизма. В том же году в статье «На дорогу» Ленин, отмечая, что партию в целом к этому моменту охватил уже не только организационный, но и идейно-политический кризис, указывал на то, что «отзовизм» в этих условиях был бы самой ошибочной тактикой и самым печальным уклонением от выдержанной пролетарской линии, предписываемой условиями исторического момента, когда общество катится вправо, когда власть стабилизируется и крепнет, а массы переживают спад всякой революционной активности, устав от пережитого напряжения. В «Письме ученикам каприйской школы», написанном опять же в 1909 г. (опубликовано в 1926-м), Ленин говорит уже о *фракции* сторонников «отзовизма» и «богостроительства», которая ведет работу *против* большевиков в партии. И вме-

сте с тем в ту же пору Ленин напоминает, что в эту фракцию входят «умные, талантливые люди», которые уже «немало сделали для партии» и «могли бы сделать в десять раз больше» при иных общественно-исторических условиях.

Короче говоря, Ленин с самого начала, сразу же подчеркивал в «отзовизме» не момент *личного* заблуждения и персональной *вины*, а *объективную* обусловленность этого феномена и *в этом* находил прежде всего его особую опасность как проявления в большевизме, в социал-демократии вообще традиции мелкобуржуазной революционности, связанной с *допролетарским* периодом в освободительном движении, когда, как отмечалось, сам марксизм распространялся в форме, интегрированной народнической доктриной. К слову, ставшие ныне широко доступными воспоминания таких деятелей, как А. В. Луначарский, Л. Б. Красин, М. С. Ольминский, Е. Д. Стасова и др., дают очень убедительный материал, свидетельствующий о характерности указанного процесса и той своеобразной психологической предрасположенности к романтическому максимализму, в которой первые русские социал-демократы не узнали *старую* народническую революционность, часто принимая такого рода максимализм за знак своего приобщения *к новой* революционной доктрине. Естественное воодушевление, рождавшееся при мысли о приобщении к искомой истине, перерастало у них в тот род политической и идейной бескомпромиссности, которая бывает столь свойственна новообращенным и очень легко оборачивается привычной нетерпимостью.

«Все мое миросозерцание,— вспоминал Луначарский,— как и весь мой характер, не располагали меня к половинчатым показаниям, к компромиссу и затемнению ярких максималистских устоев подлинного революционного марксизма. Конечно, между мною, с одной стороны, и Лениным, с другой, было большое несходство. Он подходил ко всем этим вопросам, как практик и как человек, обладавший огромной ясностью тактического ума и поистине гениального политика, я же подходил, как философ и скажу определенней, как поэт революции».

Бесспорно, воззрения таких идеологов народничества, у которых «проходили школу» многие российские социал-демократы, как Михайловский или Лавров, отнюдь не сводились к концепциям, готовившим почву для позднейшего «отзовизма» и связанного с ним «максимализма» в политике. Но вместе с тем, говоря об этом феномене в русском социал-демократическом движении, нет оснований обходить вопрос о тех ветвях его «родословного древа», которые на российской почве были представлены в народнической доктрине с органически присущим ей культом «критически мыслящей личности», «человека-героя», «человека-легенды», своевольно манипулирующего «толпой», этой доктрине была присуща поэтизация «крайних» форм и методов борьбы в условиях спада революционной активности масс, наступившего после 60-х годов XIX в., когда затянувшаяся элегия передовых сил русского общества по поводу нестерпимо, казалось, длящегося молчания народа была прервана народниками-«бомбистами», мгновенно ставшими «героями дня» и посеявшими «догадку» у приунывшего общества, что «безумство храбрых — вот мудрость жизни!» Эта родившаяся позже поэтическая фраза была не просто фразой — она итожила некий общественный опыт и нечто предрекала. В ней был вызов, объективный смысл которого раскрывается лишь в контексте определенной идеологической традиции.

Примечательно, что согласно трактовке, ведущей начало от «Краткого курса», «отзовизм» вообще не имеет корней в русском освободительном движении и рассматривается как *вылазка* «скрытых недругов партии», которые лишь «маскировали,— как говорится в «Кратком курсе»,— свой оппортунизм «левой» фразой», а «в трудный для пролетариата момент... показали свое истинное лицо». Тут, конечно, выражено позднейшее отношение Сталина к Луначарскому, убранному им с поста наркома просвещения и отданного с соответствующими указаниями на «расследование» специальным комиссиям. Этот акт не был просто очередным знаком надвигавшегося вала репрессий, но знаменовал открытый разрыв с ленинской культурной политикой и особо значащую веху в развертывании культурной контрреволюции. Смещение Луначарского в этом смысле — рубеж и едва ли не демонстративная акция устрашения. Это не значит, что раньше в отношении к искусству и культуре все обстояло отлично. Но смещение Луначарского предвещало ждановщину... Характерна при том и такая «деталь», что, формально основываясь на высказанном Лениным утверждении относительно *объективного* совпадения «отзовизма» по его политическим последствиям с меньшевистским «ликвидаторством», сводящим на нет роль *партии* в условиях реакции, «Краткий курс» рассматривает «отзовистов» как людей, стремившихся лишить легального *прикрытия*, «крыши» нелегальную деятельность партии. И здесь все примечательно: и сведение сути «отзовизма» к политическому криминалу, *злоумышлению* определенных *лиц* (как на грех, тех же Луначарского, который в 1905 году на III съезде партии сделал доклад о роли партии в организации предстоящего восстания, и Богданова, который на том же съезде сделал доклад о практической подготовке восстания и его проведении — об этой «детали» в «Кратком курсе», естественно, просто не упоминается), и исключение феномена «отзовизма» таким способом из ряда неслучайных и

устойчивых тенденций в русской общественной мысли, и истолкование (по сути, прямо «отзовистское») легальных форм борьбы лишь как «прикрытия» для подлинной и истинной деятельности партии. Такое отношение к «отзовизму» Сталина и примечательно, и в общем-то понятно. Ниже об этом будет сказано полнее. Но еще более примечательно, что именно то толкование «отзовизма», которое идет прямо от «Краткого курса», столь долгое время и столь незыблемо удерживается у нас в разного рода официальных пособиях по истории партии спустя многие годы после смерти Сталина и «разоблачения культа личности»[1]. Неприметный эпизод, связанный с феноменом «отзовизма», и до сих пор продолжает играть «закрытую роль» своего рода маленькой лакмусовой бумажки для выявления некоторых характерных исходных методологических позиций в нашей официозной исторической науке. И если бы только в ней!

3

В общем-то вполне понятно, конечно, почему, со сталинской точки зрения, «отзовизм» надо было представить совершеннейшим пустяком и частностью в истории партии, каким-то едва заслуживающим внимания и упоминания эпизодиком, возникновением которого приходится быть обязанным «*вылазке*» каких-то там «*перепуганных интеллигентиков*» — если придерживаться сталинской терминологии,— «*гнилое нутро*» которых в этом случае в очередной раз — не в первый и не в последний — вылезло наружу. Это, повторяю, все понятно. Ибо, с одной стороны, вопрос об «отзовизме» должен был подводить к проблемам нэпа и политического компромисса, а с другой — был неразрывно связан с темой «богостроительства» в партии, которой во времена Сталина касаться можно было лишь с большой осторожностью.

В «Детской болезни...» Ленин прямо связывает вопрос о «левой» опасности в коммунизме с вопросом о «допустимости» политических компромиссов, о компромиссах и отношении к ним вообще, считая понятие компромисса входящим в «азбуку марксизма». И это тоже все известно. Как известно и то, что и после «Детской болезни...» — в докладе о замене разверстки натуральным налогом на X съезде РКП(б), в ряде последующих выступлений, которые с недавнего времени не без оснований стало принято объединять в некий *цикл*, составляющий своего рода развернутое завещание Ленина по программным вопросам партийного строительства и вообще всей дальнейшей жизни нашей страны, он вновь и вновь обращается к вопросу о компромиссах и об опасности «левого» третирования их. В этом проявляется традиция «левого» пренебрежения прямыми жизненными интересами и заботами широких масс, нежелание «ужиться» с этими массами, войти, как говорится, в положение других людей, почувствовать себя в их шкуре, разделить их «земные» трудности.

В одной не столь давно опубликованной повести Фазиля Искандера есть вставная новелла — рассказ маленького героя о неуемных спорах двух «дядей» по разнообразным вопросам общественного бытия. Споры досаждали окружающим, но их терпели. Однако как только произносилось: «всерьез и надолго», дверь в комнату спорщиков захлопывалась, а в случае надобности к ним применялось и физическое воздействие. Окружающие не вникали в суть спора и позиции «сторон» — сигнальные слова срабатывали с безотказностью хорошо отработанного условного рефлекса.

Перед нами весьма точная модель того отношения к проблеме нэпа, которая существовала у нас с почти уже незапамятных времен. Теперь табу с этой проблемы снято, и уже трудно перечислить те работы, в которых она обсуждается с самых разных сторон. А вот устойчивость трафаретных оценок «отзовизма» методологически остается прочно связанной с вполне сохраняющейся и даже отчасти укрепляющейся инерцией «левого» пренебрежения «компромиссом» вообще».

Анализ целого ряда современных публицистических выступлений самого радикального толка помог бы нам убедиться, что даже само соединение таких понятий, как «новое мышление» и «компромисс», представляется их авторам как минимум парадоксальным. Между тем за этой «понятийной несовместимостью» стоит не одно недоразумение — целая система взглядов и сила старой недоброй традиции. А ведь никакое наше новое мышление вообще невозможно без восстановления в правах всей сферы идей и действий, где необходим или предпочтителен компромисс. Кстати сказать, тот социалистический плюрализм, о котором ныне много говорится, поскольку он исходит из признания разноликости мира и отказа от постулата

[1] См., напр., «История КПСС», 1960, с. 126—132 — формулировки «Краткого курса» относительно «отзовизма» повторены буквально. Так же обстоит дело и в многотомнике того же наименования (1966 г.), см. т. 2, с. 250 и далее. Все повторяется и в одноименном однотомнике, изданном в 1985 г., см. с. 112 и дал.; сходная картина и в «Истории КПСС. Курс лекций. Выпуск 1. Издание второе, переработанное и дополненное», 1988, см. с. 212 и дал., хотя в последнем случае старые формулировки несколько уже размыты, но в принципе отнюдь не изменены. То же следует сказать и об «Истории СССР» («Высшая школа», М., 1987), см. с. 404 и далее.

Подобным же образом обстоит дело с истолкованием «отзовизма» и в различного рода популярных справочных и энциклопедических наших изданиях, по сути, повторяющих формулировки, идущие от «Краткого курса». Тут нет, думаю, преднамеренности — тут инерция привычного прочтения привычных слов.

«единственного пути», просто и немыслим без овладения навыками и культурой политического компромисса, если мы не хотим нового соскальзывания до уровня, на котором вновь насилием и кровью будет решаться вопрос «кто кого»... Но ведь о «компромиссе» нельзя и ныне сказать, что «все врут календари», — молчат. Не утруждая читателя перечислением всех тех ответственных изданий, в которых этот термин должен быть и в которых его как раз нет, стоит упомянуть, к примеру, что он «выпал» из последнего издания БСЭ, что его нет в нашей Философской энциклопедии, а Малая урезала его смысл до понятия «арбитраж», Историческая отсылает читателя в этом случае подальше — к соглашению, заключенному нидерландскими дворянами для борьбы против Филиппа Испанского...

Не одно и не два поколения воспитывались у нас в том безоглядном образе мыслей, согласно которому «компромиссу» — место среди таких понятий, как «беспринципность», «оппортунизм», «конформизм», «двоедушие», даже — чего доброго — «двурушничество», а в общем — «и нашим и вашим за пятачок спляшем!» Соответственно «бескомпромиссности» пристало быть в том ряду, где «несгибаемость», «беззаветность», где обретается наше «любой ценой» и наше знаменитое «невзирая»... Очень характерно, что «марксисты», бросившие в пору «военного коммунизма» в массы известный лозунг «кто не с нами, тот против нас!», получивший силу боевого приказа и руководства к действию, не узнали в нем чуть подправленную в «коллективистском» духе времени цитату из Макса Штирнера — средней руки, но редкостно претенциозного мелкобуржуазного философа-анархиста середины прошлого века. А ведь «Святой Макс», заявивший: «кто не за меня, тот против меня!», был одним из главных сатирических персонажей «Немецкой идеологии»! Впрочем, дело, быть может, состояло в том, что «Немецкая идеология» не была опубликована в пору, когда книга Штирнера, из которой и «залетел» в военнокоммунистическую доктрину старый клич мелкобуржуазной «ррреволюционности», уже существовала в русском переводе и была достаточно известна.

Казус, конечно. Но сколь знаменательный! Едва ли не столь же, как и то, что впервые в русской печати лихой лозунг «кто не с нами...» появился и был введен в оборот общественной мысли на страницах «Народной расправы» Нечаева. Вот какая тут оказалась линия преемственности — от Штирнера через Нечаева к ультра-«марксизму» 20-х годов!

А ведь была в русском освободительном движении и совершенно иная традиция.

В знаменитых «Письмах к старому товарищу», представляющих своеобразное идейное завещание А. И. Герцена, можно прочитать такое, за что, дай им судьба такой случай, апологеты «военного коммунизма» непременно поволокли бы автора к стенке, повинуясь своему «революционному инстинкту». «Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпения, увлечь авторитетом или страстью — приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неминуемым поражениям... Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее, — дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в Москву, — и погибнуть, отступая от нее... Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляет вечную необходимость всякого шага вперед?.. То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывавшего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть, — подчеркивает Герцен, — *власть разума и пониманья*».

Нет, это совсем не «либеральная нота» у Герцена. «Либеральной» она может представиться лишь с позиций старой нечаевщины, против которой так решительно выступал в свое время тот же Герцен, и новой, о которой пришлось писать уже Луначарскому. «Иные марксисты, — писал он, — стоят на точке зрения — все или ничего, с нами или против нас!.. Я с этим решительнейшим образом не согласен... «Марксизм», стремящийся... как можно скорее перейти к какой-то... черствой ортодоксии, не имеет ничего общего ни с подлинной научной мыслью, ни, конечно, с подлинным марксизмом». И еще: «Ленин говорил, что у нас должно быть товарищеское отношение к нашим работникам, что нельзя им ставить на каждом шагу преграды, что нужно облегчать их труд чрезвычайной симпатией и вниманием и отличать всякий их шаг вперед. А мы видим чаще такое отношение: «Ты сделал шаг вперед? Это потому, что ты боишься нас... А вот теперь ты сделал полшага назад... Мы всегда знали, что ты сволочь!..» Есть ли это классовая политика? Нет... В таких рассуждениях чаще проглядывают интересы групп и лиц... Здесь под видом борьбы с усилившейся классовой опасностью могут быть совершены колоссальные ошибки». Это Луначарский сказал, когда Ленина уже не было в живых — он знал, чего опасаться.

Путь, пройденный Луначарским от его «отзовистского» максимализма к тем идейным позициям, на которых он становится продолжателем подлинно революционных и демократических традиций в русском освободительном движении в их новом методологическом преломлении и оказывается в прямой конфронтации сталинизму, — этот путь исполнен, конечно, очень глубокого общественно-исторического значения и имел смысл прямого урока для тех, в частности, кто не понял этого урока и волею судеб или по своей собственной воле вернулся к той же нечаевщине, хоть и под куда более острым соусом.

Я, естественно, чужд несуразной идеи обличения целых поколений — речь о «вере», которую внушали, в которой сам вначале был воспитан и от которой мало теоретически отречься и очень трудно внутренне совсем уйти. Но сколь же сильна наша приверженность к «нашей святой» бескомпромиссности!.. Разительным, как говорится, достижением и неоспоримым свидетельством всей безоглядности образа мыслей, с которым связана эта приверженность нашего двоемыслия, является тот факт, что «где-то» мы ведь отлично помним законспектированное в студенчестве: «Есть компромиссы и компромиссы». Есть компромиссы «предателей, которые сваливают на объективные причины свое шкурничество... трусость... свою податливость запугиваниям, иногда уговорам, иногда подачкам, иногда лести». И есть компромиссы, которые кажутся предосудительными лишь «революционерам очень молодым и неопытным, а равно мелкобуржуазным революционерам даже очень почтенного возраста и очень опытным». И многие из нас «где-то» совершенно ведь ясно представляют, что «допущение» компромиссов «в принципе» — если и «отступничество», то от некоей предзаданной «прямой» или «генеральной», если употребить эту «батальность», линии, «предначертанной» кем-то другим, а не от живой исторической закономерности, и что «отношение марксизма к зигзагообразному пути истории сходно, по существу дела, с отношением его к компромиссам». А вот «принципиальная» бескомпромиссность — от влечения «приневолить» историю, «выпрямить» ход общественного развития, «подтолкнуть» его, т. е., как считал Ленин, полный разрыв с марксизмом. Вспомним «старые студенческие» — мы ведь читали у Энгельса о «промежуточных станциях и компромиссах», создаваемых «ходом исторического развития», и абсурдности всякого рода идей «перепрыгивания» через фазы, этапы или даже формации... «Что за детская наивность, — замечал он, — выставлять собственное нетерпение в качестве теоретического аргумента!» Ленин считал, что эти соображения Энгельса заключают «глубочайшую (философскую, историческую, политическую, психологическую) истину». Мы ведь, если захотим, вспомним, что только «наивные и совсем неопытные люди воображают, что достаточно признать допустимость компромиссов *вообще* — и будет стерта всякая грань между оппортунизмом, с которым мы ведем и должны вести непримиримую борьбу, — и революционным марксизмом»...

Я привел все эти цитаты, далеко, однако, не исчерпав системы воззрений Ленина на место, роль, цели и границы компромисса в общественной жизни, не для того, чтобы «провести свою мысль». А для того, чтобы показать, что ничего «истинно большевистского», «нашего святого» ни в какой «принципиальной» бескомпромиссности нет и никогда не было, что сама идея такой бескомпромиссности связана с совсем иной системой взглядов и что человек, стоящий за «принципиальную» бескомпромиссность, либо лишь по ошибке почитает себя «истинным марксистом» (стало быть, должен еще самоопределиться), либо лукавит, рекомендуя себя таковым...

Компромисс, конечно, отнюдь не универсальное средство, его не надо фетишизировать, как не надо фетишизировать вообще что бы то ни было на этом свете. Но, что касается, во всяком случае, компромисса, до этого у нас еще далеко. Нам, как теперь стало известно, еще предстоит учиться демократии, и значит, помимо прочего, учиться искусству компромисса, учиться умению ставить «противную сторону» перед необходимостью компромисса и уходить из положений, когда остается делать то единственное, для чего в политике голова приспособлена меньше всего — «прошибать стенку лбом». Но мы так привыкли к фразам о «бескомпромиссных борцах» и «несгибаемых представителях», словно впитали их с молоком матери, и они теперь сидят у нас в генах. «Бескомпромиссность» перестала у нас быть содержательным понятием, сделавшись пустой похвальбой или ложной похвалой, перекочевав из хвалебных некрологов на всю остальную часть газетных страниц. Более того, понятие «компромисс» стало в последнее время связываться у нас с безнравственным поведением многих людей в «эпоху культа» и «годы застоя», словно у нас нет ума догадаться, почему само понятие «компромисс» оказалось репрессированным, а идея «бескомпромиссности» так превозносилась в эти самые времена. Словно мы не способны понять такой простой вещи, что компромисс потому и оказался «плох», что не годится для взаимоотношений палача и жертвы и не подходит для ситуации «любой ценой» и «во что бы то ни стало». Мы словно заразились нетерпимостью к самим себе, переняли систему мышления, годную разве что для бескомпромиссной расправы или не терпящего никаких условий и соглашений самовластья.

Конечно, понятие «отзовизм» в изначальном, прямом смысле этого термина

в нынешней ситуации выглядит архаизмом и не требует восстановления в идеологическом обиходе. Но этого отнюдь не скажешь о феномене «отзовистской» традиции и о том близкородственном архаическому «отзовизму» ультиматизме, о котором Ленин еще в 1909 г. (в Извещении о совещании расширенной редакции «Пролетария») говорил, что он исключает всякую положительную, творческую работу в общественно неблагоприятных для открытого выступления условиях и что его единственным орудием, по сути, остается... ультиматум, который в таких ситуациях, понятно, некому и предъявить. Чтобы не ходить далеко, стоит в этом случае вспомнить о сравнительно недавних статьях некоторых наших авторов, которые не только без всяких затей уравнивают «вообще компромисс» с политическим и житейским приспособленчеством, но и отмечают, что в «годы застоя» единственным достойным прибежищем для здоровых сил общества оставалась лишь внешняя или внутренняя эмиграция. Мысль эта гуляет теперь по страницам периодики, как бы заведомо повергая всякого несогласного в положение оправдывающегося в том, что не сидел полжизни сложа руки... Люди Возрождения стремились «необходимость обратить в доблесть», но что сказать о тех, кто желает задним числом «обратить в доблесть» свое бессилие?

Новое мышление не явилось у нас вдруг, по воле случая. Тут действовала сила объективной необходимости, и «случай» не пришел сам.

Как помним, Ленин полагал, что развитие научного мировосприятия находится в определенном соотношении с развитием естественнонаучного знания. Но когда в мире появился уже такой «документ века», как знаменитый манифест Рассела — Эйнштейна — этих, согласно теперешним нашим понятиям, провозвестников нового мышления, у нас еще охотились на ведьм. Разительное противоречие между новой реальностью «атомного века» и системой сталинистского средневековья привело к духовному кризису нашего общества и зарождению того альтернативного нравственно-интеллектуального движения, которое, манифестировав в 60-х и понеся поражение, получило «урок на завтра» и, как водится, «срок» на переподготовку. Урок не прошел даром. «Застойные годы» не исчерпываются утратой молодого одушевления очнувшихся людей и лучшей части жизни целого поколения. Это был уже не тот «мертвый сезон» истории, когда только и слышалось из края в край: «до чего же хорошо кругом!» Теперь крот истории рыл на ином уровне — куда ближе к «выходу в свет». И не был одинок. Встречная работа шла со скрипом, хрипом и стоном. Эти звуки не ласкали слух — они нарушали круговую поруку молчания. Люди, вменившие сегодня себе в доблесть свое «молчание в тряпочку» без перерыва в служебном стаже — до поры, когда стало «можно», словно не понимают, что молчание не золото и даже не труд, когда сказано «нельзя!», а слово — даже и не дерзость, когда «можно!» Да и новое мышление не просто «новые слова». Это и возвращение собственного смысла некоторым «старым словам». Ибо и реабилитация людей теряет смысл без реабилитации идей. В процессе общественного самоосознания нашему рассудку еще предстоит «прийти в себя» и отделиться от многих предрассудков, а убеждениям — от предубеждений...

Быть может, не стоило бы тянуть так далеко эту ниточку из «узелка» полузабытого «отзовизма», если бы вновь многие из тех, кто исполнен лучших чувств и намерений, с удручающей фатальностью не стягивались вокруг идеи «единственного пути»... «Мы подошли к опасной границе нового разочарования, на этот раз в реальной, практически осуществимой идее перестройки». Это было сказано Д. Граниным в «Правде» летом 1988 года,— когда иные авторы с новой силой грянули: «Другого нет у нас пути!» Старая песня. На роду, что ли, у нас написано оглашать ею мир, «неуклонно» маршируя то в одном, то в другом направлениях с загадочным видом несытого самодовольства! «Когда меня спрашивают,— писал Д. Гранин,— почему я верю в перестройку, я не говорю о том, что у нас нет иной альтернативы. Кто ее знает, может, где-то она и есть: иные темпы, иная решимость? Нет, для меня перестройка, демократия, намеченные реформы имеют одно решающее качество — они возвращают нас к здравому смыслу». Вот только не слишком ли все-таки близко пришлось здесь словечко «верю» со словами о здравом смысле? Ведь не захотим же мы вернуться к мысли, высказанной М. Горьким в 1934 году, но идущей от все того же знакомого нам «узелка», относительно того, что «прошло то время, когда вера и знание враждовали, как ложь и правда» и что «там, где пролетариат властвует, где все создается его могучей рукой, там нет места распре знания с верой»!.. Это ведь все из очень «старого мышления»...

Новое мышление отнюдь, конечно, не знаменует наступления эры духовной идиллии, хотя и не исключает иллюзий на сей счет. Но оно исходит из признания взаимозависимости взаимовраждующих сил и переводит внешнюю и внутреннюю идеологическую перспективу из сферы решения вопроса «кто кого» в сферу сохранения среды нашего духовного обитания в единстве ее идеологических разнодействующих. И это прямо следует из признания приоритета общечеловеческих ценностей. Но почему нам все еще кажется столь удивительным или мы все стараемся не замечать, как часто люди особенно жесткой судьбы и самоочевидной стойкости и чистоты духа бывают столь настороженны ко всякого рода «принципиальной» бескомпромиссности, ко всякого рода «кто не с нами...»?

«Человек, не вступающий в компромиссы,— монстр. Есть только один способ избегнуть компромисса — принудить к нему другого. И в семье, и в обществе человек со склонностью принуждать других к компромиссам — тиран... На компромисс идут, чтобы сохранить себя и сохранить другого. Человек, идущий на компромисс, понимает, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Если мы отделим от компромисса трусливую уступчивость, малодушное желание угождать, то с компромиссом все станет более или менее ясно. Это совершенно необходимый посредник в отношениях между людьми. Это вовсе не значит, что инструмент прост, что овладение им приходит без срывов и что каждый раз необходимый компромисс можно отличить от вынужденного. Срывы тут могут быть и в трусливое малодушие и в посягательство на силу, на тиранию. Короче говоря, тут нужны и мудрость, и характер. И понимание, что сам ты, кто бы ты ни был, не без греха... Компромисс труден. Он требует самовоспитания и связан с мудростью. С пониманием того, что те, кто окружает тебя, не только имеют право существовать, но и отличаться от тебя. Терпимость — продукт высокой цивилизации... Компромисс признает, что мир сложен, что самоограничение — единственный способ сохранить его приемлемым для всех... Тирания и лицедейство — это лишь два способа обойтись без компромиссов»...

Все это было написано В. Семиным («Новый мир», 1988, № 1, с. 218—219) в свое время в частном письме — не для декларации. И на этом суждении, близком к мыслям, высказанным в работе, где Ленин столь не случайно вспомнил об «отзовизме», и можно пока оставить эту нить из старого «узелка на память». Но есть и еще одна нить из того же «узелка», которая дотянулась до наших дней и которая тоже связана с феноменом «отзовизма» и тоже не с него началась.

4

Речь идет о «богостроительстве» старых «отзовистов» — том именно «богостроительстве», которое явилось на свет после поражения революции 1905—1907 годов и может быть рассмотрено как своеобразная иллюзорно-утопическая компенсация взамен утраченной в среде прогрессивной интеллигенции перспективы и надежды на историческую активность масс и на достижимые в обозримом будущем перемены к лучшему в жизни российского общества.

Оставляя проблему богостроительства в партии для специального обсуждения, следует сказать, что богостроители-«отзовисты» вполне сознательно стремились опереться на ими же сконструированную «новую религию», «последнюю религию», «религию без бога», дабы в такой форме найти утраченные пути к массовому сознанию, восстановить духовную связь с массами, вновь приобщить массы к идеям и идеалам социализма. В этом смысле богостроительство было неотделимо от «отзовизма» — это были просто две стороны одного, в сущности, явления.

В известном романе-утопии Богданова «Красная звезда» содержится, помимо прочего, весьма выразительное описание процесса формирования механизма замещения перспективы и «почвы» — иллюзией.

«Все ожидали скорого и светлого исхода борьбы... Боевое возбуждение стремительно развивалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему, настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз...» Но «революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала благодаря стремительности своего нападения одержал большие победы, но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции... Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим... Со стороны радикальной интеллигенции... измена была почти поголовная... Даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность... Приходилось, однако, ждать... Мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке... Все люди, которых я знал... представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества».

Люди-зародыши, люди-дети у Богданова в той тяжкой, едва переносимой ситуации, в которой они вдруг оказались, не могли ждать, не могли заниматься кропотливой работой впрок, не были в состоянии сколько-нибудь плодотворно думать, осмысливать происшедшее, вникать в какие-то исторические закономерности и делать какие-то существенные выводы на будущее — их надо было прежде всего хоть как-то поддержать и утешить во что бы то ни стало. Пусть это будет даже какое-то видение, мираж, «социалистический» Марс — Красная звезда, на которую и улетает герой Богданова, пусть это будет какая-то иная «звезда надежды и веры». Словом, нужен какой-то духовный допинг, способный воодушевить упавших духом, хоть временно придать им новые силы, пусть

искусственно, но все-таки вновь возбудить их нервы, их энергию.

Выступления Луначарского времен богостроительства насыщены такими словами, как «активность», «жизнелюбие», «жизнерадостность», «героичность» и т. д. И Ницше в эту пору дорог Луначарскому потому, что он «любил полет, порыв, любил человека, как мост, ведущий в эдем будущего... как незавершенного бога». Луначарскому в ту пору казалась близкой — как и Горькому — ницшеанская идея «воли к жизни», романтика социального насилия, пафос этического максимализма, раскрепощающего человека от всяких «уз» морали, «принципиальное» презрение ко всему слабому, биологически «недостаточному», соскальзывающему в декаданс и смирение. «Слабые и неудавшиеся должны погибнуть — первое положение нашего человеколюбия. И надо еще помочь им в этом». Под подобными словами Ницше Луначарский готов был тогда с радостью подписаться. «Супер-герой» с ницшеанскими чертами становится под пером Луначарского «Человекобогом», ибо «благо богов совпадает с благом человека». И вместе с тем Луначарский воспевает в статьях того времени «боганародушка», заявляя, что израненными ногами калик перехожих страдалец-народ гонится за правдой-маткой...

Полемизируя с Луначарским на одном из диспутов как раз в пору его богостроительских «увлечений», Плеханов, помимо прочего, заметил, что если дело пойдет так и дальше, то Луначарский вслед за Богдановым придет или сможет прийти к *системе эстетических понятий*, которая окажется прямо противостоящей марксизму по *всем* основным вопросам общеметодологического характера. Такое предупреждение весьма небезынтересно, если вспомнить, к чему же именно призывали идти в искусстве тогда «отзовисты» и богостроители.

Абсолютизация романтического начала в искусстве, генерализация этого начала в качестве определяющего в «пролетарском искусстве», попытки теоретически обосновать романтически-напряженную экзальтацию, громкоголосый апофеоз «сверхгероического», «сверхоптимистического», «сверхжизнеутверждающего», «сверхпобедоносного» и т. п. искусства — все это, без сомнения, было уже не просто «настроенческим» явлением, а методологической тенденцией, уводившей от реализма в искусстве и даже, более того, от искусства к мифосозидательству. В эту пору возникает мысль, что взамен «старому» искусству должен прийти некий «идеал-реализм». Этот «идеал-реализм», согласно Луначарскому, имеет глубокие корни: «Большие массы в процессе коллективного творчества создают огромный, сложный, тонко внутренне переплетенный мир снов (мифов), звуков, ритуалов, понятий... Так пульсирует великое искусство, идя и ведя в золотую бесконечную даль все нового совершенства».

Для «нового искусства», согласно Луначарскому, «опасно» само даже обращение ко всякой «слабости, болезни», ко всему, что не связано с жизнеутверждением» и не вызывает его. «Не только сочувственное, но даже равнодушное изображение жалкого и презренного есть художественная ошибка». А потому... долой Чайковского, осторожнее с Шопеном, еще осторожнее с Чеховым! И — да здравствует Максим Горький!

«Современная нам литература русская,— пишет Луначарский,— находится в довольно хаотическом состоянии. Реализм, почти безраздельно царивший некоторое время у нас, видимо, отживает свое время. Настоящим представителем нового фазиса русской литературы в ее основном русле является романтик Горький. Мало-помалу вокруг него группируется новая школа...»

Прошу читателя простить меня за то, что я во многом повторяю здесь то, что мною было уже сказано о богостроительских заблуждениях Луначарского и их влиянии на его эстетические взгляды более четверти века назад — в «наши шестидесятые», когда наконец удалось прервать традицию третирования его творческого наследия и поношения той культурной политики, которую Луначарский отстаивал в первые годы Советской власти. Сейчас я вновь пишу обо всем этом, естественно, совсем не потому, что вдруг испытал желание возродить упомянутую традицию, а потому, что появилась потребность более внимательно всмотреться в подобного рода заблуждения, проследив их судьбу и вместе с тем отделив их от той системы взглядов, которой удалось на них паразитировать в целях, не имевших с намерениями Луначарского ничего общего.

Нет, Луначарский в эту пору еще не говорит и не он первым вообще заговорит у нас о необходимости «нового метода» в искусстве. Но из всего, что было тогда сказано Луначарским, ясно, что герой «нового искусства» потребует совершенно нового подхода со стороны художника, новых, как считает Луначарский, приемов и принципов отображения и что нравственно-эстетический арсенал классики представляется здесь недостаточным, даже архаичным. Новому художнику предстоит «раскрыть железную цельность новой души» своего героя. Тут не будет уже никакого места *жалению*, которое «было доведено до виртуозности великими художниками пера и кисти прошлого... Но *народ — субъект*, народ — творец истории, пролетариат, приходящий к сознанию своей великой миссии, размаха, который получит в его руках человеческая промышленность, и своего права на счастье, такой народ нуждается в иных выразителях». Героем нового искусства будет «человек, как бы «взнуздывающий»

историю, поворачивающий ее «куда хочет»... и т. д.

Из того, что успел в эту пору сказать Луначарский по поводу задач «нового искусства», его героя, приемов и методов подхода такого искусства к действительности, можно было бы подобрать и более узнаваемые примеры, словно бы прямо предвосхищающие по своему смыслу всем навязшие в зубах декламации и заклинания времен «небывалого расцвета» искусства соцреализма и проклятий его «врагам». Но этого не надо делать — это было уже иное время, и такого рода декламации, заклинания и проклятья диктовались совсем не теми мотивами, которые одушевляли Луначарского в пору его «отзовизма» и богостроительских устремлений. Всякого рода текстуальные сближения и смысловые отождествления в этом случае были бы достаточно поверхностны и спекулятивны. Но, бесспорно, речь у Луначарского шла об искусстве политического авангардизма, которое одно, как он понимал, и могло соответствовать его тогдашним максималистским наклонностям, его своеобразному экстатизму.

Луначарский — человек искусства, его знаток и блистательный критик — и в самом страшном сне не мог тогда вообразить сталинистский соцреализм. Представлять сейчас дело таким образом, что по эскизам Луначарского и кроились потом деревянные бушлаты ждановских предписаний людям культуры—более, нежели просто вздор. В жизни есть некая особая черта, отделяющая сферу заблуждений, где идут поиски истины, от зоны злодеяний, где охотятся на людей. Да, все на свете грани и рубежи в конечном счете, как известно, относительны, подвижны, зыбки. Но все-таки надо очень далеко зайти в собственных заблуждениях, чтобы совсем потерять представление о коренном различии между заблуждениями и злодеяниями. Как, к примеру, мало совсем не ценить Луначарского, чтобы вдруг сравнить его с Лысенко; надо еще опасно недооценивать Лысенко, чтобы вдруг украсить его сегодня подобным сравнением. А вообще равнять заблуждения со злодеяниями совсем не новость, а всегдашняя основа всякой нетерпимости и политической злобы. Ныне легко увидеть ошибки ранних увлечений Луначарского; полезнее, покаявшись в собственных грехах, не повторить невзначай сходных ошибок, вновь кинувшись отыскивать дорогу к Храму — вновь к Храму! — и извлечь одну только эту мысль, по примеру иных критиков, из замечательного произведения кинематографа.

В обстоятельной статье «Задачи социал-демократического художественного творчества» (1907 г.), ряд положений которой даже представлялись отдельным исследователям созвучными ленинской статье «Партийная организация и партийная литература» (1905 г.), у Луначарского, размышляющего здесь, каким будет и «должно» быть пролетарское искусство, вместе с тем возникает столь знакомый по другим его работам дооктябрьского периода мотив мечты о появлении «истинного человека, божественного, прекрасного, мудрого, господина природы и себя самого». И в этой во многом программной работе такого рода пассажи не просто «красивые слова».

Да, конечно, можно поставить в определенную параллель возникновение народнических теорий «героев» и «толпы», «людей-мифов» в пору крушения надежд на крестьянское восстание после поражения революционного движения 60-х годов с обращением некоторых левых социал-демократов после поражения революции 1905—1907 годов к идеям обожествления «высших потенций» человека и создания своего рода «религии освобождения». Можно представить себе ту логику чувств и мыслей, согласно которой именно в пору утраты реальной общественной почвы под ногами и конкретной перспективы осуществления надежд на перемены к лучшему иной человек из самых благих побуждений пытается утешить себя и других «возвышающим обманом» какой-нибудь «спасительной веры» в некое «сверхсущество», которое «выручит» на манер горьковского Данко. Обращение в подобной ситуации к вне- или надрациональным доводам психологически объяснимо, но трагически опасно.

Да, конечно, весьма примечательно, что в упомянутой статье Луначарского находили созвучия той ленинской работе, из которой задним числом и «выводили» как раз методологическое «обоснование» принципов «идейности, партийности и народности» нашего искусства, смысл коих, однако, толковался применительно к очередным «указаниям сверху». Нельзя же было в самом деле говорить о связи «требований», предъявлявшихся таким образом к искусству, с некоторыми философско-эстетическими идеями «богостроителей»!

Все это примечательно, но не менее примечательно и то обстоятельство, что сам Луначарский в послеоктябрьский период, когда он стал наркомом просвещения и много претерпел от идеологов «левой» культуры, опираясь в споре с ними на традиции *классики*, так и *не узнал* в системе аргументации оппонентов некоторых собственных былых идей и призывов. Нет, в *эту* пору он звал «назад к Островскому!», к Гоголю, к Грибоедову, к Пушкину! И хотя он, как это ни парадоксально в этой связи, продолжал и теперь переиздавать свои старые теоретико-эстетические работы, написанные еще в богостроительском духе, уже более не искушался мыслями относительно соединения науки с «верованием», к которым вновь прибег Горький в пору своего увлечения идеями «нового гуманизма» и «социалистического реализма», сформулировав на новой основе свой печально знаменитый

аналог старому штирнеровскому кличу: «С кем вы, мастера культуры?» — с нами или против нас?

Действительно, в традиции «левого» большевизма могут быть обнаружены едва ли не все элементы-«кубики», из которых спустя многие и многие годы начнет сооружаться пирамида «культа личности» Сталина и последующих «вождей». Есть тут уже и Сверхчеловек, воплощающий «высшие потенции» всех веков и народов — тех, что были, и тех, что будут на свете. Есть и фетишизированная «масса», именем которой можно станет впоследствии ею же и манипулировать. Есть и та идея заданной самоэкзальтации, которая со временем станет цементировать всю систему послушного энтузиазма толпы, если припомнить это меткое выражение Чаадаева. Нет, не случайно Сталин поспешил заявить в своем «Кратком курсе», что богостроители были просто «перерожденцами», с которых следовало «сорвать маску» и «разоблачить до конца». По мнению Сталина, «эту задачу выполнил» Ленин. И из одного нормативно-справочного издания в другое пошла кочевать, докочевав до нашего времени, формула, согласно которой богостроительство «не получило широкого распространения, и его сторонники в дальнейшем отказались от попыток религиозной интерпретации марксизма». Так сказано в «Философском энциклопедическом словаре» (1983 г.). Иными словами, «к началу первой мировой войны богостроительство в России прекратило свое существование». Так сказано в «Атеистическом словаре» (1986 г.). Все это понятно: «культовое» богостроительство нового типа, сделавшись идеологией сталинизма, чуралось всякого намека на такого рода прецеденты. А инерция такого рода восприятия этих прецедентов жива.

Пусть и парадоксальным образом, но идейно-методологическая суть дела тут лишь выигрывает в своей ясности оттого, что речь у нас шла о деятельности и идеях таких людей, которые не имели ни малейшего отношения к злодеяниям и преступлениям служителей «культа личности Сталина» и — более того — могли уже представить себя в ряду первых же его жертв. Дуновение чумы они уже почувствовали. С самыми добрыми намерениями мостили они в свое время дорогу к сияющим вершинам. Куда на деле смогла привести эта дорога, они не ведали ни сном ни духом — в этом, пожалуй, и заключалась их историческая вина. Но нет никакой их личной вины в том, *чем* оказалась готовой обернуться их мечта о слиянии Христа с Марксом.

Узелок ложных идей, завязавшийся в партии и непосредственно большевистской ее части после поражения революции 1905—1907 годов, оказался очень крепко, тесно и надолго затянутым, сложно и «хитро» запутанным. Слов нет, сталинизм у нас, феномен «культа личности» в масштабе всемирно-исторических измерений непосредственным образом разрослись отнюдь не из этого «узелка» — они имели характер злокачественных *новообразований*, развивавшихся по *особым* законам и, быть может, потому столь трудно поддаются убедительному анализу, заставляя нас довольствоваться здесь приблизительными, описательными и даже условными определениями. Но в то же время «культ» на нас и не с неба упал. Размышляя «теперь, когда глядишь назад», над феноменом «иммунной недостаточности» по отношению к нему партии и общества в целом, не надо, наверное, обходить и те «факторы риска», которые возникали и накапливались в нашей истории и столь примечательным образом совершенно по-разному оценивались в свое время Лениным, с одной стороны, и Сталиным — с другой.

В статье «Революция и контрреволюция», написанной в 1907 г. и посвященной опыту отношения партии к думской деятельности, Ленин сказал о необходимости проверки всякого претендента на роль *вождя* той *альтернативой*, которую партия должна ставить перед ним: либо с народом, либо против народа. Лишь для невнимательного взгляда это требование может показаться сходным с лозунгом «кто не с нами...» Истинный смысл и пафос ленинской мысли совсем в ином: в отрицании той «отзовистской» позиции, согласно которой можно и даже подчас нужно, как считали еще и народники, действовать «для народа без народа» или, если очень потребуется, вопреки ему, как прямо заявлял Ткачев. Как известно, Ленин не стоял на той точке зрения, что «масса всегда права». Речь тут у него идет о том, чтобы деятельность вождя *в принципе* осуществлялась не в закрытом, так сказать, порядке, не внутрипартийно лишь, а *гласно*, на *глазах у масс*. В этом случае могут быть возможны, конечно, тяжкие разочарования, но и важные разоблачения. И тут Ленин напоминает мысль Маркса относительно того, что народ *выигрывает, теряя иллюзии*.

5

А теперь несколько слов уже не о том, что было, а о том, что еще может быть.

Люди моего и старших поколений, как нас теперь — вкупе и по отдельности — ни оценивай, все более начинают подпадать под то общее понятие, которое на языке кино имеет выразительное наименование «уходящей натуры». И мысль об «эстафетной палочке» обретает для нас особый и весьма личностный характер. Мы, конечно, все еще мало знаем общество, в котором живем. Но у нас накопился некий поведенческий, скажем так, опыт, полученный в сменяющихся общественно-исторических ситуациях и хранящий модели возможных тенденций дальнейшего развития. Все это сюжет

для предстоящих размышлений. Однако имеют цену и некоторые из тех общих впечатлений бытия, которые еще достаточно остры, но обрели значение известного духовного навыка и которыми, быть может, не грех поделиться уже сейчас.

Далеко уже ушли от нас «наши шестидесятые» — годы, «когда мы были молодые и чушь прекрасную несли». Мы почти и оглянуться вроде бы не успели, как накатили «застойные». На новом витке истории с закономерностью неведомой цикличности пора «больших ожиданий» сменилась полосой «утраченных надежд», словно переменились времена года. И вот сегодня, когда перестройка, гласность, демократизация, плюрализм... Пожалуй, все-таки нет той свежести первого весеннего чувства, которое нам некогда уже довелось испытать и не дано забыть. Зато ныне чуть не со всех сторон слышны громкие требования «гарантий». Чтобы *это* «не повторилось», чтобы «отныне, впредь и навсегда» и «никогда больше» и далее в том же духе и даже более того. Сказывается, видимо, опыт утраченных очарований. А возможно, подсознательно замешалась здесь и невнятная мысль о каком-то «гарантийном сроке», в течение которого можно было бы в законном порядке предъявить претензии на качество приобретения или даже попытаться обменять это приобретение на иное. Да вот только о каких же таких «гарантиях» идет речь? У кого их мыслимо требовать, от кого ждать остается? Ведь яснее же вроде бы ясного, что «ни бог, ни царь и ни герой...» И даже «собственной рукой» у истории их не вырвешь. Ибо история не имеет цели. Прогресс не гарантирован, и потому всякого рода «требования гарантий» возможны лишь в жанре «писем без адреса». По сути, это лишь нынешняя метафора нашего *старого* мышления, проникнутого фаталистическим «оптимизмом несмотря ни на что», основанным на *вере в обещание* «светлого завтра» и нашей готовности «неколебимо» топать по заданному пути в ожидании, что это *вечное завтра* вдруг да обнаружится во всей своей красе и благодати.

Помнится, юный герой Фазиля Искандера в свое время очень смешно и очень наивно удивлялся поразительному интересу жителей больших городов к радиопрогнозам погоды. Что бы в данный момент ни происходило, о чем бы ни шла речь, куда бы кто ни спешил,— все мгновенно замирали, цыкая друг на друга, чтобы «не пропустить»: сколько будет градусов, откуда и какой силы ожидается ветер. Это походило на некий ритуал, смысл коего представлялся юному герою таинственным — он приехал из такого своего далека, где голос, вещавший «погоду на завтра», еще не вызывал в социальном подсознании слушателей образ Сивиллы. Этому юному герою теперь, наверное, уже около шестидесяти, если он дотянул. И вот вновь повеяло живым духом, пошел кислород. И словно развернулась плотно замкнутая в себе на время затяжных холодов смысловая завязь Искандеровой метафоры. Теперь мы уж сами, не довольствуясь официальной сводкой, норовим всякое утро взглянуть на ртутный столбик за окном, прикидывая боковым зрением, в каком отношении ртуть находится к нулевой отметке на шкале нашего нынешнего оптимизма. Ошибется иной раз глаз — мороз по коже, хотя на дворе, кажется, готовы бывают порой вроде бы расцвести чуть не все наши цветы. И почти неизъяснимо то особое чувство, с которым мы вечерами удостоверяемся, что «опять они наврали» — прогноз на день не состоялся. Словно теперь мы сами уже владеем тайной предсказания погоды на завтра. Что это — «остаточный оптимизм» нашего старого телеологического мышления? Или знак крепнущей надежды?

Сейчас, как можно прочитать в газетах, перестройка вступает в свою критическую фазу. Подобное определение переживаемого момента неустойчиво и, кажется, не ищет развернутой аргументации. Но какое бы наименование ни получила следующая стадия нашей жизни, было бы, конечно, большой ошибкой вновь настраивать себя, повторяя некоторые иллюзии «шестидесятых», ныне так, что *этого* больше «не может быть, потому что не может быть никогда». Очень многое может быть. И многое непременно будет. Если даже «стрелку» на путях нашего дальнейшего исторического развития и удастся закрепить в «нормальном» положении, это совсем еще не значит, что дальше все пойдет «как надо» или даже еще лучше в том же духе. Иное дело, чтобы какая-нибудь «грядущая сволочь», как сумел не так давно выразиться на газетной полосе Андрей Вознесенский, не застала врасплох. Готовь сани летом. Чтобы не оказаться тем самым «ежиком в тумане». Пусть даже очень колючим. Но в тумане. Чтобы «в случае чего» не отсиживаться, гордясь в узком кружке своим «принципиальным» *неучастием ни в чем*, и «держать паузу» в ожидании поры, когда вновь можно будет вернуться к исходной точке, с которой уже доводилось начинать, сбиваясь на тавтологию и утешаясь разве той только скудной мыслью, что «новое — это хорошо забытое старое». В этом случае, конечно, чем дольше просидишь молчком, тем оно лучше. Только ведь и без того не слишком ли вообще «мы часто стоим на одном месте с видом скорого марша,— как писал еще Герцен,— и отступаем с криком атаки»?

Характерно, что даже и сами такие понятия, как «новое мышление», «социалистический плюрализм» и другие из того же ряда впервые печатно обнаружились у нас не санкционированно, не в порядке иллюстрации к директиве, а в силу, если можно так выразиться, индиви-

дуальной творческой инициативы и самодеятельного мышления. Если бы мы сейчас остались на том, на чем нас остановили в «шестидесятых», мы бы и сейчас не двинулись дальше. Вопрос о выжидании «условий» для действия — тот же вопрос о «гарантиях»: дайте нам «условия», а мы дадим вам активность! Ну, а как быть, если «условия» меняются, т. е. когда «приемлемые» условия уходят (а такое в истории «бывает», и нельзя сказать, что отныне этого «не может быть»)? Снова впасть в спячку или видеть утешительные сны наяву? Впрочем, возможно ли на деле такого рода самосохранение, осуществима ли вообще подобная самоконсервация на десятилетия? Не ностальгическая ли это стилизация собственного мышления, его юношеской манеры и соответствующего уровня в духе «ретро», на которое, как и на всякое «ретро», может, конечно, прийти мода и к которому может прийти успех. Но только в этом случае и надо говорить о моде и успехе, а не о «принципах» и «идеях». Я не имею, понятно, здесь в виду тот особый род искусственно задержанной творческой активности, к которому принуждают художника, заставляя его работать «в стол»,— это совсем иной и, по сути, прямо противоположный «случай», поскольку тут даже грубое насилие не в состоянии оборвать творческую активность, хотя и превращает ее в нечто заведомо криминальное. Но внутренняя ирония такой ситуации может заключаться в том, что то самое насилие, которое обращено против творчества, может, в свою очередь, само стать предметом этого творчества и даже до известной степени побуждать к нему.

А в общем-то именно требования всякого рода «гарантий» и предварительных «условий» для страховки собственной деятельности и означают то самоподчинение «обстоятельствам среды и времени», которое на языке социальной психологии и в практически-политической сфере входит в понятие конформности поведения личности. Что ты там по этому поводу ни говори... Кстати, конформизм потому и не знает компромисса, потому и не хочет о нем ведать, что не знает и не ведает равноправного соглашения и принципа паритетности, а знает только подчинение или подчиненность. Третьего ему не дано, третье он воспринимает как уловку, как нечто такое, о чем можно сказать: «это старо, на этом нас не проведешь!» Между тем в перспективе нарастающего многообразия мира будущее за компромиссом, а не за «кто не с нами...» Категория «компромисса», без сомнения, входит в основной понятийный состав нового мышления в ряду его приоритетных методологических составляющих. Никакого плюрализма нет и быть не может без навыка компромиссных решений самых острых проблем и самых глубоких противоречий.

В «Детской болезни...» Ленин, указывая на опасность, которую представляет «левое» влечение — род недуга — к «гордому одиночеству» общественной самоизоляции или попыткам выхода из этой самоизоляции за счет иллюзий и утопий в условиях спада движения и роста попятных тенденций в обществе, приводит, в частности, едва ли не демонстративно «крайний» пример того, на что можно и следует идти, когда не остается «никаких легальных возможностей». Он напоминает об участии членов партии (до 1905 г.) в черносотенных организациях охранника-провокатора Зубатова. Даже так! Только не замыкаться внутри себя, только не уходить в самообман! Непосредственным образом этот урок Ленин адресует тогдашним немецким «левым». Но можно ли оспорить «теперь, когда глядишь назад», что идейно-методологический, нравственный и политический смысл этого урока куда шире!

Лишь «со зла» можно попытаться представить дело таким образом, что, используя ссылку на Ленина, я провожу тут мысль о предпочтительности черносотенства левому максимализму. Совсем не эта тут мысль, а та, что, согласно Ленину, левый максимализм, который после 1905 г. будут исповедовать «отзовисты», скорее даст себя усыпить (даже лет на двадцать), чем согласится «мараться» о какую-нибудь зубатовщину, чтобы в итоге одолеть ее. Речь о том, до каких пределов бывает нужно идти в ситуациях, когда левый максимализм ломит напропалую, уходит в небытие внутренней эмиграции или — к богу. Политика, как и литература, небрезглива. Обе бывают обязаны иметь дело с явлениями, о которых и думать тошно...

Выступая в марте 1918 года на VII съезде РКП(б) по поводу «левой» оппозиции, срывавшей Брестский мир во имя торжества «мировой революции», Ленин вспомнил былых «отзовистов»: «Когда в 1907 году мы... вынуждены были пройти через хлев столыпинской Думы... мы переживали то же самое в маленьком масштабе, по сравнению с теперешним. Тогда люди, принадлежащие к лучшему авангарду революции, говорили: «Мы — гордые революционеры, мы верим в русскую революцию, мы в легальные столыпинские учреждения никогда не пойдем»... Это были очень левые, от которых при первом повороте истории ничего, как от фракции, кроме дыму, не осталось». И далее, обращаясь к злобе дня, Ленин сказал следующее: «Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, а болтун, и не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому, что другой дороги нет, потому что история сложилась не так приятно...»

История, как нам известно, вообще не часто складывается «приятно». И на всяком новом ее витке, когда ее «кривая» вновь идет вниз, обнаруживаются свои «отзовисты» и свой «отзовизм». Но суть этого феномена жесткой обратной зависимости от навязанных условий не меняется. Тут человек спровоцирован заданной моделью поведения. Его немой или буйный протест одинаково общественно невменяемы. Он уже не в состоянии искать альтернативу вне ситуации, в которую «попал», он как бы предусмотрен этой ситуацией и становится ее элементом. Как запой во время «застоя». И потому «отзовизм» в любой его модификации — дурная антитеза смирению. Точнее сказать, он совпадает с ним. Объективно — так. Более того: он даже не в состоянии и представить себя вне той ситуации, сама нетерпимость которой для него теперь только и составляет весь его пафос и все его внутреннее оправдание. В конечном счете он оказывается настолько уже связан с породившей его ситуацией, что предстает заинтересованным в ее сохранении. Хотя бы за счет перенесения своего протеста в сферу условно-религиозной экзальтации или, если угодно, в сферу «нерелигиозного верования» в «принципиальную» неизменность той единственной отправной (или конечной — в данном случае это все равно: было бы за что держаться) «точки», к которой «должны» сходиться или из которой «должны» исходить все пути, когда-то, если вспомним, столь гордо именовавшиеся «дорогами в Рим».

Идея какого бы то ни было плюрализма вообще не годится для этого «древнеримского» взгляда на мир. Ибо, как говорил Грамши, мыслитель-марксист, которого нам в отличие от остальной части просвещенного человечества еще только предстоит открыть, «встать на точку зрения «одной-единственной» линии прогрессивного развития, на которой всякое новшество аккумулируется и становится предпосылкой других достижений, будет серьезной ошибкой: существует не только много линий (путей), но происходят и отступления назад на «наиболее прогрессивном» пути».

Не надо обманываться спокойной интонацией, столь вообще свойственной автору знаменитых «Тюремных тетрадей». Это — предостережение. По отношению к любым ревнителям идеи «одной-единственной» линии.

Что же касается, наконец, экзаменов по литературе, то добавлю, что двадцать лет назад я написал статью для «Нового мира» о тех поразительных «методпособиях», инструкциях и «разработках», по которым и следовало готовить к подобным экзаменам всех вступающих в жизнь. «Школьная эстетика» для служебного пользования оказалась маленьким зеркалом всего огромного закулисного механизма симуляции «творческой активности масс», окошком в этот механизм. Отражение было откровенно безыскусственным — вплоть до поражающих даже притерпевшееся воображение деталей. Литературой натаскивали на счастливую и радостную жизнь по закрытой инструкции и официальной шпаргалке, деловито и очень подробно разъясняя, как приучать человека к «правилам игры» на «всю оставшуюся жизнь». Это была эстетика всеобщего лицемерия, имеющего вид безграничной искренности и полной «самоотдачи».

Статью набрали, но она так и не успела пойти. Твардовский колебался, сомневаясь, что столь откровенно циничные нормативы имеют реальную силу в учебном процессе. Время уходило. А потом уже стало не до того. Я было собрался теперь отыскать старую статью, но бросил. Статья не устарела, устарели сомнения, связанные с ее поразительным в своем роде предметом. А говорить о том, что излишне доказывать,— скучно. Да и дело упирается ныне уже не в преподавание литературы и даже не в отношение к литературе вообще — преподавание и литература сами стали ныне тем «государственным экзаменом», который всем нам дай-то бог сдать до истечения века. Такой экзамен отменить нельзя. Сдадим ли? Гарантий нет.

1988 г.

Татьяна Иванова

НАША БЕДНАЯ ТРУДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПО КАКИМ УЧЕБНИКАМ УЧАТСЯ СТАРШЕКЛАССНИКИ

Толстые литературные журналы редко пишут о преподавании литературы в школе, о школьных учебниках литературы — еще реже. Может быть, все мы просто не до конца осознаем эту связь: школьная литература — уровень читателя — уровень писательства... Может быть, мы недооцениваем степень влияния «школьной литературы» на всю культуру общества...

Если бы люди, считающие литературу делом своей жизни, до конца осознавали эту связь, по достоинству оценивали эту степень влияния, они, наверное, старались бы и как можно полнее изучить ситуацию, и как можно решительнее изменить ее к лучшему. Писатели, литературоведы, историки литературы шли бы, например, в издательство «Просвещение» со своими планами новых учебников, способных пробудить в человеке любовь к книге, к чтению, к литературе. Конкурс на лучший учебник стал бы общим делом, общей заботой. Книги претендующие на высокое звание учебника, обсуждались бы публично, гласно, страстно, вдумчиво, обстоятельно, компетентно...

Но ничего подобного не происходит. Издательству не из чего выбирать. И конкурсы, сколько их ни объявляй, ни в ком не пробуждают азарта. «Литература» не интересуется школьной литературой, и не только не пишет, но и не читает учебников школьной литературы...

Но, может быть, все-таки возьмем их в руки да перелистаем, пусть бегло?

Вместе почитаем о тех, кого любим... Между прочим, многое не мешало бы и вспомнить — и из писательских биографий, и из истории создания замечательных произведений. И вообще, разве может что-то быть лучше, чем читать книги и книги о книгах?

Ну, тащися, Сивка!

«Русская литература. Учебник для восьмого класса средней школы. Утвержден Министерством просвещения РСФСР в качестве стабильного учебника. Под редакцией Н. И. Громова. Издание двенадцатое, доработанное».

Прочитав на первых же страницах: «курс литературы VIII класса интересен, но сложен», я сразу вспомнила методические пособия для учителей литературы (несколько лет назад я писала о них). Там тоже: «Пушкин труден для восприятия», «Толстой труден для восприятия», «Некрасов труден для восприятия»... Плохо это, когда на первой странице учебника вам сообщают, что предмет труден, сложен. Причем сообщают о самом прекрасном на свете предмете — литературе.

Читаю далее: «В книге вы встретитесь с важнейшими сведениями по теории литературы. Их нужно прочно усвоить». Хорошо, зачем? «Это поможет вам понять общие свойства художественной литературы как искусства слова, закономерности, связанные с развитием литературных родов и видов, литературных направлений». Двадцать лет назад закончив Московский университет и профессионально занимаясь литературным трудом, я и сейчас не понимаю «общих свойств художественной литературы как искусства слова». Ну, право, что это может быть — «общие свойства художественной литературы как искусства слова»? Общие — с чем? Для разных литературных произведений общие? Хорошо, если я и пойму, что это за «общие свойства», что прибавится в знаниях?..

Зачем в восьмом классе необходимо понять «закономерности, связанные с развитием литературных родов и видов»?

Для чего с первого урока в восьмом классе нужно пугать четырнадцати-пятнадцатилетнего подростка таким вот призраком науки и жуткой скуки? И это вместо вдохновенного слова о Пушкине, Лермонтове, Грибоедове, Гоголе, Герцене — великих соотечественниках, о пророках и провидцах, о наших славных современниках...

«Литературные произведения, созданные в отдаленные эпохи,— пугает далее учебник,— требуют к себе внимания, напряженной умственной работы. Нужно затратить немало труда, чтобы их содержание стало понятным и близким»... А зачем? Зачем мы станем тратить «немало труда» на такие книжки? Мы же видим, как люди читают и оторваться не могут — наверное, они читают что-то другое... «Идейное богатство, эстетические ценности классической русской ли-

тературы становятся достоянием такого человека,— продолжает наставлять восьмиклассника учебник,— который упорным, систематическим трудом подготовил себя к чтению художественных произведений».

Такое предисловие, допускаю, было бы правомерно в учебнике русской классической литературы для маленьких китайцев. Или, скажем, англичан. Или французов... А ведь этот написан для родных детей. Родных!.. Для них в этих книгах должно быть все понятным. Каким «упорным... трудом» нужно нашему юному соотечественнику себя подготавливать к чтению Пушкина?

Нужно всего лишь, чтобы дома стоял на книжной полке Пушкин. Нужно, чтобы ты выучил буквы, а учиться читать можно и по Пушкину. Читай — и радуйся, и плачь, и умней, и гордись. Читай — и расти.

Очевидно, надо бы, когда берешься за создание учебника, постоянно представлять себе своего собственного сына или дочь. С родными детьми на таком языке не говорят: «Будущий писатель с ранних лет наблюдал быт и нравы московского дворянства». (Это о Грибоедове. Впрочем, о многих других — то же и теми же словами.) Если нужно объяснять, почему с родными детьми так не говорят, объясню. Не говорят, боясь насмешки, скуки в детских глазах, потери доверия и уважения.

Попробуйте сказать собственному ребенку: «Пушкин отчетливо сознавал жанровое своеобразие своего произведения»... Попробуйте, не ребенку — другу, взрослому другу. Сослуживцу. Мысль странна и высказана такими чужими Пушкину, такими убогими для нормального уха словами. Проверьте ну хоть собственную реакцию еще на одной фразе: «Пушкин правдиво изображает ту среду, в которой живут главные герои его романа». Или вот на этой: «Типичность характеров и обстоятельств предполагает особое внимание к правдивой мотивировке переживаний героев, деталей произведений и т. п. Так, например, письмо Татьяны к Онегину вряд ли могло быть написано стихами. Мотивировка самого появления письма идет как от лица Татьяны, так и от лица автора».

«Мотивировка самого появления письма»... И это — о Пушкине!..

«Жизнь Лермонтова сложилась так, что он вынужден был общаться с людьми великосветского общества». Бедный!.. А текст узнаете? Вот так про каждого нашего писателя, вынужденного родиться не там, где почли бы за счастье родиться сами авторы школьных учебников.

«Можно сказать, что собирательный образ родины — это и есть главное в «Мертвых душах». Тот, кто написал эти строки, не слышит даже опасной близости слов «образ родины» и «мертвые души». Филологи!.. В «Мертвых душах» главное не Чичиков, не Плюшкин, не Коробочка, не мертвые души. Главное — собирательный образ родины... Из Плюшкина и Коробочки собранный?

На семинаре в университете, помню, наш профессор академическим тоном спросил аудиторию: «Итак, друзья, кто же, по-вашему, главный герой романа Льва Толстого «Анна Каренина»? Я ответила тихо, с места: «Анна Каренина». Профессор (оживленно, потирая руки, с насмешкой, предвкушая, как сейчас разделается с неразумной студенткой, как потрясет ее откровением и посрамит ее наивность): «Это вы, милое созданье, сказали? Хотите ли знать, кто на самом деле герой этого великого романа? Знайте же: главный герой романа Льва Толстого «Анна Каренина» — труд!»

Как читают ученые люди? Как им удается так «перевернуть» в своих головах прекрасное творение, что в «Анне Карениной» главным героем становится труд? Какое отношение их странное восприятие имеет к нормальному человеческому, к восхищению, надежде, любви, утешению, которые читатель всегда находил, будет находить в дивных русских книгах?..

В восьмом классе ребята изучают три этапа освободительного движения в России — именно на уроках литературы и с помощью русских классиков. Изучается, собственно, не литература. Не любовь к слову прививается. Не внушается мысль, что с чтением, со своими родными классиками ты будешь в жизни куда счастливее, чем без них. Изучаются именно, только и в первую очередь три этапа — а литературные произведения, как и биографии писателей (вынужденных родиться в состоятельных семьях и поневоле принужденных наблюдать вблизи нравы эксплуататоров и эксплуатируемых), служат иллюстрацией к этим трем этапам.

Этапы действительно были. Изучать их, конечно же, надо. Но сводить к ним содержание всех романов, стихов, повестей и рассказов, все писательские судьбы, человеческие жизни, каждая из которых по-своему трагична и по-разному счастлива,— занятие неплодотворное, а потому скучное и бесполезное.

Не это ли делает учебник по литературе для восьмого класса таким унылым? Да и написан он казенным, избыточно идеологизированным, пресным языком.

Учебник невмоготу читать, и я закрываю его без сожаления. Надеясь на более светлые впечатления, придвигаю к себе другой, для девятого класса.

Издание пятнадцатое...

«М. Г. Качурин, Д. К. Мотольская. Русская литература. Учебник для 9-го класса средней школы. Утвержден Министерством просвещения РСФСР. Издание 15-е, доработанное».

В самом начале есть такие строки: «Изучается литература второго периода русского освободительного движения». Заметьте, опять изучается не литература, а литература второго периода...

Я пыталась понять, почему с большим удовольствием читала эту книгу, чем

предыдущую. И пришла к такому выводу: здесь много цитат. Вот Герцен: «Литература у народа, лишенного общественной свободы,— единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». А вот Салтыков-Щедрин: «Только доведенная до героизма мысль может породить героизм в действии». То у Чехова — просто, как только у него и может быть: «Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! Просто хоть караул кричи... Это черт знает как сделано. Просто гениально». То вновь Салтыков-Щедрин: «Я давно не был так потрясен, но чем именно — не могу дать себе отчет». (О «Дворянском гнезде»)...

И дальше снова Салтыков-Щедрин: «Да и что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора?»

Как просто! Великие бывают беспомощны перед великим. Великие поражаются, восхищаются, любят, но никогда не решаются разнимать произведение на составные части, извлекать из него одну какую-то мысль, идею, давать произведению однозначную оценку.

«В романах великого писателя отразились основные этапы современного ему общественного движения». Это, как легко догадаться, уже не Чехов и не Салтыков-Щедрин. Это авторы учебника. В каком же романе, хочется знать, «отразились основные этапы?» Оказывается, в «Отцах и детях»...

После прекрасных слов «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется» напечатано задание. «Составьте на основе раздела план сообщения на тему «Своеобразие Тургенева-романиста». По плану подберите из романа «Отцы и дети» и других произведений писателя материал для сообщения. Чем можно объяснить пристрастие Тургенева к жанру романа? Какие возможности этот жанр открывал для писателя?»

Конечно, свои секреты у каждого ремесла. Но не может же быть, чтобы ремесло методистов вовсе не поддавалось гуманитарному осмыслению. Мне понятно, что должен испытать ученик, прочитав слова Салтыкова-Щедрина «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется». Скорее всего он обрадуется тому, что Салтыков-Щедрин помог ему выразить в какой-то степени и его собственные ощущения. Ему, ученику, наверное, ведь тоже было хорошо, когда он читал «Отцов и детей». И жить после этой грустной книжки становится будто тоже лучше. Но почему, что за причина? Ученик не знает...

Мне же никак не взять в толк, что даст девятикласснику, например, умственное усилие, которое он затратит для ответа на вопрос: «Чем можно объяснить пристрастие Тургенева к жанру романа?»

Чему могут научить трудные и неинтересные вопросы? Умению восхищаться великим? Или умению рассуждать на заданную тему, не испытывая никаких чувств?

Какая тоска про современнейшего из современных, про Салтыкова-Щедрина! Да одно задание «Приведите примеры гротеска...» способно убить к писателю всяческий интерес.

Если бы учитель раскрыл перед классом секрет: город Глупов, оказывается, существует и ныне... Если бы учитель рассказал, что, читая «Дневник провинциала в Петербурге», ловишь себя на мысли: не вчера ли написана книга, не про нас ли?.. Если бы учитель попросил выписать из Салтыкова-Щедрина найденные самими учениками страницы, ни на секунду не устаревшие сегодня в сравнении с временем написания,— тогда слова «великий сатирик», пожалуй, наполнились бы иным смыслом.

Теперь откроем учебник для десятого класса. «Русская советская литература. Под редакцией профессора В. А. Ковалева. Утвержден Министерством просвещения РСФСР в качестве стабильного учебника. Издание седьмое».

К вопросу об «...измученности Левинсона»

Признаюсь, эта книга поразила меня более чем те, что предназначены для изучения в 8-м — 9-м. Вот слова из вступительного обращения к десятиклассникам: «Особое внимание советуем обратить на задания, ориентирующие вас на коллективную работу... Совместное обсуждение произведений, выработка коллективного мнения об актуальных явлениях художественной жизни послужат вам надежным ориентиром в оценке новых современных произведений литературы и искусства».

Вот такой метод. Коллективно оцениваем книгу. Вырабатываем общую точку зрения. О б щ у ю — на произведение искусства? Чтобы, видимо, впоследствии сказать: «А мы всем классом обсудили этот роман и пришли к выводу, что он недостаточно художественный»...

Что, в десятом классе именно с помощью уроков литературы мы решили крепить коллективистские начала?

Что же это за чудо такое — коллективное мнение о художественном произведении? Для чего его «вырабатывать»?

Понимаю, одному человеку не решить кроссвордов, загаданных учебником чуть ли не на каждой странице. Призываю, вдумываясь, прочесть такой вот, например, отрывок: «В творчестве Горького изменилось само изображение характера человека. Он продолжал традицию классиков, раскрывавших в своих произведениях социальную обусловленность психологии, внутреннего мира людей («Обломов» и др.). Но, овладевая одним из величайших завоеваний реализма — психологизмом, Горький внес нечто новое в его социальное обоснование. Художник-марксист обратил особое внимание на классовую сущность изображаемых характеров. В его творчестве многообраз-

но подчеркнута классовая обусловленность психологии людей, которая проявлялась в их мышлении, нравственных представлениях, поведении и порой в речи».

Вряд ли кто-то будет в состоянии пересказать прочитанное своими словами. Но попытаться можно... Значит, классики раскрывали, бывало, в своих произведениях социальную обусловленность психологии. То есть они объясняли в своих романах, повестях и поэмах, что тот или иной человек поступает так или иначе потому, что принадлежит к тому или иному общественному слою. И это был психологизм. Горький им овладел. Но классиков превзошел. Они исходили из принадлежности человека к определенному социальному слою. А он исходил из принадлежности героев к определенному классу. И принадлежность к определенному классу (а не к определенному слою, как его предшественники) в его произведениях показана и в поступках, и в образе мыслей героев, и даже в их речи...

Вот, с божьей помощью, кажется, пересказали! Только неясно, зачем трудились, зачем в это вникали, обдумывали? Чтобы констатировать, что Горький лучше классиков-предшественников? Кто-нибудь вообще в состоянии уловить «тонкость» — отличить принадлежность к различным социальным группам и слоям от принадлежности к различным классам? И кто-нибудь в состоянии поверить, что Горький пошел в своем психологизме дальше Толстого, дальше Достоевского? Даже если будет выработано коллективное мнение?..

Вот глава о советской литературе двадцатых годов. Серафимович, Фурманов, Бедный, Фадеев... Поэзия: несколько абзацев посвящено Брюсову, шесть строк — Блоку, затем Казин, Бедный, Маяковский, Есенин, Безыменский, Жаров, Багрицкий, четыре строчки (в скобках) про Пастернака и Ахматову... Затем Тихонов... «Железный поток», «Цемент», «Чапаев» — по главке. Много про Тренева, про «Любовь Яровую»... Очень много про «Разгром» Фадеева... «Картина солнечного осеннего дня контрастно подчеркивает измученность Левинсона и его отряда»... «Изобразительные средства романа отличаются живописной конкретностью»... «Высокая идейность замысла и совершенство его художественного воплощения, талантливое раскрытие процесса становления нового человека в революции, покоряющая жизненная правдивость картин и образов, воссоздающих героизм народа и партии в гражданской войне, изображение революционной действительности в свете социалистического идеала — все эти особенности характеризуют «Разгром» как одно из первых выдающихся произведений литературы социалистического реализма и объясняют его большое значение в истории советской литературы».

Выпишем из последней фразы все существительные: идейность, замысел, совершенство, воплощение, раскрытие, процесс, становление, человек, революция, правдивость, картины, образы, героизм, народ, партия, война, изображение, действительность, свет, идеал, особенности, произведение, литература, реализм, значение, история, литература. Слов много. Много слов из высокого ряда. Пять подлежащих — сложных с разнообразными дополнениями! И всего два глагола. Всего два сказуемых на такое многострочное, такое усложненное предложение! Вялые глаголы, чуть тепленькие — «характеризуют» и «объясняют».

Неужели трудно понять, что текст этот ни один человек не станет дочитывать до конца. Его ведь осилить невозможно. Заглянет ученик в начало эдакой немыслимой конструкции, заглянет в конец — в лучшем случае.

Странное представление о тридцатых годах получают наши повзрослевшие десятиклассники. И, конечно, о литературе тридцатых годов в том числе. Стабильный учебник продолжает и ныне, на четвертом году перестройки, втолковывать детям, будто все в стране шло правильно, по заранее намеченному плану, шаг наш был неуклонно победным, улыбки неизменно цвели на лицах... Но тогда к чему сегодняшние преобразования, зачем революционное обновление общества? — законно спросят у нас взрослые дети,— жили бы мы, как жили, и творили бы свои дела, как привыкли...

Каковы могут быть последствия такого воспитания? Научимся ли мы когда-нибудь отдавать себе отчет, что фраза «дети — наше будущее» не просто привычное словосочетание, произносимое по праздникам.

Если школа сегодня готовит сознательных участников революционного преобразования общества, она обязана преподавать литературу иначе, чем преподавала. Учебники литературы, выдержавшие по семь, десять, пятнадцать изданий, не мешали нам растить детей застоя... Может быть, сдадим их в архив?

Переиздавать же, например, учебник для десятого класса только затем, чтобы изъять фразу «значительным событием в политической и культурной жизни нашей страны стал выход в свет книг Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Леонида Ильича Брежнева»,— переиздавать еще и еще раз, вычеркнув только эту или какую-то иную фразу, право не стоит.

Честно говоря, я вообще перестала бы их переиздавать. И в конкурсы на лучший учебник верю так же мало, как давно убедившиеся в их бесплодии работники издательства «Просвещение». Ну, не идут эти конкурсы, что делать, не идут...

Путь, который я хочу предложить, пока не предлагался. Может быть, он покажется странным. Или слишком про-

стым... Слишком простым, это скорее всего. Изредка в деликатной, а чаще в резкой, насмешливой форме я слышу упреки в излишней простоте — по разным поводам.

Но мне кажется, что мы движемся вперед медленнее, чем могли бы, именно и в первую очередь потому, что отметаем простые пути, презираем простые решения... Вообще боимся всякой простоты... Вот почитайте:

Есть учебники!

Великие и знаменитые во все времена ломали и ломают копья вокруг произведений классики. О книгах, изучаемых нынче в школе, создана целая литература, и, если ее выстроить на книжных полках, она займет, пожалуй, немалый библиотечный зал.

Ситуация же такова, что авторы школьных учебников для 8—10 классов известны у нас лишь узкому профессиональному кругу. Мудрее ли они великих и знаменитых? А ведь берут на себя непосильную и странную задачу — все итожить, всех толковать: Писарев ошибался, Белинский не додумывал, а о нашем современнике, скажем, А. Бочарове и говорить не приходится... Но сами они непогрешимы, не ошибаются, не сомневаются, копья не ломают. Им все, оказывается, внятно, все ведомо. Лучше, чем Белинскому, точнее, чем Писареву.

Мне кажется, что положение у авторов учебников какое-то ложное, тяжелое, иногда даже смешное. И не они, очевидно, в этом повинны,— виноваты мы сами, в такое положение их поставившие. Чехов говорил: романом восхищен, а почему, не умею объяснить. Салтыков-Щедрин толковать не брался. Вспомните: сколько людей — и каких! — писали о Достоевском, ошибаясь, мучаясь, иногда испытывая счастье от озарения, открытия, замирая перед загадочными глубинами гениальных текстов. А мы просим авторов школьных учебников все «открыть», все объяснить, все растолковать. Задача, думаю, попросту невыполнимая. И, может быть, пора уже в этом признаться?

Мне-то кажется, что у школьного учебника должны быть не авторы, а составители. Прислушиваясь к мнениям, высказываниям компетентных людей (Совет Мудрейших?), они должны *составлять* учебник по хрестоматийному принципу. Как бы выглядел, скажем, раздел о Пушкине и его произведениях? Что если включить в него статьи Белинского и Писарева, Ю. Тынянова и Д. Благого, В. Вересаева... Пусть не целиком, пусть отрывки из статей... Совсем недавно вышла книга о Пушкине, написанная Николаем Скатовым; читая ее, я все время думала: просто, понятно, интересно, умно написано, вот такое бы в школьный учебник.

Ведь и у великих и знаменитых можно взять по две-три страницы, у одного — об одном произведении, у другого — о другом, у третьего — о судьбе писателя. Может быть, в эту будущую хрестоматию нужно и даже необходимо включить, скажем, две статьи, по-разному оценивающие одно произведение? Ведь если ученик, «освоив» две точки зрения, сумеет высказать собственную, третью,— мы можем поздравить друг друга с самым большим успехом, на какой только могли рассчитывать. Почему, например, не познакомить ребят на уроке о Чехове с работами А. Чудакова. А как неожиданно великолепно прозвучали бы на другом уроке фрагменты из книги В. Ходасевича о Г. Р. Державине?..

В трудах самых талантливых, самых читаемых сегодня литературных критиков можно найти статьи и о русских и советских классиках, и статьи обзорного характера, написанные современно, смело, раскованно, дельно, легко.

Есть еще и такой путь. Думаю, можно составить учебник литературы, внимательно изучив журнал «Вопросы литературы». И такой учебник, уверена, был бы интересен как школьникам, так и взрослым.

Наверное, для каждого класса неплохо бы иметь два-три варианта учебника. Один может быть «написан» от начала до конца Дмитрием Сергеевичем Лихачевым (тут работа, очевидно, для умного составителя — ведь по трудам академика можно создать не только школьные, но и университетские курсы литературы). Второй, допустим, составится из фрагментов статей. Третий будет специально написан уважаемым писателем-современником...

Недавно я прочла сборник прозы Вячеслава Пьецуха «Веселые времена», выпущенный издательством «Московский рабочий»,— имя это запомнилось после нескольких публикаций в «Огоньке» и «Новом мире». Талантливые рассказы. Последний раздел — о Белинском, Островском, Чехове, Бабеле — особо привлек внимание. И будь я педагогом, не только не советовала бы ребятам изучать в их теперешнем учебнике главу о Белинском, а просто-напросто запретила бы ее даже читать: «В начале 40-х годов произошел перелом в мировоззрении Белинского... Исключительное влияние на мировоззрение Белинского оказала реалистическая литература» и т. д. и т. п. Разве можно допустить, чтобы о таком выдающемся, талантливом человеке писалось столь бесцветно и серо?

А вот книжку Пьецуха я бы моим школьникам рекомендовала. Или читала бы ее в классе, вот этот, скажем, отрывок: «Он основал литературную критику, как основывают религии, государства... Вот уже 150 лет, как нам, в сущности, нечего добавить к его наследству, кроме кое-каких вариаций и мелочей, ибо нет такого коренного литературного вопроса, на который Белинский не дал бы исчерпывающего ответа, который он не решил бы на неопределенно продол-

жительное время, можно сказать, навек».

Сам, кстати, в недавнем прошлом учитель, В. Пьецух трактует Белинского как автора необыкновенно тонких, художественно смелых, а главное неожиданно веселых произведений. «Нужно быть не только мужественным, но и довольно беспечным человеком,— пишет он,— чтобы свергнуть «огромный авторитет» Марлинского или Владимира Бенедиктова, по которым в начале прошлого столетия сходила с ума вся читающая Россия».

Каким же был, по мнению Пьецуха, Виссарион Григорьевич Белинский? Непрактичным провидцем, потому что предсказал «нашей отчизне, что она скорее и радикальнее всех покончит с социальной несправедливостью». Обладал «бедовым художественным чутьем», потому что, знаете, как говорил о Тургеневе? Говорил «то, с чем и сегодня редко кто согласится, а именно, что у него «чисто творческого таланта или нет — или очень мало», а в прозе Гоголя угадал «эстетическую революцию, в то время как многие серьезные люди считали его просто веселым клеветником»... И при этом именно Белинский объяснил, что «Гоголь революционер».

Мне легко представить себе, с каким вниманием ребята слушали бы и такой отрывок из рассказа Пьецуха о Белинском (хотя этот отрывок вовсе и не о Белинском).

— Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена,— говорил Полевой,— а ведь эти романы галиматья-с.

— Да кто же вас заставляет хвалить их? — удивлялся Панаев.

— Нельзя-с, помилуйте, ведь он частный пристав.

— Что ж такое? Что вам за дело до этого?

— Как что за дело-с! Разбери я его как следует,— он, пожалуй, подкинет мне в сарай какую-нибудь вещь да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!..

Представьте себе, на сколько вопросов можно ответить, прочитав даже эти несколько строк: тут и история, и быт, и нравы России. Тут и об истории русской литературы и журналистики, и о становлении русской эстетики, и о состоянии критики можно нарисовать ее полную картину; кстати дан блестящий повод потолковать о причинах отрицательного отношения к критике некоторых сегодняшних писателей и о том, почему с таким трудом у нас создается правовое государство. А самое главное, при всем при этом мы не уйдем от разговора о Белинском — цели этого урока литературы.

Вот какой разговор может состояться после чтения истинно литературного текста. И напротив, из прочтения о «влиянии мировоззрения на развитие и становление» невозможно извлечь никакого урока.

Изучая же творчество А. Н. Островского, на уроке, может быть, читали бы того же Пьецуха, и на этот счет есть прелюбопытнейшие места в его книге. Что знают о жизни и судьбе великого драматурга наши школьники? Для них Островский — это «Гроза», а «Гроза» — это «Луч света в темном царстве»... Мы столько лет талдычим одно и то же одними и теми же словами, что им, нынешним, и их родителям, тоже недавним ученикам, да боюсь, что уже и их бабушкам с дедушками, ученикам тоже не слишком давним,— за редчайшими исключениями в голову не приходит читать сочинения Островского, раскрывать его томик перед сном. Островского нашим школьным преподаванием мы просто-напросто убили. Как насмерть убили и Некрасова («певец рабства и тоски» — вот все, что остается в голове учеников на всю жизнь от изучения творчества гениального поэта. А ведь мы лишаем юных соотечественников общения с гением, отлучаем от гения, и нет нам за это прощения).

Пьецух расскажет, как травили Островского критики того дикого племени, которое считало, что «Иван Выжигин» выше «Евгения Онегина». Что ни один критик дикого племени не подвергал его при этом таким разносам, как Писарев и Белинский. Что далеко не всегда понимали его и те, «чьи имена составляют гордость и славу русской литературы», например, Тургенев, Достоевский... «А между тем общественное мнение, вопреки всем претензиям и нападкам, уже признало Островского первым драматическим писателем России», и имя его было «так же популярно в Москве, как имя папы — в Риме».

Эх, не разбирать бы в этих новых учебниках «образы», не произносить бы вслух неприличных слов о Наташе Ростовой: «Духовная красота Наташи проявляется и в ее отношении к родной природе... Выражение глаз Наташи бесконечно разнообразно... Улыбка Наташи раскрывает богатый мир разнообразных чувств...» (Приглашаю своих читателей восхититься тонкостью наблюдений учебника: в отличие от Наташи, Элен не меняет выражений на своем лице, и мы «все яснее понимаем, что это — маска, скрывающая душевную пустоту, глупость и безнравственность... Глаз Элен Толстой не рисует, вероятно, потому что они не светятся мыслью и чувством».)

Интересно, предполагают ли авторы учебника, что по прошествии курса обучения школьники окажутся в состоянии подняться до обобщений: люди с богатой мимикой — молодцы со всех сторон, а те, кто «не меняет выражений на своем лице», доброго слова не стоят?

Ладно, образы, которые изучаются в восьмом и девятом классах, все-таки не дают учебникам полностью перейти на управленческо-канцелярское наречие. Иное дело — в десятом. «Чудовищные преступления, совершенные Островновым, все же не в силах стереть в памяти

момент, когда он однажды невольно испытал увлечение работой в колхозе». Какова логика фразы?.. Вслушаемся еще в одну характеристику: «Смел и в то же время по-человечески тактичен Ипполит Шалый в своей критике Давыдова за упущения в работе председателя (это о литературе, о литературе речь, речь о романе Шолохова! — **Т. И.**), непримирим в разоблачении затаившегося врага — Островнова. В облике этого работящего и честного человека с необыкновенной полнотой воплотились лучшие черты народа-труженика» (видимо, вопреки стилистике, надо понимать, что в Шалом они воплотились с необыкновенной полнотой; не в Островном же... а может, в Давыдове? — **Т. И.**).

Образ Шалого учебник трактует таким манером, что иронизировать, смеяться над его трактовкой даже нет надобности. Достаточно цитировать, и уже будет смешно. Если вам кажется, что мое заявление необоснователько, пожалуйста, почитайте сами: «В суждениях Шалого о жизни и людях отразилась мудрость народа, добытая и выстраданная в нелегких обстоятельствах историчесиого пути. (Полагаю, терпеливый ученик приготовился воспринять примеры мудрости, выстраданной в обстоятельствах пути. Но напрасно. На той же строке, где закончился пассаж о мудрости, начинается иной — о юморе.— **Т. И.**). Юмор его мягкий, когда он говорит о проказах сиротинки Ванятки, в нем сверкает искра гнева и презрения, когда старый кузнец вспоминает о своем постояльце — служилом человеке, который проявлял спесь и высокомерие перед простыми людьми: «Рассерчал я на него окончательно и говорю: «Гнида ты вонючая, а не культурный человек! Ежели ты культурный, так жри на том, на чем тебе подают...»

Все ли помнят, что мы читаем учебник литературы? Есть ли среди нас люди с воображением, достаточным, чтобы представить себе подростка, читающего такой текст? Если ученик сообразительный, то, может быть, он с первого взгляда ухватит смысл стилистической конструкции — сложносочиненной, с четырьмя подчиненными, с сослагательным наклонением и прямой речью.

Но вот наш бедный ученик во всем наконец разобрался, не с первого, так со второго, третьего прочтения. Осталось ему только освоиться с мыслью, что идиома «гнида ты вонючая» есть не что иное, как «искра гнева и презрения», сверкающая в мягком юморе Шалого...

В девятом классе из всего Островского «проходят» только «Грозу». Причем учебник предлагает использовать великого драматурга, чтобы преподать ребятам не то урок старинной нравственности, не то урок этнографии, не то урок борьбы за эмансипацию женщины. Драма «Гроза» — слов нет — произведение великое, но это всего лишь одна из многочисленных и очень непохожих одна на другую пьес Островского. Представьте, что из всего Пушкина мы бы во всех подробностях изучали в школе, например, только сказку «О попе и его работнике Балде». Или, скажем, одного «Станционного смотрителя». А из Чехова — «Вишневый сад» или «Спать хочется». И более ничего... Правомерен был бы такой выбор?

Недавно дала я знакомой учительнице тоненькую книжку в бедной желтенькой обложке, изданную в 1981 году Верхне-Волжским книжным издательством в Ярославле. Игорь Дедков. «Во все концы дорога далека. Литературно-критические очерки и статьи». Там дивный очерк об Островском, о Щелыкове, о русской литературе и культуре, и написан он столь необычно, нестандартно, что, думаю, с удовольствием и пользой для себя прочтет его учительница, прочтут и ученики.

Не помню, чтобы очерк этот «Пейзаж...» публиковался где-то еще. Так, видно, под желтой обложкой в пяти тысячах экземпляров и остался. Будущим составителям учебника, полагаю, надо непременно иметь его в виду.

«В Кинешме, на высоком берегу тоже «общественный сад», по-нынешнему сквер: липы, дорожки, клумбы, чугунная решетка и прекрасный вид на Волгу. Однажды летом, когда все казалось пропыленным, вялым и скучным и страждущие глухо шумели внизу, у столовой, и вокзально слонялся народ, и поскрипывала деревянная лестница на откосе, и лишь волжские воды были ободряюще-энергичными и какими-то мускулистыми,— так вот, однажды представилась мне там Лариса Дмитриевна Огудалова... Представилось, как спускалась она по этой лестнице к реке, к лодочным причалам, не оглядываясь, решившись, все понимая... Погибать шла. А внизу, среди пристанской рвани и толчеи, запоздало метался Юлий Капитонович Карандышев, одинокий, беспомощный, словно отброшенный небрежным паратовским щелчком. Хуже нет, когда мало что оставлено человеку, кроме подчинения чужой воле, чужой силе и чужому капризу. Как ни называй эту чужую волю и силу, ничего не переменится; женщину ли любимую сманивают, отнимают, или еще что другое, гадкое, беспардонное творят,— есть во всяком насилии отчаянная нестерпимость, и не может долго сносить его человек... Так оно и было,— подумал я,— в ту светлую летнюю ночь... И взгляд мой невольно отыскивал на том веселом, зеленом берегу место, где пристала роскошная, должно быть, лодка с компанией неотразимого Паратова. А кофейная,— думал я,— была где-нибудь здесь, может быть, тут, где я стою, и Лариса Дмитриевна устала, поднявшись в гору, и присела у столика перевести дух. Она еще не знала, что жизнь уже кончена».

Даже переписать собственной рукой такой текст — удовольствие. Разве можно сравнить его с таким, например: «Обличение самодурства в пьесах Островского воспринималось передовыми читателями и зрителями как обличение общественного строя, где царят деспотизм, произвол, социальный гнет. Драматург показывает, что самодурство основано всегда на имущественном неравенстве. Богатство самодуров, материальная зависимость окружающих от них позволяют толстосумам насиловать чужую волю, «чудить», делать, что им хочется».

Приведя отрывки из книг И. Дедкова и В. Пьецуха, я хотела сказать, что учебники литературы у нас есть. И прекрасные. Главное — ничего не надо изобретать. Надо их только разыскать, увидеть в книгах, в потоке периодики, отобрать, сгруппировать — и выпустить в свет.

Уверена: учебник, составленный из лучших критических и литературоведческих статей, станет любимой книгой у читателей, а не только у школьников и учителей.

...Придет срок, и будущие историки, чтобы понять нас, наше время, состояние нашей общественной мысли, нашу нравственность, нашу эстетику, мотивы наших поступков и непоступков, возьмут в руки и учебники литературы для старших классов. Они перелистают издание восьмое, десятое, пятнадцатое... И не смогут не увидеть, как плохо нас учили, как нам и тем, кто учился до нас, забивали голову не просто казенными, скучными, а прямо антигуманитарными текстами. Они поймут, они не смогут не понять, вопреки каким мощным воздействиям все-таки иногда пробивалась в нас интеллигентность. И, может быть, хоть что-то нам простят.

В мире журналов и книг

Пред лицом общей тревоги

Сегодня документы действуют на читателей посильнее иных выдумок. Повесть Юрия Щербака «Чернобыль», где сделана попытка понять и осмыслить случившееся, родилась из авторских записей и репортажей с места событий. Она стала выразительным документом изменяющегося времени.

Писатель — а с недавнего времени и секретарь правления украинского писательского Союза — Ю. Щербак и ученый не из последних, доктор наук, эпидемиолог. В Чернобыль его привел и писательский и врачебный долг. В работе над повестью помог и его опыт кинематографиста, автора сценариев нескольких фильмов: он мыслит напряженным зрительным рядом, умеет видеть и не просто пересказать, а изобразить увиденное как бы зафиксированнным на кинопленке.

Фильмы о чернобыльской катастрофе прошли по экранам. Мы вглядывались в лица переживших Взрыв, ужасались нашей тогдашней беззаботности, возмущались поведением властей, выводивших первомайские колонны на демонстрацию, санкционировавших народные гулянья в самые опасные дни бедствия на Чернобыльской атомной. В то время, когда американцы сообщали, что их спутник зафиксировал горящий реактор, поблизости от него мальчишки играли в футбол. Пленка запечатлела лица людей, до последнего не веривших в катастрофу, не согласных примириться с ее последствиями, отказывающихся принимать саму мысль, что при социализме может случиться подобное. А вот лица дезинформаторов, скрывавших от народа трагизм последствий аварии, в кино пока демонстрируются не столь часто; в повести Ю. Щербак решается показать и их. Конечно, будут еще фильмы о Чернобыле, будут романы и повести — жаль, если среди них окажутся возносящие событие на изящный уровень того, что зовется реализмом поэтическим, романтично художественным, но боюсь, что будут... А пока — время свидетельских показаний; одно из самых убедительных и сильных свидетельств, бесспорно, — «Чернобыль» Ю. Щербака.

Автор многократно бывал там, в пораженной зоне; он обладал немалым профессиональным опытом и знаниями для осмысления эпидемических катастроф, для исследования психологии пострадавших. Но здесь все «пределы допустимого» были превышены: «событие планетарного масштаба», по выражению ныне покойного академика В. Легасова, оказалось беспрецедентным, искать аналогии было бессмысленно. Разве что — с войной. «Чернобыль» больше всего и напоминает фронтовые хроники, бесценные записи военных корреспондентов. Чтобы написать т а к о случившемся, надо было не только понять и осмыслить трагедию, но и разделить со всеми опасность. В этом смысле произведение Ю. Щербака не только литературное событие, но поступок, что принципиально важно.

Объект авторского исследования точно вписан в пространство и время; чернобыльский взрыв произошел в центре Европы, интенсивно мыслящей сегодня о своем единстве, ищущей пути в будущее. Вспышка этого взрыва высветила многое.

Наша страна неоднократно предлагала приравнять нападение на атомные электростанции к военным преступлениям: посягнувший на атомный реактор, по сути, подвергает окружающий мир опасности, равной Хиросиме. Я слышал эти слова в зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН и помню: тогда словно образ некоего зловещего маньяка угрожающе навис над нами — того, кто, взрывая реактор, посмел бы посягнуть на здоровье и жизнь людей, на существование самого человечества. Вспомним: во всем мире количество реакторов, включенных в энергосистемы, огромно (более четырехсот) и все увеличивается, их мощность растет. В Европе есть целые регионы, где АЭС как источники тепла и света безальтернативны — их нечем заменить. Не случайно даже после чернобыльской катастрофы во Франции не спешили метать громы и молнии, осуждая изначальную опасность АЭС. Всем нам стоит задуматься над тем, насколько

Юрий Щербак. Чернобыль. Документальная повесть. Юность, №№ 6, 7, 1987; №№ 9, 10, 1988.

мы тесно соседствуем друг с другом во всеевропейском и всечеловеческом доме, насколько необходима гласность и единые критерии в разговоре о том, как мы проектируем, строим и эксплуатируем ядерные электростанции. Допустима ли здесь безответственность? Посему то, что зовется «человеческим фактором», обретает непреходящую значимость.

Исследуя чернобыльскую катастрофу, Ю. Щербак подчеркивает, что важность таких факторов, не всегда учитываемых в первую очередь, как принципиальность, честность, ответственность, смелость, — неоспорима, что сокрытие и умолчание ныне (и хочется верить навсегда) не входит в основополагающие ценности нашей идеологии. И когда руководители «на местах» по старой привычке замалчивают беды, они этим отнюдь не угождают «центру». «Революция сверху» имеет свои правила, в повести недаром замечено, что «... в Москве быстрее, чем в столице Украины, осознали, что в Чернобыле происходит что-то очень тревожное». Впрочем, вскоре утаивать что бы то ни было стало и невозможно. Два параллельных процесса — осмысление беды и преодоление беды — захватили всех.

Один из важнейших и жестоких уроков чернобыльской трагедии заключается в начальственной безответственности, в присвоении себе тем или иным руководителем самодержавного права решать «за сирых сих», подвергать опасности многие человеческие жизни — и все ради сохранения бодряческого выражения на лицах неинформированных сограждан. Почему первыми заговорили о случившейся ядерной катастрофе не мы, а шведы? Как могли быть допущены народные гулянья на мощном радиационном фоне? — оснований для послечернобыльских размышлений у нашего пропагандистского руководства предостаточно.

Едва ли не главный из выводов: можно, необходимо полагаться на собственный народ, не надо его бояться, не следует думать, что соприкосновение с правдой губительно для него. В повествовании Ю. Щербака немало об этом, в том числе и о самоотверженности Л. Телятникова, В. Правика, В. Кибенка и других чернобыльских пожарных, вступивших в схватку с огнем. Шестеро из них погибли в первой же битве с бедой, и трудно сказать, каким бы мог стать масштаб трагедии, если б не эти люди.

И еще. В зоне несчастья слишком многое держалось на энтузиазме, ставшем трагическим: зачастую спасательные работы приходилось выполнять без дозиметров, защитных комплектов, противогазов и прочего, поскольку те либо отсутствовали, либо, как вообще многое в нашей жизни, «имелись в наличии», но не действовали, были не такими, какие требовались...

Начавшись во многом из-за ставшей обыденной халатности, катастрофа обрастала бесчеловечностью, которую вынужденно искупал человеческий героизм. Парни, рвавшиеся в огонь и не имевшие при этом ни необходимых знаний, ни специальной подготовки, ни средств защиты от радиации, платили собственными жизнями за чью-то нерадивость. Ни рассеять слухи, ни защитить людей, ни организовать эвакуацию — ничего этого не удавалось делать вовремя, по-человечески. Энтузиазм! Так уже не раз случалось в нашей истории; так было в этих местах в начале прошлой войны; расплата энтузиазмом за безответственность, неподготовленность, неумелость. Даже в райкоме терялись, даже намного выше не могли сразу решить, что делать. Мы были не готовы к Чернобылю, так же, как не готовы были к прошлой войне. Не обошлось и без попыток, как в прежние времена, «закидать шапками» горящий реактор, привычно заглушить маршами стоны; «Правда» публиковала статьи, где заголовок «Соловьи над Припятью» был еще из самых проблемных...

Ю. Щербак пишет о людях, по незнанию облучившихся до ожогов, о пострадавших в дни наивысшей радиационной опасности из-за ведомственного показного энтузиазма, а то и спеси, начальственного «так надо». Формулирует он точно: «Видимо, потому, что доктрина всеобщего благополучия и обязательных и всенепременных победы, радостей и успехов, въевшаяся за последние десятилетия в плоть и кровь ряда руководителей, сыграла здесь роковую роль, приглушила у них и голос совести, и веление профессионального, партийного, гражданского долга: спасать людей, делать все, что в человеческих силах, чтобы предотвратить беду».

Раздумья автора «Чернобыля» появились в числе первых, но многое еще предстоит переосмыслить. Надо сказать, что на Украине в течение ряда лет, которые заняло проектирование и возведение Чернобыльской АЭС, помимо газетной шумихи и славословий слышались и здравые голоса — писательская общественность, особенно в канун катастрофы, обратилась к реальной ситуации. Строгая документальность повести Юрия Щербака — честный шаг к писательскому искуплению, поворот к правде о Чернобыле. Сегодня желающих оплакать Украину, обреченную-де на страшную гибель, не меньше, чем было в пору воспевания «Припяти Атомной», зачастую это те же люди. А надо трезво осознать, что произошло, надо остановить энергопромовских бодрячков, недавно еще планировавших шесть миллионоваттных ядерных энергоблоков в республике. Нельзя не согласиться с выступлением Б. Олейника на XIX Всесоюзной партконференции, в котором как единое целое рассматривались проблемы энергетического развития Украины и ее судьба, будущее. Наша общая судьба, — потому что создание в центре Европы, в одном из самых густонаселенных регионов страны источника постоянной тревоги — недопустимо. Надо решать, как те-

перь жить, памятуя о страшных уроках Чернобыля, гласно исследуемых сегодня.

Ю. Щербак точно передает беседы с людьми самыми разными, по-разному мыслящими. Вот два бывших заместителя председателя Совета министров республики П. Николаев и С. Гуренко: первый писал на Ю. Щербака жалобы, а второй оказался в числе тех, кто самоотверженно спасал положение, участвовал в строительстве саркофага над реактором, кто обрел в республике огромный авторитет. Автор старается выслушать мнение каждого: врача, водителя, пожарного — и не одного, а нескольких. И при всей внешней объективности общая высокая боль заставляет его быть пристрастным. Он погружается в толщу событий, изучает, предостерегает...

Надо искать выход. Обременившись горьким чернобыльским опытом, надо еще сосредоточеннее одолевать безответственность, под какими бы знаменами ни вторгалась она в наш дом. Времена застоев взрываются Чернобылями в разных сферах нашей жизни. Произведение Ю. Щербака талантливо и честно исследует один из таких взрывов.

Виталий Коротич

Испытание на разрыв

В жизни Владимира Рецептера почти совпали по времени два события: в Ленинграде, в театре драмы и комедии на Литейном проспекте, он поставил собственную инсценировку пастернаковского романа «Доктор Живаго», в Ташкенте вышла книга его стихов «Возвращение» — итог почти тридцатилетней работы в поэзии. Так с первых шагов сложилась его творческая судьба: два призвания, два пути. Еще в шестидесятых годах получил известность его моноспектакль «Гамлет». И тогда же обрели довольно широкую популярность стихи:

Десятиклассники
знать не желают классики.
Директор собирает педсовет:
вот девочки предпочитают «дансинги».
Вот мальчиков влечет велосипед.

Им наплевать,
что жил когда-то в древности
английский драматург Вильям
Шекспир.
У них свои заботы, свои ревности,
сегодняшний, несочиненный мир...

Но вот раздвигается занавес, озаряется светом сцена — и «выходит парень, с королем ругается, а парня принцем Гамлетом зовут». И вдруг он становится близок, небезразличен, этот парень, вступивший в поединок с окружающим его миром предательства и лжи: «И кончился Шекспир, который классика, и начался Шекспир, который жизнь». Стихи еще очень молодые, неустоявшиеся, превосходно, впрочем, вписывающиеся в контекст поэзии своего времени (под ними не случайно поставлена дата — 1961, хотя большинство стихов в сборнике не датировано). «Узнаваемы» и приблизительные, ассонансные рифмы (классики — дансинги), и «разговорные» вольности в размере («у них свои заботы, свои ревности»), и звонкая оптимистическая концовка. Но за «родовыми» чертами уже тогда просматривались индивидуальные: тяготение к сложным психологическим «контрапунктам», повышенный интерес к исторической и культурной памяти человечества. Много позднее Рецептер строже и лаконичней скажет о своем принце из Эльсинора:

Я был еще слепец,
но в том-то все и дело,
что правду не юнец,
а время разглядело.
Я был еще немой,
но в Гамлетовой теме
в те времена и мной
проговорилось время...

Между двумя стихотворениями лежит многое. И годы поэтической работы. И не менее самозабвенный труд в прославленном коллективе ленинградского БДТ в его лучшую пору. И постановка — впервые! — на малой сцене этого знаменитого театра блоковской драмы «Роза и крест». И попытка разыграть на сцене в совсем уже маленьком зальчике при музее-квартире Ф. М. Достоевского не что-нибудь, а литературоведческую гипотезу, касающуюся пушкинской «Русалки» (в виде статьи гипотеза была опубликована Рецептером в академическом журнале). И афиша на улицах Ленинграда: драматические сцены «Монарх» («Петр и Алексей») в исполнении автора...

Итак, поэт, артист, режиссер, филолог-литературовед. Уж не две, а как минимум четыре ипостаси. «Четвертованный? Или учетверенный?» — как вопрошал в одном из стихотворений другой ленинградец — Виктор Соснора. Это очень трудно, потому что каждое из призваний «тянет» к себе, требуя человека всего целиком. И такое испытание на разрыв выдерживает далеко не каждый. Достаточно вспомнить некоторых известных литера-

туроведов, всю жизнь писавших стихи «для себя». Когда их стихи выходили в свет — на склоне лет или посмертно,— выяснялось порой, что человек, так много и тонко понимавший в чужом творчестве, в собственных стихах оставался все-таки не более чем высококультурным дилетантом. И это ничуть не принижает автора, ибо главные силы души были отданы другому, а слову «дилетант» есть, между прочим, хороший русский эквивалент «любитель», происходящий от глагола «любить».

Что же касается Владимира Рецептера, то ему приходится выдерживать еще и другое «испытание на разрыв»: между двумя городами — Ташкентом и Ленинградом, сыгравшими решающую роль в его судьбе, между двумя жизненными стихиями. Испытание тоже не пустячное: все мы знаем, какое огромное значение имеет для поэта, сколь многое определяет в творчестве его «изначальная» земля. Попробуйте-ка представить Есенина без его рязанских просторов, Прокофьева — без Ладоги, Исаковского и Твардовского — без их Смоленщины! У рецептеровской музы — две несхожие малые родины, и каждая из них по-своему дорога:

Большое колесо под шум воды скрипело
и вычерпать арык веселый не могло.
Связав шестерку спиц, его живое тело
по совести впряглось в речное ремесло.
Арычная вода, дойдя до переката,
сверкала под уклон и, праздности
стыдясь,
сдавалась колесу, которое когда-то,
шесть сотен лет назад, ей предложило
связь.
А я был лет шести, в волнах эвакуаций
перенесен судьбой на новые места,
чтобы глядеть, как здесь, в тени
густых акаций,
большое колесо вращалось у моста...

И здесь же — стихи, написанные, очевидно, перед очередным отъездом или отлетом, которых так много в актерской жизни:

Прощай, Ленинград! Я — кулик
на хваленом болоте,
и я не устану тянуться к тебе и
хвалить.
Простимся на время. Прощанье
касается плоти,
а дух остается над городом тихо
парить...

Полагаю, внимательный и неравнодушный читатель сумеет оценить эти стихи. Так что же она такое, поэзия Владимира Рецептера — самостоятельное художественное явление или все-таки «высокое хобби» профессионального артиста? Именно к последнему склонялся, помнится, критик одной из прежних книг поэта, делая благосклонное исключение лишь для «Петра и Алексея». И был, думается, неправ. Может быть, в силу известной предвзятости. Почему-то мы умиляемся, когда стихи пишет, допустим, пастух. И даже снисходительно журим его, если он пытается писать о чем-то далеком и отвлеченном, игнорируя собственный жизненный материал. А когда о своем труде пишет человек искусства — у нас наготове штемпель: вторичность. Да, в книгах Рецептера, в том числе и в нынешней, а сегодня итоговой, много стихов о театре и его людях, порой конкретных, с известными именами: есть ворчливый «Старый актер» и почти неизбежная «Старая актриса», есть «Суфлер» и «Актерский календарь», есть и «Марсель Марсо», и «Астангов», и «Вечер памяти Копеляна», и стихи, посвященные ленинградскому артисту Григорию Гаю. И, видит бог, их интересно читать. Потому что стихи доносят до нас то, что нередко пропадает за колоритными мемуарными подробностями: неустанный труд души, самую суть высокого ремесла:

Брат во Гамлете, что же ты, тезка,
не выходишь на встречу к часам?
Иль, сойдя с чернового наброска,
смерть погладила по волосам?
За тобой оставляя Таганку,
тертый век у себя на краю
крутит повесть твою, как шарманку,
ищет счастья в охрипшем раю...

Надо ли пояснять, что это — о Владимире Высоцком? Кстати, сравнение двух актеров-поэтов помогает понять своеобразие каждого из них. Стихи Высоцкого написаны ярко, крупно, размашисто, они как бы предполагают чтение вслух, пение, вообще исполнение. Стихи Рецептера, даже когда они об актерах, как раз менее всего «актерские» стихи. Они выписаны «тонкой кистью», подчас дробно и сложно, полны оттенков, ускользающих при восприятии на слух:

Словно хитрый такой аппаратик
показал мне японский фирмач:
я дышу, как спасенный астматик,
слышу все и по-новому зряч.
Сквозь реальность
другую реальность
наблюдаю при помощи сна,
навожу окуляры на дальность
и мираж поднимаю со дна.
Исчезают былые запреты,
разрешается то, что нельзя,
в обе стороны лета и Леты
я как будто скольжу, не скользя...

Рецептеру удаются психологические портреты, своего рода житейские баллады («Отец», «Фина Низамова»). Его стихи говорят о понятиях высоких и благородных. Это не любительские упражнения актера, а серьезная, несуетная, самоуглубленная работа поэта. «Испытание на разрыв», ставшее внутренним конфликтом его судьбы, явилось в конечном счете источником своеобразия его поэзии.

Илья Фоняков

Владимир Рецептер. Возвращение. Стихи. Ташкент. Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1987; Стихи. «Юность», № 10, 1988.

Вещи несовместные

Заголовок восемнадцатой книги ветерана «интербригады» критиков-зарубежников мог бы, пожалуй, служить эпиграфом и к сотням статей, ко всему, что Т. Мотылевой написано: «Литература против фашизма». Иной критик предпочел бы название поизящней, допустил бы в нем оттенок игры. Здесь никакой игры. Это суровая формула тридцатых — но в ней суть дела. Книга тоже строга, словно писалась в кителе, застегнутом на все пуговицы. Как гений и злодейство, искусство и фашизм — две вещи несовместные.

Во вступительной главе Т. Мотылева отвечает на вопросы, которые приходилось не раз выслушивать: «Антифашистская литература? А при чем тут современность?» Но ведь и по сей день и повсюду сохраняет силу формула Хемингуэя: «фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами». Т. Мотылева приводит ее в ряду высказываний писателей и публицистов Европы, защищая основной тезис книги: антифашистская литература не эпизод истории литературы отдельных стран, а «одно из магистральных явлений духовной жизни нашего века».

Да, конечно, вся мировая литература, утверждающая идеи гуманизма, является антифашистской. Однако у термина есть и более узкое толкование: прежде всего он вбирает в себя произведения, в которых борьба против фашизма является прямой идейно-эстетической задачей.

Следующая глава посвящена классике: Анри Барбюс и Ромен Роллан, Генрих и Томас Манны... Спору нет, разбег издалека, от «предыстории» к нашим дням закономерен уже по той причине, что «прошлое не умерло, оно даже и не прошло» (Уильям Фолкнер). Далеко не бесспорно другое: что считать классикой? Ведь к ней относят обычно творения, отдаленные от настоящего немалой дистанцией: вековою — надежней, чем десятилетней. Т. Мотылева предлагает рабочую формулу. «В классику данной эпохи, нации, культурного региона, направления, а в наиболее ярких образцах и в классику мировую входят те произведения, которые в п е р в ы е отразили существенные явления социальной и духовной жизни эпохи и указали искусству пути дальнейших плодотворных поисков. Антифашистская классика — это, говоря условно, «золотой фонд» антифашистской литературы, те книги, которые оказали глубокое воздействие на современников, выдержали проверку временем и, будучи созданы десятилетия назад, живут по сей день».

В обиход западногерманской публицистики, замечает критик, сравнительно недавно вошел термин «беспомощный антифашизм». Пользуясь им, подразумевают взгляд на фашизм как на бедствие чуть ли не стихийное, иррациональное, а потому непостижимое и неодолимое.

В главе «ГДР — истоки мужества» Т. Мотылева знакомит нас с пятью книгами, написанными очень разными авторами: потомственным пролетарием Гейнцем Вильманом; Юргеном Кучинским, библиография трудов которого насчитывает больше двух тысяч названий; его сестрой Рут Вернер — соратницей Рихарда Зорге; писателем и художником Петером Эделем; ученым и публицистом Вильгельмом Гирнусом... Критик не ограничивается оценкой сочинений. Т. Мотылева решает задачу просветительскую: книга рассчитана на широкий круг читателей, которым необходим пересказ разбираемых и, увы, неизданных повестей, мемуаров, романов. Впрочем, осведомленность эрудитов преувеличивать тоже не следует. К примеру, шестая глава посвящена творчеству Петера Вайса. В центре ее — «Эстетика Сопротивления», трехтомный роман, представляющий собою документально-художественный синтез антифашистского движения в период гитлеровской диктатуры.

Кроме немецкой, существует, увы, немало и других форм фашизма. Глава седьмая посвящена его итальянскому варианту. Гитлер вынудил передовую интеллигенцию эмигрировать сразу после переворота. Она испытывала в изгнании бедствия и опасности, однако выступила против фашизма с открытым забралом. Как раз поэтому эмиграция оказалась для нее периодом создания полнокровных творений. В отличие от Гитлера Муссолини воздерживался от акций демонстративных — от публичного сожжения книг и картин, от физической расправы над художниками и писателями. Муссолини пытался приручать их. Созывал конгрессы «фашистской культуры», приглашал и вел беседы с Рабиндранатом Тагором (1926), с Махатмой Ганди (1931). По просьбе Стефана Цвейга (!) выпустил из тюрьмы его друга.

Далеко не все поддавались демагогии диктатора, однако мало кто из интеллектуалов в период «черного десятилетия» предпочел изгнание родному дому. Неприятие режима получало поэтому в книгах выражение по-эзоповски зашифрованное, сдержанное; оно умещалось в рамках легальной оппозиции.

Разделяя выводы Цецилии Кин, автора известных книг об итальянской культуре, Т. Мотылева подчеркивает, что поэзия и проза Сопротивления не предшествовали в Италии боям против фашизма, а возникли в результате этих боев. И читатель, надеюсь, тоже разделит вывод критика: двести тысяч мужчин и женщин, сражавшихся двадцать месяцев против врага,— веское доказательство обретенной зрелости народа и его способности управлять собственной судьбой. Вот социальная почва, на которой взросли лучшие творения антифашистского искусства Италии.

В главах, посвященных литературам Англии, США, Франции, тоже множество и тоже замечательных имен. Постепенно убеждаешься, однако, что даже знакомые «со школьной скамьи» знаменитые писатели оставались тебе малоизвестными в чрезвычайно важном своем качестве: как провидцы, не позволявшие убаюкать себя иллюзиями, будто в их издавна демократических государствах фашизм немыслим.

Уже в 1922 году, когда Муссолини совершал свой поход на Рим, Р. Роллан увидел в фашизме опасность не только для Италии, но и для всего мира. В тридцатых годах выходят «Самовластие мистера Парэма» Герберта Уэллса, «У нас это невозможно» Синклера Льюиса, «Война с саламандрами» Карела Чапека — вещи пророческие.

Осмысление фашизма давалось не сразу и непросто. Т. Мотылева показывает, что иным ярким талантам недоставало глубины социального анализа: в частности, предъявлялся упрек Альберу Камю в том, что в романе «Чума» писатель вообще не задумывался, откуда оно взялось, нашествие «крыс» на город. У слишком многих иссякала надежда: отважнейший, блистательно одаренный Андре Мальро разуверился в революции, когда над Испанской республикой одержал верх генерал Франко. При всем при том выстрадан вывод, который делает Андре Мальро во вступительной статье к переписке Р. Роллана с редактором «Эроп» Жаном Геенно. Вспоминая тридцатые, участник Сопротивления, министр в правительстве де Голля, Андре Мальро убежденно писал: «Антифашизм — это не просто широкое поле, где либералы встречаются с коммунистами... Это — чувство, это — позиция, это также и политика... Кто забыл антифашизм, тот не поймет этой книги, но не поймет вместе с тем и истории нашего времени».

Дочитав «Заключение», пересмотрев «Именной указатель» — Абуш, Адамович, Адорно, Айтматов...— невольно оглядываешься на путь автора книги: Тамара Мотылева знала Анри Барбюса, Георга Лукача, Анну Зегерс. Писала еще в журнал «Литература и мировая революция». Впервые увидела Париж в 1933 году, когда на международный конгресс молодежи прибыла из СССР делегация, возглавляемая Александром Косаревым... Сколько же надо работоспособности и способностей, чтобы идти в ногу с веком, знакомясь — большей частью в оригинале — с произведениями англо-американских, французских, немецких, итальянских, польских, чешских авторов.

У нас есть весьма квалифицированные специалисты по английской драме, итальянской поэзии, скандинавскому роману. А много ли знатоков, охватывающих словесность века XX как единое целое? «Литература против фашизма» — отчет знатока о прочитанном, продуманном, пережитом. Можно сказать и торжественней — кредо. Позиция поколения критиков, собратьев по духу, которое начинало тернистый свой путь в тридцатые.

М. Кораллов

Т. Мотылева. Литература против фашизма. По страницам новейшей зарубежной прозы. М., Советский писатель, 1987.

От смешного до великого...

У нашего известного пародиста Александра Иванова вышла книжка «Избранное у других».

Иванов — мой товарищ, и валять дурака я не буду, т. е. объективным быть не желаю. Мы с ним объездили много городов, много выступали в те дни, когда устное слово было важнее письменного. Порядочный человек, боец, интеллигент, хотя по произведениям этого не скажешь. Талантливый пародист, видимо, самый талантливый. Видимо. А по произведениям не скажешь, что интеллигент. Чтоб сцепиться, приходится собираться на том же уровне... Мне легче отмалчиваться, для меня только сейчас стали проявляться личности на той стороне. Раньше это была масса, которая называлась Государство. Довез до Государства и сдал — что товар, что талант. Там он и пропадает. Теперь стали проявляться личности, и я понял, какое требуется мужество сказать в лицо одному. Я до сих пор не умею отвечать на веселые записки, начинающиеся с оскорбления.

Иванов — талант, боец и порядочный человек. То, что у нас обычно на троих. Он писал так и раньше. Сейчас, конечно, пишущим стало иначе. В «Театральной жизни» с сочувствием писали — мол, как вы там теперь, сатирики, при гласности. Не будет, мол, уже того успеха. Да, ребята, так и хочется написать, как все изменилось.

Да, только, когда выходишь к людям в городе Николаеве или Нижнекамске, что им скажешь — я стал ездить, я стал лучше читать, я стал лучше носить?

Тревоги у меня не меньше. Раньше

Александр Иванов. Избранное у других. Пародии и эпиграммы. М., Советская Россия, 1987.

было страшно только за себя, сейчас за нас всех. Я никогда не получал таких злобных писем. Мол, пишу одно, а ем другое. Критиков тоже раздражает, что вышли из подполья. Место художника там. Приятно, конечно, сбрасываться ему на пропитание. Представляю, что было бы сегодня с Высоцким за жену, за машину, за Париж.

Напрасно беспокоятся ребята из «Театральной жизни» — тревога гуляет рядом, то сверху, то снизу, то слева, то справа. Это я все об Иванове. У него пародии разные, но позиция одна. Это железная позиция порядочного человека. Нам кажется, что он издевается над поэтами. При чем здесь эти поэты, когда жизнь пузырится такими стихами. Что цепляться к сварщику, который приваривает на крыше «Слава советской науке», поневоле указывая почтовый ящик? Зал оттого и радовался, писатели оттого и негодовали. Эстрадой называют у нас успех. Отношение понятное. Как кто-то стал пользоваться успехом, его слушают или читают, сразу понятно, что о нем будут говорить.

Иванов — боец, талант, порядочный человек. Может, его немного попотрошила передача «Вокруг смеха», тоже вызвавшая ненависть в цехе. А без него уже передача не та. Ну, на ТВ свои порядки, как в приличном доме. Там гримируют, красят губы, подкрашивают глаза, припудривают. И вот худой, злой, припудренный и подкрашенный пародист одурело заглядывает в сценарий. «Вы в зале играете зрителей, я играю Иванова, выступает Жванецкий. Аплодируем. Сам он будет завтра, а хохот мы записываем сегодня. Правая сторона начинает...» Это, конечно, надо уметь. И пародий в каждую передачу дай две-три. А ТВ все время знает что-то такое, чего мы не знаем: «Сегодня об авариях нельзя. А сейчас об ураганах не стоит. ДОСААФ пока трогать не будем. О пьянстве пока не надо».

Смотришь на них с уважением.

Вон какие!

От них фраза: если б вы знали истинное положение...

Так чего ж мы не знаем-то?

Что ж вы скрываете, чтоб, значит, разговаривать так?

Ну, ничего. Главное-то мы знаем.

Гласность-то нужна не нам. Мы-то ею пользовались давно.

Чего мы такого не подозревали?

Вот оно все и раскрылось. А какого-то зрителя по-прежнему интересует главное — действительно ли вы Иванов?!

Со Жванецким они разобрались. Сейчас надо получить подтверждение от Иванова, Пугачевой, и будет полное удовлетворение.

Иванов — талант, боец и порядочный человек.

Я не хочу писать рецензию, не хочу цитировать удачи и неудачи, сами разберетесь. У него хватает и того, и другого. Зато смешно, понимаете. Это такая редкость, когда смешно. Конечно, грустное — выше, а трагическое — значительнее, а паралич — потрясает. Но слишком часто и все чаще! И прямо всё вокруг!

Это и заставляет людей рваться к смешному, хоть ты их и пугай, что это эстрада и не тот успех.

Тот, тот, другого не бывает!

М. Жванецкий

...Где ждет меня спасенье

Как в родную, прохладную реку входит в стихи Ивнев, радуясь их правде и простоте.

Я знаю: есть страна, где ждет меня спасенье,
Где руки теплые прильнут к моим рукам,
Где надругательства не встретят одобренья,
Где дуло черное не пляшет у виска...
(«Негр», 1936)

Каждый носит в себе и спасенье и гибель,
Только знать бы, какие нажать рычажки,
Чтоб не биться, подобно трепещущей рыбе,
В заколдованном неводе горькой тоски...
(1947)

И — от мировой печали — к теплой прелести лирики:

Блеснула боль в твоем прощальном взоре,
Покрылись сумраком любимые черты,
Никто не дал мне столько горя
И столько радости, как ты...
(1928)

Лиризм отличает и прозу Ивнева. В «Избранное» вошел роман «У подножия Мтацминды». Он дарит нас удивительным описанием природы: вспоминая свои путешествия, Ивнев сравнивает пережитое им в разных странах время осени и вновь возвращается к любимой Грузии.

Он дает ни с чем не сравнимую картину тифлисских базаров. «Пылание помидоров» отождествляет с цветом здоровой крови. «Ветер метет красные листья с садов — это как «консервированный огонь». А «душа города», балконы Тифлиса! Они точно распахнутая книга Шехерезады, и мне, в мои 94 года, вдруг хочется сорваться с места и ехать туда!

О жизни в Грузии девятнадцатого года рассказывается в романе с неподдельным жаром. Герои — поэт Смагин и его антипод, делец Везников. Действие — в беспрерывном столкновении мировоззрений. Везников пытается вовлечь в свои интриги Смагина, тот решительно отказывается. И вновь описание весны, «вечной метаморфозы природы», живущей отдельно от жизни людей и одновременно проникающей властью своей в их сердца...

Вот мы погружаемся в череду воспоминаний Ивнева. Первое десятилетие XX века. Перед нами галерея портретов поэтов и писателей, которых он близко знал, с некоторыми из них дружил, участвовал в их жизни. Сам Ивнев молод, занимается литературой. В это время он и познакомился с Александром Блоком, коего высоко ценил, как и вся молодежь тех лет.

Показывая стихи Блоку, он понимал свое несовершенство как поэта. Два дня спустя Блок написал Ивневу, стараясь тактично объяснить, что не надо гнаться за гладкостью формы, главное — отстаивать свои мысли и чувства, а не брать пример с тех, кто, гонясь за внешним способом выражения, не имеет ч т о сказать.

В эти годы Ивнев и сам страстно увлекается поэзией. Его привлекает Батюшков — торжественностью и высоким настроем лирики, но Блок гораздо ближе, доступнее сердцу. Блок неотделим от Петербурга, пишет Ивнев, вспоминая глуховатый голос поэта, его чтение стихов, восхищаясь поэмой «Двенадцать». В сложностях же новых поэтических течений юному литератору, по его признанию, разобраться было нелегко.

Бурно росла популярность Маяковского. Высокий, статный, красивый — он выступал охотно, держался независимо, завоевывал зал необычайной смелостью, резкостью, безбоязненностью суждений. Как-то на одно из выступлений Маяковского, вспоминает Ивнев, приехал Горький. В зале царили внимание и тишина. Маяковский читал и вдруг остановился. Потом снова начал читать стихи — и вновь замолчал. Выпил стакан воды. Но и это не помогло. Так и ушел с трибуны... Позднее выяснилось: оказывается, его слушали слишком «мирно», а потому не смог поэт справиться с непривычным для него отношением зала, ибо привык к постоянным возражениям, спорам.

Не только поэзия увлекала Ивнева, ум и сердце его занимали в те годы проблемы театра. Небывалый успех вызывала тогда пьеса «Смерть Иоанна Грозного», где главную роль играл Всеволод Мейерхольд: зрителей потрясло мастерство перевоплощения художника — страшен был образ государя в его исполнении.

Ивнев вспоминает, как во время гражданской войны, в 1919-м, Мейерхольд оказался в Крыму, занятом белыми, был арестован, ему грозил расстрел. Какой-то «либеральный» генерал, высоко ценивший великого актера, приказал освободить его.

Одним из популярнейших поэтов тогдашней России был Михаил Кузмин. Славились его «Александрийские песни», каждое новое стихотворение, появлявшееся в печати, восторженно воспринималось почитателями его изысканного таланта. Впервые увидел Ивнев Кузмина в знаменитой «Башне» Вячеслава Иванова в Петербурге. Жена Иванова, Лидия Зиновьева-Аннибал, прославившаяся своеобразным произведением «Трагический зверинец», также не была обделена вниманием читателей. В их литературном салоне встречался весь цвет Петербурга, приезжали москвичи, и Рюрик Ивнев пришел однажды к хозяину «Башни» показать свои юношеские стихи. Просто, доброжелательно встретил его знаменитый поэт, но дал неожиданный совет: прежде, чем приступать к сочинительству, следует написать прежде... сто безупречных сонетов! Впечатление от общения с Вячеславом Ивановым было незабываемым. Кузмин же казался манерным, но его язвительность, сопровождаемая подчеркнутой вежливостью, была всего лишь поза, не затрагивающая глубин личности. Читал Кузмин тоже несколько манерно. В стихах было немало обыденных слов — это явилось своеобразным вызовом заумной поэзии тех дней: Кузмин стоял в стороне от поэтических течений времени. Ивнев вспоминает, как однажды в кабачке «Бродячая собака» поэт пел песни собственного сочинения, аккомпанируя себе на рояле.

Время беспощадно. И печально читать строки, где Ивнев описывает свое свидание с Кузминым через десятилетия, в 30-е годы. Постаревший поэт уже был равнодушен ко всему на свете. Гостей принимал редко, сам в гости ходить не любил...

«Кто знает,— пишет Ивнев,— может быть, за Кузминым, которого я знал, стоял другой Кузмин? Ведь невозможно, чтобы человек жил только высшими интересами, и жил без раздумья о жизни, без стремлений, без внутренних противоречий? Но если он молчит о них, кто же может о них знать? И можно ли с уверенностью сказать, что он был совсем другим, чем казался нам? Может быть, он жил только искусством? Не обращая на все остальное внимания? Но так или иначе — жизнь Кузмина казалась мне театральной».

Оторвавшись от трудноразрешимых проблем творчества этого удивительного человека, Ивнев переключает внимание читателей на другую встречу — с поэтом не менее своеобразным — Николаем Клюевым.

Знакомство с Клюевым относится к 1915 году. Встречаясь впоследствии на протяжении долгого времени, Рюрик Ив-

---

Рюрик Ивнев. Избранное. М., Правда, 1988.

нев не переставал дивиться его странностям, но как художнику всегда отдавал должное, высоко ценя его поэзию, радуясь творческой самобытности, хотя многое оставалось для него в этой поэзии непонятным.

Писатель рассказывает о салоне некоей Швартц, где бывал и Клюев. Здесь читались доклады на философские и религиозные темы, но царила совершенно иная атмосфера, нежели в широко известном «Религиозно-философском обществе», где выступали Н. Бердяев, Д. Мережковский, В. Розанов. У Швартц спорить было не принято, обычно читал доклад кто-нибудь один. Считалось дурным тоном возражать по тезисам доклада — в салоне царствовала светскость. И хотя именно от светскости сам Клюев был далек, но у Швартц бывать любил.

Ивнев вспоминает: Клюев никогда не ездил на автомобиле, считая его дьявольским изобретением века, всегда просил прислать за ним карету, Клюев верил в роль крестьянства, настаивал на своем крестьянском происхождении, якобы не читал газет, говоря при этом: «Куда нам со свиным рылом в калашный ряд... Что мы, деревенские, понимаем, нам бы только сытыми быть!» В 1933 году поэт правдиво описал голод в поэме «Погорельщина», читал ее с большим успехом у Сытина и Морозовых.

В те годы Ивнев находился и под впечатлением от поэзии Валерия Брюсова. Он описывает знакомство с ним в 1909 году, когда, естественно, разговор зашел о поэзии, Ивнев запомнил слова мэтра: — Лучше писать плохо, но по-своему, чем хорошо, но по-чужому! Думайте не о журналах, где вас не печатают, а читайте энциклопедию, историю государств и тогда поймете, поэт вы или нет. Если великие события вас увлекут, то путь в поэзию вам будет открыт...

В «Избранное» включен роман Ивнева «Богема», где на фоне литературной жизни 20-х годов даны портреты Маяковского, Пастернака, Есенина, Мандельштама, других поэтов. Неповторимость личности каждого из них — вот главное, на чем сосредоточивает внимание автор (я об этом в свое время писала и повторяться не буду).

Вновь перелистываю стихи Ивнева, органично вплетенные в прозаические страницы. Вот я на Конногвардейском бульваре в вербные дни 1915 года:

Конногвардейского бульвара
Сурового не узнаю.
Весенне-шумному угару
Дань золотую отдаю.
Забилось сердце горячее
От русских шапок и платков,
Кустарных выдумок и змеек
И занимательных ларьков.
Какая бодрость в встречных лицах,
Какой спокойный ясный взгляд,
Как хорошо с толпою слиться,
Поклон отвесить наугад.
И знать, что в каждом сердце дышит
Дух несмолкаемых побед —
Он, точно птица, выше, выше
Несётся радости вослед.

А вот новеллы Рюрика Ивнева. Какое бабочкино крыло трогает вас, пролетая в его «Зеленой лужайке» и «Лотерейном билете», в «Кусочке солнца». Давно я не читала такой прозы:

Небо и море. И тишина. Человек пропал в них, его нет. Ощущенье «счастья»! Его уже нет. Блаженство погружения в этот час молчаливой природы... Ты потерял сам себя... растворился. А арбузная корка плавно покачивается на морской воде... покачивается...

А «Лотерейный билет»? Это ни с чем не сравнимая удача — что ты жив! Живешь! Ты выиграл жизнь!

Анастасия Цветаева

Советуем прочитать

М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. Вступительная статья и комментарий И. Вайнберга. Литературное обозрение, №№ 9, 10, 12, 1988.

Газета «Новая жизнь» выходила в Петрограде с апреля 1917 по июль 1918 года под редакцией М. Горького. На ее страницах он напечатал около восьмидесяти работ, пятьдесят семь из них вошли в цикл «Несвоевременные мысли».

Писатель-гражданин, Горький на протяжении всего творческого пути активно занимался публицистикой, откликаясь на коренные проблемы жизни; вот почему небольшие газетные заметки, охватывающие период двух революций и двоевластия, приобретали значение обобщающего литературного и общественно-политического документа эпохи, воссоздающего своеобразие развития русской мысли того времени. Страстный трибун, он поднимает голос против волны стихийного и санкционированного террора, охватившего страну; возмущаясь позицией кадетской газеты «Речь», первым заявляет протест по поводу ее закрытия, считает, что «...заткнуть кулаком рот идейным противникам... недостойно демократии»; обличая догматизм, классовую узость, поголовное истребление «несогласномыслящих», предупреждает о возможности тирании гораздо худшей, чем та, против которой боролась революция...

Мысли Горького полемически заострены, порой спорны, но к ним необходимо прислушаться сегодня. Для того, чтобы, «...прошлое было хорошо освещено и понятно, необходимо... смотреть на него с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего»,— считал писатель.

Е. Замятин. Сочинения. М., Книга, 1988.

«...Для меня как для писателя именно смертным приговором является лишение возможности писать... Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать,— что это одинаково унижает как писателя, так и революцию»,— с такими словами обращался в июне 1931 года к Сталину Евгений Замятин.

Он родился в Лебедяни,— той самой, о которой некогда писал Тургенев. А умер на чужбине, в эмиграции. И вот теперь, после более чем полувекового забвения, его произведения вновь вернулись на Родину.

В сборник включены роман «Мы» (он был опубликован в «Знамени» в 1988 году), повесть «Бич Божий», рассказы, статьи, письма, заметки о творчестве Чехова, Блока, Андрея Белого, Леонида Андреева, Горького, О'Генри, Герберта Уэллса, Анатоля Франса.

Чистые пруды. Альманах. Выпуск второй. М., Московский рабочий, 1988.

На страницах сборника представлены произведения московских прозаиков, поэтов, в том числе и те, которые раньше не публиковались: рассказы А. Кима «Сильная доброта» и А. Макарова «Баня с бассейном», стихи А. Жигулина, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Н. Тряпкина, Б. Слуцкого, В. Корнилова, Т. Бек. Здесь напечатан доклад и заключительное слово Н. Бухарина на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, выступления делегатов А. Суркова, А. Безыменского, Д. Бедного.

В раздел «Вторая муза» включены работы авторов, для которых литературный труд не стал основной профессией: рассказы доктора экономических наук Н. Шмелева, актера Театра драмы и комедии на Таганке В. Золотухина, стихи артиста Государственного театра имени Моссовета В. Шурупова.

Рубрика «Наши публикации» познакомит с выдержками из писем Н. Заболоцкого к жене. А повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце», несомненно, сделает книгу настоящим бестселлером.

Юрий Власов. Справедливость силы. Аврора, №№ 9—12, 1988.

«В этом атлетическом теле соединилось невозможное. Кто может предположить в самом сильном человеке мира знатока певчих птиц?.. Будучи лучшим тяжелоатлетом земного шара, он одновременно является дипломированным инженером, офицером Советской Армии... Он часами способен вести дискуссии о Ницше, Шопенгауэре, Канте и Гегеле... Обладатель самых сильных бицепсов является истинным знатоком литературы...» — так писал о Власове корреспондент одной из западногерманских газет.

Он покинул спорт сразу после XVIII Олимпийских игр в Токио, покинул, полный сил, не исчерпав всех бойцовских возможностей. Автор размышляет о причинах этого ухода, трагедии последних выступлений, о нравственности в спорте, рассказывает о соревнованиях 1963—1964 годов, близких по духу людях: тренере Сурене Булдасарове, старшем тренере сборной Якове Куценко, Всеволоде Боброве...

Не отступать перед трудностями, «волею подчинять обстоятельства и судьбу»,— такова жизненная позиция легендарного

спортсмена, подлинного интеллигента, человека высокой культуры и несгибаемой жизнестойкости.

А. Балтакис. Избранное. Перевод с литовского. М., Художественная литература, 1989.

Двадцатый век в реальный верит хлеб,
Абстракции
Руками проверяя...

Это строки из стихотворения Альгимантаса Балтакиса, народного поэта Литвы. Отец его, потомственный крестьянин, разорившись в 1937 году, вынужден был с семьей переехать в город. Так будущий поэт стал горожанином, но память о родной литовской деревне, увы, уходящей в прошлое, жива до сих пор,— ей посвящены многие стихи сборника. О чем еще пишет Балтакис? О жизни и любви, о трагедии тех, кто потерял, но так и не обрел новой родины, о Человеке, с его горестями и тревогами, о том, как жить ему в наше непростое время.

Юлий Даниэль. И я пришел... Огонек, № 29, 1988. Дом. Новый мир, № 7, 1988. ...А нужно ль было чураться? Дружба народов, № 9, 1988.

Спустя более чем двадцать лет читатель вновь встречает на страницах журналов и еженедельников это имя. Поэт, прозаик, переводчик, в 1966 году вместе с Андреем Синявским он был осужден по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде за публикации в зарубежных изданиях, которые сегодня, пожалуй, показались бы гораздо менее острыми, чем иные работы наших публицистов. В декабре 1988 года Даниэль умер, не дождавшись реабилитации.

В его стихах отчетливо ощущаются мотивы возвращения в мир, обретения внутренней свободы: «Я устал огрызаться по-волчьи, Кислотою въедаться в металл, Я от ненависти, от желчи, Я от челюстей сжатых устал». Строки горькие, выстраданные всей жизнью.

Даля Гринкявичюте. Записки о пережитом. Перевод Софии Быстрицкой. Литва литературная, № 10, 1988.

В июне 1941 года четырнадцатилетняя литовская школьница была выслана (как тогда говорили «депортирована») вместе с родителями в Алтайский край, спустя год — в Заполярье на необитаемый остров Трофимовск, затем в Якутию... Родители Дали не вынесли трагических скитаний, а она, к счастью, выжила и рассказала о тринадцати годах, проведенных в заключении и ссылке.

Воспитанная в лучших традициях русской интеллигенции (родители получили высшее образование в России), она свято хранила верность своим принципам. Может быть, поэтому и выбрала путь сельского врача, посвятив свою жизнь лечению больных. Как многие одаренные люди, она отличалась разносторонними интересами: кроме медицины, увлекалась театром, изучала право, экономику, пробовала силы в литературе.

Ее исповедь не только о себе, но и о «бессильных и обреченных, молодых и пожилых, детях и юношах, которым так тяжело было умирать и которые так страстно мечтали вернуться в родную Литву»,— как известно, в послевоенное время из республики было без всяких оснований вывезено 108 362 человека.

«Записки о пережитом» стали своеобразным памятником и самой Дале. Она умерла в декабре 1987 года, так и не увидев их напечатанными. Переводчик передала гонорар в Литовский фонд культуры на строительство памятника жертвам сталинизма.

А. В. Моисеев. Уважение к «мелочам». О повсеместных резервах экономии: Вопросы и ответы. М., Политиздат, 1988.

Знаете ли вы, что:

— 30 тысяч тонн топлива в год можно сберечь, сократив лишь на одну минуту время ожидания вылета с включенными двигателями на каждом рейсе самолетов Ил-62, Ту-134 и Ту-154;

— около 20 млн. тонн грузов общей стоимостью 860 млн. рублей теряется ежегодно при перевозках;

— почти 20 процентов сельскохозяйственной продукции гибнет при уборке и транспортировке;

— только в Москве ежегодно накапливается примерно 3 млн. тонн твердых бытовых отходов, а перерабатывается из них 9 процентов...

«Мы подошли к рубежу, когда смотреть на потери материальных ресурсов или плохую работу со стороны, с позиции невмешательства уже нельзя. Время требует включения в хозяйственный оборот всех резервов, какими бы малыми они ни казались на первый взгляд»,— считает доктор экономических наук Анатолий Васильевич Моисеев.

В. Чернышев. Отпуск в Карелии. Л., Лениздат, 1988.

Название сборнику дала одноименная повесть. Красота северной природы, гармоничное слияние человека с окружающим миром, душевная раскрепощенность помогают освободиться от суетного, мелочного, что так захлестывает будни стремительного нашего века. И это основной мотив книги. С грустью пишет автор о заброшенных в глуши островках деревенского быта, уважением проникнуто его отношение к сельским труженикам.

Рассказы «Черный хорь», «В свете фар» и другие свидетельствуют о неравнодушном отношении автора к бездумной хозяйственной деятельности. А ведь ныне, кажется,

уже все едины во мнении, что потребительское отношение к природе ведет к бездуховности, ожесточает сердца людей.

Завершают сборник воспоминания о певце русской природы И. С. Соколове-Микитове, с которым В. Чернышева связывали многолетние дружеские узы

Краткий миг торжества. Первая книга научно-художественной серии. Составитель Вера Черникова. Библиотека журнала «Химия и жизнь». М., Наука, 1989.

Крупнейшие естествоиспытатели XX столетия Петр Леонидович Капица, Лайнус Полинг, Николай Николаевич Семенов, Джеймс Уотсон, Френсис Крик... рассказывают о том, как через тяготы и сомнения, преодолевая повседневность и рутину, шли они к мигу торжества — открытию, теории, техническому решению, обогатившим мировую сокровищницу знаний.

Из мозаики рассказов, иллюстрированных оригинальными рисунками художника Любарова, складывается образ науки нашего века. Темы нравственности, этики в отношениях с коллегами и учениками, ответственности ученых за настоящее и будущее Планеты — главные в книге.

Рэй Бредбери. Вино из одуванчиков. Харпер Ли. Убить пересмешника... Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. М., Правда, 1988.

Читатели получили в подарок — иного слова не подберешь — полмиллиона экземпляров книги, соединившей под общей обложкой три произведения современной классики. Каждое из них при своем появлении два-три десятилетия назад становилось бестселлером и выходило за рамки англоязычной культуры, обретая признание во всем мире.

Повести Рэя Бредбери и Джерома Сэлинджера, роман Харпер Ли были переведены на русский язык. Их неоднократно переиздавали, но спрос решительно и неизменно превышал предложение, ибо эти произведения продолжают оставаться злободневными и сегодня — в них анализируются сложнейшие процессы, характерные для внутреннего мира взрослеющих детей и подростков, они призывают к терпимости и пониманию в отношениях между людьми. Свое предисловие к сборнику Альберт Лиханов назвал «Пахари доброты», тем самым подчеркивая гуманистический пафос книги.

Александр Дюма. Кавказ. Перевод с французского. Тбилиси, Мерани, 1988.

Эта книга о кавказцах, написанная французом для французов. Создавалась она во время трехмесячного путешествия Дюма по Кавказу. Писатель признавался, что нигде ему не работалось так легко, как здесь. Экзотическая для европейца страна, где, по преданию, был прикован к скале Прометей, а Язон искал золотое руно, где Азия причудливо сочетается с Европой, производила неизгладимое впечатление. В книге множество этнографических подробностей, описании природы и людей. Обширные исторические экскурсы (восстание Шамиля) соседствуют с современностью; романтическое повествование о трагической судьбе ссыльного декабриста А. А. Бестужева-Марлинского — с колоритной сценой в грузинской бане; перевод на французский стихов М. Ю. Лермонтова — с рецептами национальной кавказской кухни... И все это написано в легкой, изящной манере, с чисто французским юмором.

Подготовлено издание М. Буяновым, не профессиональным литератором, но человеком, настолько влюбленным в Дюма, что он повторил маршрут этого путешествия. Им написано предисловие, послесловие и подобраны иллюстрации, среди которых особое место занимают репродукции картин Ж.-П. Муане, архитектора и художника, сопровождавшего французского писателя.

«Кавказ» — первый полный перевод книги на русский язык, в сокращении она вышла в Тифлисе в 1861 году, и вот спустя 125 лет вновь пришла к читателю.

А. М. Самсонов. Память минувшего. События, люди, история. М., Наука, 1988.

Академик А. М. Самсонов знает войну не понаслышке: он прошел ее дорогами, изведал горечь поражений и радость побед. Именно в те годы он решил стать военным историком. В основе книги — автобиографическое повествование из двух частей.

В первой — «Далекое — близкое» — автор рассказывает о себе, боевых друзьях: здесь Нижний Новгород времен революции и первых лет Советской власти, Ленинград 20—30-х годов. Хроника боев 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса. Самсонов вспоминает однополчан — Героев Советского Союза генералов А. А. Асланова и В. Т. Обухова, сапера Г. Г. Гоциридзе, танкиста Г. Г. Кияшко, разведчика Г. Г. Галузу, артиллериста И. Т. Горбенко. Летопись военных будней одного из героических подразделений дополнена письмами ветеранов.

«Глазами историка» — вторая часть книги, где автор обращается к недостаточно еще исследованным аспектам войны, дает представление и о повседневной нелегкой работе военного историка, особенностях «творческой лаборатории», где порою приходится сталкиваться с монополизмом в науке, прикрывающимся демагогией, амбициозностью, имитацией авторитетов, комплиментарностью. Его носителя нетерпимы к научным взглядам, отличным от собственных.

П. Д. Корин об искусстве. Статьи, письма. Воспоминания о художнике. Составитель Н. Н. Банковский. М., Советский художник, 1988.

«Во все времена для каждого художника, мастера своего дела, существует одно неру-

шимое правило и право чести — вести личный ответ за содеянное им» — этому правилу чести Павел Дмитриевич Корин (1892—1967) следовал всю жизнь. С молодых лет его окружал ореол художника-подвижника, верного высокой идее служения искусству.

Портреты М. В. Нестерова и А. Н. Толстого, маршала Г. К. Жукова, М. Сарьяна, мозаичные панно станции московского метро «Комсомольская-кольцевая» и витражи «Новослободской», триптих «Сполохи» и «Дмитрий Донской» создал Павел Дмитриевич Корин, родившийся в селе Палех Владимирской губернии в семье потомственных иконописцев. Именно в русское искусство уходит корнями его творчество. «Мне дороги и башни Хивы, и монументальные храмы Армении, и готика Эстонии. Просто я, как русский человек, лучше знаю русские памятники, их состояние. И именно поэтому я обращаюсь ко всем молодым гражданам нашей страны: охраняйте реликвии нашего народа!..» Эти слова художника словно завещание молодому поколению.

А. Г. Черненко, Г. С. Овчаренко. До приговора и после. Взгляд на злободневные проблемы. Серия Зеркало. М., Книга, 1988.

Многие испытали интеллектуальный шок, когда ломались «розовые» стереотипы времен «застоя». Громкие дела о взятках и коррупции в Узбекистане... Судебные расследования деятельности лиц из брежневского окружения... Реабилитация незаконно репрессированных в 30—50-е годы...

Большинство статей, включенных Андреем Черненко и Георгием Овчаренко в сборник, очевидно, уже знакомо читателям — они вызвали широкий общественный резонанс после публикации на страницах центральных газет. «Кобра над золотом» и «Под пластмассовыми березками», «Обратный ход» и «Мебельный бизнес» читали и обсуждали всюду.

Сборником «До приговора и после» издательство открывает новую, оперативную серию. Четыре-пять книжек по самым разным злободневным проблемам ежегодно будут получать читатели. В ближайшее время выйдет публицистика Ольги Чайковской «Диалоги гласности», отечественной истории и перестройке будет посвящена работа академика Б. А. Рыбакова.

Я. А. Крастиньш. Стиль модерн в архитектуре Риги. М., Стройиздат, 1988.

Туристы привыкли воспринимать Ригу как город памятников средневековой архитектуры. И мало кто знает, что столица Латвии богата удивительными по красоте и своеобразию зданиями, построенными на рубеже XIX—XX столетий, времени расцвета стиля модерн.

Сущность модерна, считает автор, заключается не только в смене декоративных форм. За внешней их новизной скрывается качественно новый тип связи между практическим предназначением жилого дома и художественным решением. Рижский модерн стал неотъемлемой частью неповторимого облика одного из красивейших городов нашей страны, ибо в его архитектуре самые различные направления европейской культуры органично сочетаются с национальными традициями.

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии—921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 06.02.89. Подписано к печати 02.03.89. А 04155. Формат 70×108 1/16. Высокая печать Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27. Тираж 980 000 экз. (1-й завод 1—729 528 экз.). Заказ № 230. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.